

О Л Е Г М Е Р К У Л О В



НА ДВУХ БЕРЕГАХ





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ЗА ДНЕПР!

На маленьком пустынном разъезде машинист затормозил очень резко, так, что звякнули тарелки и закрипели пружины буферов, а вагоны захрустели. Эшелон, прокатившись еще немного, стал. И сразу же вдоль него от головной штабной теплушки полетела команда:

- Получить боеприпасы!

- Получить боеприпасы! Получить боеприпасы! - повторяли, высовываясь из вагонов, дневальные.

- Бодин! Старшина! Пулеметчики! За мной! - приказал командир роты старший лейтенант Шивардин.

Уцепившись за брус, который был приделан поперек открытой двери, ротный скользнул под него. За ротным спрыгнул старшина Вилейков, командир пулеметного взвода младший лейтенант Бодин и ссыпались пулеметчики.

Эшелон стоял у закрытого семафора, там, на влажной после дождика щебенке, валялись куски рельсов, чуть прихваченные ржавчиной новые костыли, несколько шпал.

Начинался вечер, солнце опустилось низко, висело за семафором. Казалось бы, в его лучах семафорный красный глаз должен был поблекнуть, но он смотрел из-под глубокого козырька все так же рубиново, сигнально-напряженно.

После трясущегося, вихляющегося вагона, в котором все звуки перебивал стук колес, а перед глазами постоянно дергались нары, стены, пол, двери, лица людей, - мир на этом пустынном разъезде казался тихим и безмятежным. Пых-пых-пых паровоза, которому как бы не терпелось бежать по рельсам дальше и катить за собой эшелон, шорох гравия под многими сапогами, оброненные на ходу слова и команды не могли испортить здешнего ответного покоя.

«Вот бы пожить тут!.. Да! Хоть немного! Чудо...» - сумасшедше мелькнуло в голове у Андрея начало приятной мысли.

Беззаботно и нежно тенькнула где-то рядом неразличимая птичка: «Тень-тинь-тинь! Тень-тинь-тинь!», и Андрей взгляделся: «Где же она? Где ты, а?» - и ткнулся в плечо Ванятки, вдруг сбавившего бег, и чуть не сшиб его с насыпи.

- Ты чо! Глаза разуй! - Ванятка сплюнул в сторону. - Несешься! Аль не достанется?

- Извини, - пробормотал Андрей и вновь побежал за Ваняткой к вагону, возле которого грудились солдаты и офицеры, чтобы под выкрики: «Первый батальон! Первая рота!» получить ящики с патронами и гранатами.

Поднимая ящики над головами, солдаты проталкивались от дверей, и, казалось, что белые свежеструганые ящики, отцепляясь от штабеля, как бы выплывали из вагона, но ящики были тяжелые, и солдаты скоро роняли их к ногам и, подхватив за веревочные лямки, несли у земли. Тогда ящики плыли над гравием, как у дна.

- Вторая рота! - крикнули из вагона, и Андрей с Ваняткой вслед за другими подхватили свой ящик.

- Не отоспался за дорогу-то? Я на месяц вперед отоспался. А коль еще проедем, на всю войну выспимся! - спрашивал Андрея и говорил ему на бегу Ванятка.

- Вряд ли. Вряд ли долго еще проедем, - сказал Андрей. - Теперь близко. Боеприпасы дают под конец.

- И впрямь! Еще поспим! - не захотел согласиться Ванятка, но тут паровоз дал гудок, со штабного вагона пропела труба сигналиста, звякнули буфера и сцепки, сразу несколько офицеров крикнули: «По местам! По вагонам!» - и ему с Ваняткой пришлось наддать.

Они и правда отоспались хорошо, потому что ехали двое суток. Начав дорогу от станции Косая Гора в Тульской области, они промчались через Орловскую и катили теперь по Курской, и почти все эти двое суток напропалую спали, вставали только поесть, по нужде или посидеть, чтобы опомниться, возле двери, свесив ноги из вагона. До погрузки у них были всякие марши, ученья с рытьем окопов, стрельбами, атаками и контратаками и вообще все то, чем на пределе живут полки, бригады, дивизии перед отправкой на фронт.

От усталости, от хронического недосыпа они измотались, и, как только, погрузившись, дорвались до нар, а это случилось около полуночи, они так и ткнулись носами в шинели, которые в вагонах служат солдатскими матрасами, и как умерли. Первый день они фактически проспали полностью. Даже офицеры - ротный

и их командир взвода младший лейтенант Бодин - тоже проспал этот день. Видимо, весь эшелон проспал его, разве что кроме караульных. Они спали и второй день, хотя и не так, не как убитые, а полудремя, часто уже просыпаясь, но все-таки не желая расстаться с нарами.

Лишь часов в пять второго дня ротный, осоловело глядя на стрелки и цифры, скомандовал:

- Подъем! Рота, подъем! Кончай сонное царство! Бодин! - взял он тоном выше, - проверить пулеметы! Сальники - на течь! Вычистить оружие, проверить снаряжение! Старшина! Проверить личный состав! Шевелись!

Под этими резкими командами теплушка зашевелилась, задвигалась, и от людей, от оружия, от мешков, из которых солдаты доставали нужные для чистки и смазки паклю, ветошь, масленки, в ней стало тесно. Чтобы не мешать, ротный подобрал ноги и сел на краю нар по-турецки.

Старшина, не дожидаясь остановки, высунулся из двери и крикнул в другие вагоны, где ехали взводы, чтобы там проверили людей.

- Новгородцев! Твой? - обернулся он к Андрею. Андрей нашел глазами Веню Милоградова, Колю Барышева, Ванятку Козлова, Ерофея Сушкова, прозванного Папой Карло, и второй расчет пулеметного взвода - командира отделения Хмелева, Селезнева, Матвеева, Ястремского и Любавина.

- Все налицо, - Андрей был командиром первого отделения и выполнял еще обязанности помощника командира взвода. - Начали! - сказал он пулеметчикам и подкатил пулемет к двери, где лучше было видно.

- Двух нет. Из первого взвода Сарапулова, из третьего Евдокименко, - доложил старшина командиру роты. - Но, может, едут в других вагонах? - предположительно добавил он, как бы отодвигая от этих людей подозрение.

- Может, - кивнул ротный. - Будем надеяться! - Он спрыгнул с нар, потому что зазвонил телефон, связывавший его с командиром батальона. - Да, понял. Есть! Заканчиваем. - Он прикрыл ладонью трубку: - Шевелись с оружием! Шевелись! - и ответил в нее: - Двое. Уточняем. Могут ехать в других вагонах. Один не явился при погрузке. Трое в вашем распоряжении. Налицо?

Он посмотрел на старшину, и тот ему подсказал, а ротный передал в телефон строевку:

- Офицеров пять, старшина один, сержантов двадцать два, рядовых восемьдесят шесть. Ясно. Рота готова. Есть!

И тут как раз звякнули буферные тарелки, и заскрипели их пружины, и захрустели вагоны у разъезда, где надлежало получить боеприпасы и где было так покойно, что щемило душу.

- Аты-латы! - сказал, улыбаясь, Веня, перехватывая у Андрея лямку ящика, а потом подавая ему обе руки. Вместе с Папой Карло и Колей Барышевым он втянул Андрея в вагон. - Аты-латы шли солдаты. Аты-латы по палатам. Аты-латы бородатый, конопатый и еще один с лопатой, - это была Венина любимая поговорка, которую он употреблял и к месту и не к месту и так часто, что его через месяц звали не Милоградов, а Атылатов. - Что, Андрюша, будем набивать ленты?

- Посторонись! - ротный схватил чью-то лопатку и выдернул ее из чехла. - Действовать так! Там у вас, - ротный кивнул неопределенно на дверь, - ни топоров, ни гвоздодеров не будет. А этих ящиков, - он всадил лопатку под крышку, чуть нажал, крышка отошла, - этих ящиков раскрывать и раскрывать! - Ротный ударил кулаком в головку черенка, лопата вошла глубже, ротный дернул черенок вверх, и крышка ящика, скрипнув гвоздями, отошла. - Ясно? - Ребром лопаты ротный стукнул по крышке, крышка стала вертикально, и он наступил на нее сапогом. - И времени на всякие процедуры там не дается. - Еще раз скрипнув гвоздями, крышка легла рядом. Ротный подхватил один из двух цинков с патронами. - Теперь так! - он придавил цинк подошвой, всадил в угол цинка, где начиналась запайка, лопату и, постукивая по черенку кулаком, действуя лопатой, как рычагом, вскрыл цинк. - Видели все? Теперь - ящик вверх дном! - он перевернул ящик, выдернул из цинка штук восемь пачек патронов, содрал с двух промасленную бумагу и скомандовал:

- Ленту! Распрямитель!

Катнув ленту так, что она легла полосой, он бросил ее начало на дно ящика и, став на колени к ящику, всаживая распрямитель в ячейки, растягивал их, и тут же втыкал в ячейки патроны. Он набил так штук сорок и скомандовал:

- Выпрямитель!

Ему дали его, эту тяжелую дубовую с железом штуку, через которую протягивают набитую ленту, подравнивая в ней патроны. Ротный подравнял свои сорок штук и, потянув ленту за хвост, вроде змеи, разъяснил-приказал:

- Только так! На коленях у ящика! Там, - он опять кивнул на дверь, - столов не будет. Там это делается на дне окопа. Под бомбежкой. Или минартобстрелом. Или под тем и другим одновременно. Бодин! Проследить за набивкой лент! Старшина! Все патроны и гранаты на руки. Запалы - ружмастеру. Связные! На остановке - ко взводам. Передать командирам - быть готовыми к выгрузке. Шевелись! Шевелись!

Чтобы не мешать, ротный вспрыгнул на свое место на верхних нарах и, снова сев по-турецки, стал довольно, но в то же время и строго смотреть, как действуют его подчиненные. Встретившись взглядом с Андреем, он кивнул, подтверждая:

- То-то, Новгородцев. Отформировались. Впереди - ночной марш, а дальше...

Ротный махнул неопределенно.

Что будет дальше, Андрей примерно знал: после марша - боевое развертывание, потом бой, одни и те же бои и для него, и для ротного, и для остальных четырех офицеров, для старшины, двадцати двух сержантов и восьмидесяти шести рядовых.

Это было ясно. Жест ротного, видимо, означал, что в общей определенности будущего роты неопределенной в ней была судьба каждого. В том числе судьбы Андрея и ротного.

Это вообще-то тоже было ясно, потому что оба они не были на войне новичками.

- А он - прелесть, - показал глазами на ротного Веня. - Как отлично он все это делал! Какой класс! Профессионал! Военный - это тоже профессия. Военные служат всю жизнь, и если военный делает свое дело отлично, так это тоже красиво. Так, Андрюша? Ты согласен? А? Я...

Барышев выкатил пулемет из-под нар.

- Глянем сальники, а чистить нечего - давеча чистили. Ствол, ясное дело, протрем, смажем чуток, ну и весь глянем, где чо надо, - сказал он Андрею.

- Так ты согласен? - повторил Веня.

- Какой там профессионал! Откуда всю жизнь? - Андрей подтолкнул Веню к скамейке: - Садись. Профессионалов на бригаду, наверное, два-три десятка. И того нет. - Андрей подвинул сапогом коробки с лентами, ящик патронов и сунул Вене ленту: - Начали!

- То есть? - не понял Веня.

- То есть кадровых офицеров. А ротный такой же студизус. Война сказала ему: «Омitemус студия!» Сейчас офицерами воюют учителя, бухгалтеры, агрономы. Воюет народ!

- Все равно он все делал красиво! - Веня расстелил ленту у себя и у Андрея на коленях. Новенькая, из светло-серого крепчайшего льняного полотна, поблескивая медными разделителями, она была похожа на сильную, только сменившую кожу змею. Веня осторожно погладил ленту. - И вообще за эти три месяца столько впечатлений!

Разрывая промасленные пачки, высыпая из них патроны прямо в ящик - так было удобнее их брать, - Андрей подумал: «Настоящие впечатления только начинаются!» - но не сказал этого Вене, а, посмотрев ему в лицо, на котором все светилось: ореховые блестящие глаза, улыбка, свежие после сна с румянцем щеки, высокий чистый лоб, - поторопил:

Темп, темп, Веня! Надо закончить, пока светло.

Им следовало набить все шесть лент, полторы тысячи патронов. На троих приходилось по пятьсот штук. Плюс еще по три магазина к автомату.

Не разделяя восторгов Вени по отношению к ротному, Андрей и не считал, что с ротным им не повезло. Что ж, ротный был не плох, да в армии и не выбирают командиров. Просто должность Андрея во взводе новобранцев приносила ему служебные осложнения.

Ротному было двадцать четыре года, поэтому между ним и молодыми солдатами сохранялись какие-то и ровеснические отношения. Ротный, как и Андрей, попал в бригаду при формировании, тоже пришел в нее из госпиталя, пришел с гвардейским значком, желтой нашивкой за тяжелое ранение и новеньким орденом Красного Знамени. Шрам на левой стороне лба и виске он прикрывал чубчиком, который вился из-под козырька фуражки. Ротный был хоть и невысок, но плечист, его небольшие карие глаза смотрели на все строго, даже властно. Говорили, что он воевал на Волховском фронте, а орден получил на Воронежском. Еще говорили, что родом он из Ростова.

У Андрея тоже был орден Красного Знамени, но старый, без ушка и колодки, на винте, Андрей получил его год назад, а тогда давали еще ордена первого образца.

Этот орден он получил за месячный - конец декабря 1941 - почти весь январь 1942 года - рейд в тыл немцам в составе РДГ - разведдиверсионной группы на Западном фронте. Собственно, и на войне Андрей был не меньше, чем ротный: после тяжелого ранения и госпиталя он попал на Калининский фронт и все лето воевал там, а зиму сорок второго - сорок третьего служил в лыжном батальоне, заброшенном немцам в тыл. Батальон ходил по их тылам до оттепели, то отступая глубоко в леса, когда немцы пытались разделаться с ним, то, сделав бросок километров на сорок, нападал на обозы и колонны немцев, на небольшие их гарнизоны в деревнях или поселках. Батальон вышел к своим, вернее те, кто остался в батальоне, - вышли к своим, когда начались оттепели, и лыжи приходилось днем тащить на себе, хотя ночью, по обледенелой земле или насту, на них еще можно было катиться.

В мае сорок третьего года, после легкого ранения и ГЛРа<sup>1</sup>, он попал в пулеметную школу, а из школы в бригаду, в подчинение этого ротного.

#### <sup>1</sup> ГЛР - госпиталь легкораненых.

Был у Андрея и гвардейский знак, были и ленты за ранения, так что с ротным они по этому счету равнялись. Но Андрей был лишь сержантом, лишь командиром отделения пулеметного взвода, причем отделения, в котором никто, кроме него, не был на фронте, и отделения, всего три месяца вообще служившего в армии. Это

доставляло кучу хлопот, потому что надо было из новобранцев сделать пулеметчиков. А тут еще двое из них никак не входили в солдатскую кожу. Вечно с ними были неприятности, а это означало, что отвечать за них приходилось и Андрею.

Предметом основных забот в отделении был Иван Козлов - Ванятка. Так звал его односельчанин Коля Барышев, так постепенно начали звать его и остальные. Худощавый, большоголовый Ванятка - его голова была вытянута не вверх, а вперед и назад и имела форму дыни, надетую на шею не серединой, а несколько смещенно, так что затылок на ладонь нависал над шеей, - подвижный, просто неугомонный Ванятка совал свой чуть расплюснутый нос во все дырки.

Если Ванятка оставался свободным хоть на полчаса, он мгновенно снаряжался в какое-нибудь путешествие - то шел к ружпарку, то заглядывал в шалаш старшины, то шел в другие роты, даже в другой батальон, то толкался возле артиллеристов, то отирался возле санчасти или штаба, то пропадал неизвестно где, разыскивая земляков.

При неожиданных командах к построению Ванятки вечно не хватало. Это выводило из терпения ротного, и он, посылая на розыски, бросал Андрею: «Объяви ему по дороге два наряда вне очереди». Ванятка получал эти наряды, но они его нисколько не трогали.

- Нас в колхозе каждое утро наряжают то сено косить, то картошку копать, то навоз вывозить. Нас нарядами не испугаешь, - объяснял он, - и чо мне два этих наряда? Мы к работе привыкли. А коль на кухню пошлют, будет два обеда вне очереди.

Чуть зеленоватые глаза Ванятки не горели ни возмущением, ни обидой. Была в них какая-то спокойная усмешка, как если бы Ванятка прожил не восемнадцать лет, а долгую жизнь и узнал в ней уже все.

За Ваняткой нужен был глаз да глаз. На занятиях, особенно общеротных, когда рота слушала какую-нибудь лекцию-политинформацию, казалось бы, среди сотни голов его забубенная головушка должна была бы затеряться. Так нет же, даже корпусной лектор, даже заезжий пропагандист из штаба армии через считанные минуты отделяли Ванятку от остальных, потому что Ванятку как будто что-то жгло - он вертелся, привставал, усаживался то так, то эдак, то вообще устраивался полулежа, вроде бы он был где-то на отдыхе, а не на лекции, и, что хуже всего, корчил рожи. Не то что он делал это нарочно, но так уж у него получалось: если лектор говорил что-то страшное, то Ванятка радовался больше всех, если лектор, взмахнув рукой, призывал к чему-то. Ванятка, повторяя его жесты, беззвучно повторял губами слова.

В конце концов Ванятке приказывали встать и слушать стоя. Этого ему только и было надо. Он, возвышаясь над сотней солдат, горделиво поглядывал на них. Он был доволен собой, теми, кто смотрел и не смотрел на него, лектором и вообще всем происходившим. Видимо, Ванятке всегда хотелось сопрягаться с людьми. Он не мог отдаляться от них и на секунду, ему нужен был постоянный контакт с кем-то, и он искал этого сопряжения с людьми, этого контакта с ними таким вот образом.

На вопрос Андрея, каким Ванятка был в деревне, Барышев ответил:

- А таким же. Каким еще? Оно ведь как? Кто с отметинкой родился, тот со звездинкой и помрет.

Ванятка и за три месяца службы не отучился говорить «ты» каждому, кто был ненамного старше его. Ротному он время от времени отвечал в этой форме.

Первое столкновение с ротным и произошло из-за этого «ты». Ротный, знакомясь с пулеметным взводом, обратил, конечно же, внимание на Ванятку, как всегда вертевшегося, выглядывавшего из-за спины Барышева - Барышев по боевому расчету стоял перед ним. И ротный строго спросил:

- Как твоя фамилия?

- Козлов! - ответил Ванятка. - А твоя? - добавил он.

Ротный назвал, но для начала разъяснил:

- К старшим надо обращаться на «вы».

- А на сколь ты старше? - возразил Ванятка.

- Старший в армии не тот, кто старше возрастом, а кто старше по званию. Уставы надо учить, - резко сказал ротный.

На Ванятку этот тон не подействовал.

- Учил, - сообщил он. - И вроде бы там не пишется, что младшему нужно говорить «ты».

Ротный не затаил на Ванятку зла - ротный скоро, как и все, понял, что Ванятка такой уж задался, что быстро Ванятку не переделать, что армейский быт сам стешет с него забубенность, мальчишескую непосредственность, нужно только время. Но если Ванятка подвертывался ротному под руку, ротный помогал времени и армейскому быту быстрее сделать из Ванятки солдата. Это означало, что по приказу ротного Андрей должен был учить Ванятку строевому шагу, наблюдать, как Ванятка чистит оружие, тренировать быстро рыть окоп для пулемета, делать перебежки, надевать и снимать противогаз и тому подобное.

Папа Карло относился к Ванятке крайне неодобрительно: не нравились Папе Карло Ваняткина заплешность, расхристанность.

Сам Папа Карло был человеком сдержанным, неторопливым и немногословным. Возможно, таким сделала его профессия: как выяснилось, он с юности работал на скотобойне, а подобное занятие не способствует формированию беспечного характера.

Слушая, как Ванятка несет околесицу, Папа Карло осуждающе поджимал губы:

- Проку от него не будет - парень без царя в голове.

Иногда, чтобы остановить Ванятку, он перебивал его провокационным способом:

- Глянь-ка, глянь-ка, Ванятка! - Несколько раз Ванятка ловился на удочку, смотрел, куда Папа Карло тычет пальцем, в этих случаях Папа Карло насмешливо договаривал: - Глянь-ка, Ванька, голопуп лятить!

Заботой Андрея был и Веня. Веня тоже любил поспорить с ротным и на свой лад «не почитал» начальства, из-за чего Андрею приходилось не раз выслушивать замечания.

Например, когда ротный ошибался, командуя: «Атылатов! Ко мне!» вместо: «Милоградов! Ко мне!»,- Веня делал вид, что это его не касается, больше того, Веня отправлялся вроде бы по своим делам. Ротный секунду смотрел растерянно, потом поправлялся: «Милоградов!» И тогда Веня, печатая шаг, вскинув не без шика ладонь к пилотке, безвинно глядя своими ореховыми глазами, докладывал, что он явился, нисколько не сердится на забывчивость ротного, хотя он его и удивляет, и просит разрешения дать ротному совет заняться памятью. Ротный строго оглядывал Веню...

Ротный был в двойственной позиции. С одной стороны, он не должен был позволять Вене - как и любому другому солдату - возражать ему, в данном случае начальству. В армии непозволительно пререкаться с командиром, тем более учить его уму-разуму, с другой же стороны, и ротный знал, что Веня был хорош, честен, не нахал и службу нес без хныканья. Больше того, Веня поддерживал настроение взвода, как будто его светлое лицо и светило другим и грело их. Там, где был Веня, там, где сияла его улыбка, там настроение было нормальным, даже если люди устали. Веня как-то сдерживал в других злость, брань, отчаяние, как-то удерживал людей в человеческом качестве.

Андрей служил третий год, повидал всяких офицеров, а уж о рядовых и сержантах говорить нечего. Он не раз советовал Вене не задираться, но Веня только улыбался и спрашивал: «А что он сделает? Ничего не делает. Душа у него человеческая. У нас в доме бывало много гостей, знакомых отца - всю жизнь их было много, тоже архитекторы, строители, инженеры... Да и у матери было немало ее знакомых артисток и вообще... Так вот, ведь человека же видно - хорош ли он или плох, и в чем плох. Наш командир совсем неплох...» - убежденно заявлял Веня и, как бы радуясь сам этому, светился опять своей нежной улыбкой.

Переубедить Веню было невозможно, а когда Андрей начинал сердиться, Веня лез к нему обниматься и, смеясь, говорил:

- Ну и что, что сколачивается рота? Ну и что, что он наш командир? Он такой же человек, и мы все люди... Все будет хорошо, все, Андрюша, будет хорошо! Вот увидишь!

Но теперь эти сложности быта на формировке, теперь, перед выгрузкой и маршем к фронту, не имели никакого значения. Все начинало измеряться по другой системе отсчета, по системе, в которой полюсами были жизнь человека и смерть человека.

Эта система, вступив в действие по команде: «Получить боеприпасы!», вошла в вагон с ящиками патронов и гранат.

Их в вагоне было двадцать три - десять пулеметчиков, ротный, его ординарец, Бодин, старшина, санинструктор, два снайпера, писарь, ружейный мастер, три связных от взводов и телефонист от комбата. Кроме пулеметных патронов и гранат они получили и автоматные патроны, которые годились и к пистолетам «ТТ». Пистолетами были вооружены офицеры, санинструктор и оба наводчика пулеметов.

Расположившись на нарах и на полу, все в вагоне набивали патроны в ленты, в магазины к автоматам и пистолетам. Дело подвигалось, потому что снайперы, набив обоймы, по команде ротного стали помогать пулеметчикам, а потом ротный приказал помогать набивать ленты и связному, и писарю, и ружьему мастеру. Осталось набить какую-то сотню патронов, когда, словно треснула крыша, рванула воздух короткая автоматная очередь, отчего сразу же завоняло жженым порохом.

Внутренне ахнув, все замерли и секунду, две, а может, и больше, не шевелились, только скосив или подняв глаза на того, кто стрелял, - на Васильева, связного от второго взвода, свесив нога, Васильев сидел на верхних нарах напротив ротного, держа чуть дымящийся еще автомат.

На лице Васильева были ужас и удивление, и он был бледен, как простыня. Его округлившиеся глаза не мигая смотрели перед собой, а рот у Васильева был полуоткрыт и губы дрожали.

- Живы все? - крикнул ротный, слетая с нар и в два прыжка добегая до Васильева. - Что ж ты! Что ж ты!.. - крикнул ротный, рванув у Васильева автомат и швыряя Васильева на пол. - Ты!.. Новгородцев! - Андрей перехватил у ротного автомат, а ротный, схватив другой рукой Васильева за ворот гимнастерки, вздернул его с пола на ноги и, задыхаясь от гнева, не находя слов, только зашептал ему: - Что же ты, гаденыш, что ж ты делаешь, гаденыш!

Но тут застонал Веня Милоградов.

Все обернулись к нему.

Согнувшись на один бок, словно бы отодвигаясь от раны, Веня держал на весу левую руку, на которой возле дырочки от пули уже чуть намок рукав.

Лицо у Вени было растерянным.

Васильев мог наделать дел похуже, и это остро вдруг поняли все, и загалдели, и заорали на него:

- Дурак!

- Осел!

- Ты что? С ума сошел?

- Дать ему, гаду!

- Он убил бы!..

- Еще до фронта! - и прочее такое же.

Ванятка, сорвавшись со своего места, подскочил к Васильеву, который тут же шмыгнул за спину ротного. Но Ванятка изловчился а дал Васильеву по уху.

- Я тебе сейчас!.. - крикнул Ванятка.

Ротный, оттолкнув Ванятку, рывкнул ему:

- Отставить! Не смей! - И приказал Васильеву: - Под нары! Ну!

Васильев, выпятив обтянутый брюками зад, полез под нары. Несмотря на приказ ротного «Не смей!», несмотря на то, что ротный загораживал Васильева, Ванятка изловчился еще раз и поддал ему в этот обтянутый брюками зад.

- Вот ведь, а! - глаза Ванятки горели от гнева, он даже раскраснелся.

Андрей крикнул санинструктору:

- Чего стоишь? Не видишь? - Нажав на защелку, Андрей выбил магазин из автомата и, сунув автомат и магазин старшине, подскочил к Вени и расстегнул пуговицы на рукаве. - Режь! - приказал он санинструктору, и тот, дернув ножницы из сумки, располосовал рукав до плеча. На руке под сбегающей вниз кровью угадывалось входное отверстие, и, пока санинструктор торопливо распечатывал санпакет, Андрей, осторожно держа Венину руку, присел под нее и посмотрел - нет ли выходного отверстия? Оно было, оно тоже хорошо угадывалось под сбегающей к локтю красной стружкой.



Андрей быстро заговорил:

- Это ничего! Ничего, Веня! Сквозное, а когда сквозное - то хорошо: не надо пулю доставать! И, кажется, кость не задета, а если она не задета, значит, быстро заживет. Увидишь, как быстро заживет.

Веня, уцепившись здоровой рукой за ремень Андрея, сидел опустив голову, закрыв глаза, морщась, когда бинт ложился на рану, и соглашался:

- Конечно, заживет. Почему не заживет? Но как все нелепо! Я только увидел, как он опустил, я еще хотел сказать: «Осторожней! Не направляй на нас!» А если бы... Хорошо, что еще так, что только в меня...

Ротный доложил по телефону, что у него ЧП.

- Уже под арестом, - ответил он. - Строевку исправьте на минус один рядовой. На остановке отправим в санвагон.

Происшествие это было, конечно, чрезвычайным. Оно подлежало расследованию, грозило неприятностями ротному и комбату. Чрезвычайное в дисциплинарном понимании, по сути своей оно было в то же время и естественным. Оружие было в руках миллионов, и каждый, кто держал его, действовал с ним - заряжал, стрелял, разряжал - многократно. Из миллионов кто-то мог один раз ошибиться, небрежничать, и оружие мгновенно действовало или против ошибившегося, или против тех, кто был поблизости. Так рождались случайные выстрелы, взрывы запалов, мин. Оружие требовало предельной внимательности, и за небрежение осторожностью - мстило.

На них, на каждое пулеметное отделение, приходилось теперь килограммов двести груза. Для марша это было неподъемно, и ротный приказал Бодину погрузить вместе с кое-каким имуществом коробки пулеметов на машину, которая тащила кухню. Бодин был назначен двигаться с кухней, и это было для расчета настоящим облегчением.

Еще ротный приказал Васильеву идти с ними.

- Под станок его, мерзавца! - добавил ротный. - На всю ночь! - Пулеметный станок в их имуществе весил больше всего - тридцать два килограмма, два пуда. Его несли на спине, всунув голову под хобот, так что хобот изламывался и изломом ложился на плечи. Сочленение хобота и станка давило на ключицы, тащить станок было не просто тяжело, а и больно. Чтобы станок не так давил, под него надевалась наподобие хомута скатка. Это прибавляло еще несколько килограммов веса и муку от жары: под скаткой спина, плечи и грудь жутко потели. Словом, тащить пулемет «Максим» в долгом походе было куда как не просто, если еще учесть, что пулеметчики не имели права отставать от стрелков, топавших с винтовками и автоматами.

Все знали это, они прошли не один десяток километров учебных маршей и как-то втянулись, но все-таки они все обрадовались, когда ротный приказал Васильеву идти с ними.

- Бить не смей! Ясно? - предупредил ротный. - Иначе - накажу!

- Да пошел он, чтоб об него руки марать! - согласился Ванятка. - Вон и Веня-то сказал - не замать.

Веня и правда, когда его отводили в санитарный вагон, сказал Андрею и всем остальным о Васильеве:

- Не трогайте его, ребята. Он же не хотел. Получилось случайно. Не трогайте, я прошу, - повторил он.

Но ротный, заглянув под кары, процедил презрительно:

- Случайно! Он мог положить несколько человек. Вылезай, гаденыш!

Когда раскрыли магазин от автомата Васильева, в магазине оказалось шестьдесят восемь патронов, а должен был быть семьдесят один. Васильев выстрелил три. К счастью, из трех пуль только одна попала в человека, в Веню. Вторая разбила в вещмешке Барышева банку с медом, а последняя отщепила кусочек от приклада винтовки снайпера, которая висела на стене вагона, но ни прицел, ничего остального в винтовке не повредила. Ружмастер тут же подрезал приклад, подпилил его рашпилем, зачистил шкуркой, и винтовка была готова к бою.

Ротный предупредил Васильева:

- До утра от Новгородцева ни на шаг! Если что вздумаешь - найду и сразу под суд. - Что ж, по законам военного времени, да еще во фронтовой полосе, да еще после того, что сделал Васильев, угроза ротного не звучала пустыми словами. - А так, может, и обойдется. Но впредь - гляди у меня. Если в бою струсишь - пощадь не жди!

Рота стояла, как и все остальные роты из эшелона, по обратную от открытых дверей сторону. В вагоны теперь, в темноте, на ощупь грузили раненых из подходивших откуда-то из ночи машин. Раненые стонали, просили поаккуратней быть с ними, иногда матерились от поспешности или неловкости санитаров, которые

причиняли им боль, но санитары только хрипло дышали, лишь изредка переговариваясь да еще реже уговаривая раненых.

- Этого наверх.

- Подняли.

- Занесли тот край. Так, хорошо.

- Принимай, принимай.

- Принял.

- Взяли! Дружно!

- Так, хорошо.

- Ничо, ничо! Потерпи. Теперь малость осталось - до глубокого тыла. Давай следующего.

- С ногами, что ль?

- Да хоть с ногами. Давай, поторапливайсь!

Андрей, стоя в строю, прислушиваясь к командам и разговорам офицеров, слышал и то, что происходило по ту сторону вагона. Эти раненые больше не годились для войны с немцами - одни временно, другие навсегда. Эти раненые прошли свой круг - формирование, учебу, дорогу к фронту, бои, ранения, медсанбаты - и теперь находились на конце круга, где были санлетучки, санпоезда, госпиталя. Теперь ему вместе с его товарищами надо было, только начав этот круг, вступить в ту его часть, которая будет служить последним звеном перед такой вот ночной погрузкой под слова санитаров, либо последним звеном в жизни. Как для тех, которые не вышли оттуда, откуда вышли эти раненые.

- Командирам рот проверить людей, приготовиться к движению и доложить! - услышал Андрей далекую команду комбата и через некоторое время - своего ротного: -...в составе ста четырнадцати человек готова к движению...

«Значит, один все-таки отстал, - подумал Андрей. - И Веня. Это вообще немного».

Что ж, это и правда было немного.

Сто четырнадцать человек составляли полнокровную роту, а до фронта было уже рукой подать: далеко на западе можно было рассмотреть чуть заметный - серый с такого расстояния - ответ ракет.

- На-пра-во! - услышал он команду комбата. - Походной колонной!.. Направляющая первая рота!

- Направляющий первый взвод! - отдал свой приказ ротный. - Шагом марш!

Они шли по песчаной дороге, в темноте, под неяркими звездами, вытянувшись в длинную колонну. Шли молча - через полчаса все разговоры затихли, - лишь хрустя по песку сапогами и ботинками. Было не жарко, чуть поддувал ветерок, дорога тянулась недалеко от леса. Когда она приближалась к нему, пахло нагретой за день хвоей, лесной травой, земляникой и было слышно, как где-то в лесу бесстрашно ухал филин.

В самом начале марша их обогнали штабные, санитарные, хозяйственные машины. С санитарной машины Веня, проезжая мимо батальона, спрашивал: «Какая рота? Какая рота?» В темноте на ходу ему, конечно, было невозможно разобрать, кто идет, кого он обгоняет, и Андрей откликнулся:

- Мы здесь! Здесь, Веня!

- Я с вами, ребята! - крикнул Веня. - Счастливого пути! Скоро увидимся! Аты-латы! Никому не отдавайте мой автомат! Аты-латы шли в санбат мы!

- Ладно! - ответил ему Андрей, различив все-таки, как Веня перегнулся через борт, вглядываясь в идущих. - Не отдадим.

- Пока! Лечись как следует! - крикнул запоздало Ванятка. - Васильев под станком! На всю ночь! Приходи в гости! Покед-ва!

- Отставить разговоры! - приказал ротный. - Не растягивайсь!

Ванятка прибавил, когда крикнул, что Васильев на всю ночь под станком. Из их расчета, пожалуй, всю ночь могли тащить станок только Коля Барышев да сам Андрей. Еще до первого привала Васильев тяжело задышал, но после привала они его все-таки не сменили. По команде «Приготовиться к движению!» Ванятка и Коля Барышев подняли станок, Васильев снова влез в хомут, и они опять пошли. На середине Васильев раскис. Он тянулся в хвосте взвода, отставал, а когда Барышев, оглядываясь, прикрикивал на него, он тяжело пробежал десяток-другой шагов. Выбившись из сил, он начал жаловаться.

- Ребята, больше не могу. Пупок развязывается! Сейчас упаду...

- Я тебе упаду! Только упади! Как стрелять по своим, так можешь! Можешь? - напоминал ему Ванятка. - На всю ночь! И не проси сменку! Ясно? - добавлял он по-командирски.

Андрей шел впереди Васильева, неся одной рукой на поясном ремне переброшенный за спину пулеметный щит, придерживая другой рукой автомат, который висел у него на плече. Он слышал, как жаловался Васильев и что говорил Ванятка, и улыбался в темноте. Ко когда Васильев застонал, Андрей приказал:

- Смена! Бери, Ваня, - они подхватили станок за колеса, приподняли его, и Васильев, словно вынырнув из глубины, вздохнул:

- О-о-о-у-у-у. И тяжелый же, черт!

- Папа Карло! - позвал Андрей, не сбавляя шага.

В начале марша, пока у всех силы только начали тратиться, надо было под станок ставить тех, кто послабей: Папу Карло и Ванятку, оставляя себя и Барышева на второй десятке километров. Он перехватил у Папы Карло автомат, Папа Карло, сдвинув скатку как хомут, нырнул под хобот. Андрей и Ванятка отпустили станок, Папа Карло крикнул под ним и сказал Васильеву:

- Есть три сорта человеческих отношений. Первый - один за всех, все за одного. Второй - каждый за себя и третий - каждый против всех. Понятно, парень?

Расчеты к пулеметам ротный подбирал сам, и под команду Андрея попали наводчиком Коля Барышев, вторым номером Ваня Козлов, а подносчиками Веня Милоградов и Ерофей Сушков, бывший работник скотобойни. От Вени в дни знакомства он получил имя Папы Карло. Папа Карло был крайне нескладен: длинный, худой, с длинной морщинистой, словно она была в заживших порезах, шеей, на которой болталась маленькая голова с оттопыренными ушами и невысоким лбом. Но из-под этого лба, из-под почти безволосых надбровных дуг выглядывали маленькие мудрые глазки. Лицо Папы Карло было в склеротических жилках, мешочках, над бескровной узкой верхней губой нависал длинный, вытянутый к губе нос, тоже в склеротических жилках, а подбородок кончался сразу же под нижней губой, уходя к морщинистому горлу.

Папа Карло был философом, видимо, его профессия сформировала в нем философский подход к жизни. Он воспринимал все, как свыше данное, никогда не роптал, выполнял безмолвно все приказы, тянул не ретиво, но и без внутреннего сопротивления солдатскую ляжку, придя к выводу: «Ничего тут не попишешь. Война! Весь народ воюет! Сейчас челоуцы суть солдаты, и вся недолга! Многожды так было!»

- Тут-ка мы живем по первому сорту: один за всех, все за одного, - разъяснил Папа Карло Васильеву. - И коль ты с нами, не выпускай этого из головы. Расправь скатку под осью. Чуть левей. Ага. Сейчас хорошо легла. А то по хребту стукала.

Из шестидесяти шести килограммов «Максима» девятнадцать приходилось на тело пулемета, и его надлежало нести с особой осторожностью. На всех коротких маршах Коля Барышев нес его сам, опасаясь, что его могут стукнуть, погнуть прицел, сбить мушку, испортить механизм вертикальной наводки или повредить еще что-то. И сейчас он не отдал тело Ванятке, лишь сунул ему автомат Папы Карло, приказал Васильеву взять запасные стволы, инструмент и выпрямитель.

- Помалкуй! - не дал он ему ничего возразить, и Васильев, еще не опомнившись от станка, поволок всю эту снасть, бормоча:

- Нагрузились, как Ной перед потопом!

- Эх, деревяня! - опять засмеялся над ним Ванятка, передразнивая его. - Нагрузились... Как Ной... Ты что думал, пулеметчики это только так? Только почет да красота?

- Ничего я не думал... - начал было Васильев. Но Коля остановил их: - Помалкуй, ребята. Чего зря языком молоть?

Коля Барышев, молчаливый, коренастый, деловитый Коля как бы уравнивал вечно говорящего, дергающегося Ванятку, своего дружка и земляка. Коля был из тех сноровистых людей, которые в любых обстоятельствах находят наиболее разумное решение и, найдя его, сразу же приступают к делу.

Коля не знал, что такое праздность. Просто ничего не делать он не мог: вечно ему надо было чем-то заниматься, а если вдруг занятия не находилось, то Коля спал, считая, видимо, что коль нет работы, значит, надо спать.

Главным предметом его нынешних забот был их «Максим»: свежезеленый, без единой царапины. Они получали все ротное оружие в один день, на складе, прямо в заводских ящиках. Оружие было новейшим, с пристрелочными картами, с полным комплектом приборов для ухода за ним, чехлами, ремнями, всем остальным, что полагалось к нему. Коля Барышев на курсах пулеметчиков имел дело со старенькими, изношенными «Максимами», некоторые из них были времен первой мировой войны, хотя как учебные они вполне годились для бесчисленных разборок и сборок. А тут из крепкого березового ящика, который он сам и вскрыл,

Коля осторожно, словно что-то взрывающееся, поочередно извлек разобранный «Максим», все части его, завернутые в бумагу, щедрейшим образом - храни хоть годы! - смазанные.

Когда смазка была смыта, все детали протерты и пулемет собран, он так и засиял и приобрел даже что-то от живого, сильного, свирепого, коротконового зверя. Казалось, он может сам вдруг покатиться и, подминая под окованные сталью маленькие колеса траву, раздвигая тупым рылом, на котором надульник был как нос, кусты, убежать в лес...

И этого тупорылого, приземистого зверя обихаживало пять человек: два крестьянских парня - Ванятка и Барышев, интеллигентный юноша Веня из Москвы, философ-самоучка Папа Карло и он, Андрей Новгородцев, в довоенном прошлом студент с двумя законченными курсами историко-архивного института и плюс спортсмен-двоеборец: лыжи и стрельба из винтовки с разных дистанций, теперь командир пулеметного отделения, которое прибывает на Второй Украинский.

Ротный, прикоснувшись кончиком сапога к кожуху, словно почесав пулемету горло, строго сказал Барышеву:

- Он стоит трех минометов. Это - первое. Второе: он должен работать не как часы, а как хронометр. Третье: пока пулемет исправен, есть патроны и за пулеметом лежат не труссы, рота сохраняет боеспособность в любых обстоятельствах. И четвертое: за пулемет отвечают головами и командир отделения, и наводчик, и вообще весь расчет!

Ротный посмотрел на всех их поочередно, дабы каждый из них проникся глубиной сказанного, и сжал губы, отчего его тяжелый подбородок, с ямкой посередине, еще больше раздвоился.

- Ясно? Строевой шаг кончился. Вот-вот поедem бить фрицев. И любой приказ там...

- Должен быть выполнен безоговорочно, точно и в срок! - как эхо подхватил Ваня цитату из боевого устава. Он выпалил это с полной серьезностью и даже с каким-то воодушевлением. - В случае же попытки подчиненного к невыполнению, командир обязан применить все меры вплоть...

Ротный поднял ладонь: ясно, знаешь, после «меры» шло: «вплоть до применения оружия...», подошел к Ванятке и предупредил:

- Нарядов и гауптвахты там нет. Там разгильдяев перевоспитывают в штрафбате!

- Да что это вы, товарищ старший... товарищ гвардии старший лейтенант!

Разговор шел вне строя, так сказать, приватный был разговор - отделение занималось пулеметом, когда ротный подошел.

После команды Андрея: «Отделение, смирно!» он сразу же дал команду: «Вольно! Продолжайте!», и они продолжали заниматься пулеметом, поэтому ситуация была такова, что разговор получался не официальный, не по уставу: старший и младшие, а как бы доверительный, откровенный, человеческий, что ли, разговор получался, и это дало право Папе Карло и возражать:

- Да что это вы, товарищ гвардии старший лейтенант! - Папа Карло даже как-то скорбно посмотрел в лицо ротного: на широкий лоб, в небольшие глаза и на этот раздвоенный подбородок. - На смерть же едем! А вы... Штрафбат... Пугаете, что ли, вы нас? Эх!..

Папа Карло наклонил и затряс свою стриженную наголо, как у всех, но совсем-совсем поседевшую голову, как бы этим трясением не позволяя мысли о том, что ротный их действительно пугает, укорениться в ней.

- Эх! - передразнил его ротный и, в один прыжок оказавшись вплотную к Папе Карло, приказал: - Голову вверх. Смотреть на меня!

Ротный принял стойку «смирно!» - каблуки вместе, носки врозь на ширину ружейного приклада, руки вдоль бедер, кулаки сжаты, большие пальцы на брючных швах, локти прижаты к туловищу, плечи развернуты, голова прямо, подбородок чуть приподнят.

Ладный был ротный - начищенные сапоги, брюки по размеру, гимнастерочка, облегающая выпуклую грудь, фуражка с малиновым околышком на крепкой и крупной голове.

А вот Папа Карло смотрелся неважнецки, расхристанно смотрелся Папа Карло: пилотка потеряла форму, расплылась и съезжала ему на поросшие волосами уши, из непомерно широкого ворота торчала морщинистая шея, сама гимнастерка, с разводами от пота, висела на узких плечах бесформенно, широкие брюки, взятые на животе ремнем в боры, свисали с петушиного зада, обмотки подчеркивали тонкость ног, а громадные ботинки - громадность же стопы.

- Соберись. Оправьсь! - приказал ротный и ловко одернул складки гимнастерки Папы Карло, затянул ему сразу через три дырки брезентовый пояс, поправил пилотку.



Папа Карло было страдальчески завел глаза, так что ползрочка ушло под веки, и Папа Карло, казалось, вдруг ослеп, он было прошептал: «О, господи!», но ротный прикрикнул на него:

- Подберись! Рядовой Сушков! Подберись!

И Папа Карло подобрался: носки на ширину приклада, плечи развернуты, бескровные губы сжаты, а зрачки выпали из-под век.

Тогда ротный ему выдал:

- Не те слова сказал ты, рядовой Сушков. Не те! - ротный быстро повернул голову влево, как если бы ожидал возражений и со стороны. Но возражать, конечно, ему никто не собирался. Ротный вдруг положил руку на плечо Папы Карло. Папа Карло растерянно поднял брови. Но ротный не заметил этой растерянности.

- Не то ты сказал, отец! Не то! Не на смерть мы едем! - ротный снова быстро посмотрел по сторонам - поочередно в глаза всем. - Мы едем за победой! - Папа Карло вдохнул, собираясь что-то сказать, но ротный продолжал: - Да, да! За победой! Хватит, наша берет. Выстояли! Выстрадали, а выстояли - так надо же к концу! Выбить этих вонючих фрицев с нашей земли. Выбить и добить!

Сжимая плечо Папы Карло, ротный опять оглядел всех:

- Всем ясно? За победой! Выбить и добить!

Он разжал ладонь, уронил руку от Папы Карло и, как-то передернувшись, как если бы ему вдруг стало зябко, как-то по-мальчишески подняв плечи и втянув в них шею и голову - плечи его почти касались ушей, - сказал тише:

- Но уж если и смерть... - он опять передернулся, - смерть принять придется, так война... Так святая война, а на войне...

Ему вдруг пришла в голову другая мысль:

- И если костями усыпаны там, - ротный показал на запад, - наши поля и леса, так в этом моей, его, - он кивнул на Андрея, - вины нет. Ясно, Сушков? Ты, ты тоже! - воздай за эти истлевшие кости. За сирот да вдов. За все. Ясно, Сушков?

- Ясно, - Папа Карло, смигнув и раз, и два, и три, повторил тверже: - Ясно, товарищ гвардии старший лейтенант. Им до Углича уже было рукой подать! А мы - углические.

- То-то! - согласился ротный. Подходя к каждому, он клал руку на плечо Барышеву, Ванятке, заглядывал им в глаза, повторяя: «То-то! Кто, кроме нас, их выгонит и добьет, кто, кроме нас, таких, как мы? Дети? Женщины? Старики? То-то, ребята!» - кивнул Андрею, как давно уяснившему все это, потом козырнул всем: - Вольно. Продолжайте, - и пошел себе не торопясь, сорвав травинку, пожевавывая ее.

Коля Барышев пекся о «Максиме», потому что его хозяйственная душа не могла относиться с небрежением к такой новой, так ловко сработанной, точной и сложной вещи. Он то и дело протирал бронзовый лафет и вертлюг, механизмы наводки, патронный приемник.

- Да будет тебе муслить его! - не раз говорил ему Ванятка, но Коля делал вид, что не замечает этих слов или миролюбиво отвечал:

- Еще маленько. Ну-кась дай тряпичку почище. Вот тут еще маленько, вот тут. И вот тут. Вроде бы все, - говорил Коля, но тер пулемет еще полчаса.

Важнейшую для замка запасную боевую пружину Коля носил, завернув в тряпицу, в нагрудном кармане, считая, что там она будет и целей, и всегда под рукой.

По боевому расчету Коля стоял перед пулеметом, чуть слева от него, и Андрей - он стоял впереди всех, - оборачиваясь, не раз видел: Коля стоит так, что может голенью прикоснуться к пулемету, словно пассажир на вокзале с чемоданами у ног, как будто Коля опасался, что пулемет могут увести.

Андрей был доволен, что Коля попал к нему в отделение. Хозяйственность Коли была очень полезна для отделения. Коля не терпел, когда кто-нибудь при чистке пулемета тратил излишне ветошь, проливал щелочь и масло, оставлял брошенными тряпки. Коля говорил: «Ну, ребята, накулемили вы тут, однако. Прибрушку сделать надо. Люди-то чо скажут? Грязнота жила здесь. Ну-ка, дружно!» - командовал он и первым брался за уборку.

Зная лес, как свой дом, Коля приносил из него грибы, ягоды, орехи, находя их там, где другой бы ничего не нашел. Припрятав на кухне несколько картофелин и луковиц, он варил грибы с ними и еще с какими-то корешками, разложив за соснами недалеко от лагеря небольшой, но жаркий и бездымный костерок, над которым на рогулях подвешивал пару котелков. За какие-то полчаса он сварганивал такой суп, от которого невозможно было оторваться.

- Ешьте, ешьте, ребята, - говорил он, пропуская свою очередь черпать из котелка.

Однажды он нашел дупло с дикими пчелами и, соорудив из куска марли, добытой в санчасти, маску, выкурил их с помощью горячей бересты, перемешанной с хвоей. Он взял две трети меду, пояснив, что время к осени, и пчелы не смогут собрать до холодов нужный им запас.

Папа Карло страдал ишиасом. Бывали дни, когда он пластом лежал на животе. В один из таких дней Коля, капнув во фляжку меду, затолкал ее по горлышко в муравейник. Громадные злые рыжие муравьи устремились во фляжку сотнями. Коля дал им накопиться, добавив туда воды, подогрел фляжку и этой муравьиной кашей натер Папе Карло ягодицы, низ спины, закутал в две шинели, а потом напоил каким-то отваром. Папа Карло, спеленутый, как кукла, лежал в шалаше, обливаясь потом. Утром, еще не вставая, он начал было заранее охать, но вдруг, встав, замолк. Ишиас лишь напоминал о себе. Вечером Коля повторил натирание, безжалостно давя на пояснице Папы Карло муравьев, и через день Папа Карло забыл, где и болело.

- Подыми, подыми-ка голову, слышь, Васильев. Тебе говорят - подыми голову, - сказал Папа Карло. Станок давил Папе Карло на грудь, и говорил он с трудом, но все-таки жестко и властно.

- Ну и чего? Ну поднял, - откликнулся Васильев.

- Что там увидел?

- Ничего. А что там должно быть? И луны нет. Нарождается.

- Сияли в небе звезды и до нас, - тише и немного торжественно заявил из-под станка Папа Карло. - Значит, и до тебя тоже, - разъяснил он. - И после тебя будут. Миллион лет. То-то. Ты хоть что-нибудь понял?

- Это тебе не по своим палить! - поддержал его Ванятка.

- Ну будя, будя вам, ребята, - снова включился Барышев. - Как на посиделках! А ходу еще сколько, конца не видать. Собьете дых.

Андрей усмехался в темноте, не вмешиваясь в этот как будто ни о чем разговор. Чего было вмешиваться, когда все эти разговоры были обыденными, как серый хлеб, который им давали, или махорочные самокрутки.

Они шли всю ночь, делая короткие привалы, шли, механически переставляя ноги, в полудреме, сквозь которую пробивались отрывочные мысли, связанные больше всего с воспоминаниями о прошлом. Они шли всю ночь, а когда засерело, свернули в лес, получили приказ маскироваться, замаскировались, а потом ткнулись кто под сосну, кто под куст и как упали в тяжелый, без сновидений сон, сунув оружие под бок или прикрыв его рукой.

В бой они вступили через сутки. Ночью на передовой они сменили какую-то потрепанную часть, сбили немцев с обороны и без очень тяжелых боев пошли все дальше на запад.

Кончалась Левобережная Украина.

Бои в авангарде, преследование отходивших немцев, атаки узлов сопротивления, бомбежки и обстрелы немцев, отдых во втором эшелоне - через все это рота Андрея прошла, потеряв за месяц сравнительно немного людей - человек тридцать пять.

- Ничего, - говорил ротный. - Главное какой держим темп! Так мы скоро и до Днепра допрыгнем.

В отделение вернулся Веня. Он пришел как-то под вечер, заявив: - Аты-латы, аты-латы! Из противного санбата возвращаются солдаты?

Веня был рад, лицо его, округлившееся от санбатской еды, ничегонеделания, светилось еще больше - Веня был отмытым, отоспавшимся, совсем не похожим на них. За месяц боев, наступления, они все, даже их старшина, даже санинструктор, как бы усохли от солнца, от ветра, от неба, которое все двадцать четыре часа суток было над ними. Кожа на их лицах, руках, на груди почернела, обветрилась, огрубела. В каждом из них не осталось ни жиринки, тело состояло из костей, жил и твердых, как дерево, мускулов.

Но все были живы и целы - судьба пулеметчиков миловала.

Вокруг Вени столпились, рассматривали его, тыкали в живот и бока пальцами, восхищаясь его упитанностью и чистотой.

А Веня ежился от щекотки и смеялся:

- Да что я вам? Поросенок?

Он смотрел на них и с радостью, и с завистью: на их медали, только что выданные во втором эшелоне - Андрей, Коля Барышев, наводчик второго пулемета отхватили «За отвагу», Ванятке же и Папе Карло дали «За боевые заслуги», - на их выцветшие, просоленные потом гимнастерки, на чиненные на коленях брюки, на порыжевшую разбитую обувь.

- Ах, ребята, ребята! Я скучал без вас, - признался Веня. -

Хорошо, хоть за месяц зажила. - Он потрогал руку там, где под рукавом еще обозначалась не очень толстая повязка. - Ах, ребята, ребята!

Улучив минутку, когда рядом больше никого не было, Веня стеснительно достал из кармана нашивку за легкое ранение.

- Мне в санбате дали, но я думаю... - он застенчиво посмотрел Андрею в лицо, как бы ища в нем продолжения для фразы: - Я думаю, что это же было не на фронте и не от немцев же... Как же мне нашивать? А мне говорят - нашивай.

- Кто говорит?

Щеки Вени зарделись, он стал разглядывать нашивку, перевернул ее изнанкой, как бы изучая швы.

- Ну... Ну дали... Ну... Ну, говорит, пришивай. В прифронтовой ведь полосе... Девушка одна... Медсестра, - Веня покраснел совершенно.

- Ага! - Андрей заговорщицки улыбнулся. - Роман? Мужественный раненый юноша, чуткая, тонко чувствующая медсестра...

- Нет! Нет,- жарко возразил Веня. - Не подумай чего-нибудь такого. Просто... просто там милые люди. Они приглашали заходить.

Я обещал...

- Спрячь, - сказал Андрей насчет нашивки. - Перед ребятами будет нечестно. Другое дело в тылу: кто знает, как ты был ранен. А здесь знают.

Веня с готовностью спрятал нашивку.

- Пожалуй. И как я сам не додумался. Просто стыдно. Стыд и срам...- Веня сокрушенно закачал головой.

- И второе. Помни, самовольная отлучка на фронте сроком более двух часов для солдат и сержантов за пределы КП батальона считается дезертирством. А санбат за КП бригады! Обдумай это.

- Но я обещал,- Веня сердито засопел. - Если человек обещает...

- Только ходу туда и обратно больше двух часов. Такси здесь нет.

Веня сопел все тише.

- Что же делать? Меня будут ждать, а я... могут подумать, что...

Что можно было ему посоветовать?

- Звони. Или пусть эта... эти милые люди как-то навещают тебя. Но сам - от меня ни на шаг. Тем более без разрешения.

- А где здесь автоматы? Не эти,- показал Веня на ППШ.- Телефоны-автоматы.

Андрей засмеялся, обнял одной рукой Веню за плечи и подтолкнул вперед.

- Телефон у ротного. По этому телефону с санбатом не свяжешься. Но есть еще телефоны у комбата. Как-нибудь разик прорвемся, и ты договоришься. Телефонисты - солдаты. Значит - свей брат!

Веня засиял.

Пулеметчики делали то, что и должны были делать: при атаках роты они поддерживали ее огнем, а когда рота продвигалась, под прикрытием огня стрелков перекатывали, перетаскивали пулемет к ней, падали между стрелков, если было время, старались хоть немного зарыться, а если не было, то вели огонь так, не из окопа, а распластавшись на земле.

Все обходилось пока хорошо, никто в отделении не был даже ранен, но пулемету досталось: он был ищарапан, щит в нескольких местах помяло пулями и осколками, осколками же разбило совершенно ступицу на левом колесе, а кожух пробило в двух местах, так что для того, чтобы из кожуха не вытекала вода и пулемет не перегревался, Коля Барышев сначала затыкал эти дырки выструганными и подогнанными колышками-пробками, но потом ружмастер нашел паяльник и поставил на кожух заплаточки.

Пулеметчики и обстрелялись, и насмотрелись того, что давала война: смертей своих товарищей, сожженных деревень и поселков.

Пулеметчики видели приказы, наклеенные на домах и заборах,- над текстом всегда был оттиснут коршун, раскинувший крылья, вцепившийся в круг со свастикой. Круг можно было понимать как проекцию шара, тогда получалось, что в лапах коршуна была вся планета. Разные эти приказы кончались одинаково: «За невыполнение - расстрел!»

Отходя, не надеясь задержаться на левобережье Украины, немцы жгли и рушили ее, используя для этого не просто обычное варварство - облить бензином, зажечь, а то, что не горит,- взорвать. Нет, и в этом деле у них работала инженерная мысль.

Движение войск всегда привязано к коммуникациям - железным и обычным дорогам, по ним поступает все, что нужно войскам. Так вот, чтобы затруднить продвижение, немцы беспощадно уничтожали дороги.

Пулеметчики видели это своими глазами: взорванные на протяжении многих километров телеграфные столбы, исковерканные железнодорожные пути - тоже на многие километры.

Если соломенные крыши в деревнях поджигали факельщики, то мосты, мостики, водопропускные трубы на шоссе, станции, дома в городах рвали саперы, «специалисты» шли от столба к столбу вдоль телеграфной линии, сверлом делали в столбе дырку, в дырку вставлялась палочка толстая с взрывателем и хвостом бикфордова шнура, немец щелкал зажигалкой, шнур загорался, немец шел к следующему столбу, сзади трахало, перебитый взрывом столб падал, рвал провода.

Чтобы труднее было использовать, срastить потом провода, второй немец, идя сзади на безопасном расстоянии, какими-то ножницами или большими кусачками кусал провода в нескольких местах между столбами. И между ними лежала не часть линии, а лапша из проволоки. И так - на километры. Что касается железной дороги, то здесь немцы взрывали станции, полустанки, будки обходчиков, штабеля запасных рельсов, причем заряд засовывался в штабель у торцов рельсов, взрыв дробил, гнул концы рельсов, и, хотя сами рельсы оставались целыми, в дело они не годились. Путь немцы портили еще проще. За последним отходившим паровозом прицеплялся гигантский крюк. Литой, тяжеленнейший, изогнутый под нужным углом, он волочился за паровозом и, захватывая шпалы, ломал их, как карандаши, тянул за обломками рельсы, рельсы коржились, поднимались, гнулись, лопались в стыках, и когда паровоз проходил, то на насыпи лежали не две ровные стальные нитки, четко связанные промасленными шпалами, а валялась путаница из обломков шпал и исковерканных рельсов. Катясь по целому пути, паровоз как бы сжирал его, оставляя за собой пережеванное, уничтоженное.

Рота видела все это, рота как-то шла, двигаясь во втором эшелоне походным порядком по такой вот насыпи, вдоль которой валялась телеграфная линия с десятком проводов. На одной станции паровоз с крюком попал под нашу бомбежку, был сброшен с рельсов, и все приспособление можно было хорошо рассмотреть. Подвешенный к мощной стальной раме крюк напоминал коготь того коршуна, который держал круг со свастикой.

Больше всех в отделении всему этому поражался Веня, наверное, потому, что он с детства слышал только слова: «строить», «создавать», «возводить». А здесь все было из категорий разрушения.

- Ну и ну! - говорил он. - Ну и ну! Ведь это только подумать надо! Если бы мой отец видел все это, он бы... он бы с ума сошел! Да, Андрюша. Да. У него бы, - Веня сделал ладонями круговые движения перед лицом: - У него бы все перевернулось в голове.

Числа двадцатого сентября их неожиданно оттянули в тыл, дали вволю отоспаться, помыли, сменили им белье, а у кого было особо рваное - и обмундирование, и хорошо кормили - ешь не хочу! Им даже показали концерт московских артистов. Певица пела «Синий платочек», певец «Землянку», «Темную ночь», а чтица-декламатор с пафосом прочитала рассказ Алексея Толстого «Армия героев» и стихи Симонова: «Жди меня», «Презрение к смерти», «Убей его!».

Сильнее всего действовало, конечно, стихотворение «Убей его!». В своем выступлении чтица его оставила под занавес.

Если дорог тебе твой дом,  
Где ты русским выкормлен был,  
Под бревенчатым потолком,  
Где ты в люльке, качаясь, плыл...

Выступали артисты на «студебеккере», борта у которого были опущены, так что получилась как бы небольшая открытая с трех сторон сцена, приподнятая над землей. Довольно большая поляна была окружена старыми соснами, они росли плотно, смыкаясь кронами, и на поляне от этого создавался резонанс, даже эхо, так что все было прекрасно слышно даже тем, кто завалился под соснами.

Чтица была рослой, плотной, пышноволосой, в театральном серебристом платье с вырезом наподобие червоного туза, дамой лет тридцати с сильным, хорошо поставленным голосом. Каждое слово стихотворения звучало как бы отдельно - так четко, ударно она его произносила, - но в то же время все они складывались в литые предложения, а предложения в строфы.



Чтица распахивала руки, а ладони сгибала к себе, как бы показывая, что хочет охватить ими все на поляне, откидывала голову, как бы стремясь вобрать в себя небо, отчего ее пышные подкрашенные волосы ниспадали за спиной, и их шевелил ветер.

Никто не кашлял, не переговаривался, не чиркал железкой о кремь «катюши», чтобы прикурить, зажав сигарку в стиснутых зубах, и было слышно не только каждое слово, а даже как актриса вдыхает воздух, а когда она замолкала, делала паузу, то было слышно, как переговариваются кузнечики, стучит где-то далеко дятел и что где-то, еще дальше, летят чьи-то самолеты.

... Если мать тебе дорога,  
Тебя выкормившая грудь,  
Где давно уже нет молока,  
Только можно щекой прильнуть,  
Если вынести нету сил,  
Чтоб фашист к ней, постоем став,  
По щекам морщинистым бил,  
Косы на руку намотав,  
Чтобы те же руки ее,  
Что несли тебя в колыбель,  
Мыли гаду его белье,  
И стелили ему постель...

- И стелили ему постель... - шепотом повторил Папа Карло - тут как раз чтица сделала паузу - и сердито засопел, уронив подбородок к груди и уставившись на рыжие носки своих ботинок.

Они все - весь взвод - сидели почти рядом с грузовиком, так, шагах всего в пятнадцати от него, и могли хорошо разглядеть каждого, кто выступал. С такого расстояния было видно, что у чтицы глаза подведенные, и там, на голове, где ее волосы распадались, они у корней не белые, а рыжеватые, но все равно чтица по сравнению с девушками в солдатском обмундировании - с сестрами, связистками, регулировщицами - представлялась очень красивой женщиной, статной, с высокой шеей, яркими губами.

- Хороша тетенька! - так оценил ее Ванятка, когда она вышла для своего чтения.

... Если ты отца не забыл,  
Что качал тебя на руках... -

начала было чтица после паузы, но тут вдруг послышался близкий гул самолета, все уловили, что гул приближается, кое-кто даже вскочил, чтица сбилась, шофер «студебеккера», стоя на подножке, вытянул было шею, чтобы раньше увидеть, чей же это самолет, аккордеонист, который стоял на платформе, прислонившись к кабине, снял с плеч ремень аккордеона, поставил аккордеон на кабину и подвинулся к краю платформы, кое-кто уже побежал под сосны, и тут, как бы толкая перед собой рев собственного мотора, над поляной прогремел «мессер».

- Ложись! - страшно и запоздало крикнули сразу несколько офицеров.

«Мессер» прошел так низко, что от воздушной волны, которую он делал и своим винтом, и своим телом, с сосен посыпалась старая хвоя. Что это был за отчаянный фриц, никто, конечно, не знал. Это мог быть и какой-нибудь ас, летавший днем в одиночку на свободную охоту, но это мог быть и отбившийся или отбитый от своих, драпающий, уносящий ноги летчик.

Грохот мотора перешел в напряженный звон - «мессер», невидимый сейчас с поляны, закладывал враж, летчик-немец, наверное, не хотел упустить такую поживу, какую разглядел у себя под крылом.

- В укрытие! - крикнуло опять сразу несколько офицеров.

На «студебеккере» замешкались, в то время как все с поляны

помчались под сосны, аккордеонист спрыгнул и полез под «студебеккер», шофер нырнул с подножки под мотор, памятуя, что пол кузова пули прошьют, а вот под чугунным мотором можно, скукожившись, за просто отсидеться.

«Мессер», судя по звуку, должен был вот-вот выскочить над поляной, а чтица, растерявшись, лишь отбежала к кабине и легла на нее лицом и грудью, пряча голову за аккордеон.

- Андрей! - крикнул Веня, метнулся к «студебеккеру», вскочил на него, схватил за руку чтицу, крикнул ей: «Так нельзя! Вы с ума сошли!», дернул чтицу к краю кузова и толкнул ее в руки Андрею.

Они спрятали ее за колеса - спаренные, толстые колеса могли быть защитой от пуль, и тут как раз на поляну, опять сбивая с сосен сухую хвою и мелкие отмершие веточки, вырвался «мессер». По нему били из автоматов и винтовок, «мессер» чесанул из пулеметов, кинул несколько бомбочек и, опять зазвенев мотором, ушел в свою, западную, сторону.

- Отбой! - крикнул кто-то, и несколько голосов повторили и закричали: «Отбой! Отбой! Выходи, братва! Улетел, сволочь! Давай, продолжай концерт! Подумаешь, фриц вшивый! Из-за него мы что теперь? Без концерта, а? Давай, продолжай! Шиш ему, поганому!» Пока голоса кричали это и солдаты выходили из-под сосен и шли к «студебеккеру», чтица, все так же мелко дрожа, повторяла то, что начала, когда «мессер» вырвался и по нему начали палить: «Боже мой! Боже мой! Боже мой!».

- Все! Все кончилось. Он улетел. И не прилетит! - сказал ей Веня и помог подняться с колен от колес.

Как бы не замечая ни бледности, ни дрожи, ни глаз актрисы, в которых бился ужас, Веня галантно продолжал, давая ей придти в себя:

- Вы, наверное, первый раз на фронте? Первый раз всегда страшно. Но вам придется закончить стихотворение, иначе как же... на полуслове...

Отстегнув флягу, свинтив пробку, слив, чтобы ополоснуть горлышко, немного под ноги, Андрей протянул флягу чтице:

- Попейте. Попейте хорошо, побольше.

Актриса поднесла флягу ко рту.

- Это... это коньяк?

- Нет! Нет! - успокоил ее Веня, - Это чай! От завтрака. Коньяк нам не положено.

Актриса как выдохнула:

- А хорошо бы, если бы коньяк...

- Извините, - застеснялся Веня. - Не дают нам...

Прикрыв глаза, актриса вышила все, что было во фляге.

Она, наверное, еще не слышала, как стонут раненые, как кто-то громко распоряжается: «Раненых в санбат! Живо! Убитых туда, под сосны, пять метров от края поляны! Сержант! Быть у убитых, пока... В общем, быть, пока не получите другого приказа! Выполнять, живо! Живо, товарищи!»

Она, наверное, и не заметила, что их уже окружили, смотрят на них, что аккордеонист отряхивал ей платье на коленях.

- Благодарю, молодые люди, - актриса отдала Андрею флягу и перевела дыхание.

- Будете в Москве - милости прошу к нам. Моя фамилия Палецкая. А МХАТ вы знаете.

Палецкая была не очень громкая, но все же известная в Москве фамилия.

Веня, сняв пилотку, держал ее слегка на отлете, как бы считая, что представляться в пилотке неприлично.

- Я знаю вас... То есть, я видел вас - в «Трех сестрах», в «Синей птице», еще в каком-то спектакле, простите, не помню... Позвольте мне сказать, вы - блестящая актриса, и большая честь... Да, очень большая честь... - Веня зарделся.

- Благодарю. - Палецкая уже пришла в себя и, оглядевшись, услышав стоны, увидев за плечами тех, кто ее окружал, увидев, как увозят и уносят раненых, как уносят убитых, услышав требования: «Давай, продолжай концерт! Когда нам еще покажут! Концерт давай!», она, вновь побледнев, оглядев всех, кто стоял рядом, вдруг нахмурилась, стиснула губы, приподняла высоко подбородок.

- Я... Я буду читать! Да! И немедля!

... Если ты отца не забыл.

Что качал тебя на руках,

Что хорошим солдатом был...

После первых же слов Палецкой все, зашикав друг на друга, дергая за гимнастерки, утомонились, расцелись, раненых, которых зацепило слегка и которых не было надобности срочно отправлять в санбат, заканчивали перевязывать молча, а те, кого уводили, и те не раненые, которые уносили тяжелых, старались ступать потише, чтобы не очень топтать, не очень хрустеть травой и веточками.

... Если ты не хочешь, чтобы  
Ту, с которой вдвоем ходил...-

звучал голос Палецкой над замершей вновь поляной, и снова никто не кашлял, не переговаривался, не чиркал железкой по кремню, чтобы не упустить ни слова из того, что читала эта бледная от волнения и недавнего страха женщина, пережившая только что несколько смертей, свершившихся у нее на глазах.

Потом все вскочили, неистово хлопая, крича «Бис!», «Браво!», «Молодец!», «Ура!», Палецкая кланялась, сначала артистически, но потом, вдруг заплакав, поклонилась по-русски - поясню, касаясь рукой досок кузова - поклонилась на три стороны и, не скрывая слез, отошла к кабине.

- Мы этим и занимаемся...- пробурчал Папа Карло, видимо, отвечая на последнюю строчку стихотворения: «Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей!».

В боях Папа Карло весьма изменился. Громадная физическая нагрузка, мертвый после нее сон прямо на земле, много еды - а кормили их хорошо, по фронтовой норме,- все это пошло Папе Карло на пользу. Он окреп, стал каким-то жилистым. Хекнув, взвалив себе на спину ящик патронов и держа его за веревочную лямку, Папа Карло мог с ротного пункта боепитания, спрятанного где-нибудь в овражке, переть ящик полубегом сотню метров, а потом ползти к пулемету и волоочь этот ящик, чтобы, вскрыв его, набивать ленты.

Папа Карло отпустил усы, они у него были хотя и рыжевато-серые, но довольно пышные. Усы, став центром лица, как-то скрадывали убегающий подбородок, отвлекали от него внимание и придавали Папе Карло слегка залихватский вид, но маленькие его глаза смотрели теперь не так мудро, как строго и скорбно.

За Палецкой выступили танцоры, они плясали не просто лихо, они прямо жгли русскую, а лезгинку вообще отплясали в таком бешеном темпе, что вся поляна орала: «Давай! Эх! Ну! Еще! Сыпь! Жарь! Подбавь!» - и тому подобные подбадривающие восклицания.

Потом пели вместе певица и певец, потом аккордеонист, сопровождавший певцов и танцоров, выступил сольно. Был жонглер, был фокусник. Фокусник особенно поразил Ванятку.

- Вона! Эва как, - восхищался Ванятка, когда фокусник доставал из воздуха карты и шарики, из цилиндра - платки и косынки, изо рта - длинющие бумажные ленты. - Эва как он! Всю бы жизнь смотрел фокусы.

- Нет, - решил Ванятка после концерта бесповоротно, - кончу войну, пойду учиться на фокусника. Пропади ты пропадом, деревня. Что там? Мэтэфэ, мэтээс, коровы да куры. И никакой тебе тайны. А тут руками айн-цвайн-драйн - и пятьсот человек с открытыми зевальниками сидят. Хоть желуди в них закладывай. Эй вы, интеллигенция, - обращался он к Андрею и Вене. - Есть такие техникумы или институты, где учат на фокусников? Есть или нет? Ну чего ты!.. А еще москвич! Ответь по-человечески, есть али нет? - нажимал он на Веню.

- Не знаю, - мямлил Веня, смущаясь. - Это ведь дело тонкое. Секреты фокусов передают от отца к сыну. Так я слышал. Но, возможно, при Госцирке и есть какая-нибудь группа, где учат новичков.

- Не может, чтобы не было! - утверждал себя в вере Ванятка. - Страна вон какая огромная. И везде нужны фокусники. Разве одиночники тут осият? Все, буду разузнавать, что, где и как. Хочу, чтоб тоже в черной шляпе трубой!

Нет, Ванятка напропалую врал насчет фокусничества: как окончательно решенное, он не раз заявлял, что после войны подается из своей бедной рязанской земли на Волгу, где люди, так он говорил, как сыр в масле катаются.

- А чо? А чо? - возбуждался он, когда ему про сыр и масло не верили. - Возьми хоть того же Головатого. Возьми его, Ферапонта этого. Откуда у него сто тыщ? А? Откудова?

Это был аргумент, конечно, сильнейший. Ферапонт Головатый, как писалось в газетах и передавалось по радио, сдал сто тысяч рублей в Фонд обороны на постройку самолета и передал его летчику, своему земляку, - саратовцу Борису Еремину. «Пусть, думаю, и мой подарок поможет крошить немца», - писал Головатый в газетах.

- Значит, там, на Волге, колхозники по столько зарабатывают, что самолеты покупают. Вот туда и по-дамся! И не говори мне, и слушать больше ничего не хочу!

Да, решительным был Ванятка в спорах на эту тему.

- К Ферапонту! И больше никуда! - резал он ладонью воздух и задира голову, как будто разглядывая через сотни километров колхоз Ферапонта Головатого, его дом, крыльцо и дверь, в которую ему надлежит после войны постучаться.

Врал, конечно, Ванятка. Напропалую врал и насчет фокусов, и насчет деревни, и насчет черной шляпы трубой.

В те редкие дни или просто вечера, когда рота, бывая во втором эшелоне, попадала в несожженные деревни, а встречались и такие - у немцев не хватало рук для всего, - в те редкие свободные часы вечеров, когда служебные дела кончались, Ванятка первым шел к околице или к почте, или к сельсовету, словом, к тому месту, где вечерами собирается молодежь. В каждой деревне есть такое место.

Как, по каким признакам узнавал о нем Ванятка, оставалось неизвестно. Но к посиделкам, как он называл такие гуляния, Ванятка тщательно умывался, подшивал стираную тряпочку вместо подворотничка, сбивал пыль с ботинок и обмоток и трогался. Шел он на посиделки особенной походкой - не торопясь, вразвалочку, закидывая в рот сразу много семечек, держа в левой руке чуть на отлете между пальцами козью ножку.

Щелкая семечки, Ванятка картинно подносил козью ножку, затягивался: семечки ничуть ему не мешали.

На посиделках под резкие звуки трофейного аккордеона он учил девушек-украинок танцевать полечку, краковяк и падеспань так, как танцевали их в его деревне.

Девушки приходили кучками, держались робко, стеснялись кавалеров.

Приходили девушки принаряженными в белые кофты, которые оттеняли их смуглые темноглазые лица, со многими монистами, в цветных юбках с передниками и босые.

Танцевать с ними следовало осторожно, чтобы под солдатский ботинок не попади хотя и закаленные длинным летом, но все-таки голые пальцы.

Пощелкивая семечки, Ванятка ходил среди девушек, бесцеремонно разглядывая их, пуская колечки дыма, трогая мониста. Девушки закрывали руками мониста, отодвигались, отбегали, краснели, прося:

- Та не чипайте! Та не замайте!

- А тогда для чего пришла! - строжился Ванятка, шагая за девушкой.

- Та побачить.

Ванятка цапал девушку за руку, та делала вид, что упирается, говоря:

- Та ось вы яки? Та хйба ж можны так? Та не замайте!..

Но Ванятка не обращал на это внимания:

- Ось такой! А ты думала!

- Ты кто? Фрося? Ганя? Наталка? А ну! - кричал он парню с аккордеоном, - вдарь еще разик краковяк!

Он тащил девушку в круг, другие девушки подталкивали ее, музыкант «вдарял» краковяк, и Ванятка, сбив пилотку на затылок, выделял фигуры, подмигивая девушке, сильно, но и бережно водил ее по кругу.

Сбиваясь сначала, но потом перестав робеть, девушка подлаживалась. Танец, музыка ее захватывали, она рдела уже не от смущения, а от радости, мониста прыгали у нее на груди, рот, чтобы легче дышалось, приоткрывался, блестели зубы, сияли глаза. Ванятка в танце не позволял никаких вольностей, танцевал исто-во, покрикивал музыканту:

- Прибавь, паря! Отстаешь! - и подбадривал девушку: - Давай, подруга! Давай!

Как все танцующие, девушка была рада и вечеру, и веселью, и прикосновениям Ванятки - он то вел ее за руку, то, держа сразу за обе, делал с ней фигуру танца, то, крепко и нежно обняв за талию, крутил девушку.

Девушка, конечно, была рада такому обхождению и всему-всему, что происходило в этот вечер. Рада, а может быть, и счастлива, потому что счастье - это ведь сильная радость.

Прекрасными были эти вечера. Теплые, тихие, покойные, потому что и музыка, и смех, и радость несколько не нарушают человеческой жизни.

Андрей тоже ходил на эти посиделки. Но танцевал он мало, так, чтобы поддержать компанию Вены. А Венья ходил, и девушки танцевали с ним охотно, особенно вальс, который он танцевал как-то легко, как-то размашисто, держась от девушки в полушаге и кружа ее так, что она невольно откидывалась ему на руку.

Постояв полчаса, станцевав раз, другой, третий, улыбнувшись девушке, которую он выбрал на этот вечер, подумав, что черная шляпа трубой и профессия фокусника нужны Ванятке, как рыбе зонтик, что никуда Ванятка от своей деревни не денется, Андрей уходил за деревню так, чтобы не очень слышался аккордеон. Здесь вообще был покой - стрекотали кузнечики, пели свои песни лягушки, иногда пролетал, гудя низким



тоном, жук-олень, иногда в деревне мычала корова, вскрикивали сонно куры или не вовремя начинал кукарекать молоденький петушок, да тут же и затихал.

Здесь было и чище - не пахло бензином от машин на улицах и навозом, как во дворах. Здесь лежали заснувшие поля, вилась, уходила дорога к другой деревне, здесь тихо светила луна, как будто для того, чтобы каждый мог увидеть, как спит земля.

- Что это такое? - спрашивали солдаты друг друга. - Что сей сон значит? Мы вроде как в доме отдыха. И концерты тебе, и обмундирование, и другое всякое. К чему бы это?

Но ларчик открылся просто. Ночью пришли машины, и поднятая по тревоге бригада была переброшена за сотню километров южнее. Под утро, разгрузившись, все почувствовали, что воздух, песок под ногами, деревья - все это пахнет как-то особо.

- Днепр! - сказал кто-то. - Днепр, ребята!

И правда, на рассвете, быстро шагая, они пошли к нему, и ротный, то и дело пропуская взводы мимо себя, командовал:

- Живей! Живей! Не растягиваться! Не отставать! Рота! - кричал он в темноте. - Бегом марш!

Тяжело бежали, брякая котелками, фляжками, оружием. Чтобы пулеметчики не отставали, ротный выделил им четырех стрелков, отобрав ребят покрепче, и при каждом броске эти стрелки, поддерживая станок пулеметов под колеса, помогали бежать тому, кто был под станком. Дорога была песчаной, трудной для бега, и рота через десять минут переходила на шаг. Дав отдохнуть столько же или чуть больше, ротный опять командовал: «Бегом!»

Но все-таки они опоздали. Они вышли к берегу, когда почти рассвело, когда над Днепром поднимался сероватый, прохладный туман.

- Ориентиры - видимых нет. Ориентиры укажу дополнительно. Противник занимает правый берег Днепра. Силы противника - неизвестны, - ставил ротный боевой приказ.

Они - три командира стрелковых взводов, Бодин, старшина и помкомвзводы, ротный приказал быть и им, - они все сгрудились вокруг ротного. Он стоял у воды так, что иногда волна чуть-чуть побольше мочила ему сапоги, но он не обращал на это внимания.

Днепр дышал - чуть шелестели поднятые предутренним ветерком волны, время от времени всплескивала рыба, несколько раз они слышали, как крякала утка, пискнула спросонья чайка.

Туман поднимался, Днепр с каждой минутой смотрелся дальше - темная с отблесками кое-где вода. Сколько метров этой воды было перед ними, Андрей не знал, потому что тот берег не просматривался, лишь угадывался пока. Он наклонился, потрогал рукой воду - она не была очень холодной, она казалось даже теплей, чем туман.

«Если придется плыть, сапоги - к черту!»

- Задача роты - форсировать Днепр, десантироваться на правом берегу, захватить плацдарм, продвигаться вперед как можно более западней и удерживать этот плацдарм. Задача дня - выйти к деревне Буряки, захватить эту деревню и удерживать ее, - продолжал ротный.

Он говорил приглушенно, но все слышали, что в голосе у ротного нет-нет и дрогнет какая-то нотка. Сейчас у каждого из них в душе что-то дрожало, как будто туман добрался через легкие туда, где и была эта душа.

- Соседи: справа - третья рота первого батальона, слева - вторая рота нашего батальона. Движение по Днепру - в десантных понтонах, в линию, интервал 30-40 метров, на правом берегу - рота атакует в цепи. Пункт ротного боепитания - нет. Все боеприпасы на руки. Пункт медицинской помощи - нет. Будет указан после высадки. Мои заместители - лейтенант Лисичук и лейтенант Васильев. Я нахожусь с пулеметным взводом. Приказ ясен? Вопросы есть?

Вопросов не было.

- Приказать свернуть шинели в скатку.

Ротный успел, конечно, заметить, что кое-кто после марша, чтобы передохнуть поудобней, раскатал шинели и завалился на них подремать.

- Отдать приказы взводам. Назначить на каждом понтоне гребцов и сменных. Оружие и снаряжение при форсировании снять, держать под рукой. Вопросы есть? Нет? Выполнять!

На той стороне Днепра вдруг, тускло светясь через туман, взлетело несколько ракет, застучал ручной - по редкой стрельбе можно было определить, что это немецкий, - пулемет, коротко протрещали быстрые оче-

реди ППШ, им ответили «шмайссеры» - их тоже можно было определить по более редкому, глуховатому звуку.

Все настороженно прислушались.

- Разведка, - сказал ротный. - Вот черт! Обнаружили. Но ни хрена. Ничего уже фрицы не успеют!

Он шел рядом с Андреем, покуривая в кулак. Они, по приказу ротного, должны были плыть в одном понтоне: десять пулеметчиков, старшина, писарь, санинструктор, Бодин и ротный.

- Кое-что успеют, - возразил Андрей. - Немного, но успеют. И как бы нам...

Ротный небрежно махнул:

- Ну был бы ты на той стороне. Откуда ты знаешь, где высадутся главные силы? Откуда? А? Сейчас, наверное, в десятках мест по Днепру, вверх и вниз от нас, действует разведка - это точно. И кое-где уже десантировались роты, а может, и батальоны, и у фрица-командующего, наверное, голова кругом идет: ему доносят о форсировании, а он, бедняга - ротный даже с каким-то сочувствием сказал это слово «бедняга», - а он не знает, где же, черт их подери, эти русские ударят по-настоящему, а где десантируются ложно? Куда бросить резервы?

Ниже их по течению тоже вспыхнули ракеты, тоже началась стрельба, и тут они услышали, что оттуда, снизу, летит над Днепром самолет.

- Прячь папиросу! - крикнул Андрей всем.

- «Шторх», - определил ротный. - Ранняя птичка, - «шторх» был немецкий самолет-разведчик. - Поди, и без кофе вылетел.

«Шторх» повесил несколько осветительных ракет, снизился, чтобы лучше разглядеть, что происходит на воде и, взяв восточнее, пошел над их берегом.

- Смотри, смотри! - сказал ему вслед ротный. - Все равно опоздали. Мы вам сегодня устроим сюрприз!

Они подошли к пулеметам.

- Все в порядке? - спросил ротный, трогая один пулемет. У него мелькнула новая мысль. - Вот что, Бодин, бери его и расчет и бегом к первому взводу. Пошлишь оттуда отделение. Пулемет на понтоне - на нос. Если при подходе к берегу они нас встретят, дави огневые точки. Это главное - обеспечить высадку. Со вторым останусь я. А то если в наш понтон... - ротный не договорил: «Шваркнет мина или снаряд», но все это поняли, и ротный закончил: - Сразу потеряем оба пулемета. Ясно? Бегом!

Время у них было - они должны были ждать, и ждали, поглядывая в туман. Туман светлел, но все-таки через него еще ничего не было видно.

- Мы на каком направлении? Не знаешь? - спросил Андрей, чтобы не молчать, - тяжело было молчать.

- Каждому офицеру положено знать лишь то, что необходимо для выполнения его задачи. Не знаю. Не знаю, кто на главном, кто на второстепенном. Десантируется весь корпус. Я так понял в штабе батальона, ротному тоже не молчалось. - Сегодня не очень-то трудный день. То есть до вечера, если, конечно, проскочим Днепр. А вот вечером, когда им многое станет ясно, они введут резервы, чтобы сбросить нас в Днепр. До вечера, - убеждал ротный его и себя, - тоже, наверное, не успеют, но вечером обязательно попытаются. И все-таки главное будет завтра - мы получим приказ расширить плацдарм, а за день, за ночь они многое успеют сделать. Так что - главное начнется завтра... И все будет, как по писаному.

Понтоны подвезли, когда совсем рассвело, когда тот высокий, поросший лесом берег виделся четко, хотя солнце еще не встало.

Натужно ревя, перетирая верхний, белый, слой песка, выбрасывая вверх коричневый, влажный, «студебеккеры» из колонны развернулись в линию, задом подкатили к воде и въехали в нее. Понтоны шлепались с них, как громадные корыта, обдавая водой понтонеров и всех других, кто изготовился их хватать и не дать им скользнуть далеко от берега. Понтонеры, сдергивая со «студебеккеров» весла, спасательные круги, швыряли их в понтоны; весла, круги подхватывали десятки рук.

Солдаты вкидывали в понтоны ящики с боеприпасами, скатки, держа повыше оружие, чтобы не замочить, впрыгивали в них, разбирали весла, ставили в уключины, рассаживались, а на носу каждого понтона устанавливали или ручной пулемет, или прилаживали ПТР, или устраивались с винтовками и автоматами.

Все были бледны, взволнованны, суетливы, а ротный, перебегая от понтона к понтону, еще и подбавлял темпа:

- Рота, быстрее! Быстрее! Быстрее, товарищи!

От комбата прибежал связной, еще издали крича:

- Вперед! Товарищ старший лейтенант, вперед!

- Весла на воду! - крикнул ротный.

Увидев столько воды, он, наверное, вспомнил команды, которые слышал на Азовском море: ротный был из Ростова. Швырнув фуражку в понтон, он вместе с понтонером, толкая корму, показал, что надо делать:

- Отчаливай! Вперед! Рота, вперед!

Нагруженные так, что от бортов до воды оставалось каких-то двадцать сантиметров, понтоны тяжело отходили от берега. Ротный, черпанув голенищем через край, подпрыгнул, перевалился через корму, вскочил на ноги и, показывая на тот берег, командовал гребцам:

- Навались! Раз-два! Чаще! Р-раз-два! Р-ра-з-два! Чем быстрее пройдем эту воду, тем меньше потерь. Друж-но! Навались! Глубоко весло не сажай, не сажай! Только чтоб под воду! Ну еще! Ну еще! Ну еще! Андрей! - крикнул он ему на нос. - Пулемет - к бою! Дистанция пятьсот, целик - ноль! Без команды не стрелять. - Андрей обернулся, чтобы кивнуть, мол, понял, и ротный показал ему в обе стороны: - Глянь! Красота какая! Сила!

Ротный был прав - зрелище было величественным. Насколько хватал глаз, вверх и вниз по Днепру от ожившего восточного берега, сбросившего всякую маскировку, плыли понтоны, надувные лодки, неуклюжие рыбачьи плоскодонки, челны, плоты, плотики, даже неведомо откуда взявшиеся здесь не то два баркаса, не то две фелюги с заплатанными серыми парусами. И все это было под завязку набито людьми и оружием.

Тишина и безлюдье, которые царили здесь лишь полчаса назад, сменились движением, криками, командами, скрипом уключин, всплеском весел. Казалось, левый берег выплескивал через всю полукилометровую ширину реки волну людей и оружия.

- Да! - крикнул через понтон Андрей ротному, вдруг почувствовав, что очень приблизился конец войны. - Сейчас, Коля, сейчас мы там будем! Ленту! - приказал он Барышеву и проткнул ее наконечник в приемник пулемета и зарядил пулемет.

От резких взмахов весел, от резких наклонов гребцов, нос понтона то поднимался, то опускался, и целиться точно было невозможно, но Андрей решил, что если по ним откроют огонь, он все равно будет стрелять, чтобы все, кто плыл с ним, не чувствовали себя беззащитными мишенями, по которым, хорошо изловчившись, не торопясь, выжидая нужную дистанцию, немцы начнут бить в упор.

Ротный вскочил на угол боковой и кормовой стенки понтона. Степанчик, чтобы ротный не свалился в воду, схватил его за ремень, и ротный командовал гребцам:

- Дружно! Р-р-аз-два! Правое табань! Левым! Левым р-раз-два, р-раз-два! Раз-два! Оба, раз-два! Раз-два! - Командуя так, ротный кричал и на другие понтоны: - Лисичук! Лисичук! Отстаешь! Прибавь! Рязанцев! Лейтенант Рязанцев, держи левей! Держи интервал! Не сбивайся в кучу! Ходу, товарищи, ходу! Темп! Темп! Темп!

Затарахтел, как застрелял, мотор. Сзади и справа от них в полукилометре отходил от берега какой-то катерок, вытягивая за собой на тросе плот, на котором были лошади и легкие противотанковые пушки.

«Хорошо! - подумал Андрей. - Что катерку туда и сюда? Лишь бы на берегах все было готово, а так бы таких катерков...»

Он не успел додумать, потому что из-за холмов на том берегу раздался, быстро усиливаясь, низкий гул. Андрей посмотрел в небо, потом на отодвинувшийся от них восточный берег - они отплыли какую-то жалкую сотню метров, - потом на ротного - ротный стоял, подняв лицо, закусив губу. Все в понтоне зашевелилось, гребцы сбились с ритма, и ротный крикнул:

- По местам! На весла! Р-раз-два, р-раз-два! Темп, ребята! Темп! Темп, товарищи!

Навстречу гулу с левой стороны понесся, еще быстрее приближаясь, более высокий в тоне звук, и тут же, через какие-то секунды, словно гонясь за своим звуком, как будто чиркая по небу, над Днепром пролетела тройка, потом еще тройка, потом сразу штук двадцать, потом еще много истребителей. Взлетев где-то, они и над Днепром продолжали, ввинчиваясь в воздух, набирать высоту, и звон моторов как ударил по воде.

Сразу же за холмами, за Днепром, начало коротко трещать, как будто там кто-то рвал сухой коленкор, дробно застучала авиапушка, но и почти тоже сразу же - понтон успел пройти еще какие-то метры - из-за холмов вылетело, разворачиваясь по дуге, несколько звеньев «юнкеров». Над ними, как возбужденные шмели и осы, кружились, взлетали вверх, падали к «юнкерам» наши и немецкие истребители, все так же треща пулеметами и дробно стучая очередями авиапушек.

С левого берега ударили зенитки, и воздух под «юнкерами», между ними, над ними, как бы лопааясь сам, покрывался белыми и желтыми клубками дыма. В Днепр, взбивая фонтанчики, посыпались осколки зе-

нитных снарядов, и когда они падали вокруг понтона, казалось, что, несмотря на рев и грохот в небе, было слышно, как они булькают, исчезая в воде.

Ротный скомандовал:

- Надеть каски! - но сам не надел, и никто тоже не надел касок, они валялись у всех под ногами и только мешали.

Зенитки били и били, и один «юнкерс» выпустил черный хвост и, отваливаясь на крыло, будто прицелившись носом на что-то на земле, помчался туда, за холмы. В небе все трещал коленкор, глухо стучали авиапушки, красным мгновенным фонариком вспыхнул, взорвавшись, чей-то истребитель, вспышка от взрыва успела погаснуть, и лишь потом ударил звук от него, вроде бы в небе распечатали бутылку с тугой пробкой. Потом еще пара - опять неизвестно чьих - истребителей задымила, но «юнкерсы», закончив разворот, пошли над Днестром, и от сложившегося в рев грохота их моторов на Днестре зарыбила там, где ее не трогали веслами, вода.

А понтон не прошел еще и трети Днестра.

Дернув хомут пулемета вниз, Андрей сломал его в шарнире, так что теперь хомут был под прямым углом к станку, и пулемет не катался на колесах, а мог лишь юзом съезжать влево и вправо на узкой железной полоске, которая была на носу. Тут Веня крикнул: «Бросают!», и Андрей успел, обернувшись от пулемета, заметить, какое белое - как мраморное, с чуть заметными под кожей голубоватосерыми жилками - лицо у Вени, и то, как Барышев, выпустив ленту, уцепился обеими руками за борт, словно готовясь выпрыгнуть в воду, и то, как ротный спрыгнул внутрь понтона, и то, как один из понтонеров потянулся рукой к кругу, как открыл рот и округлил глаза Ванятка, как загорелся еще один «юнкерс» и как посыпались из остальных бомбы.

А до высокого берега еще было больше половины пути.

Бомбы, как черные продолговатые капли, лениво отваливаясь от «юнкерсов» (в этой части полета они были отлично видны), летели, все набирая скорость, а когда выходили из дуги в прямую, неслись визжа, но уже были невидимы - глаз улавливал лишь что-то мелькнувшее, после чего в Днестре взрывался фонтан: стеклянного цвета у основания, желто-черный от песка и ила в середине, белый от пены у вершины. Грохот бил по перепонкам, воздух по глазам и лицу, понтон дергался, воспринимая удар днищем и глубоко погруженными бортами.

«Юнкерсы» шли снизу вверх, взрывая Днестр в сотнях мест, и над водой несло брызги, мельчайшие песчинки, пахло тиной, сгоревшей взрывчаткой и рыбой.

Рыба плыла белыми пятнышками и полосками, качаясь на волнах, ее швыряло вверх новыми взрывами, она опять падала в воду, плыла ниже, задерживаясь у досок от лодок, возле скаток, обломков весел, а маленькие рыбки - даже у пилотов тех, кто или сбросил их, или утонул.

«Юнкерсы», накренившись, сделали разворот и, не обращая внимания на все, что было над ними, под ними, по сторонам от них, пошли вниз.

А понтон был лишь на половине Днестра.

Ударил новая серия взрывов, все в понтоне уже были мокрые оттого, что с каких-то двух десятков метров на них упал фонтан, понтон швыряло, на плоту заржала, как крикнула, то ли от боли, то ли от ужаса лошадь, потом рядом ударил еще один взрыв, понтон подлетел, словно хотел оторваться от Днестра, все бросили весла, и несколько человек, отчаянно махая руками над водой, догнали, перехватили понтон, уцепились за эти весла и, тяжело дыша, выпучив глаза, тянулись руками к бортам, хватались за них, а ротный, как в немом кино, потому что ничего не было слышно, раскрывал и закрывал рот, что-то командуя, но никто его не слышал и не греб, и тогда Андрей схватил свой ППШ и дал длинную очередь вверх почти над головами - с носа на корму.

- На весла! Черт! - заорал он. - Гребите!! Гребите! - он швырнул Папу Карло к веслу, хотел броситься к другому сам, тут снова понтон толкнуло, и он едва успел схватить за ручки пулемет и удержать его.

- На весла! - тоже заорал ротный. - Гребите!

Понтон стал тяжел. На дне его почти по колено плескалась вода, и понтон осел глубоко и от нее, и оттого, что за его борта держались, повиснув вдоль, вроде поплавок, люди. От кромки бортов до воды оставалось лишь на какую-то ладонь.

А до берега было еще метров двести.

- Гребите! - ротный толкнул Степанчика к веслу. - Котелки! Каски! Черпать воду! Ходу, товарищи! Ходу! Темп! Темп! Темп!

Те, кто висел на бортах, мешали грести, но ротный, переступая по скаткам, вещмешкам, ногам, выско- чил на середину понтона, командуя:

- Р-р-аз-два! Р-ра-з-два! Друж-но! Над-дай! Хо-ду! Р-ра-з-два! Давай! Давай, давай! Вперед, ребята! Вперед! Вперед!

Опять послышался гул из-за холмов, и новый эшелон «юнкеров» сделал разворот, и новые «мессеры» вступили в бой с нашими истребителями, и новые разрывы зениток вспыхнули белыми и желтыми клубками в небе, и новые «юнкеры» пускали из себя черные дымы, и вспыхивали новые красные цветы взорвавшихся в воздухе истребителей, и новые сотни бомб взрывали Днепр.

- Ты, ты, ты! Ты, ты, ты! - показал ротный пальцем на тех, кто не греб. - В воду! Живо! За борт! Ну!

Санинструктор, писарь, ружмастер и трое стрелков перевалились через борта, и понтон чуть припод- нялся, но рванувшая недалеко бомба швырнула в него волну, и борта над водой поднимались уже лишь на какие-то сантиметры, а в самом понтоне воды было уже выше колен. Понтон двигался совсем медленно, он не скользил по воде, а расталкивал ее широким высоким носом, таща за собой повисших на бортах, цепляющих- ся друг за друга людей.

- Давай, давай! Давай! - командовал гребцам ротный.

Сотню метров они кое-как протащились. А Днепр стал серо-бурым от песка и ила, выброшенного бом- бами. Казалось, что-то случилось с его дном, что подо дном вдруг заработал какой-то вулкан, прорвавшийся в разных местах и швырявший через воду куски дна.

Но берег был близок! Высокий, с отвесным совершенно обрывом, густо поросшим поверху деревьями, берег был совсем близок, так близок, что различались не только красные стволы сосен, белые березы, зелено- ватые осины, но четко выделялись и бордовые палочки тала на косе у подножия обрыва, лопухи, давно прибитое к косе серое от воды и солнца, похожее на телеграфный столб бревно, покачивающееся в прибрежной пене.

Так близко от берега течение было спокойным, оно не успевало сносить ни этот ил, ни поднятый песок, ни все остальное, что было в Днепре, что он держал на себе, отчего не мог освободиться. Перевернутые пон- тоны, похожие на спины продолговатых гигантских черепах, купающихся в прибрежной воде, лениво пока- чивались, фонтаны от бомб мочили их, и понтоны поблескивали, как лоснились от жира. Солдаты, которые были сброшены с них, с лодок, с плотов, но не утонули или не были разорваны взрывами, цеплялись за них, за их клепаные ребра, подталкивали их к берегу, и казалось, что эти чудовищные черепахи, переплыв Днепр, то ли от усталости, то ли от того, что и спешить им некуда, не торопятся выходить из воды. Набрякшие, едва плавающие или даже совсем погрузившиеся под поверхность реки скатки, напоминали больших серых медуз, белобрюхие рыбы лежали вниз спиной, тут же плавали щепки от досок, плотов, обломки этих досок и целые доски, мачта с парусом со свежим изломом у основания, как будто кто-то взял и отломил ее, обрывок веревки, скрутившийся наподобие серой дремлющей в воде змеи, белый прыгающий на волнах закрытый алюминие- вый котелок, разного цвета мокрые головы тех, кто вплавь добирался до берега. Все это тут медленно двига- лось вниз, подпрыгивая при каждом новом взрыве.

А «юнкеры» не уходили, меняясь лишь для того, чтобы слетать за новыми бомбами. «Юнкеры» пада- ли, но сбить их всех или не подпустить к Днепру было, конечно, невозможно, потому что их яростно защища- ли «мессеры», устремляясь наперехват нашим истребителям, связывая их, оттягивая на себя, защищая «юн- керсы» своим огнем, подставляя под прицелы себя. И бомбы падали, и падали, и падали, и Днепр взрывался, вспенивался, все мутнел, и надо было, лихорадочно гребя, проталкивать до краев осевший понтон через само тело этого грязного сейчас Днепра.

- Давай! Давай, ребята! Давай! - не кричал, а хрипел ротный, вцепившись в весло, толкая его от себя, помогая понтону. - Давай! Давай! Осталось чуть-чуть! Вперед! Вперед, товарищи! Сейчас мы там будем! Вперед! Вперед!

Тройка «юнкеров», держась цепочкой, шла к тому месту берега, куда вот-вот они должны были прича- лить. Чуть взяв правее, «юнкеры» начали бросать бомбы в полоску воды, которую понтону еще надо было пройти. От свиста бомб, потом от их грохота все пригнулись, вцепились в скамейки, борта, весла, потому что понтон задергался так, как будто кто-то, захватив за днище, стал швырять его в стороны, и понтон черпанул еще.

- Утонет! Утонет! - крикнул Веня, показывая на пулемет. - Да делай же что-то!

Андрей, дернув нож с пояса, отхватил причальную веревку и мертвым узлом привязал к хоботу пулеме- та.

- Круги! Круги! - крикнул он! - Круги!

Веня швырнул ему один круг, и он надел этот круг на свободный конец веревки, Веня швырнул второй, и он надел второй к первому и еще один, полагая, что три-то круга удержат семьдесят килограммов стали и бронзы.

- Все за борт! - крикнул он, захватывая третий круг. - Ротный не успел сообразить, и Андрей, показав на воду в понтоне, под которой были коробки с лентами и ящики с патронами и гранатами, крикнув: - Патроны! Спасать патроны! Все за борт! Толкать! Веня, ко мне! - повалил пулемет в Днепр и, схватившись за веревочную лямку последнего круга, прыгнул за ним.

Натягивая веревку, пулемет погрузил оба нижних круга под воду, но верхний держался.

- Давай! Давай! - командовал Андрей Вене. - Вперед!

Они плыли, держа круг, гребя одной рукой, а сзади них, без единого человека внутри полз через воду чуть поднявшийся понтон со всем, что было в нем.

Оборачиваясь, Андрей видел облепивших понтон людей, их напряженные лица, мокрые головы и то, как они, держась за борт, отгребаясь, тянут понтон вперед, и как что-то командует ротный.

- Доплывем! Доплывем, Андрюша! - бормотал, сплевывая воду и полузадыхаясь, Веня. - Давай! Давай! Вперед! - повторил он, как ротный. Их разделял только круг, глаза Вени были рядом, и Андрей увидел в них и страх, и какой-то восторг.

Вдруг круг затормозился и приподнялся. Андрей, потянул его на себя.

- Держи левой! Дно. Пропускай их. Тяни! Тяни же!

Сзади них близко затарахтело. Андрей, чуть подпрыгнув в воде, обернулся. На полном газу, рассекая Днепр, выпуская из-под кормы две пенистых, разбегающихся в веер волны, шла командирская амфибия. Па ее носу стояло несколько офицеров, показывая руками и, наверное, крича то же самое:

- Вперед! Вперед! Вперед!

«А, черт! - подумал Андрей. - Захлестнет понтон у берега!»

Дергая за веревку, он ощущал, как она то слабеет, когда пулемет касается дна, то вновь натягивается, если дно понижается. Но он постепенно выбирал веревку, бормоча мысленно: «Осел, надо было как можно короче!»

Берег был совсем рядом: высокий, обрывистый, заросший кустами и деревьями, дикий, необжитый берег. В паводок Днепр подмывал его, и берег рушился, отходя дальше, обнажая разноцветные слои земли, корни деревьев, редкие большие камни, словно ягоды, запеченные в пироге. Под обрывом была неширокая полоса песка, поросшего талом и какими-то цветами. -

Андрей, приподнимаясь в воде, видел все это, напряженно ожидая, что вот-вот немцы ударят по ним, вот-вот станут хлестать в них в упор, в беззащитных, безоружных, барахтающихся в воде. Но немцы не стреляли. Немцев не было.

Еще с понтона он то и дело мерил глазами расстояние до верхней кромки обрыва, прикидывая - 600-400-300 метров, и поправлял прицел, ожидая, что вот-вот начнут садить по ним из замаскированных пушек, минометов, пулеметов. Но когда расстояние до этих возможных огневых точек стало меньше трехсот метров, он облегченно вздохнул, поняв, что немцев тут нет, то есть, что где-то по берегу сколько-то их есть, что где-то они встретят высаживающихся в упор и многих просто расстреляют, но что на том участке, где высаживается их рота, немцев нет. Что, конечно, есть какие-то наблюдатели, посты, но батальонов, рот в обороне тут нет.

«Ах, черт! - радостно мелькнуло у него в голове. - Если выберемся!...»

- Тяни! Тяни, Веня!

Но Веня бросил круг.

- Наши! Андрюша, наши!

На берегу и правда суетилось несколько человек в маскхалатах. Они махали, забегали в воду, поднимали автоматы и по этим-то автоматам - по ППШ - определялось: в маскхалатах были наши разведчики.

- Тяни! - все равно заорал Андрей и, перевернувшись на спину, работая всю ногами, начал выбирать веревку.

- Все! - крикнул Веня. - Дно! - Он стоял по горло в воде. - Дно! - Веня сиял.

- Тяни! Быстро! Давай!

Веня, надев на себя круг, как хомут, пошел по дну, отгребаясь для равновесия руками. Андрей, проплыв немного, тоже стал на дно и, ухватившись за веревку крепче, потащил пулемет. Волочась по песчаному дну,



пулемет стал еще тяжелее, Андрей напрягся так, что, казалось, у него лопнут на шее жилы. Упираясь сапогами в песок, уходя в него по щиколотку, он тянул пулемет, цедея сквозь зубы:

- Вот дьявол! Вот дьявол! Но я тебя сейчас...

Он начал было выбиваться из сил, но тут понтон обогнал их, ткнулся около Вени, где воды было чуть выше, чем по пояс, в дно, тут подоспел Барышев, схватился за веревку, и втроем они выволокли пулемет на сухое. Пулемет был в водорослях, в надульник набилось тины, тина и водоросли зацепились и за прицел и за механизм вертикальной наводки, а в коробке, конечно, было полно воды и песку.

- Ленты! - крикнул Андрей ротному. - Быстро! Вена, шинель! - Он открыл короб и, повернув пулемет, стал выливать из него воду.

Подошла командирская амфибия. Она еще и не причалила, когда офицеры стали прыгать с нее.

Ротный, схватив свой автомат, командовал:

- Разгружай! Разгружай! Взять все до патрона!

К ним побежал командир бригады, и ротный, шагая еще по колено в воде, вынося ноги, чтобы получилось быстрее, поверх воды, хотел было доложить, он даже начал:

- Товарищ подполковник! Вторая рота... - но командир бригады махнул рукой:

- Видел! Хорошо! Собрать людей! Проверить оружие. Пятнадцать минут на все! Этих, - он показал на разгружавших понтон, - к медалям. Этих, - он показал на Веню и на него, Андрея, - к Красной Звезде! О тебе - потом. Удержишься до вечера - одно, завтра до вечера - другое. Ясно? Разведчики! - Один в маскхалате подскочил к нему. - Маршрут! - Разведчик прямо из-за шиворота комбинезона выдернул сложенную карту и, тряхнув ее так, что она развернулась, растянул между рук. - По оврагу, - подполковник показал ротному на карте и ткнул в начало оврага на берегу, - вверх! Сколько? - Разведчик живо ответил: - Метров четыреста. - Вверх четыреста метров. За оврагом в цепь - вперед! На этот рубеж, - он отчеркнул ногтем рубеж. - Ясно?

- Ясно.

- Если атакуют - в землю, - командир бригады ткнул пальцем в носки своих сапог, - в землю! И, как клещ! Ни метра назад! Трусов и паникеров - на месте! Ясно, Шивардин?!

- Ясно.

- Выполнять!

- Есть выполнять!

Андрей, слыша краем уха этот разговор, отсоединил щит, тело пулемета, быстро рассыпал замок на шинель, и все пятеро - Барышев, Ванятка, Вена, Папа Карло и он, стоя на коленях вокруг шинели, лихорадочно перетирали замок, внутри короба, прицел, поворотный и подъемный механизмы.

Минут через пятнадцать пулемет стоял чистенький, блестящий, послушный, присмиривший.

- Ленты из коробок! - скомандовал Андрей. - На себя. Пусть стечет с них. Автоматы!

- Строй! - крикнул ротному на ходу командир бригады. - Вперед! Вперед, Шивардин! Вперед!

- Рота, ко мне! Рота, ко мне! - крикнул ротный. - Быстро! Быстро, товарищи! Командиры - проверить людей! Приготовиться к движению! Выполнять! Быстро!

Один из разведчиков, пользуясь суматохой, хотел было «тяпнуть» Венин магазин от ППШ, но Вена успел спрятать его за спину.

- Как вам не стыдно!

Разведчик, не обидевшись ни на крошку, ухмыльнулся:

- А мы не гордые. Чего нам стыдиться? Мы, брат, вторые сутки тут шарашимся.

Вена восхищенно смотрел на него.

- Да? Вторые сутки? Сами и больше никого? И вам... И вы... И вам не было... - наверное, он хотел спросить «страшно», но поправился: - одиноко?

Разведчик даже замигал от удивления.

- Не-е-ет, милый! Нет, - с иронией, близкой к издевке, он добавил: - Мы тут на посиделки ходили. На балалайке играли. Давай патроны, желторотый!

Вена, стеснительно развязав мешок, стеснительно отсыпал ему с полсотни патронов из пачки. Полсотни тут, в этих обстоятельствах, было и много и мало: много - потому что они через какой-то час должны были цениться черт знает как, мало - потому что для хорошего ближнего боя их хватило бы всего лишь на минуты. Разведчик был рад и тому, что получил.

- На чужбинке и укусу сладкий, - заявил он и помчался за своим офицером.

- Рота, строиться! Рота, в колонну по два! - крикнул ротный. Не дожидаясь, когда все соберутся, он дал и вторую команду: - Рота, за мной! Бегом, марш!

Прилетел «шторх». Летчик, чтобы лучше разглядеть, где и сколько высадилось людей, ставил самолет на крыло, делал чуть ли не над самыми макушками деревьев на обрыве виражи, улетал за него, вылетал из-за него, ходил вверх и вниз и, конечно же, все передавал по радио, и они все на бегу со злостью смотрели на этот верткий маленький самолет, который был для них опаснее, чем «юнкеры».

Когда они сворачивали в овраг, над ними еще раз прошли «юнкеры», рота легла, а когда поднялась, четверых пришлось оттащить в сторону, на полянку, где лежали двое разведчиков.

Они лежали рядом, плотно, плечо к плечу, как если бы спали на узкой кровати. То, что они как будто спали, подчеркивали и лопухи, которыми от мух были прикрыты их лица. Можно было подумать, что они закрыли лопухами глаза, чтобы им не мешал свет.

Веня, держа Папу Карло сзади под руки, оттянул его и положил около разведчиков, но не рядом. Папа Карло, прижав щекой к песку так, что песок облепил и губы, стонал и тихо сучил ногами. Пуля из крупнокалиберного пулемета с «юнкера» попала ему в поясницу, и Папа Карло умирал. Веня, стоя над ним на коленях, кусал губы и гладил плечо Папы Карло, но тот, наверное, ничего не чувствовал, он только стонал, смотрел на песок и двигал ногами, как это делает велосипедист, когда катится неторопливо по хорошей дороге.

Оставить раненых! Санинструктор, оказать помощь! Рота вперед! - скомандовал ротный. Ротный увидел Веню: - Атылатов, взять у убитого диски и гранаты. Живо! Что ты там молишься над ним? Догнать строй!

Андрей потянул Веню за гимнастерку, Веня было сбросил его руку, но Андрей сильнее дернул его.

- В строй! Бери! - он наклонился и выдернул из чехлов Папы Карло магазины и из гранатной сумки гранаты. - Прикрой его лопухом. Так. Пошли.

Перед тем как войти в овраг, Андрей оглянулся. Через Днепр с той стороны все шли понтоны, плоты, лодки, нагруженные людьми так же тяжело, как был нагружен и их понтон, а навстречу им плыли пустые - их переправляли уцелевшие понтонеры.

Все так же белели рыбы животы, отблескивала горлышком уроненная кем-то фляга, медленно спускались по течению скатки, обломки, кружась друг возле друга, плыли связанные тросом катерок и плот на понтонах, а на катерке лежали убитые люди и что-то суетливо делали живые; а на плоту лежали убитые и люди и лошади, а живые люди висели на мордах живых лошадей, которые храпели, топтались, брыкались, рвала постромки, отчего и пушки дергались на плоту, как живые существа.

Вставало солнце. Оно, и не поднявшись высоко, хорошо осветило далеко видную между дымами от разрывов левую сторону Днепра. Земля там лежала полого, широко, смыкаясь где-то вдаль с небом в синюю полосу горизонта. И на всей той, восточной, стороне Днепра уже не было немцев. Разве что в лагерях военнопленных. Разве что в могилах. Но на этой, на западной, их, живых и вооруженных, было еще много.

- Рота, вперед! - скомандовал ротный. - Бегом марш! - и Андрей, как и все, тяжело побежал к оврагу, чтобы подняться по нему на холмы.

Овраг, постепенно мельчая, тянулся, извиваясь, как извивался же по его дну ручей, прямо к западу. Солнышко заглядывало кое-где и в овраг, так что и от солнца, и от быстрого трудного хода - потому что рота шла и прямо по ручью, и по илистым берегам, - их гимнастерки почти просохли.

Высокие, крутые стены не позволяли вылезти, и когда «шторх» засек их в этом овраге и кинул на них мелкие бомбы, они потеряли еще несколько человек и оставили убитых и тяжелораненых в овраге. а легко раненые повернули назад к Днепру.

Рота шла все медленней, потому что они тащили, кроме своего оружия, и ящики с патронами, цинки с ними, ящики с гранатами. Им было тяжело, они хрипло дышали, иногда матерились, но если бы кто-то из них сейчас бросил цинк, ему бы хорошо дали по шее: между ними и складами или пунктами боепитания лежал Днепр.

Примерно у середины оврага они задержались. Здесь саперы, рванув толлом откос, срезали его, чтобы по нему можно было подниматься и вкатывать пушки. Одна пятидесятисемимиллиметровая пушка уже ждала у самого откоса, а выше нее стояли выпряженные потные лошади. Лошади тяжело водили боками и роняли изо рта пену.

Саперы и артиллеристы, сбросив ремни и пилотки, лихорадочно копали, спуская с откоса землю, утаптывая ее сапогами или отбрасывая в сторону под ивняк.

Командир саперного взвода, петушиного вида лейтенантик, стоя за ручьем, командовал:

- Быстрей! Быстрей, товарищи!

- Там, - Андрей придержал шаг, подходя к лейтенанту. - Там, - он показал головой за откос, - выскочит десяток фрицев с гранатами... Они из вас форшмак сделают.

Лейтенант, скользнув взглядом по погонам Андрея, открыл было возмущенно рот, но ротный, подхватив мысль, не дал лейтенанту опомниться:

- Дозор! Дозор туда! Живо! Себя не жаль - черт с тобой, но за людей... Не на бульваре с дамочками! Слушай мою команду! - крикнул ротный, и саперы и артиллеристы бросили копать, обернулись и разогнулись, а рота остановилась: все были рады перевести дыхание и, переводя его, глядели на ротного с ожиданием - что дальше?

Ротный ткнул пальцем в младшего сержанта и солдата:

- Ты, ты! В ружье! - Саперы мешкали. Переступив книзу, они посмотрели на карабины, ремни с подсумками, пилотки, скатки, сложенные кучкой в сторонке, на своего лейтенанта, и ротный взвинтился:

- Живо! В ружье! Оставить скатки! - Саперы подхватили оружие и ремни и запоясывались, а ротный продолжал: - Наверх! Живо! Бегом! - Бежать по крутому откосу, по рыхлой от взрыва, осыпающейся под ногами земле было, конечно, невозможно, и саперы лишь торопливо полезли вверх. - Наверху - дистанция от оврага - пятьдесят метров! Интервал между собой - на зрительную связь! - Ротный повернулся к роте: - Рота, шагом марш! Прибавить шаг! Рота, бегом! Тютя! - бросил он лейтенанту, пробегая мимо него. - В штрафбат захотел? - Лейтенант так ничего и не успел ответить, да и отвечать ничего не следовало, потому что ротный, обгоняя солдат, не был намерен кого-либо слушать, зная сейчас лишь одно: торопить всех: - Вперед! Вперед! Вперед!

Лицо ротного разгорелось, на лбу выступили бисеринки пота, карие глаза смотрели из-под нахмуренных бровей, как бы прицеливаясь во все, рот был плотно сжат, раздвоенный подбородок как бы сам задирался вверх.

Наконец разведчики довели их до места, где можно вылезти из оврага, и они по одному поднялись из него.

Здесь по песчаной сухой земле не очень густо рос сосняк, росли кусты, и от сухих сосен пахло смолой, а от земли - земляникой. Здесь поддувал сухой же ветерок, раскачивая зацепившиеся за ветки паутинки, летали большие рыжие стрекозы и коричневые, с черным глазом на крыльях, махаоны.

Деревья укрывали роту от «шторхов», которые то и дело пролетали над ними, разглядывая, куда и сколько движется людей, сухой ветерок принес запах дыма, горелой соломы и обожженной глины.

- Рота - в цепь! К бою! - крикнул ротный, не дожидаясь, когда вылезут последние солдаты.

Они развернулись и осторожно пошли, глядя вперед и по сторонам, держа пальцы на спусковых крючках.

Роту догнал начальник штаба батальона, и ротный, крикнув по цепи: «Офицеров и командиров отделений ко мне!» - дал и команду: «Стой! Ложись!»

Рота сразу же легла и закурила, а командиры взводов и командиры отделений сгрудились около начальника штаба.

Он говорил ротному, водя по карте сухим стебельком:

- Задача роты - взять эту деревню. Занять оборону. Ротный район обороны здесь. Установить связь с соседями. Окопаться. Удерживать деревню во что бы то ни стало! От нее мы пойдем на Букрин. По сведению авиаразведки немцы перебрасывают по этой дороге, - он показал на дорогу от Белой Церкви, - крупные силы. Видимо, через полтора-два часа примут боевое развертывание с задачей сбросить нас в Днепр. Поэтому до конца дня, взаимодействуя с соседями, держать жесткую оборону до подхода резервов. Сегодня и за ночь через Днепр перебросят многое. Но пока - ни шагу от деревни. Этот участок, - он показал чуть на запад от окраины деревни, - будет накрыт артогнем с левого берега. Задача ясна?

- Ясно! - кивнул ротный.

- Возьмешь деревню, сигнал - две белых ракеты. Связь с КП батальона по телефону, посыльными. Через полчаса связисты будут здесь.

- Ясно. Как вообще обстановка?

Начштаба затолкнул карту в планшет.

- Мы - здесь. Это главное. Бригада десантируется в целом успешно. Потери по батальону средние. Если первые двое-трое суток удержимся, потом нас не сковырнешь. И тогда - на Букрин!

Ротный подмигнул Андрею:

- Мы здесь! Это точно. А скovyрнуть им нас, - лицо ротного стало жестким, - это мы посмотрим. Все?

- Все! - начштаба, держа автомат наготове, побежал налево, к другой роте, а за ним побежали и двое солдат-автоматчиков, которые охраняли его.

- По местам! - приказал ротный. - Рота, к бою! Вперед!

Деревенька лепилась к тому ручью, который и промыл овраг. Ручей тянулся куда-то на запад, рассекая деревеньку на две стороны. Дома отстояли от ручья на расстоянии огородов, на огородах кое-где желтели круги подсолнуха и отливала золотом высохшая за лето кукуруза. Деревенька была небольшая, и сразу за ней начинались поля. Местность около деревеньки и дальше была холмистая, тоже в синих пятнах леса, рассеченных оврагами. Здесь, к Днепру, сбегало немало ручейков, собирая весной талую воду, а летом от дождей и ливней, - ручьи веками несли ее в Днепр, размывая обрывистый берег, так что устья их теперь находились на уровне реки.

Они взяли деревеньку легко, потеряв лишь шесть человек убитыми да с десятков ранеными.

Ротный, отдав боевой приказ, двумя взводами, перешедшими через ручей, охватил деревеньку справа, а одним взводом, с которым он был сам, с которым были и оба пулемета, атаковал слева. Стуча Андрею пальцем в плечо, он перед атакой приказал:

- За пулемет сам! Перед взводом - все подавить! Бодин, за второй! Если взвод ляжет, перебежками ко мне! Прикроем огнем.

Как только рота развернулась для атаки, из деревни часто-часто застучала пара минометов, начали бить станковый и ручной пулеметы, а сама деревня загорелась, в сараях замычали коровы, завизжали свиньи, загоготали гуси. Все было ясно - немцы жгли деревеньку, не собираясь, видимо, особенно удерживать ее.

Когда оба атакующих справа взвода были уже от околицы всего на один хороший рывок, ротный поднял взвод Лисичука. Во взводе было двадцать три человека, да сам Лисичук, да ротный, да Степанчик, да старшина, да писарь, да ружмастер - в общем эти тридцать атакующих ударили слева.

Андрей, как только немцы ударили по взводу Лисичука, поймал в прицел их ручной пулемет, пулемет бил из-за длинного колхозного амбара, крытого железом и поэтому еще не загоревшегося от пылающих соседних крыш. Не обращая внимания на ругань Барышева - Барышев кричал ему: «Короче очереди! Короче! Не жги патроны!» - он с одной ленты подавил этот пулемет. Конечно, патронов было жалко, но немец-пулеметчик мог бы положить лисичуковский взвод, и этот ручной пулемет надо было срезать сразу же.

Когда взвод Лисичука и взводы справа сомкнулись на околице, когда рота побежала по огородам и от дома к дому к центру деревни, Андрей скомандовал:

- Пулемет на руки!

Барышев схватил через пилотку пулемет за надульник, Веня и Ванятка справа и слева за колеса, Васильев подхватил две коробки, еще по коробке было у Барышева, Вени и Ванятки, и они побежали к деревне.

Песчаная и тут, за лесом, почва была тяжелой для бега, и первым захрипел, говоря: «Ребята, не могу. Не могу больше, ребята!» - Веня, но Андрей крикнул на него:

- Давай! Давай! Вперед!

Веня все больше сгибался на ту сторону, где держался за колесо пулемета, колесо уже начало цеплять за землю, но Андрей, напирая на хобот, толкал пулеметом всех, заставляя бежать и бежать.

- Все! - Веня выронил колесо и упал сам на бок.

- А, черт! - крикнул Андрей и, развернув пулемет, бросил. Барышеву: - Берись! - Барышев сразу же схватился за хобот, и они потащили пулемет на колесах, а Ванятка и Васильев придерживали пулемет, чтобы он не опрокинулся, за щит и за кожух. Колеса грузли в песке, плохо в нем крутились, но они волокли пулемет и подоспели вовремя: ротный, показывая на амбар с железной крышей, командовал:

- Первый взвод! - отсюда! Второй - так! Третий - с левого фланга! Одновременно! Главное - дружно и по сходящимся направлениям. Сигнал - красная ракета в направлении крыши амбара. Готовность через десять минут. По местам!

Они выбили немцев с этой половины деревеньки, повторили атаку, причем ротный, собрав все три взвода по правую сторону ручья и атакуя по ней, заставил немцев оттянуться и с левой. Немцы, отойдя к западной околице, прикрывшись сумасшедшим минометным огнем, подожгли еще несколько домов и вдруг погрузились на две машины и дали ходу. Машины уходили на глазах, до машин было метров четыреста, кто-то стрелял по ним из винтовок и ручных пулеметов, но неудачно. Андрей смотрел, как, газуя вовсю, машины становятся меньше и меньше. Конечно, можно было бы из двух пулеметов с такого расстояния подбить их -

прострелить колеса или попасть в шоферов, но стрелять было нельзя - на пулемет осталось по полторы коробки патронов - максимум на пять минут стрельбы.

Ротный опять собрал офицеров и сержантов и приказал:

- Зарыться! Спать не давать!

Накануне они почти не спали, и теперь, когда солнышко хорошо пригревало, когда прямо против роты немцев не было, конечно, многие, поев, завалились бы спать.

- У нас считанные часы, а фрицы катят к нам! Только пыль стоит! Не прохлаждаться! Старшина, второй взвод - твой.

Командир второго взвода лейтенант Рязанцев был ранен в живот и умирал. Его положили на плащ-палатку под старую грушу - с наветренной стороны, чтобы дым от горящей деревни не попадал на него. Рязанцев, приоткрыв рот, закинув голову, смотрел, мигая время от времени, смотрел на еще не все осыпавшиеся листья, следил, как они дрожат от ветерка, и считал:

- Семь... Одиннадцать... Четырнадцать!-

Андрей спросил:

- Ты чего считаешь, Рязанцев?

- Груши...

И правда, высоко на тонких ветках, так что ни снизу, с земли, ни с дерева их было не достать, висели тяжелые, переспелые, буро-желтые груши. Иногда они падали, шлепаясь и разбрасывая брызги. Они настолько переспели, что, упав, разбивались совершенно. На земле от груши оставалась лишь бурая пригоршня чего-то вроде киселя да хвостик-черенок.

- Убитых - похоронить,- приказывал ротный. - Писарю помочь. Выделить от взвода по человеку. - Похоронами, как в каждой роте, ведал писарь. Он забирал документы, ведя отчетность о потерях и вообще о прибывших-выбывших. Ротный отдал еще несколько приказов, а потом, передав эти приказы солдатам, они все пошли цепочкой по деревне.

Она почти вся сгорела, на месте домов стояли лишь русские печи, их обнаженные трубы были непривычно длинными, словно печи вытянули их к небу, чтобы что-то протрубить, прокричать.

По улицам летал пепел, дымились на земле головешки, жители, выйдя из погребов, сушили, спасая коров, телят, свиней, таскали узлы, сундуки, мешки. А некоторые молча стояли возле своих пепелищ. Пахло горячей землей, дымом, паленой щетиной, горелыми перьями.

- Всем - из деревни! - приказывал ротный жителям.. - Живо! Да бросьте вы свое барахло! Подумайте о детях и о себе! Через час-два тут такое будет!

Женщины, старики, дети скорбно и испуганно смотрели на него, кивали, соглашались, пропускали его дальше, и снова занимались своими делами - делами погорельцев.

- Да что вы в самом деле! - злился ротный. - Русским языком говорю: через час-два подойдут немцы. Понятно? Уходите в овраги. В овраги - живо!

Так как у них - у нескольких офицеров и сержантов - ничего не получалось, потому что жители, сделав вид, что уходят, перебежали назад, ротный поднял взвод Лисичука, и они вытолкали жителей из деревни к лесу, из которого атаквали, и поставили у деревни несколько часовых с приказом, никого в нее не пускать, а если понадобится, то пугать, стреляя в воздух.

Когда они этим занимались, ротный, показывая на убитую свинью, спросил одного старика:

- Чья?

- Та кто же ее знает! - старик махнул рукой. Свинью и правда было трудно узнать - еще живой она обгорела в сарае - у нее обгорели спина, бока и морда - но, видимо, свинья вырвалась из него и попала под пулю. Она лежала на боку, и около нее лужица крови уже спеклась и была похожа на бурюю грязь.

- Можно взять? Покормить людей?

- Та берить! - безразлично махнул еще раз старик.

- Старшина! - крикнул ротный, тыкая носком сапога в спину свиньи. - Найти котел, сварить, раздать. Дай твоего Барышева, - сказал он Андрею. - Сам - на место! Основные ОП<sup>1</sup> - между первым и вторым, и вторым и третьим взводами. Так, чтобы прикрыть и фланги.

<sup>1</sup> ОП - огневая позиция.

Пока рота копала окопы за деревней, в роту прибыли два расчета ПТР, из леса были перенесены все оставленные там перед атакой ящики с боеприпасами, с КП батальона дали связь, ротный сходил к соседям, чтобы договориться о прикрытии стыков, сварилась свинина, они поели.

Над ними то и дело пролетали самолеты, и немецкие и наши, и с Днепра все время долетал гул от взрывов. Но их не бомбили, видимо, немцы были заняты переправляющимися.

Вчетвером, работая быстро, они - Андрей, Веня, Ванятка и Васильев - вырыли хороший окоп для пулемета и помельче отводы от него к стрелкам и на запасную позицию. Земля здесь, хоть и тяжелая от песка, была мягкой, сыроватой и копалась легко.

Поев свинины с сухарями - а Барышев принес им здоровенный ее кусок, - они сонно лежали и сидели на бруствере вокруг пулемета и курили. Ванятка, завидуя Вене, изводил его:

- Небось дырку для ордена прокалывать примерялся?

- Нет, - тихо и все-таки радостно ответил Веня. - И не думал. Да ведь еще дадут или не дадут? Вот в чем вопрос.

- Дадут, - заверил Ванятка, как если бы все зависело в конечном итоге от него. - Куда денутся? Командир бригады - это тебе не кто-то!

Веня, принимая такой довод, покачивал головой, смеялся, смотрел им всем в лица, как бы убеждая, что он, хотя, конечно, очень рад получить орден, в то же время искреннейшим образом сожалеет, что другие получают лишь медали.

- А как пулемет тащить, так кишка тонка! - продолжал Ванятка. - Понимаете ли, «Не могу! Ребята, не могу!». Ишь барин какой. И таким - ордена! Успевай прикручивать... Тут воюешь какой месяц, а лишь медальку, а тут...

Ванятка, наверное, представил себе, что это он прыгнул с Андреем в воду, что его видел командир бригады, когда он вытаскивал пулемет, и орден полагается ему. Все это могло быть вполне: сядь он еще на той стороне Днепра на место Вени, и он бы, может, и был на месте Вени при высадке. Случайность ситуации, столь легкая случайность, в результате которой выпадал орден Красной Звезды, не давала ему покоя.

- А тут тебе как до дела, так, видишь ли, «не могу». Заелся в санбате до одышки, копает в пол-лопатки да наградку ждет. Как Папе Карло...

- Уймись! - оборвал его Барышев. - Зануда!

Не следовало бы Ванятке, конечно, не следовало бы поминать Папу Карло. О нем никто не вспоминал вслух, но его никто и не забыл.

Он был в них. Казалось, сейчас он подойдет, появится откуда-то, посмотрит на них выцветшими глазами с красными сеточками по белкам, повертит лысой головой на длинной морщинистой шее, на которой кожа уже была дряблой, покашляет прокуренным горлом, вздохнет и присядет среди них.

Когда Барышев принес свинину, Папу Карло помянули впервые, да и то не по имени.

- На шестерых, - сказал Барышев. Но их-то с Васильевым было теперь пятеро.

- На?.. - переспросил Веня, но тут же замолчал, и они разделили мясо на пятерых, и съели его, и почти ничего не говорили, и никто не осмелился заговорить о Папе Карло, хотя, конечно, представляли, как он лежит под отвесным днепровским берегом, как лопухом закрыто от мух его лицо, как, наверное, уже неподвижно вытянулись его длинные ноги в старых зеленых обмотках и расшлепанных солдатских ботинках, как по его сухой, неподвижной руке, лежащей на песке, ползают букашки и муравьи. Они, наверное, ползали и по его лицу, но под лопухом этого не было видно.

Их атаковали за полдень.

Солнце спустилось к западу, слепило глаза.

Еще до атаки, примериваясь, как он будет вести огонь, отрываясь от прицела, Андрей видел, что в этом солнце летали нитки и пучки паутины, поблескивая, переливаясь, нежно качаясь на невидимых воздушных волнах. На некоторых паутинах висели полупрозрачные паучки, они куда-то путешествовали. Тонко жужжа, тоже куда-то стремились громадные темно-рыжие стрекозы, то и дело от земли взлетали желтые бабочки, они, как огоньки, вспыхивали, и ветер сносил их вбок. Пела, как стучала по наковаленке ювелира, синица: «Тинь! Тинь! Тинь! Тинь!» Какой-то шатоломный дрозд, или забыв про грохот разрывов, или совершенно очумев от них, забравшись на дерево повыше, дул в свои серебряные трубочки. Казалось, что какой-то мальчишка дорвался до этих трубочек и вот и дует, и вот и дует в них, как будто дразнится.



Чуть шуршали под ветерком травы, качались, шумя листьями, деревья, от опушки леса тянуло прелой хвоей, прохладой, в небе плыли облачка, и темными черточками на огромной высоте тянулась стая каких-то перелетных птиц.

Что ж, жизнь шла, жизнь на земле шла.

Андрей подумал, что, может быть, это и есть те птицы, которые, взлетев высоко-высоко, мчатся до самой Африки, не садясь на землю. Он представил себе, как это целые сутки они машут крыльями, как это бьется у каждой из них сердце, крохотное, величиной, наверное, всего с автоматный патрон - крохотное сильное сердце.

«Они, наверное, отдыхают там, прямо на высоте, - подумал он о птицах. - Летят, летят, машут крыльями, а потом раз - и немного парят. А крылья и сердце отдыхают. Потом опять машут. Потом опять парят. Конечно, так! Иначе до Африки не выдержишь...»

Их атаковали за полдень. По той же дороге, по которой удрали немцы из деревни, подъехали другие немцы. Дорога просматривалась километра на полтора, и было видно, как подходят машины и низкие приземистые бронетранспортеры, как примерно в километре немцы разгружаются, разворачиваются по обе стороны дороги, как устанавливают пушки и минометы.

Ротный и Степанчик побежали вдоль окопов. Оба они были без оружия, без пилоток и гимнастеров: ротный помогал Степанчику копать ход сообщения. Коротконогий, короткошей, со вздувшимися на плечах и руках мускулами, ротный сейчас походил на боксера. Он и руки по-спортивному располагал: кулаки у груди, локти вниз.

- Держаться! Держаться! - говорил ротный на бегу. - Если сбросят в Днепр, потопят, как котят! Держаться, товарищи! Без паники! Главное, без паники. Да разве они выковыряют нас? Черта с два! Держаться! Пэтэ-эровцам он приказал: - Одно ружье - ко мне! Живо!

За немцами, как будто эти немцы привели их на длинных поводках, вылетело десятка полтора «юнкеров». Сначала показалось, что и эти «юнкеры» пройдут к Днепру. Но «юнкеры» стали в круг. Андрей командовал:

- Пулемет на дно!

Барышев и Ванятка сдернули пулемет с площадки и опустили его в окоп, все легли на дно, и тут «юнкеры», вываливаясь из круга, начали пикировать почему-то главным образом на деревеньку.

"Идиоты, - подумал Андрей, - что мы, там в погребах прячемся? Лишь бы цель покрупней, сфотографировать да доложить!"

Но тут он вспомнил о раненых - несколько тяжелых как раз и лежали в погребе, ожидая, когда за ними придут санитары. Ротный не имел права выделить на каждого тяжелого по несколько человек, чтобы снести тяжелых на ПМП<sup>1</sup>. На это потребовался бы весь взвод, например, Лисичука, то есть оборона ослабла бы на одну треть. Атакуй немцы в этот момент, сбей роту, значит, выйди в тылы батальона, значит, угрожай всему батальону. Остаешься после этого ротный жив, узнай начальство, что во время такого боя треть роты занималась эвакуацией раненых, и командир корпуса мог бы своей властью отправить ротного месяца на три в офицерский штрафной батальон. Нет, ротный не имел права рисковать ротой, это раз, и рисковать позицией батальона - это два. Так что раненых, кто не мог идти, пришлось лишь оттащить в деревню да для безопасности спрятать в глубокий погреб. А что можно было еще сделать для них? Что? Оставить в неглубоких окопах роты? Под те же бомбы да под мины и снаряды? Нет, лучшего места, чем погреб, здесь для раненых не нашлось. От прямого попадания погреб, конечно, не спасал, но там было безопасно и от пуль, и от осколков, и от ручных гранат, если бы немцы пробились к траншее на бросок гранаты.

<sup>1</sup> ПМП - пункт медицинской помощи.

Только лейтенант Рязанцев, когда к нему подошли, чтобы отнести в погреб, слегка покачал кистью руки, не поднимая ее высоко. Под кистью у него лежал «ТТ».

- Нет. Спасибо. Я умру тут. Рядом с вами. На ветерке. Слышите, как она шумит? - он показал пальцем, опять не поднимая кисти, как будто боясь, что у него отнимут «ТТ», вверх, на крону груши. - Ей лет сто? Нет, столько не бывает. Меньше. Но пусть живет еще столько. Сколько детворы было под ней? Сколько еще будет? Идите, ребята. Не мешайте мне. Держитесь. Идите, идите.

Андрей с Барышевым лежали на дне окопа голова к голове, положив лица на руки. Земля под ними дергалась, с боков окопа сыпался песок, их несколько раз, как дождем, накрыли фонтаны земли, выброшенные взрывами, над ними ревели моторы «юнкеров», визжали сирены падающих бомб, а взрывы глушили их, потому что воздушные волны от взрывов, ударяясь об стенки окопа, отражаясь от них, ударяли и по дну.

Андрей, закрыв глаза, представлял, что происходит впереди их окопа: бронетранспортеры выстраиваются за пехотой в линию, пехота торопливо бежит, сбиваясь время от времени на шаг, ни пехота, ни бронетранспортеры еще не стреляют, не стреляют и пушки, тоже развернувшиеся к бою, потому что целей нет, потому что цели не обнаруживаются.

Андрей, пережидая взрывы, говорил Барышеву:

- Дистанция четыреста! Не раньше! Во-первых, патроны...

У них было снова шесть набитых лент да еще полтора цинка в пачках. Шесть лент, по двести пятьдесят штук в каждой, при технической скорострельности пулемета двести пятьдесят выстрелов в минуту означало шесть минут чистой стрельбы. Пусть даже Барышев сэкономил бы, пусть стрелял очередями по пятнадцать-двадцать выстрелов в каждой, на сколько минут хватило бы ему шести лент? Пусть даже Веня и Васильев сразу же, как только лента освобождалась, начали бы с обеих концов набивать ее, на сколько хватило бы полтора цинка?

- Во-вторых, бронетранспортеры. Они сразу перенесут огонь на тебя. Что ты против них сделаешь?

«Юнкерсы» ревели над ними, но взрывов больше не было, и Андрей вскочил.

- К бою! - крикнул он. - Пулемет! - Барышев и Ванятка махом поставили пулемет на площадку. - Дистанция пятьсот! - крикнул Андрей.

Немцы уже развернулись, за немцами на малой скорости, держа интервалы, качаясь на пахоте, шли бронетранспортеры.

Торопливо, резко хлопая, по ним ударили бронебойщики. Было видно, как по бокам бронетранспортеров вспыхивают искорки. Но угол был острым, и пули бронебойщиков чиркали, рикошета. А до пехоты было метров четыреста.

- Пулемет! Пулемет! Пулемет! - крикнуло сразу несколько голосов.

- А, черт! - выругался Андрей. Он хотел приказать Барышеву стрелять, но Барышев, сжавшись за пулеметом, уже дал длинную очередь по пехоте, потом еще одну, еще одну, расстреляв целую ленту.

Все так же резко хлопая, бронебойщики били по бронетранспортерам, один из них загорелся, другой, как-то вильнув, стал боком, остальные два затормозили. Но и с того, что вильнул и стал боком, и с этих, затормозивших двух, хлестанули крупнокалиберные. Вокруг их окопа - по бокам, за ним, перед ним - забились фонтанчики песка, снова резко ударили бронебойщики, развернувшийся боком бронетранспортер загорелся. Барышев вдернул вторую ленту, успел расстрелять еще сотню патронов, и тут пулеметчик с бронетранспортера поймал его в прицел. Андрей видел, как откинулся от пулемета, всплеснув руками, Барышев, как ткнулся головой под колесо Ванятка, и Андрей метнулся к пулемету, оттащил Барышева,

60

схватился за ручки, приподнял большим пальцем предохранитель и обоими большими пальцами нажал на спусковой рычаг.

Через прямоугольное отверстие в щите, как через окошечко, все виделось суженно, и поэтому четче - кусок пространства перед позицией роты и в нем горящие два бронетранспортера и два еще целых, а перед бронетранспортерами торопливо бегущие к ним, к роте, немцы и то, как взбивают пыль сразу за немцами пули его пулемета.

- Ленту! - крикнул он. - Ленту!

- Есть ленту!

Веня сунул конец ленты в приемник.

Андрей правой ладонью толкнул рукоятку дважды вперед, видя, как лента вдернулась в приемник, представляя, как замок, поднявшись, а затем опустившись, втолкнул патрон в ствол.

- Держи! - крикнул он Вене, не глядя на него, глядя лишь на прорезь прицела, на мушку и на фигурки перебегающих немцев.

Справа, сзади них, вдруг хлопнуло раз, другой, третий, пятый. Била то ли одна наша пушка, то ли били сразу две. По звуку Андрей определил, что это пятидесятисемимиллиметровка с длинным стволом. Для такой пушки, в стволе которой снаряд разгонялся до чудовищной скорости, для такой пушки эти бронетранспортеры были лишь мишенями - бронебойный пробивал их насквозь. Оба транспортера дали задний ход, и оба - один за другим - загорелись. Из них выпрыгивали немцы.

По горизонтали водить пулемет при стрельбе не надо - каждая пуля, вылетая из ствола, вращаясь, толкает ствол вправо, поэтому по горизонтали пулемет рассеивает сам, и если на него идет цель, то этого рассеивания достаточно, чтобы срезать эту цепь.

Держа левой рукой колесико вертикальной наводки, держа правой рукой рукоятку затыльника, нажимая на спусковой рычаг большим пальцем этой руки, все время глядя через окошечко в щите, видя, куда ложатся его пули, Андрей стрелял, довертывая механизм вертикальной наводки так, чтобы пули ложились за цепью. Это означало, что цепь они пролетают на уровне груди атакующих.

Он срезал эту цепь, бормоча:

- Думали - все? Думали - как котят? Ленту! - крикнул он, когда, чуть скосив глаза вправо, увидел, что Веня поддерживает уже хвост той ленты, которую он расстреливал.

Веня полулежал спереди справа от него: место второго номера расчета, чтобы удобнее подавать ленту в приемник, было выдвинуто на полметра вперед. Веня полулежал, навалившись боком на площадку, опустив голову под щит так, что короб пулемета и приемник были у него перед глазами. Это все, что он видел - трясущийся короб, дергающийся приемник, который, как какой-то прямоугольный рот на боку пулемета, глотал ленту. А лента прыгала, билась, как живая, и ее следовало аккуратнейшим образом поддерживать, как что-то нежное, хрупкое, иначе ленту могло перекосить, в приемнике патрон бы заело, и пулемет бы умолк.

- Что там? Как там, Андрюша? - спрашивал Веня, когда Андрей, опустив спусковой рычаг, подвертывал механизм наводки. - Идут? Лежат? Огонь, огонь, Андрюша!

Пули немцев цокали о щит, взбивали рядом с ними землю, тенькали над ними, и Вене, наверное, хотелось, чтобы Андрей стрелял не только потому, что надо было удержать немцев, но еще и потому, что за грохотом пулемета не было слышно этих пуль.

- Лежат! - цедил Андрей, отжимая предохранитель. - Встают!

Веня осторожно припадал глазом к одной из дырочек в щите, пробитых крупнокалиберным с бронетранспортера.

- Огонь! Андрюшенька, огонь! Что ты ждешь!

- Пусть подойдут, пусть поближе подойдут, - цедил Андрей, щурясь, ловя поднимающихся на линию прорези прицела и мушки на конце кожуха. - Ага!

Упираясь в дно окопа ногами, наваливаясь на пулемет согнутыми в локтях руками, он осторожно жал на спусковой рычаг, и когда пулемет начинал грохотать, дергаться, биться у него в руках, он, стараясь не мигать, удерживал эту прицельную линию на уровне груди подбегающих немцев.

Перед ним они уже не вставали, перед ним некому было вставать, но он, развернув пулемет сначала в одну сторону, потом в другую, срезал кинжальным огнем тех, кто атаковал роту на флангах;

Ударил сначала одна мина, потом другая, потом третья: его засекли, по нему пристреливались.

Андрей крикнул:

- Пулемет на руки! - Отшвырнув назад Васильева, который было бросился к пулемету, он крикнул ему: - Коробки! - дернул за хобот пулемет на себя, одновременно разворачивая кожух на Веню, крикнул сначала: - Берись! - а потом сразу же: - Ложись! - потому что вокруг них рванула целая серия мин: немцы били по ним уже прицельно, вскочил, когда мины кончили рваться, крикнул опять Вене: - Берись! - и Веня схватился за надульник и тут же бросил его и затряс рукой - надульник был раскален. Тогда он, швырнув Вене пилотку, крикнул снова: - Берись! Осел! - и Веня схватился за надульник через пилотку, от пилотки сразу же пошел пар, и они, сдернув пулемет с площадки, поволокли его по совсем мелкому, всего по колено, ходу сообщения на запасную позицию, а Васильев, перебираясь на четвереньках, волок за ними в каждой руке по коробке.

Они падали на дно, пережидая мины, но все-таки доволокли пулемет до запасной позиции, Андрей выхватил у Васильева коробку, сам - потому что Веня, отшвырнув дымящуюся пилотку, тряс рукой, - крикнув Васильеву: «Назад! Забрать все!» - вдернул в приемник ленту, дважды коротко стукнул по головке рукоятки и припал к прицелу.

До вечера они отбили еще две атаки. Их еще несколько раз бомбили, до вечера их позицию все время обстреливали из минометов и пушек.

В роте боеспособных осталась половина даже не от числа штата, а от того числа, которое было, когда они садились в понтоны.

Но до вечера в их позицию на прямую наводку подкатили две сорокапятки, сзади них вырыли свои круглые окопы минометчики и разложили на брустверах в виде ожерелья мины, похожие на тупоголовых короткохвостых рыб, им подбросили патронов и гранат, так что держаться было можно.

День они выстояли. Впереди была целая и не короткая, предосенняя ночь.

Солнце шло на закат, посвежело, с Днепра тянуло сыростью, раненые немцы, которые не могли сами отползти от их окопов, тише стонали, чтобы не привлекать к себе внимания. Те из них, кто мог, наверно, уже ползли к своим, а те, кто не мог, ждали, что, как только стемнеет, их вытащат.

Пришел ротный. Он сел на край пустого ящика от патронов. Голова у ротного была перевязана. Бинт с левой стороны промок до верхнего витка, но кровь все-таки засохла, бинт здесь стал твердым и, наверно, мешал ротному, ротный время от времени осторожно оттягивал бинт с этой стороны и морщил нос. Но даже под пороховой копотью и грязью, которая получилась оттого, что пыль, осевшая на лицо, смешалась с потом, было видно, что ротный здорово побледнел.

- Пулемет?

- В порядке.

- Лент?

- Шесть. - Они опять набили все ленты и сейчас сидели, и ели консервы и сухари. - Патронов осталось мало.

- Собери. Найди. Людей?

- Трое.

- Так! - сказал ротный. - Атылатов, ты жив? Молодец!

Веня промолчал.

Веня сидел на бруствере, свесив в окоп ноги. Нехорошее лицо было у Вени - сосредоточенное, хмурое, даже какое-то угрюмое. Сложив ладони лодочкой, он держал их на коленях. Иногда он приоткрывал ладони и смотрел внутрь их. Потом снова складывал плотно, вздыхал, смотрел на лес, обиженно оттопыривал губы, опять хмурился. На ротного он даже и не посмотрел.

- Слезь! - приказал ротный. - Подстрелят!

Веня съехал в окоп и сунул в карман то, что держал в ладонях лодочкой - прямоугольный клочок ткани с красной полоской, нашивку за ранение, полученную им от «милых людей» санбата.

- Дай людей, хоть одного, - сказал Андрей ротному. - Васильев не успевает набивать ленты.

- Посмотрим, - ответил ротный. - Убитых похоронил?

- Нет еще. Сейчас доедим и...

- Давай, давай! Не затягивай. Писаря! - крикнул ротный по цепи. - Писаря ко мне!

- Дай легкораненых. Пусть сидят и набивают, - настаивал Андрей.

Ротный на это, конечно, согласился.

- Этих дам. Скажи санинструктору, что я приказал.

Писарь притащил три большие лопаты. Одна лопата была совковая. Писарь нашел их в деревне.

- Займитесь! - приказал ротный. - Я подежурю. - Он передвинулся поближе к пулемету. - Метров за полста в тыл. Поглубже!

- Документы? - спросил писарь.

- Возьми сам, - ответил Андрей, и писарь, проворчав: - Не могут даже документы у людей собрать, - отошел к Барышеву и Ванятке, и начал шарить у них в карманах, вынимая документы и все остальное.

Лопаты глубоко уходили в песок. Они работали без передышки и за какой-то час вырыли узкую длинную могилу.

- Аты-латы, два солдата, - грустно сказал Веня, когда они с Андреем несли Барышева. Веня шмыгнул носом. Они осторожно опустили Барышева на руки Васильеву - Васильев стоял в могиле - и пошли за Ваняткой. - Как два брата... - Когда они втроем ссыпали на Барышева и Ванятку землю, Веня больше ничего не говорил.

Андрей пошел к санинструктору. Санинструктор рвал солдатские полотенца на полосы, скатывал полосы в короткие бинты и заталкивал их в свою санитарную сумку. Было ясно, что полотенца он забрал из мешков убитых. Полотенца были почище и погрязней, но это сейчас не играло никакой роли.

- Чего тебе? - хмуро спросил санинструктор. - Кажись, на этот раз нам не выбратся. Вот.

Санинструктор показал ему листок, на котором он записывал фамилии тех, кому оказывал помощь. Санинструкторам и санитарам за какое-то число раненых, которых они вытащили из боя или просто перевязали и отправили в тыл, полагались награды. За столько-то раненых - медали, за столько-то - ордена. Последним в листке под числом 27 стояла фамилия самого ротного.

- Легкораненых, когда будут, направляй ко мне. Набивать ленты. Ротный приказал.

- Так что, их за штаны держать?! - всплеснул руками санинструктор.

Любой легкораненый имел право идти в тыл, то есть добираться до Днепра с задачей ночью проскочить его на пароме или понтоне, затем как можно быстрее уйти от берега и заявиться в ГЛР. Где-нибудь километров за тридцать от Днепра, где уже не достанут не только фрицевские мины, но и снаряды, где вообще-то фрицы и бомбят уже редко...

Санинструктор выглянул из своего окопчика и посмотрел в тыл, в лес, куда следовало добираться раненым, куда они и добирались. Большое рябоватое лицо санинструктора было озабоченным, а глаза так и бегали.

- Хоть за штаны! - процедил Андрей. - Расчета нет, понял, нет? И если никто не будет набивать ленты, фрицы нас перестреляют. Или ты спрячешься за свою сумку?

Санинструктор встал. Санинструктор был крупным дядькой, крупным и хорошо упитанным. Что ж, санинструктору полагалось снимать пробу с ротной кухни: сверху пожирней, со дна погуще.

- Иди ты знаешь куда! - санинструктор угрюмо посмотрел ему в глаза. Глаза у санинструктора больше не бегали. Он оглядел свое хозяйство: сложенные в окопной нише гранаты, диски к ППШ - дисков было штук пятнадцать, да и гранат хорошая кучка. Еще в нише лежали начатые и нераспечатанные пачки патронов и к карабинам, и к автоматам, словом, санинструктор, отправляя раненых в тыл, забирал у них боеприпасы, оставляя раненому лишь минимум: ну, магазин, ну, парочку гранат, и собрал тут неплохой арсенал. Словом, санинструктор правил свое дело как полагалось.

Санинструктор дернул очередное полотенце, и оно лопнуло в его руках, как старенькая марля.

- Налибоков! Налибоков! - позвал санинструктор.

Из тупичка, примыкавшего к траншее шагах в пяти от них, выполз на четвереньках Налибоков. Левая нога у него была в ботинке и обмотке, а правая толсто замотана бинтами и полотенцами.

- Чо? - упираясь ладонями в землю, Налибоков смотрел на них снизу вверх. Лицо Налибокова было бледным, то ли от потери крови, то ли от только что пережитого, проступившая на полотенце кровь еще не успела побуреть. - Чо, робяты?

Санинструктор кивнул на Андрея:

- Он тебя сейчас заберет. Оттащит к себе. Устроит. Будешь набивать ленты.

Налибоков моргал, соображая, но руки-то у него были целы, руки были целы - короткие сильные руки. Оттого что он упирался ими в землю, было видно, как под гимнастеркой надувались мускулы.

Санинструктор опорожнил чей-то вещмешок, переложив его содержимое в другой, мелькнули запасные портянки, пачки писем, перехваченные бечевкой, обмылок, бритва, чашечка и помазок, растрепанный и помятый томик Лермонтова, блокнот с какими-то записями, огрызки карандашей, еще что-то.

- На закорки его! - скомандовал санинструктор, и Андрей, присев пониже, подставил Налибокову спину, Налибоков взгромоздился на нее, сцепил руки у него под шеей, скомандовал: «Поехали», и Андрей так его и дотащил к пулемету. Санинструктор приволок мешок с патронами и гранатами и автомат Налибокова.

Жди здесь. Какая разница, где ждать до ночи? - объяснил он Налибокову, который все-таки вопросительно смотрел на него. - Все равно до ночи никуда. А тут - при деле. Меньше про боль думать будешь. Ясно?

Санинструктор приволок еще одного солдата, раненного тоже в ногу, углубил для них траншею, расширив ее у дна так, что оба раненых полулежали довольно удобно, сходил на свое место, приволок все хозяйство и устроился рядом с ранеными. Андрей показал, как надо набивать ленты, подтащил поближе оставшиеся патроны, дал им фляжку воды, полпачки махры и клок газеты.

Что ж, теперь, если включить и санинструктора, снова был полный расчет - пятеро. Но включать санинструктора не следовало, санинструктор мог в любую секунду, согнувшись, побежать по траншее к раненому.

- Так! - сказал он всем. - Я пойду за патронами, - А вы тут... В общем, я пошел.

У немцев взлетело несколько ракет, потом не чисто по-русски по радиоустановке кто-то прокричал:

- Рус! Не стреляй! Санитар! Не стреляй!

- К бою! Рота, к бою! - крикнул по цепи ротный.

Но немцы, чтобы показать, что они не готовятся к атаке, время от времени пускали одиночные ракеты, и в их искусственном свете обозначались серые, согнутые под тяжестью носилок, фигуры санитаров.

Потом радио вновь заговорило.

- Русские солдаты! Храбрые русские солдаты! Слушайте нас хорошо! - говорил немец-пропагандист. Голос у немца был высокий, радио звучало чисто, и все слышалось прекрасно.

- Ну, ну? - подбодрил немца ротный. - Что ты теперь скажешь? «Штык в землю! Сталин капут!»? Все то же? Или что-то новенькое?

- Храбрые русские солдаты! - повторил диктор. - Подумайте про свою судьбу. Плацдарм окружен. Все, кто будет сопротивляться, будут уничтожены. В бой вводятся крупные силы германских войск. Храбрые русские солдаты! Сохраните свою жизнь! Переходите на нашу сторону! Сопротивление бесполезно. Перешедшие к нам будут немедленно отправлены в тыл. Им будет обеспечено питание и медицинская забота...

- И путевки в санаторий! - развил эту мысль ротный.

- Сохраните свою жизнь! Переходите на нашу сторону! - нажимал пропагандист. Но закончил он, как и прежде: «Штык в землю! Сталин капут!» Этот же пароль для перехода к немцам был и на листовках, которые сбросил перед закатом «шторх», над рисунком осыпавшегося окопа, порванного проволочного заграждения и косо воткнутой штыком в землю трехлинейки.

- Жвачка! - сказал ротный. - Сейчас поставят «Катюшу». Год отступают, а до сих пор не перестроились.

И правда, немцы прокрутили им два раза «Катюшу», потом повторили передачу, радио щелкнуло и выключилось. Вместо радио с той же стороны, но ближе к роте, кто-то закричал:

- Иван! Переходи! Переходи к нам! Мы тебя кашей накормим!

- Власовцы! А, с-с-су-ки! - протянул ротный. - Слышишь, Андрей?

- Слышу. Они их выдвинули вперед. Ты, предательская рожа! Ты, сволочь! - крикнул Андрей. - Мы тебе завтра покажем кашу!

Вся рота, конечно, слушала и власовцев, и то, что кричали из роты, потому что не только Андрей крикнул «предательская рожа». Кричали и другие. Кричали всякие слова. Власовцы тоже кричали. Веня, высунувшись из окопа, слушал все это, говоря Андрею:

- Русские люди! Ведь русские же люди! Разве можно было подумать? Можно было поверить? С немцами против своих. Как, Андрюша, объяснить все это?

Всю ночь над Днепром стоял гул - и ночью немцы летали и бомбили, сбрасывая ракеты, чтобы видеть, куда кидать бомбы. Всю ночь грохотали зенитки, отбивая эти «юнкерсы», рвался сухой коленкор в небе, всю ночь через Днепр плыли подкрепления: тысячи, тысячи людей везли боеприпасы, еду, орудия, минометные батареи. Но и всю ночь на стороне немцев урчали моторы подходивших машин, бронетранспортеров, танков.

Рота спала. Кто вполглаза, кто крепко, махнув на все рукой - будь, что будет, главное поспать, как следует, хоть несколько часов перед тяжким днем. Рота спала.

Еще перед рассветом немцы начали артиллерийскую подготовку. Они били по всему плацдарму. После атак они точнее узнали, до каких рубежей дошли высадившиеся, и на все пространство от этих рубежей и до Днепра, и в Днепр, и за Днепр, летели их снаряды и мины, потому что все это пространство - от закопавшихся передовых рот до Днепра, сам Днепр, за Днепром, на той стороне его - было занято нашими войсками. И каждая немецкая мина, каждый снаряд падали среди высадившихся, высаживающихся, готовящихся к высадке или поддерживающих высадку.

Еще перед рассветом полетели «шторхи», высматривая, радируя, что они высмотрели, указывая артиллерии и «юнкерсам» цели. Потом полетели «юнкерсы». Их было больше, чем накануне, больше было и «мессершмиттов» и «хейнкелей», но больше прилетало и наших истребителей, и целый день над плацдармом, Днепром, над Заднепровьем шли воздушные бои.

К этому полудню рота отбила четыре атаки. Конечно, она бы не продержалась так долго, но за прошедшую ночь сзади нее прибавилось сорокапятка, пятидесятисемимиллиметровых пушек, и стояли, зарытые под ствол, две семидесятишестимиллиметровые отличнейшие пушки, подкалиберный снаряд которых пробивал боковую броню и «тигра».

Но к полудню рота едва держалась. Бомбежкой, непрерывающимся артобстрелом почти все орудия в тылу роты были выведены из строя, а в оставшихся многие из расчетов погибли.

В роте не осталось и трети от того числа, что высадилось сутки назад. Ротный снова был ранен осколком в голову, но роту не бросил, по-прежнему командуя, гоня Степанчика и связных по узким и мелким ходам сообщения между окопами.

А Веня был убит. Еще во вторую атаку немцев и власовцев. Поддерживая прыгающую ленту, пока Андрей вел огонь, Веня забылся, забыл осторожность, высунулся из-за щита, и пуля попала ему в темя. Андрей увидел это, когда кончилась лента, а новую Веня не вставлял.

Он крикнул:

- Что ты! Ленту!



Но Веня теперь не должен был вставлять ленту, как ничего не должен был делать.

Он лежал боком на площадке, упираясь лицом в колесо пулемета, уцепившись руками за станок под приемником. Глаза у Вени были закрыты, а от затылка под колесо капала с коротких светлых волос кровь.

- Васильев! Сюда! - Андрей сам вставил ленту, а Васильев сжался за щитом. - Отодвинь! - Васильев отодвинул Веню. - Держи! Видел, как? Ровно держи!

Перед позицией роты, начиная примерно с двухсот метров и дальше вперед метров на триста, лежали убитые немцы и власовцы. Но за ними до самой дальней кромки поля, до леса за полем, двигались, перебегая, новые немцы. Лес будто выплескивал их, и, хотя по этому лесу били и наши пушки с того, с левого, берега, и, хотя на этот лес пикировали, словно ныряли с высоты, «петляковы», хотя над этим лесом то и дело ходили штурмовики, скидывая на него бомбы и стреляя по нему из пушек и реактивными снарядами, лес все выплескивал и выплескивал новые цепи немцев.

После полудня положение роты стало критическим. Она была фланговой в батальоне, с соседним батальоном локтевой связи у нее не было: немцы сдвинули соседа, и теперь у роты они висели на фланге.

Андрей, удерживая этот фланг, не давая пулеметом подойти немцам сбоку, расстрелял все патроны.

- Ленту! - крикнул он Васильеву.

Васильев, отшвырнув пустые коробки, пустые ленты, выдернул у Налибокова набитую еще только наполовину.

- Все! Больше нет!

Андрей сунулся в левый отвод от окопа, потом в правый, но нашел только пустые цинки.

- Старшина! - крикнул он. - Патронов! Патронов нет!

На стороне немцев ударили тяжелые минометы, и, то скрипя, то издавая какой-то близкий к ишачьему реву: «И-а-а-а! И-а-а-а!», к ним подключились шестиствольные реактивные, воздух задрожал, напрягся, через секунды, визжа, подлетели, разрывая этот воздух, и рванули мины, и над позицией роты встал дым, смешанный с пылью, так что ничего дальше нескольких метров нельзя было увидеть.

- Старшина! - крикнул опять Андрей, когда прошла первая серия взрывов. - Где старшина?

Он схватил автомат и, согнувшись, побежал к центру позиции, но тут же услышал, как у немцев снова ударили тяжелые минометы. Успев обернуться, чтобы крикнуть Васильеву: «Пулемет на дно!» - Андрей почувствовал лицом, как снова дрожит воздух, напрягаясь от ввинчивающихся в него тяжелых мин, и упал на дно хода сообщения.

Мины ударили по позиции, закричали раненые, он вскочил, открыл рот, потому что на месте пулемета и Васильева теперь была воронка, нашел глазами отброшенный пулемет и еще дальше от него то, что осталось от Васильева, какой-то бурый ком из солдатской одежды и человеческого тела.

Пулемет не годился ни к черту. Весь механизм вертикальной наводки был вырван, дно короба вбило внутрь, крышку сорвало, замка вообще не было, раму изогнуло так, что она торчала почти до края короба, а из кожуха, из многих дырок в нем, вытекала вода.

«К Бодину! К Бодину! - скомандовал себе Андрей, в один бросок возвращаясь к траншее. - Здесь - все! Точка!»

А Налибоков, второй раненый и санинструктор были целы. Они смотрели на него, выпучив глаза, старались что-то сказать, причем Налибоков отряхивал с головы, шеи, плеч, спины песок, делая такие движения, какие делают на физзарядке, чтобы размять, разогреть шею и плечевой пояс, а санинструктор ковырял в ухе. Из уха у него текла кровь.

- За мной! - крикнул Андрей. - К центру! К ротному!

- Отходи! - крикнул ротный. - Отходи!

Андрей оглянулся и увидел, что ротный, наполовину спрятавшись за деревом, с колена бьет из автомата по охватывающим их с фланга немцам. К ротному перебежали, рассредоточиваясь около него, остатки первого и второго взводов, но третий взвод, взвод Лисичука, еще лежал, отстреливаясь.

- Отходи! - еще раз крикнул ротный и спрятался за деревом, чтобы сменить магазин.

Все было понятно - ротный, оттягивая свою роту, загибал фланг батальона, чтобы немцы не вышли ему в тылы и, что еще страшнее, не прорвались к оврагу, по которому батальон поднялся сюда, по которому все шло в батальон. Прорвись немцы к оврагу, прорвись по нему к берегу, и плацдарм был бы рассечен, и что бы потом вообще было!

- Отходи! - повторил Андрей так громко, что Лисичук услышал. Андрей махнул рукой в сторону ротного и приготовился к перебежке назад, но Лисичук вместо того, чтобы дать взводу команду на отход, переполз к нему.

Лицо Лисичука было до странности красным, губы прыгали, как в лихорадке, но глаза горели тем же шальным мальчишеским восторгом, каким горели несколько минут назад погасшие теперь глаза Вени.

- На кой отходить! Ведь держим! Держим же! На кой...

- Отходить! Ты с ума сошел! Выйдут в тыл! - повторил Андрей, вжимаясь в землю, потому что над их головами прошла длинная пулеметная очередь, и пули сбили им на спины и ноги листья и веточки.

Прошла еще одна очередь, и мгновенно сообразив, что немец-пулеметчик сейчас меняет прицел, Андрей рванулся назад, вправо, потом влево и, упав, сразу же отполз метров на пять. Он слышал, как Лисичук крикнул: «Взвод! Отходить!», слышал стук его сапог о землю, когда Лисичук побежал, слышал, как полоснула еще одна очередь и как Лисичук, коротко вскрикнув «О-о!», упал, не добежав до него.

- Лисичук! - позвал Андрей. - лейтенант Лисичук! Товарищ лейтенант!

Лисичук молчал.

Волоча автомат за ремень, царапая лицо о траву, Андрей переполз к Лисичуку и, спрятавшись за него, потрогал Лисичука. Рука Лисичука была еще теплой, но уже вялой, будто отрубленной от плеча.

- Лисичук! Товарищ лейтенант! - сказал ему прямо в ухо Андрей и, захватив за плечо, перевернул лицом к себе. Теперь на этом лице не было румянца, оно поблекло, став неживым. И глаза с этого лица уже не смотрели, так как веки сжались плотно, до складок под бровями.

Андрей прижался щекой к груди Лисичука. В ней было все тихо, и тогда, выдернув из сумки Лисичука последний неразряженный магазин, вытащив из кармана документы, посмотрев поверх Лисичука туда, где остался лисичуковский взвод, Андрей крикнул:

- Взвод! Третий взвод! Слушай мою команду! Перебежками! Ко мне! Ко мне! Третий взвод, ко мне!

Вскакивая, перебегая, падая, третий взвод, вернее, его остатки - человек пятнадцать, перебежал к нему, а он, то выглядывая из-за Лисичука, то вновь прячась за него, кричал этим пятнадцати:

- Не кучей! Рассредоточься! Огонь! Огонь! Огонь!

Это были критические минуты, потому что почти никто из взвода Лисичука, перебегая, не стрелял, и немцы поднялись, и надо было их остановить, придержать, чтобы отходить дальше, к ротному, который дважды уже крикнул ему:

- Лисичук! Новгородцев! Ко мне! Все ко мне! Рота, ко мне!

Стреляя из-за Лисичука, слыша, как начали стрелять справа и слева от него, Андрей увидел, что немцы ложатся, что их перебежки стали короче, и он скомандовал:

- Броском! За мной! - он вскочил и, петляя с первого шага, добежал до дерева, за которым был ротный, и упал рядом, задыхаясь.

- Где пулемет? Бросил?! - хрипло спросил ротный. Он менял магазин, магазин заело, ротный дергал его, но магазин не выходил, и тогда ротный с силой ударил по нему кулаком так, что магазин отлетел. - Где пулемет? - ротный вставил полный магазин, дернуя затвор и резко повернул автомат на Андрея. - Где пулемет? Бросил?!

- Пулемет разбит! - крикнул он. - Прямое попадание. Расчет погиб! Прямое попадание, понятно! Опустит автомат! Ну! Что я, дурак, чтобы бросить пулемет? Теперь он куча железок. Тяжелая мина! Прямо под него! Разбросало на железки! И все ребята убиты! Ты понял? Опустит автомат, ну. Лисичук убит!

- Ах, мать их!.. - крикнул ротный, опуская автомат. - Где Бодин?

Андрей тоже опустил автомат, и, когда ротный лег, он лег рядом с ним.

- Не знаю. Не видел. Говорил, что будет со вторым отделением.

- Будет со вторым отделением? - переспросил ротный, наблюдая за тем, как рота укладывается в более-менее ровную линию и как накапливаются, дозаряжая оружие, передыхая перед следующим рывком, немцы. - Я был со вторым отделением. Бодин там и не мелькал. Там тоже весь расчет. Кроме наводчика. Но пулемет цел. Старшина! - крикнул он.

- Здесь! - ответил старшина. Он лежал от них недалеко, на спине, санинструктор перевязал ему кисть руки.

- Сколько патронов к пулемету?

- Пять коробок. И полцинка россыпи.

- Может, Бодин ранен или... - сказал предположительно Андрей.

- Может, - коротко кивнул ротный. - Посмотрим. И посмотрим, что еще делать с тобой. Если врешь - не завидую!

- Не завидуй! - буркнул Андрей. Его колотила дрожь, как будто бы внутри него что-то прыгало, металось. Он все еще видел покачивающийся напротив его груди автомат ротного и палец ротного на спусковом крючке.

Ротный, конечно, был прав: если бы он действительно бросил исправный пулемет, его бы следовало пристрелить, как собаку, не только потому, что по приказу по всей армии запрещалось в любых обстоятельствах бросать оружие, но, главное - сейчас, при отходе, пулемет был позарез нужен роте.

Андрей смигивал, стараясь избавиться от все стоявшего перед его глазами автомата ротного. Конечно же, этот автомат был, как и у всех, закопченный чуть ли не до половины кожуха, с особенно плотным нагаром у дульного среза, здесь нагар был прямо как слой сажи. Но этот закопченный дульный срез черным зловещим зрачком все смотрел на Андрея, все висел в воздухе перед ним (как, например, некоторое время висит перед глазами волосок зажженной лампочки, если посмотреть на нее, а потом отвести взгляд), и Андрей должен был смигивать, опустить голову к земле, чтобы избавиться от него и уgomонить дрожь.

- Прямо под пулемет! Его даже подбросило. Вертлюг - пополам, короб разбило, а раму - к черту, как проволоку, - еще раз оправдался Андрей и перед ротным и перед самим собой.

- Почему ж ты живой? - спросил ротный, не глядя на него, а приподнимаясь и махая кому-то: - Сюда! Ладно. Ладно, - закончил он разговор. - Третий взвод на тебе.

Где-то снова проскрипели шестиствольные минометы, и через секунды по роте веером ударили мины. Закричал раненый, кто-то вскочил, чтобы убежать, закрывая голову, в лес, но тут же упал, срезанный осколком от новой серии мин. Все грохотало, рвалось, визжало, свистело, летела в воздух земля, ветки, воняло стогрешшим толком, и над ними повис, не рассеиваясь, едкий дым, через который не видно было ни немцев, ни своих.

Заскрипел новый залп, новые мины рванули точней, и, казалось, теперь уже от роты не должно остаться ничего.

- Рота! Вправо! Триста метров! - крикнул, вставая, ротный. - Вперед!

Сами разрывы, дым, пыль прикрывали их от немцев, изготовившихся к атаке. Тут уж ни лежать, ни отползать было нельзя. Тут нужен был стремительный рывок, чтобы как можно скорей, потеряв скольких-то, вывести остальных из зоны поражения, потому что каждый залп убивал и ранил лежавших, не успевших окопаться солдат.

- Третий взвод! - подхватил Андрей, вскакивая за ротным. - Вправо! Триста метров! Вперед!

Он побежал, слыша топот бегущих впереди, сзади, по бокам, и, только почувствовав почти сразу же за следующим скрипом минометов, как уплотнился воздух, крикнул: «Ложись!» - и упал, упал вовремя, потому что грохнула еще одна серия мин и осколки, свистя, промчались над ним. Но эта серия задела роту лишь краем, ударила по отставшим, где-то сзади так, что уже не донеслись ни крики раненых, ни их стоны.

- Верещагин! Старшина! Новгородцев! - позвал их ротный. - Ко мне, живо!

Теперь от немцев их отделяла гривка высоких кустов.

Ротный стоял сразу же за гривкой, касаясь головой куста, стоял во весь рост, глядя себе, как сначала показалось Андрею; под ноги. Но он смотрел не под ноги, а в неглубокий, наспех открытый окопчик, на дне которого сидел Бодин.

- Ты говоришь, со вторым отделением? А он вот где, субчик! Вот где твой командир взвода! - процедил ротный Андрею. - И надо же!.. - Он широко открыл рот, хватил воздуха и словно подавился им. То ли от гнева, то ли оттого, что ротный потерял много крови, он был бел, лицо его стало совсем покойническим, под кожей четко проступали кости, глубоко запали глаза, синие губы как-то истончились, открывая крупные с желтизной зубы.

- Что же ты, Бодин, - начал было Верещагин, - Что ж ты такое... Мы потеряли... Где твоя совесть?.. А у меня еще мелькнуло: «Что-то не видно Бодина? Жив ли?» А ты тут...

- Встать! - вдруг крикнул ротный. - Встать! Вылазь! - ротный толкнул Верещагина от окопчика. - Видел? Ясно! Живо круговую оборону! Окопаться!

Верещагин побежал вдоль гривки, крича:

- Окопаться! Рота, окопаться!

Немцы медлили, все били по тому месту, откуда рота перебежала, немцы хотели сначала искромсать ее минами, но эти мины рвались впустую. Рота лежала за гривкой кустов, и кое-кто уже начал торопливо рыть в песчаной земле окопчики.

Бодин вылез. Держа автомат в левой руке, правой он начал стряхивать песок.

- Что он тебе сказал? - неожиданно спокойно спросил ротный Андрея. - Быстро. Что сказал?

Андрей отвернулся. Он не мог видеть, как Бодин совершенно нелепо отряхивает сейчас гимнастерку.

- Сказал, что будет со вторым отделением.

Ротный обернулся к наводчику второго отделения.

- Был он с тобой?

Наводчик, отведя взгляд от Бодина, покачал головой.

- Только проверил позицию. Сказал, что будет с первым отделением. Получается...

Это звучало как приговор, и наводчик ничего не добавил.

А Бодин все отряхивал песчинки.

- Получается!.. - На поясе у Бодина висело два магазина в чехлах. Ротный, дернув за лямки, открыл чехлы и выдернул магазины один за другим. Магазины были чистые и полные. - Получается! - повторил ротный и, вырвав у Бодина автомат, выбил из него магазин. Этот магазин тоже был чистым - без следов нагара у патронного окна, куда при стрельбе прорываются пороховые газы.

Ударили еще две серии мин, и, хотя они били по пустому месту, все, кроме ротного, пригнулись.

Бодин тоже пригнулся.

И тут подключился старшина. Все это время старшина Вилейков стоял как будто даже непричастно. Он лишь смотрел то на ротного, то на Бодина, то на Андрея, то на остальных, которые были у окопчика. Держа перед собой раненую руку, качая ее, дуя на повязку, словно повязка жгла замотанные пальцы, старшина непонимающе хлопал глазами. Но потом у него заходили желваки. Он опустил раненую руку, даже отвел ее, оберегая, за бедро и пошел, запинаясь, взбивая сапогами песок, на Бодина, на ходу говоря:

- Ты, младший лейтенант, с-с-сука. - «С» у старшины получалось с присвистом. - С-с-с-сука с офицерскими погонами! Тля, а не человек! Вот кто ты! - Еще за несколько шагов до Бодина старшина поднял высоко руку, как бы собираясь дать Бодину по голове, прихлопнуть эту тлю. - Мы тебя в трибунал!.. По приказу 227... Мы тебя сейчас на месте...

Что ж, старшина был прав, сто раз прав - за такое, что сделал Бодин, не то что трибунал, но можно было и на месте - приказ 227 не был отменен, а в этом приказе было многое сказано, в том числе и такие слова:

«Труссы и паникеры должны истребляться на месте».

- Товарищи! - начал Бодин, отступая от старшины и глядя на Андрея, на солдат, которые были поблизости, - одни солдаты стояли пригнувшись, так и забыв лечь, другие - кто на коленях, кто лежа, приподнявшись на локтях, - тоже ошарашенно глядели на ротного, Бодина, Вилейкова, сначала не понимая, что же происходит, но потом, поняв, что эта сволочь Бодин бросил своих пулеметчиков, отсиживался в безопасности, не расстрелял по немцам и патрона, когда половина роты была убита.

- Товарищи... Товарищ старший лейтенант...

Но все решил ротный.

Опережая старшину, он с силой ткнул магазином Бодину в лицо.

- Какой он младший лейтенант! Он - гад! Трус! Предатель! И никакого ему трибунала. Мы - сами трибунал!

Бодин не успел отшатнуться, и магазин рассек ему губу и десну. Из губы и угла рта у него потекла кровь.

- Товарищ старший лейтенант, - горько сказал Бодин. - Товарищи! Я понял... Я понял...

- Брянский волк тебе товарищ! - ротный ткнул Бодина магазином в живот, Бодин, уронив автомат, скрючившись, схватился за этот магазин, и ротный, отпустив магазин, сразу обеими руками сорвал с Бодина погоны, подхватив автомат, ротный сунул его Бодину, сунул еще один магазин и, взяв Бодина за ворот гимнастерки, тряс его, приказал ему в жалкие глаза:

- Кровью... Жизнью!.. Смоешь!.. Трусость!.. Кровью!.. - ротный швырнул Бодина в сторону разрывов. - Прикроешь роту! Бегом! Бегом!!! - Выхватив у Степанчика свой автомат, ротный дал очередь над головой Бодина, и Бодин, оглянувшись, тяжело побежал, почти не сгибаясь.

- Новгородцев! Ты! Ты! - скомандовал ротный Сожеву и Турину. - Бегом! За этой падалью! Еще сдается! Догнать! Живой он мне не нужен! Кто предал хоть раз - предает не единожды!

Они побежали за Бодиным, но должны были от него отстать, так как ребята протягивали им гранаты, и они, замедляя бег, хватали эти гранаты, и на это все-таки уходило время, и Бодин чуть их опередил.

Бодин плакал. Бодин плакал, это Андрей видел хорошо. Бодин на ходу утирал руками лицо, но сначала Андрей подумал, что это Бодин стирает кровь. Они все упали, потому что из-за последних кустов гривки стали видны перебежавшие к рубежу атаки немцы. Бодин оглянулся, ища глазами тех, кто мог его поддержать и огнем и своим присутствием, и Андрей четко рассмотрел, что лицо Бодина мокро от слез. Слезы оставили на щеках и по бокам подбородка, смыв пыль там, где Бодин их не размазал, две светлые полоски.

Андрею даже стало жалко Бодина - у Бодина были молящие глаза, он был просто захлестнут отчаянием, ужасом. Но всего лишь за мгновение тем внутренним зрением, которым человек видит свое прошлое, Андрей вновь увидел, как были убиты Барышев и Ванятка, как корчился Папа Карло, как упали от приемника пулемета руки Вени, как, коротко вскрикнув «О-о!», упал лейтенант Лисичук, как были убиты пулями, растерзаны минами все те другие, которых он видел... И жалость к Бодину пропала.

Он отполз в сторону и крикнул Сожеву и Турину, которые легли левее Бодина:

- Больше интервал!

Бодин посмотрел на него так, как если бы подумал, что он отодвигается от него не потому, что так надо в бою - меньше потери и фронт удерживаемого рубежа шире, а потому что боится заразиться от него обреченностью.

- На! - крикнул Андрей и швырнул Бодину гранату, так что она подкатилась почти к его ногам. - Приготовь!

Запал в гранату был ввинчен, но надо было еще слегка развести усики шплинта, который удерживал кольцо. Андрей приготовил обе оставшиеся у него гранаты и зацепил их предохранительными планками за ремень над правым бедром. Гранаты там держались крепко и были под рукой.

Немцы поднялись до того, как опала земля от взрывов последних мин, еще было дымно, отчего не всех немцев можно было и увидеть, но те, кто был виден, поднялись дружно, как выпрыгнули из земли, и, стреляя от живота, рванулись к ним, крича: «А-а-а!»

Бодин дал очередь и снова оглянулся, в глазах у него было то же отчаяние и мольба о милосердии, но Андрей крикнул ему, напоминая и приказывая:

- Зачем жгешь патроны? Далеко! Прицел! Поставь прицел! Подпустим поближе! Прицел сто пятьдесят!

Андрей чуть не добавил: «Растяпа!», но тут над ним веером прошли пули, он прижался щекой к земле, подумав: «Я сам на прицеле», - и, не отнимая щеки от земли, отполз метров двадцать к другому кусту и прямо через него, раздвинув веточки, всмотрелся.

Немцы уже различались ростом и фигурой, хотя лица их еще казались только светлыми овалами над серыми плечами.

Он не стрелял, подпуская немцев поближе, но, когда вскочили два пулеметчика и, подхватив МГ-34, меняя позицию, тяжело побежали, он перевел флажок на «одиночный», поймал пулеметчиков на мушку и, быстро нажимая на спуск, возвращая все время автомат на линию прицеливания, сбил с шестого патрона одного пулеметчика, а когда над этим пулеметчиком наклонился второй, с третьего выстрела застрелил и его.

- Ага! - сказал он, переползая к следующему кусту. Когда и лица немцев начали различаться, он перевел флажок на автоматический огонь и встал за краем куста на колено. Поднимая автомат к плечу, он глянул еще раз на Бодина и поверх него на Сожеву и Турина, Сожев и Турин, маскируясь за кустами, тоже приготовились стрелять с колена.

«Хорошо», - подумал Андрей. Это положение давало точную стрельбу, хотя в тебя могли попасть скорее, чем если бы ты лежал.

А Бодин лежал, а Бодин и стрелять начал первый, и первый себя демаскировал, и сразу же несколько немцев, стрелявших наугад, ударили по нему, и вокруг Бодина - спереди, сзади, по бокам забили песчаные фонтанчики, но Бодин стрелял и стрелял, он убил или ранил троих, Андрей видел, как они упали, пока какая-то пуля не впилась в Бодина. Тогда Бодин вскочил, держась за бок, и, уронив автомат, успел сделать несколько шагов, но четверо, выскочивших из-за кустов, четверо немцев одновременно ударили по нему, и Бодин как будто зацепился за невидимую проволоку и ткнулся лицом в траву.

Сжавшись, Андрей резанул диагональной очередью эту четверку, но срезал только одного, так как ствол автомата ушел от выстрелов вверх, он дернул его вниз, на уровень животов немцев и дал еще очередь, отчего сбил еще одного немца, но больше Андрей не стрелял, а, метнувшись за кусты, перехватил автомат левой ру-

кой, правой выдернул из-за ремня гранату, рванул зубами кольцо и швырнул ее так, чтобы она упала, не долетев до немцев, так, чтобы они, пока горит запал, набежали на гранату.

Граната шваркнула у немцев под ногами, и, крикнув Сожеву и Турина: «Отходить!»- и надав на всю мочь, прыгая через небольшие и обегая большие кусты и деревья, Андрей побежал к лесу, петляя, согнувшись, вжав голову в плечи.

И, странно, он видел все: летевшие на него стволы и ветки берез, нежно-белую с черными полосками кору, а на ореховых кустах свисавшие из-под листьев мохнатые гнездышки орехов, растущих парами и тройками, птичку, которая, присев на дрогнувший под ней сучок, удерживаясь на нем, махала вверх-вниз, вверх-вниз хвостиком, как будто качала невидимый насосик, паука, сидевшего спиной к нему в центре своей сетки, и даже мерзкий крест на этой его спине.

Опять держа правой рукой автомат перед собой, левую он выбросил на отлет и, балансируя ею при прыжках и скачках, летел к лесу, думая об одном: «Не упасть! Только бы не упасть!»

Немцы били по нему, ориентируясь по шуму, несколько пуль свистнули рядом, одна все-таки обожгла ему бок, но он, прислушавшись к боли, почувствовал, что боль не идет изнутри, обрадованно понял, что рана не опасна, что это просто касательное ранение, хотя и болючее, но не страшное, и бежал, и бежал, и бежал.

Еще в самом начале рывка назад Андрей боковым зрением схватил тот кусок перелеска, где за Бодиним были Сожев и Турин. Сожев как раз доставал гранаты, а Турин напропалую стрелял. И судя по тому, как он дергал автомат вправо и влево, немцы против них были близко. Андрей успел заметить, что Сожев и Турин, как только Сожев бросил обе гранаты, побежали, слышал на бегу, как и под ними трещали ветки, но потом вдруг как бы почувствовал, что бежит один. Сделав еще несколько прыжков в лес, Андрей забежал за толстую корявую сосну, высунулся из-за нее совсем чуть-чуть, лишь бы видеть, никого - ни немцев, ни Сожева с Туриним - не увидел и стал слушать.

Стрельба смолкала. Немцы, видимо, задержались, ожидая, когда подтянутся отставшие, а может быть, и просто не хотели входить наобум в лес, опасаясь нарваться на засаду.

Что ж, немцев не было слышно. Но не было слышно и Сожева с Туриним.

Не снимая ремня, Андрей задрал гимнастерку. Крови вышло мало, кровь только смочила край брюк, впиталась в трикотажную майку, но бок жгло при самом легком движении. И без движения тоже жгло. «Надо бы перевязаться! - подумал Андрей. - Или нет», - решил он и прислушался.

Он позвал:

- Сожев! Турин! Ребята!

Никто ему не ответил, и он, перезарядив автомат и потрогав последнюю гранату, пошел в их сторону, чуть забирая и в сторону немцев, время от времени окликаая, пока наконец ему не ответили:

- Мы здесь! Здесь мы! Ты, Новгородцев?

Сожев, наклонившись над Туриним, торопливо сдергивал с него обмотку, собираясь перевязывать раненую голень.

- С ума сошли! - зло выдохнул Андрей. - Быстро к роте! Слышите! - Совсем недалеко, в какой-то полусотне метров, хрустнула ветка. - Фрицы! На плечи его! - Андрей выдернул из туринского автомата диск, судя по весу в диске было мало патронов, скомандовал. - Живо к роте! Я прикрою! Живо! - и перебежал на несколько шагов вперед, давая возможность Сожеву оторваться хоть ненамного.

Сожев крикнул, взваливая себе на спину Турина, Турин застонал, тяжело захрустели ветки под ногами Сожева, и тут же Андрей увидел немцев.

Их было пятеро, они шли так близко, что он различал не только их лица, но даже серебряные петлицы, а у самого первого и ленту, пристегивающуюся ко второй пуговице мундира, ленту за зиму сорок первого в России. Этому фрицу было лет двадцать, его соломенный чуб выбился из-под пилотки, и фриц, держа автомат на изготовке, дважды отводил чуб рукой, чтобы волосы не мешали ему смотреть.

Четверо остальных немцев, располагаясь парами по сторонам чубатого, шли чуть сзади него, настороженно вглядываясь и вслушиваясь, тоже держа пальцы на спусковых крючках.

«Ах ты!» - Андрей сжался за деревом: далеко за спинами этой пятерки он различал головы других немцев - их было много!

Не дыша, придерживая флажок прицела, чтобы флажок не щелкнул, он повернул его на «50», и тут пятерка по знаку чубатого сошлась теснее, но не так тесно, чтобы можно было убить или ранить их одной гранатой, даже задержав ее в руке на секунду с освобожденным взрывателем, чтобы, когда граната упадет, от нее невозможно было бы отскочить, потому что она рванет сразу.



Все так же, не дыша, Андрей прицелился чубатому под пилотку, коротко стукнул в него одним патроном, и этот чубатый еще не успел вскинуть руки, как Андрей, смигнув, дал очередь по остальным, разглядев над прицелом, что чубатый откинулся назад, как если бы пуля не просто пробила ему лоб, а еще и сильно толкнула, или как если бы кто-то дернул его сзади за воротник мундира, и что в двоих слева от чубатого он тоже попал, а вот в двоих справа промазал, потому что они бросились на землю. Тогда он нырнул за дерево, дернул из-за пояса гранату, снова зубами вытянул шплинт, отпустил предохранительную чеку, услышал, как щелкнул ударник по капсуле запала, сказал мысленно: «Сто двадцать два» (по времени это как раз равнялось полутора секундам) и швырнул, почти не высовываясь, гранату. Граната рванула, еще падая, у земли, и когда он побежал, он слышал, как какой-то из немцев стонет, и понял, что другой в него, Андрея, не стреляет.

- Давай! Давай! - поторопил он, нагоняя Сожева. - Давай, Сожев! Давай! - он перехватил руку Турина и закинул ее на плечо.

Если бы немцы сейчас догнали их, немцы бы мгновенно перестреляли их, потому что Турин, повиснув у них на плечах, вцепившись со страшной силой им в гимнастерки, не только замедлял бег, но из-за Турина и упасть быстро было невозможно. Вместе с Туриним им бы пришлось не падать, а валиться на землю, и еще до того, как они коснулись бы ее, каждый успел бы получить несколько пуль в спину.

- Давай! Давай! Быстрее! - требовал Андрей.

Турин стонал и матерился, его раненая нога задевала за кочки, вылезшие из песка корни сосен, но Сожев и Андрей, не обращая на это внимания, тащили его, как куль.

- Кажется, оторвались! - наконец сказал Сожев. - Передых! Я больше не могу. Хоть чуток... - он отодрал от гимнастерки руку Турина, и Турин, не удержавшись, повалился набок, разрывая ворот гимнастерки Андрея и сваливая его рядом с собой.

- Быстро! Быстро! - приказал им ротный, когда увидел их.

- По местам! Новгородцев, к пулемету. Беречь патроны! Только в упор! Понял? Турин, перевязаться - и к пулемету! Набивать ленты! Ясно? Сожев, за мной! Быстро, ребята, быстро! У нас считанные минуты!

Все трое, слушая эти команды, еще не понимая их до конца, не соображая, что к чему, еще только начиная радоваться, что они все-таки ушли от немцев, облегченно вздохнули.

Они были с ротой. Они были среди своих.

Здесь вода глубоко вдавалась в берег, здесь был заливчик-бухточка, отделенная косой. По косе сплошь рос тальник, у воды оставалась лишь полуметровая полоска белого песка. На этом песке по всему берегу косы лежали рыбы вверх животами, пилотки и скатки. Их выбросили волны.

«Вылезу! - подумал Андрей, подгребая к косе. - Где-то же надо вылезать!»

Он должен был выйти на берег, разведать, что там, за косой, что дальше, нет ли немцев, и, торопясь, поплыл быстрее, но когда дно начало просматриваться, он резко взял в сторону.

По всему дну, по всему бережку, лежали снесенные туда, прибитые течением утопленники. Хотя Андрей лишь секунду глядел на них, а потом отвел глаза, он заметил и лицо одного, и то, что другой был в каске, и что у третьего, без ботинок, очень белые ноги ниже кромки брюк. Остальных он особо не различил, его взгляд лишь схватил чуть шевелящиеся от подводного течения фигуры, еще похожие на людей.

«Сколько их там!» - подумал он обо всем дне Днепра и как бы увидел это темное дно на всем протяжении Днепра и на нем холодные тела.

Он заплыл за косу и тут же, судорожно отталкиваясь от воды, не забыв боль, но не обращая на нее внимания, рванулся к берегу и спрятался под свесившимся кустом ивняка, забился под него.

«Ах, черт!»

Немцев у воды было не так уж много, но даже один-единственный немец сейчас ему был страшен: что он мог сделать поломанным автоматом этому немцу?

Он увидел повыше еще немцев, они рыли окопы, устанавливали пулеметы, тянули телефонный провод, рубили кусты, счищая секторы обстрела.

«Ждут, что мы и тут будем десантироваться. Ждут, собаки! Что же делать? Если они пойдут и в эту сторону, до ночи не спрячешься, заметят, - лихорадочно думал он, - и тогда...» - Он представил, как и он лежит на дне, как те, кого он видел на той стороне косы. И он содрогнулся.

Все так же держась в тени ивняка, он чуть проплыл вдоль берега, отчаиваясь и надеясь, надеясь и отчаиваясь, ощупывая глазами прибрежные кусты, воду, оглядывая даже небо, как будто и с неба могло прийти спасение. Он почти совершенно отчаялся, решив, пусть будет что будет, но он должен ждать ночи, надеясь,

что немцы не пойдут в его сторону, и тогда в темноте он тихо отплывет от берега и поплывет по течению вниз, сколько хватит сил, надеясь, что приплывет к какому-нибудь другому нашему плацдарму или найдет лодку и, отгребая, пусть даже руками, переплывет Днепр.

Всего каких-то несколько часов назад он был с ротой, с ее остатками. И все бы обошлось хорошо, потому что рота благополучно отошла, сомкнулась с батальоном, и он не был особенно тяжело ранен, и, кто знает, как бы сложился день до вечера, если бы не грохнувший рядом снаряд: он не слышал, как снаряд подлетал.

Как раз, по каким-то звуковым законам, не слышны именно тот снаряд, та мина, которые летят на тебя. Его отбросило, он как бы вдруг подлетел выше сосен, и странно мягко, как если бы снижался на резинке, опустился на песок. Когда он очнулся, из роты никого не было. Рядом с ним лежал лишь санинструктор. У санинструктора были прострелены поясница и шея. На дне открытой санитарной сумки было два бинта, и Андрей взял их. А оружие санинструктора кто-то забрал. Может быть, и немцы, которые застрелили его, когда он, наклонившись, хотел перевязать Андрея. Щека, плечо, бок, бедро с той стороны, где ударил снаряд, как онемели. Из головы у него текла кровь, но больно не было, кровь текла и из рассеченного плеча, но ему и тут не было очень больно, как не было больно и бедру, хотя на брюках в этом месте было три дырочки, величиной с копейку, и брюки намокли от крови. Болели лишь ребра на другом боку, там, где их задела пуля, когда они с Сожевым и Туриным прикрывали роту.

Хотелось пить, шумело в голове, земля и деревья качались, как если бы он смотрел на них, лежа не на песке, а на носу плывущей лодки.

Судя по стрельбе, бой сместился вплотную к оврагу, по которому рота поднималась. Оттуда, но ближе к Андрею, доносились и команды немцев. Да и стук «шмайссеров» был куда левей, чем резкие и частые очереди ППШ. Это означало, что между ротой и им было полно фрицев, и пробиваться в ту сторону было бессмысленно.

Он пополз вправо, волоча за собой автомат, в искореженном магазине у него осталось несколько патронов. Какой-то крупный осколок ударил в магазин, рассек крышку, перебил пружину, и она торчала из него, позванивая, когда цеплялась за что-то.

Он спустился в мелкий овражек, заросший колючим боярышником, и пополз между деревцами вниз по овражку. Здесь было сыро, видимо, под дном овражка на какой-то глубине тек к Днепру скрытый ручей, вынося в реку землю, и дно овражка оседало, прогибалось.

Он полз и слушал, и своих, русской речи, не услышал ни разу, но дважды уловил отдаленные немецкие команды. Ближе к Днепру овражек, не расширяясь, падал круче, и он на животе съехал по дну, тормозя носками сапог и коленями.

Еще не смерклось, когда из устья овражка, как раз там, где был ледяной родничок, он вышел к Днепру. Лежа у родничка, то припадая к воде, то вновь отодвигаясь под кусты, он пил, ощущая, как холодными тяжелыми комками толкает вода его желудок. Берег тут был обрывист, крут, вода подступала к нему вплотную, и стоило сделать от родничка какие-то пять шагов, и ты был в воде. Он и сполз в нее, когда сверху, по его пути, стали спускаться, переговариваясь, немцы, и поплыл, держась вплотную к берегу, прячась в его тени, под ветками наклонившихся кустов.

Но никакой лодки на косе у заливычика он не нашел, а нашел Зазора. Вернее, Зазор нашел его.

Зазор, коротко заржав, вышел к нему из-под обрыва, из густых кустов - там он прятался от оводов. Это был артиллерийский конь: невысокий, крепконогий с широкой мускулистой грудью. Он был в хомуте, за хомутом, цепляясь за кусты, тащились постромки.

Красно-белый, с узкой белой же полоской на лбу от ушей до носа, приземистый, короткохвостый, легкой, Зазор был красив покойной силой, неторопливыми движениями, умными с темно-синим оттенком, почти лиловыми, живыми глазами.

У него было две некрупные осколочные раны - одна на бедре, другая ниже седелки. Раны уже подсохли, покрылись бурой корочкой и не кровоточили, но к ним липли мухи, и Зазор то и дело откидывал голову к спине и отмахивался хвостом. Вообще мух сюда слетелось много, наверное, их привлек запах всплывшей, начинавшей гнить рыбы.

- Тихо! Тихо! Тихо! - шептал Андрей, глядя морду Зазора. - Тихо, милый. Тихо, умница! Фрицы рядом! Слышишь, рядом. Если заржешь, пропадем. Оба пропадем. А я - уж это точно...

Развязав супонь, он раскрыл клещи хомута, и Зазор выдернул голову. На клещах было выжжено гвоздем имя этого работника-артиллериста - «Зазор». Такое же имя, наверное, было написано и на бирке, подве-

шенной к хвосту, но вода размывла чернила, и надпись здесь стерлась. Потом Андрей снял и седелку, а череседельник подвязал к недоуздку. Поколебавшись, он сдвинул узду, и Зазор вытолкнул изо рта трензеля.

- Ну вот, ну вот... - сказал ему Андрей. - Теперь тебе легче. Только тихо. Ни слова, друг!

Зазор ткнулся мокрым носом ему в плечо, в шею, захватывая губами его ухо. Зазор, наверное, любил своего ездового, а ездовой, наверное, был хорошим человеком, и между ним и Зазором была дружба, а может быть, и любовь. Та любовь, которая рождается от преданности животного человеку и от доброты человека к нему.

Пошарив по карманам, Андрей нашел небольшой комок слипшегося сахара и отдал его Зазору. Зазор схрумкал сахар, закрыв от удовольствия глаза, а потом ткнулся носом ему в руку, облизывая ладонь. Андрей, глядя его шею, отмахивая веткой мух от ран, прислушивался.

Наверху, над кустами, над свисающими с обрыва корнями, время от времени звучали голоса. До верха обрыва было метров двадцать, и говорившие не подходили к самому краю, боясь обвалиться, но если бы они услышали, как ржет Зазор, то им ничего не стоило бы бросить на звук пару или тройку гранат. Так, для перестраховки, потому что их, немецкие, лошади тут быть не могли.

- Тихо! Тихо! Не вздумай! - предупреждал его Андрей. - Нам надо продержаться еще каких-то пару часиков.

Под обрывом темнело быстро, их в кустах ни с воды, ни сбоку уже не могли бы различить, но Днепр все еще отливал потускневшим серебром, и по этому серебру плыли, минуя их, осколки, обломки, остатки того, что попало под немецкие бомбы, но не пошло на дно.

По-прежнему левее, вверх по течению, рвались эти бомбы и снаряды, туда летели, разворачиваясь, «юнкерсы», «мессеры», наши истребители, над выдающимся в Днепр обрывистым мысом в небе рвались зенитные снаряды, и то, что все это продолжалось, что плыли по Днепру плотики и скатки, потерявшие хозяев, что не смолкали бомбежка и бои в воздухе, говорило ему, что плацдарм держится, что на плацдарм перебрасываются новые части, что немцам пока не удастся сбросить их в Днепр и расстрелять там.

Что ж, он не был виноват, что оторвался от своих, что оказался здесь один. Свое, в меру сил, он сделал. Он был ранен, хотя и не тяжело, но ранен и в правый бок пулей, и в левое плечо, и в левое бедро осколками, и вообще левая сторона, куда его ударило взрывной волной, все еще продолжала быть деревянной, как будто он ее отлежал. Раны больше не кровоточили, хотя, когда он вылез из воды, кровь из них текла. Но они быстро подсохли, и, хотя ныли, он, стараясь реже шевелиться, не обращал на них внимания, следя, как темнеет Днепр, да уговаривал, да поглаживал Зазора, да просил его молчать.

Когда тот берег потерялся, когда впереди виднелась только вода, он нашел прибитые к берегу бревнышко и сиденье от понтона, супонью привязал к бревнышку свой ППШ, а конец супони к постромке. Из свободного конца постромки он сделал неподвижную петлю, которую можно было надеть Зазору на грудь. Он хотел, чтобы, когда они поплывут, голова Зазора была свободной, чтобы ничто не тянуло ее вниз, к воде. Брючным и поясным ремнями он увязал одежду и сапоги на сиденье от понтона, а бревнышко и сиденье сплотил череседельником так, что сиденье не давало крутиться бревнышку. ППШ, сапоги и одежда теперь не мешали плыть. ППШ был все-таки помехой для Зазора, но Андрей не хотел, чтобы на том берегу в медсанбате ему сказали: «Сам выбрался, а оружие бросил? Тебя что, без сознания вынесли с поля боя? А ну назад, на плацдарм! Или найди оружие, или в штрафную!» Нет, он не хотел слышать этого и привязал к бревнышку бесполезный сейчас ППШ, так как, кроме разбитого магазина, другого у него не было.

Он нервничал, и тревога передалась Зазору. Зазор смотрел, как он увязывает автомат и одежду, тихонько фыркал, кивал на Днепр, тянулся к нему, Андрей успокаивал его:

- Тихо! Тихо! Тихо! Еще не время. Видимость метров триста. Это знаешь что? Это, брат, мы будем учебными целями: короткая очередь, поправка прицела по всплескам, огонь на поражение. Раз, два - и в дамках. На дно! И - вниз по течению. До Черного моря. Если раньше нас не сожрут раки и рыбы. Ты ведь не хочешь, чтобы они тебя жрали? Ты ведь не хочешь на дно? - Зазор, переступая, прядал ушами, отмахивался головой. - То-то. Отдыхай. Нам с тобой отдыхать еще лишь полчаса. Какие-то полчаса. А там... Там, брат, держись! Лишь бы они меня за тобой не заметили. Вот что главное!

Когда стемнело совсем, когда и на таком расстоянии, куда можно докинуть камнем, ничего не различалось, когда Днепр лишь угадывался по шороху волн, по его тихому дыханию, всплеску рыб, Андрей сжал узду, притянул к себе голову Зазора, погладил, потерял лицом ему о лоб.

- Ну, держись!

Зазор мягко стукнул копытом в песок, потрянул головой. Его шершавый лоб пахнул потом, теплом, жизнью.

- Уф! - сказал Зазор.

- Вперед! - приказал Андрей, дернув Зазора к воде. - Вперед, друг!

Он взялся за постромочную петлю, они без всплеска вошли в воду, и через какой-то десяток шагов от берега уже плыли - здесь была страшная глубина.

Зазор, отплыв недалеко, дернулся было вправо, чтобы держаться у берега, чтобы выйти где-то на него, но Андрей, перехватившись за узду, потянул голову Зазора к середине.

- Туда, Зазор, туда!

- Уфф! - ответил Зазор. - Уфф! - Зазор как бы сомневался в правильности этого решения, как бы не очень верил, что им хватит сил на весь Днепр, но покорно взял к середине.

Они, конечно, плыли по косой линии: течение, нажимая им в левый бок, сносило их вниз, поэтому проплыть им надо было дистанцию, пожалуй, в две ширины реки, во всяком случае, не меньше полуторы. Течение не было сильным, вода в Днепре спала, так что тек он плавно, и будь он поуже, можно было бы и брать круче к берегу, но громадная его ширина заставляла беречь силы, плыть, осторожно продвигаясь вперед, держась поспокойней, рассчитывая, как можно дольше продержаться для того, чтобы рано или поздно где-то прибиться к другому берегу.

Ухватившись правой рукой за петлю из постромки, лежа в воде наполовину на боку, Андрей левой рукой с силой подгрел под себя воду и, как при кроле, часто-часто сек ногами воду, чтобы держаться как можно горизонтальной. При таком положении вода меньше сопротивлялась и Зазору было легче.

Зазор плыл чуть впереди него, вытянув голову над водой, делая примерно такие же движения, как при беге рысью. Он бежал в воде резво, дышал спокойно и равномерно, и полдороги, наверное, они проплыли так благополучно, что Андрей, выдыхая очередной раз, как бы выдохнул и тревогу, хотя ничего уже, кроме воды, кругом их нигде не различалось.

Он чувствовал, как напряжено тело Зазора, как напряженно движутся в этом теле мышцы и как где-то в глубине его бьется, стучит сердце Зазора, сердце преданного человеку существа, доверчивого и безропотного. И он то и дело подбадривал Зазора:

- Так! Хорошо! Умница! Спокойней! Спокойней, Зазор! Мы ушли. Понимаешь? Мы ушли. И теперь ни хрена они с нами не сделают. Ты понимаешь это, Зазор-Зазорчик?

Ему хотелось погладить мокрую сейчас шею Зазора, погладить его сильное плечо, но он не делал этого, чтобы не сбиться с ритма и не сбить с ритма Зазора.

Они и правда ушли, им везло. Пока все было тихо, только раз их, может быть, видели немцы, еще когда они отплыли всего метров на двести. Три «шторха», держась низко, пролетели над Днепром, бросая осветительные ракеты, высматривая, а не готовится ли и здесь десант, а не плывут ли уже и тут? Спускаясь на парашютах, ракеты горели долго и, как какие-то фантастические фонари, мертвым фосфорным светом озаряли широко все вокруг. Зазор в этом свете, конечно, еще был виден немцам, а он, Андрей, спрятавшись под бок Зазору, не был виден, что же касается бревнышка и доски, так немцы могли и не обратить на них внимания - мало ли плыло по Днепру всего?

Но немцы по Зазору не стреляли. Не стреляли то ли потому, что не хотели обнаруживать себя, то ли потому, что среди них не нашлось такого, кто бы мог застрелить переплывающую широченную реку одинокую лошадь. Нет, им везло. Когда погасли ракеты, глаза опять привыкли к темноте и виднелись даже маленькие звезды и узкий, лишь чуть обозначившийся серпик нового месяца. Почти не освещая гребешка крошечных волн, серпик лишь отражался на них. Где-то, судя по времени, сколько они плыли, где-то за серединой Днепра Зазор вдруг сбился с дыхания, глубоко и торопливо задышал и тревожно и устало пожаловался:

- Фр-р-р-ух!

- Ну, ну! - прикрикнул на него Андрей. - Вперед! Это что еще?! Вперед! - Он начал сильнее отгребаться, чтобы Зазор взял с него пример. - Уже близко! Держись. И - без паники!

Но сердце его сжалось. О себе теперь он мог почти не беспокоиться: для немцев он был недосыгаем. От западного берега он был уже далеко, бомбежки тут не ожидалось, на восточной стороне Днепра опасности наткнуться на немцев не было, Днепра он не боялся - что теперь для него был Днепр! Так - много воды, и все. Чего же ему было особо тревожиться?

Будь он один сейчас с оставшимися у него силами, он бы перевернулся на спину, сориентировался по какой-нибудь звездочке, привязав ее к Полярной звезде, и плыл бы строго на восток и так, покачиваясь на спине, потихоньку-полегоньку, взглядывая на эту звездочку, делая поправки на нее, поплыл бы и поплыл. Так он мог плыть еще хоть час, хоть больше, держа в поводу бревнышко и доску. Плавал он хорошо, к прохладной воде притерпелся, судороги не боялся, из ран у него кровь не бежала, хотя корки на них опять подмокли, но даже если бы эти корки и отлипли, то вряд ли у него началось сильное кровотечение, такое сильное, что он мог бы ослабеть и не доплыть.

Нет, он знал, что доплывет, он знал, что с ним теперь-то все будет в порядке! Что для него теперь был какой-то кусок Днепра? Да ничего. Всего-навсего каких-то десять, пятнадцать, двадцать минут в воде. Ну полчаса от силы.

Его тревожил Зазор. Зазор плыл тяжело, фыркал, всхрапывал. Он весь погрузился в воду, ни круп, ни плечи его уже не отблескивали над поверхностью, торчала лишь одна голова с задранной мордой, а вода касалась его скул.

Андрей, держась за постромку, чтобы не отпустить Зазора, греб левой рукой, натягивая ляжку. Его лицо и морда Зазора были рядом, и он чувствовал, как быстро дышит Зазор, его дыхание обдавало Андрею щеку. Андрей не видел выражения глаз Зазора, глаза лишь поблескивали, но, наверное, в них было отчаяние.

Вдруг сонно крякнула утка.

- Слышишь? - спросил Андрей громко. - Берег!

Они почти уже не двигались под углом к течению, лишь держались на воде. Ударив из последних сил передними ногами, Зазор приподнялся над водой и, колотя ногами, удерживаясь над ней, заржал отчаянно и умоляюще.

Совсем недалеко ему отозвалась лошадь, и Андрей, крикнув: «Лошадь, Зазор, держись!» - поднырнул ему под шею так, чтобы Зазор положил ему голову на спину.

Плывя брассом, не отпуская теперь уздечки, натягивая уздечку так, чтобы голова Зазора не соскользнула с его спины, Андрей медленно тянул его за собой. Зазор фыркал, всхрапывал, совсем вяло шевелил в воде ногами, но еще раз заржала лошадь - и совсем, как показалось, рядом, потому что звук над водой шел хорошо, - Андрей надал, чувствуя, что его хватит теперь лишь на сотню метров, но проплыл, видимо, все полторы сотни метров, потом вдруг стало как-то совершенно легко: Зазор достал дно. Андрей тоже встал на мягкий, сложенный барханчиками песок. Он ощущал его пальцами, подошвой, пятками.

Они немного постояли, потому что берег был еще не близко, просто далеко от берега заходила мель. Держа повод высоко, чтобы голова Зазора была приподнята, Андрей гладил его морду, за ушами, около глаз, чувствуя, как под рукой у него мелко-мелко, словно через нее идет слабый ток, дрожит его кожа, и говорил:

- Теперь все! Теперь что нам - раз плюнуть! Что мы, не дойдем? - Он не торопился, давая Зазору, да и себе, передохнуть, опасаясь, что мель кончится, что пойдет опять глубина, и Зазор не выдержит. Но он знал, что сам-то он выдержит.

- Хоть сдохнем, а выволокемся. Точно, Зазор? Точно?

Зазор тяжело дышал, поводил под водой боками, и Андрей чувствовал, прикасаясь к ним плечом, как мелко дрожат и бока.

Мель оказалась широкой, лишь дважды на ямах им пришлось подплыть, потом снова пошло дно, и они волоклись по нему, увязая в песке, все больше выходя из воды, оба все больше дрожа и от пережитого, и от того, что воздух казался холоднее воды.

На берегу, у самой еще кромки воды, шатаясь на ватных ногах, Андрей снял с Зазора постромочную петлю, выволок на песок бревнышко и доску и сел, а Зазор, тоже шатаясь, переступил к нему.

- Уф! - сказал Зазор. - Уф!

- Да, - согласился Андрей, обнимая ногу Зазора. - И все-таки мы это сделали. Так ведь? Сделали же! Черт бы нас побрал!.. Спасибо, брат, тебе...

До света что-то предпринимать не было никакого резона. Гимнастерка, брюки, сапоги все-таки намокли, и следовало ждать рассвета, чтобы осмотреться, и солнца, чтобы обсушиться. Оставалось ждать, и Андрей ждал, сидя на песке, дрожа от холода в мокрых трусах. Зазор, передохнув, отошел от берега и, потрескивая кустами, стал пастись, шумно вздыхая, с хрустом отрывая губами траву.

Андрей начал не то дремать, не то впадать в какое-то странное забытье, когда вдруг услышал далекий и мерный то ли громкий шорох, то ли тихий гул. Он вслушался, встал, отжал, насколько мог гимнастерку, майку, брюки, портянки, оделся, обулся, подпоясался и подвинул автомат.

Подошел Зазор.

- Свои, Зазор. - Зазор уже обсох, чистая шерсть под ладонью казалась мягкой теплой байкой. Андрей прижался к плечу Зазора, согреваясь от его тепла. - Свои, друг. - Зазор, наверное, лучше слышал и хруст песка под сотнями ног, и позвякивание оружия и снаряжения, может быть, он даже слышал общее дыхание торопящихся к Днепру многих людей.

- Пошли, - сказал Андрей Зазору.

- Уф, - ответил Зазор.

Андрей снял с него узду и повесил на куст.

Или останешься тут? Как всякому раненому, тебе положено лечение и отдых. Ты свободен. А я - я, брат, обязан доложиться. - Он осмотрел раны Зазора. Днепр и правда смыл с них корки, они были чистыми, свежими и пока не опасными, но все-таки было бы очень хорошо, если бы ветеринар чем-то их смазал и заклеил, чтобы мухи не занесли в них заразу. - Смотри, решай сам. Пока, Зазор. Еду ты найдешь. - Он погладил Зазора, потрепал ему холку, пошлепал по крупу и, подхватив с песка автомат, пошел от Днепра, держась на виднеющуюся недалеко деревеньку.

Зазор догнал его, когда он не отошел и сотни метров. Наверное, Зазору одиночество было тяжелее, чем таскать пушки. Наверное, он уже не мог быть без людей. Наверное, ради права быть с ними, он и готов был ради них на все.

В деревне, когда он расспрашивал у солдат, где ГЛРы третьей танковой армии, Зазора у него забрали. Зазор попал к таким же хозяевам, которых оставил на Букрине, к артиллеристам. Судя по всему, Зазор был рад: от этих людей тоже пахло пушечным салом, лошадьми, сторовшим порохом, в общем, пахло знакомо. И были, конечно, лошади, к ним Зазор подошел, как к своим, и лошади, такие же и внешне и нравом - лошади-трудяги, приняли Зазора как своего.

За Зазора артиллеристы дали Андрею полкотелка картошки с мясом, хорошую горбушку, вволю почти сладкого чая, а санинструктор перевязал его раны белоснежными бинтами.

- Да, - сказал Андрей, присаживаясь около пушки и беря у приземистого длиннорукого круглолицего с расшлепанным носом и сметливыми карими глазами артиллериста ложку. - Его зовут Зазор. Зазор, ребята. Я читал эту кличку на его хомуте.

- А где хомут? - спросил артиллерист. - Коль недалеко, мы съездим, чего добру пропадать. Одна нога тут, одна нога там. Так где он, хомут-то? Новый?

- Далек, - ответил он неопределенно. - Но уздечка на берегу. Там, - он показал рукой.

- Зазор, значит, Зазор? Ничего звучит, - сказал другой артиллерист, полный, бритоголовый, пожилой. Осколком ему рассекло бровь, шрам потянул кожу на лбу вверх, отчего казалось, что глаз под этой бровью значительно больше другого. - А я уж подумал, не назвать ли его Диогеном? Взамен нашего. Убило третьего дня, когда разгружались. Но Зазор - тоже ничего. Звучно!

- Диоген? - переспросил Андрей, доскребывая котелок.

- Был такой человек когда-то, - объяснил приземистый артиллерист. - В стародавние времена. И хомут там, где уздечка, на берегу? Если так, то я мигом...

Андрей пучком травы вытер его ложку и отдал ему.

- На берегу, но на том. На этом - только уздечка, постромки, супонь и чересседельник. Поедешь?

- Так ты... так ты с ним - оттуда? - артиллерист посмотрел на Зазора. Зазор, засунув до глаз голову в подвешенную торбу, хрумкал овес, мигал, отмахивал хвостом мух. Казалось, он и мигал и помахивал хвостом от удовольствия. - Значит, оттуда?

- Оттуда.

К ним на начищенной, гарцующей от избытка сил молодой пегой кобыле подъехал майор, туго затянутый ремнем с полевой портупеей.

Все, кто тут был, встали, не очень вытягиваясь, но все же опуская руки по швам. Андрей тоже встал.

- Кто такой? Откуда? Документы!

С розового бритого лица сверху вниз на Андрея смотрели серые суженные глаза.

- Он, товарищ майор... - начал было артиллерист, который давал ложку, но в это время из домика рядом крикнул дневальный:

- Товарищ майор! К телефону! Срочно!

Майор спрыгнул с кобылки, бросил повод артиллеристу, вбежал в дом и через полминуты скомандовал с крыльца:

- Дивизион! Запрягай! Взять все! Приготовиться к движению!

- Ну, друг, - крикнул уже на бегу артиллерист, - наш черед!

Не прошло и четверти часа, как дивизион снялся и, взяв в рысь,

вытянулся из деревни и пошел по проселку, держась к северо-западу, к Днепру. Там, видимо, его ждали плоты на понтонах. Андрей видел, как ходко, поблескивая обтертыми о песок подковами, бежал Зазор, подпряженный к каким-то другим лошадям, и как катилась за ним пушка.

«Счастливо, друг! - сказал мысленно Андрей Зазору, - Счастливо, ребята!» - сказал он и всему дивизиону и подумал, что если его рота еще держится, то, может быть, именно ее и будет прикрывать этот дивизион, а если роты уже нет, не существует она, то этот дивизион будет прикрывать какую-то другую, такую же роту из тех, что десантировались вчера, или из тех, что десантировались сегодня.

Но он надеялся, что если жив ротный и достаточно цел для того, чтобы командовать, и живы два-три сержанта (пусть даже уже нет офицеров), да живы полтора-два десятка солдат, то рота еще есть, еще держится, и этот дивизион с Зазором в нем или любой другой дивизион, будет роте хорошей поддержкой. Он сказал мысленно артиллеристам: «Счастливо, ребята!»

Он знал, что после госпиталя, не позднее чем через месяц, ему снова за Днепр.

Он вздрогнул, вспомнив Веню, Барышева, Папу Карло, Ванятку, всех остальных, нашел себе местечко в саду одного дома, под вишнями, и лег там.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ...ДО БЛИНДАЖА

Писарь ГЛРа, ладно одетый, откормленный, чистый, энергичный и вроде бы даже заботливый, покричал в улицу так, чтобы его далеко расслышали:

- Команда 316! Команда 316! Получить сухой паек на дорогу! Быстро, ребята, быстро! А то не достанется! Старший команды - ко мне за документами...

«Значит, утром топаем, - понял Андрей. Триста шестнадцатая была его команда. - Что ж, пойдем получим».

- Как думаешь, сала нам дадут? - спросил догнавший его щуплый, мелкорослый солдат. Он, видимо, бежал из дальнего конца деревни, где команду писаря передали санитары и сестры, торопился, запыхался, боясь опоздать к продуктам. Его лицо, состоявшее все из мелких частей - маленькие бесцветные глазки, пришлепнутый нос, короткая шелка рта, - выражало озабоченность и желание получить сало. Он объяснил это так: - Нам же в дорогу! Что полегче да посытней. Сало, консерва тоже хорошо. А то вдруг навалит концентратов. Мы чо теперь? Мы хилые, да на своих двоих, да верст по двадцать в день... Мы можем и требовать. Как считаешь?

- Можем! - поддержал Андрей громко и дерзко потребовал у каптенармуса: - Сала давай! Консерву! Мы кто теперь? Мы - хилые. Да верст по двадцать в день... Сало давай! Консерву! Не то я тебе...

Каптенармус, тоже ладный, тоже чистенький, сытый, выдавший всяких, зыркнул на него глазами и хотел было обрезать:

- Ты кто такой? Что дадут, то и возьмешь! Ишь, аристократы...

Триста шестнадцатая команда состояла из сорока пяти человек,

двое из них были танкисты в обгоревших комбинезонах. И один из танкистов, смекнув что к чему, крикнул на каптенармуса:

- Как кто? Ты что, не знаешь? Да это личный шофер генерала. Протри зенки! Личный, пенял? - с утрашением повторил он.

Они - триста шестнадцатая команда - получили и сало, и сухари, и сахар, и, конечно же, заветный концентрат "суп-пюре гороховый", и, оттащив все это в сторонку, разделили на сорок пять порций.

Так как у Андрея не было вещмешка, он попросил того солдата, из-за которого спорил с каптенармусом:

- Давай сложим все в твой. А нести будем по очереди.

В глазах солдата еще не погас восторг победы, и он не мог не согласиться:

- Давай. Коль доверишься. А ты и правда шофер генерала?

- Это детали, - небрежно уклонился Андрей.

Старший команды объявил, что выходят из деревни завтра в семь, что сбор на восточной околице, что цель их - станция Яготин, к которой им надлежало прибыть к вечеру третьих суток, что там сбор у продпункта.

Старшего слушали внимательно, в его полевой сумке были их документы - карточки передового района, начатые истории болезней, без которых отставшего от команды на любом КПП задерживают. Чтобы этого избежать, следовало не отставать от старшего, утрами ко времени приходиться на околицу, вместе трогаться с привалов и идти себе и идти в тыл, все отдаляясь от фронта.

Двадцать - двадцать пять километров в сутки было не расстояние. По теплой сухой осенней погоде, неторопливо шагая по обочинам проселочных дорог, вытянувшись в цепочку или парами, тройками, чтобы можно было поговорить, при такой погоде можно шагать и шагать, глядя на поля, рассматривая птиц, присаживаясь на берегу речушки, в перелеске, чтобы и перекурить, и проветрить портянки, и подремать, пожевав сухарей с салом. Вечером же, добравшись до деревни, расположившись на огородах или еще где, легко и приятно было зажечь костерок, наварить супу-пюре, вскипятить чаю, зная, что впереди у тебя вся ночь, что никто теперь тебе не крикнет: «Подъем! В ружье! Выходи строиться!..»

Что могло случиться с ними за эти трое суток? Да ничего. Повязки у них свежие, фронт далеко, для «юнkersов» или «мессеров» они, бредущие в тыл, не цель, потому что боеприпасы летчики берегут для тех, кто не уходит от фронта, а подходит к нему.

Что же касалось Яготина, так стоило ли задумываться над тем, что будет там, кроме, наверное, перевязки для тех, кто попросит ее, кроме новых продуктов, кроме ожидания, что рано или поздно их погрузят в какую-то санлечушку и отвезут дальше в тыл, так как Яготин служит лишь отправной станцией.

Не стоило и думать, куда отвезут. Какая разница. В какой-нибудь полевой госпиталь, но не очень далеко. Конечно же, не в глубокий тыл.

- Подберем местечко на ночь? - предложил солдат, когда они уместили продукты в мешок. - Тебя как звать-величать? Андреем? Ну, а меня Тимофеем. Вишь, как складно. - Он разулыбался. - Андрей да Тимофей, горюшко завей, мимо рота не пролей. Ну, значит, со знакомством!

Он протянул руку лодочкой, Андрей пожал ее, улыбнулся в ответ, вздохнул и почувствовал, что он



уже не так одинок.

Госпиталь 3792 размещался в бывшем не то пограничном, не то еще каком-то училище в двенадцати километрах от Харькова, по Белгородскому шоссе. Здание училища стояло чуть в стороне от него, в высоком сосняке, и так как солнце грело еще хорошо, то запах нагретой хвои даже перебивал госпитальные запахи хлорки, кровавых повязок и гипсов.

В палате, раньше классной комнате, койка Андрея стояла у окна, и днем он заворачивал постель, чтобы смотреть за окно. Кроны сосен приходились вровень с окном, и Андрей слушал, как сосны тихо шумят, смотрел, как они качают ветками, следил, как в соснах возятся птицы.

До ближнего к нему дерева было рукой подать, ветки качались в трех метрах от земли, и в них хорошо различались синички, какие-то, похожие на воробьев, серенькие пичуги, тоже проворные, непоседливые, вертихвостые. Однажды он видел дятла, стучавшего по сухой толстой ветке, у дятла была красно-черная головка, блестящий глаз и твердый, как, наверное, щепка, хвост. А один раз на очень близкую к нему ветку сел удод. Пестроперый, с цветным хохолком на голове, удод долго чистился, тряс крыльями и посматривая по сторонам, как бы приглашая оценить, какой ой нарядный, какой радужный. Удод потом, толкнувшись ножками, как упал с ветки, как нырнул в воздух под ней и, пролетев стрелкой у земли, взмахнул крылышками, отчего его слегка подбросило вверх, и удод так и полетел, поплыл на воздушных волнах - чуть вверх-вперед, чуть вниз-вперед, чуть вверх-вперед, чуть вниз-вперед - и исчез за деревьями, мелькнув цветным огоньком.

Часами после завтрака, перевязки, обхода врачей Андрей лежал, глядел на эти сосны, на жизнь в них, на бездонное небо над ними и дышал смоляным воздухом. За окнами было тихо, покойно, ветки деревьев глушили и голоса на дворе, и рокот мотора, подъехавшей или уезжающей машины, а с шоссе звуки вообще почти не долетали.

Он дремал, когда глаза уставали, засыпал сладко и покойно, потому что его раны, если их не очень бредили на перевязках, почти не болели, подживая. Устав лежать, он надевал халат из толстой байки и, потуже подпоясавшись, уходил из госпиталя в глубь леса, который через полкилометра кончался широким логом. По обе стороны лога, прижимаясь огородами к речке, тянулись дома деревни, а за ее околицей начинались поля.

Деревня почти не пострадала от войны, бои, видимо, прошли мимо, сгорело лишь несколько домов и сараев с ближней к Харькову стороны, и было отрадно видеть, стоя на опушке, как ходят по деревне не солдаты, а люди в штатском: старики, женщины, дети, как они занимаются своими делами, слышать петухов, рев коров, собачий лай.

Двое мальчишек лет по двенадцати по утрам подгоняли коров к сосняку, здесь меж кустов коровы щипали пожелтевшую траву, наевшись, лежали, сонно пережевывая жвачку, отмахиваясь от мух, и было приятно подойти к ним, погладить по теплому носу, похлопать по костлявой спине.

Но в лесу еще много осталось следов от войны. Меж сосен у дороги на немецких позициях ПТО<sup>1</sup> валялись снаряды, бочки из-под бензина, пустые пулеметные ленты, попадались деревья с ранами от осколков, а у самого шоссе стоял сгоревший Т-IV. Пастухи, бросив коров, все шарили по этому лесу, ища, как они объяснили ему, гранаты и тол. Гранаты и тол годились, чтобы глушить рыбу.

<sup>1</sup> ПТО - противотанковая оборона.

- Вы, пацаны, аккуратней. Гранаты и взрывчатка не игрушки. Шваркнет - и без головы, - предупредил он их, полагая, что лучше пацанов как следует напугать. - Себя угробишь, тех, кто рядом, а кто подальше - покалечишь!

- Тю-тю-тю! - не без пренебрежения к нему протянул мальчишка, обутый в венгерские ботинки, одетый в наши брюки и телогрейку. - Та мы их знаете сколько покидали? Мильен!

Так как Андрей усомнился, второй мальчишка, обутый в наши непомерно большие для него расхлябанные сапоги, но одетый в немецкие брюки и штатское истрепанное пальтишко, из которого он давно вырос, разъярил ему:

- 3 сорок первого року кидаем! Як наши видступалы, потим як нимцы видступалы, потим як у другой раз наши видступалы, потим як нимцы видступалы. - Мальчишка довольно махнул рукой: - Тут так було! - и тут же спросил: - А бильш вы не будэтэ видступаты?

|- Нет. Теперь все! Теперь не будем, - заверил он их, но они все-таки подозрительно покосились на него, не очень-то уверовав в эти слова.

Что ж, они могли и не поверить ему до конца: Харьков немцы взяли в сорок первом, в сорок втором, зимой, наши пытались отбить его, подошли на какие-то полста километров, но не взяли, в мае в большом наступлении подошли еще ближе - до Мерефы, от которой до Харькова было рукой подать, - какие-то три десятка километров, - но и в этот раз не взяли город.

Мальчишки, конечно, знали от старших об этих неудачных наступлениях на их город.

В феврале этого года, наконец, Харьков взяли, но удержались в нем только месяц, сдав в марте. Наконец в августе взяли его второй раз, а сейчас был лишь октябрь, и эти мальчишки могли еще не привыкнуть к тому, что война для них кончилась.

- Все! Вы отвоевались, - заявил он им. - Теперь вы немцев и не увидите. Разве что пленных. А раз война для вас кончилась, аккуратней с гранатами и с оружием тоже. Не хотите же вы остаться после войны калеками?

Он видел в госпиталях таких вот мальчуганов, которых война превратила в калек. То ли потому, что достала их осколком при обстреле или бомбежке, то ли потому, что подсунула в прифронтовой полосе неразорвавшийся снаряд, который захотелось поковырять, или противотанковую гранату,

взорвавшуюся на поверхности воды, когда мальчишки бросили ее в озеро или речку, чтобы наглушить рыбы, да недалеко или плохо спрятались. Граната разметала их, кого убив, кого ранив. То ли война подбросила им блестящий запал, похожий на красивый футлярчик с винтиками-шплинтиками, пацанам его хотелось развинтить, а при развинчивании он коротко хлопал, отрывая пальцы или целиком кисти детских рук, выбивая глаза или уродуя наклонившуюся любопытную рожицу и всаживая осколки в тоненькую мальчишью грудь.

Тут, конечно, прошли уже и саперы, и трофейные команды, подобрав мины и оружие, но Андрей, гуляя в лесу, все-таки смотрел себе под ноги, опасаясь нарваться на какую-нибудь пропущенную мину, а мальчишки же специально искали их.

Он знал, что никакие увещевания надолго не остановят в этих пацанах неистребимое мальчишеское желание возиться с оружием, в мирное время заменяемое рогатками и луками. Но эти два пастушонка родились и жили сейчас там, где можно было разыскать не только пистолет, но и автомат, и ПТР, даже противотанковую пушку, брошенную при отступлении нашими или немцами со снарядами. В освобожденных городах и поселках, на железнодорожных станциях к комендантам или просто офицерам половину, а может, и больше, сданного населением оружия и боеприпасов, приволакивала детвора, которая, конечно, всегда всюду совала свой нос и знала все.

Андрей посмотрел, как пастушата, неловко шлепая своей солдатской обувкой, подались шарить в кусты, и подумал: «Может, пронесет. Может, ничего с ними не случится».

Бабье лето кончилось, и солнечные дни, когда светло-голубое, выцветшее в жару небо казалось бездонным, когда всюду летали паутины и песок между сосен был сухой и теплый, такие дни все чаще сменялись серенькими деньками, с туманами по утрам и дождичком к обеду или к вечеру. Тогда в лесу становилось неуютно и грустно, и Андрей, побродив, слегка продрогнув, подсаживался к одному из костерков, которые раненые раскладывали из сушняка. Они или просто грелись у огня, или варили в котелках картошку, овощной суп или концентраты, добавляя к скудному госпитальному пайку такой приварок. Картошку, капусту, свеклу, бурые недозревшие помидоры и толстые желтые огурцы они добывали в деревне, покупая их там или выменивая на мыло, на нехитрые солдатские трофеи вроде авторучки, зажигалки, толстого блокнота с глянцевого бумагой или еще какой-нибудь мелочи.

Госпиталь был прифронтовой, без особых строгостей в режиме, к тому же вода в умывальниках и уборных не шла, приходилось пользоваться рукомойниками и ветряками на улице, поэтому обувь у солдат не отбирали, и они могли шататься по округе, не уходя особо далеко, чтобы поспеть к обеду или ужину, которые приносили прямо в палаты, потому что столовая училища тоже пошла под большую палату. Наступление еще не затихло, раненых прибывало много, их следовало как-то размещать, и в классных комнатах кровати стояли впритык.

С Андреем лежало еще одиннадцать человек, людей разных, но удачей было то, что никто из одиннадцати не был тяжелым, все ходили, почти не стонали по ночам, и лежало в этом госпитале хорошо. Ближним соседом слева у него оказался парень-москвич, Сергей Даулетов, раненый в правую руку. В нее попало сразу два осколка - один рассек мышцу на предплечье, а другой отрубил большой и указательный пальцы. Как рассказал Сергей, они у него повисли на коже, и в санбате их отхватили ножницами. Но все потом у него обошлось - никаких воспалений и осложнений не случилось, раны зарастали, Сергей практически долечивался, уже всю наловчившись писать левой рукой, причем буквы выходили не только ровные, но и красивые. После госпиталя ему полагалось ехать домой, в Москву. Считая с удовольствием дни, которые он должен был еще отлежать, Сергей огорчился лишь одной вещью. Он сомневался, разрешат ли ему на гражданке работать шофером. Он в армию попал с машины, на которой развозил продукты по детским садам, а так как по закону за ним сохранялась эта работа, он и хотел вернуться к ней. С надеждой глядя на Андрея, ожидая подтверждения, что его планы сестра за руль машины, которая развозит продукты по детсадам, сбудутся, он спрашивал:

- Как думаешь? На левой ведь все целые. А правой я и двумя буду держать руль так, что черта с два ты у меня его вырвешь. Глаза целы, ноги целы, жми на педали да газ, и две же руки, две! На одной не хватает пальцев, ну и что? Как думаешь? Или заставят сдавать специальный экзамен? Как думаешь?

- Вряд ли. Должны и так допустить, - считал Андрей. - Раз ты справляешься с рулем, чего придираются?

- Вот именно, чего придираются! - подхватывал Сергей и победно оглядывал всех, как если бы все в палате сомневались, что он управится с рулем как надо, а он им только что это доказал.

Еще в палате лежал с ним Станислав Черданцев. Стас, как он называл его. Хороший в общем-то парень, бывший студент-астроном из Ленинградского университета.

Так как водопровод не работал, им всем приходилось умываться на улице из длинного, на десяток сосков, рукомойника. Они плескались у него, вздрагивая от утренней свежести, и потом, утираясь на ходу, шли по палатам.

В одно из первых утр в этом госпитале Андрей заметил, что из крайнего окна на нижнем этаже на них, на умывающихся, смотрит поверх занавески не то сестра, не то няня, девушка лет двадцати, смотрит и, время от времени оборачиваясь, что-то говорит кому-то, кто был в глубине комнаты, кто не виделся с улицы.

Стас, заметив девушку, толкнул Андрея.

- Глянь-ка! Глянь, Андрюха. Нас выбирают! Как на смотринах. Да глянь же!

Андрей как раз намылил лицо, ему было не до девушки, и он поднял от воды голову лишь тогда, когда споласкивал грудь и плечи.

Стас, подмигнув девушке, помахал ей здоровой рукой, дескать: «Привет! Как дела? Рады тебя видеть. Ты вроде ничего себе», потом, постучав себе в грудь, ткнул пальцем в сторону окна, дескать: «Могу зайти. Начнем знакомство», но девушка, скорчив ему рожицу, отрицательно покачала головой, на что Стас сказал ей беззвучно, губами: «Воображаешь? Как хочешь!» - и бросил Андрею:

- На тебя целится. На твои плечища.

На следующее утро все повторилось - Стас знаками и губами говорил с девушкой. Он, складывая ладони, ложился на них щекой, спрашивая: «Как спалось?», водя пальцем от окна к сосняку, предлагал: «Прогуляемся после завтрака?», стучая себе в солнечное сплетение, назвался: «Стас, я - Стас», показывая на окно, приставал: «Как тебя зовут? Как твое имя?» Но девушка опять корчила ему рожицы, смеялась, оборачиваясь, что-то сообщала невидимому в комнате.

- Да кто же там такой? - завелся Стас. - Ну-ка, Андрюха, пособи. Что это за тайны мадридского двора!

Идти к окну Андрею не очень хотелось, но он все-таки пошел за Стасом, который, приближаясь к окну, разогнался, с ходу вскочил на узкий карниз фундамента и, зацепившись здоровой рукой за кирпич, с которого откололась штукатурка, заглянул за занавеску.

Девушка, сделав сердитые глаза, отпрянула, как бы опасаясь, что Стас с разгону разобьет лбом стекло.

- Там еще одна! - довольно, как если бы он разгадал секрет, сообщил Стас, спрыгивая.

Тут занавеска дрогнула, нижний угол ее широко завернулся, потому что чья-то рука его отвела, на секунду за занавеской мелькнула часть халата девушки, но девушка тут же отстранилась, и Андрей увидел узкую комнатку и в ней слева от двери госпитальную тумбочку, а справа кровать, на которой, положив руки поверх одеяла, на высоко приподнятых подушках лежала другая девушка, как ему сразу показалось, ослепительно красивая и худенькая.

Над краем одеяла, над краем ворота трикотажной сорочки, нежно виднелась шея девушки - высокая, хрупкая шея, которую прикрывал тоже нежный и узкий подбородок.

Девушка чуть растерянно улыбнулась, отчего стали видны ее ровные зубы, отчего чуть сузились ее глаза, отчего светился ее чистый, слегка выпуклый лоб, открытый сейчас совершенно, потому что светлые волосы девушки, расчесанные на пробор, были отведены ото лба по сторонам, к ушам, и лежали на подушке, как золотистая рама, из которой и смотрело все ее лицо.

Еще не улыбнувшись в ответ, еще не ощутив, как что-то дрогнуло в его сердце, Андрей мысленно с тревогой, с огорчением спросил девушку:

«Что с тобой? Ты ранена? Ты больна?»

Улыбка сбежала с лица девушки, девушка на секунду стала грустной, отчего ее глаза казались громадными, и Андрей увидел их цвет - голубой, но девушка тут же вновь улыбнулась, улыбнулась виновато, как будто она сделала что-то не так, и чуть отвернула голову вбок, и посмотрела вверх, и вздохнула - Андрей видел, как высоко на ее груди приподнялось одеяло, но потом девушка снова посмотрела на него пристально и немного растерянно, на секунду закрыла глаза, и как будто что-то зажгло в ней, так засветилось, залучилось все ее лицо.

«Так что с тобой?», - еще раз мысленно спросил Андрей, уже с меньшей тревогой, потому что как будто ничего особо серьезного с девушкой не было, - он разглядел, что и руки девушки целы, и под одеялом есть обе ноги, да и боли на лице девушки не было, так что как будто все обстояло с девушкой благополучно.

Глядя ему в глаза, все светясь, сияя, девушка, поддернув одеяло, открыла обе забинтованные ступни. На одной ступне повязка была плотной, толстой, но на другой легкой, лишь придерживающей марлевый тампон. Крови на повязках не было, и тревога Андрея совсем ушла.

- Ожог! - округляя губы на обоих «о», сообщила девушка весело, как если бы она могла даже гордиться этим ожогом. - Ожог, - повторила она и посмотрела на него - понял он или нет.

Он понял и согласно закивал.

- Ожог. Ожог.

- Чего там? Чего ты с ними говоришь? - спросил Стас. Стас был недостаточно высок, чтобы заглядывать в окно.

- Ожог, - бросил ему Андрей. Он почему-то не хотел, чтобы Стас задерживался тут, словом ли, жестом ли, Стас, опасался Андрей, мог что-то испортить, разбить. - Пошли завтракать. Топаи, - толкнул он его в плечо.

Но выглянула та, первая, здоровая девушка, и Стас, отступая, чтобы лучше, удобней разговаривать, начал:

- Ты кого там прячешь? Красотку? В отдельном купе? Мы лежим по десять человек в палате, а она - нате вам - личные покои. Я вот займусь проверкой, что к чему, я...

- Я-я-я! Подколотная змея! - передразнила его девушка. - Нашелся проверяющий. Иди, иди, а то тебе завтрака не достанется. - Девушка, повозившись со щеколдой, приоткрыла окно, высунула в щель губы и нос и негромко спросила Андрея:

- Ты кто? Как тебя зовут?

Он догадался, что это нужно для той, худенькой, и от какого-то волнения, которое вдруг наполнило его всего, назвался и спросил:

- А она? А ее? Это - ожог - не опасно? Как случилось?

- Лена, - сказал ему в щелку рот девушки, а нос как-то заговорщически шмыгнул, дернулся. - Не

опасно. Теперь не больно. Мы наливали «катушу», - она вспыхнула, - а Лена босая, бензин на голенистопы, и вот... Идите, пока. На сегодня все.

Окно затворилось, занавеску поправили, и над ней лишь коротко выглянул сначала наклоненный лоб девушки, потом один карий внимательный глаз и верх широкой смуглой скулы.

- Нет, не все! - громко сказал он. - Еще хоть секунду!

- Ну ладно, еще секунду! - передумав иди подобрел, сказала за стеклом девушка и, отодвинув тот же угол занавески, подержала его, как фотограф держит колпачок от линзы, дав Андрею еще раз посмотреть на Лену.

Лена теперь лежала на щеке, как будто в дреме, но, когда Андрей про себя позвал ее: «Лена! Лена!», у нее дрогнули ресницы, голубой полоской глаз она встретилась с его глазами, медленно подняла руку и кистью сделала знак: «Иди, иди», занавеска снова закрылась, и он и Стас пошли завтракать.

Вот так все и началось - как будто обычно, как будто банально, не то любовь, не то какие-то другие отношения времен войны, война разбрасывала одних, сводила других, чьи-то судьбы коверкала, дробила, чьи-то устраивала, подчиняя себе, своей необходимой жестокости десятки, сотни миллионов человеческих жизней.

Их любовь, их нежность, ощущение нужды друг в друге вряд ли были особо отличны от таких же чувств многих. Кровавой для одних, голодной и тяжелой изнуряющим трудом для других войне человек должен был противопоставить иные категории, чтобы быть выше войны, стать над пусть оправданным, но убийством.

- Ну, как твоя девочка? - спросил однажды его Стас. Они сидели на скамейке недалеко от госпитального крыльца и смотрели, как по шоссе идут машины, проезжают повозки, тянутся солдаты и штатские.

- А твоя?

Стас откинулся на спинку скамейки, потянулся с хрустом, зевнул, улыбнулся.

- Схлопотал два раза по физии. Вот и все успехи. То ли дело тебе...

На крыльцо вышла Таня.

- Мне исчезнуть? - спросил Андрей.

Стас удержал его за руку.

- Сиди.

Еще не доходя до них порядочно, Таня порывисто подняла руку, как бы не то приветствуя их, не то требуя молчания от них, и выпалила:

- Прохлаждаетесь? Развлекаетесь? Загораете?

- Просто два чудо-богатыря... - Стас встал, сделал вид, что сметает со скамейки пыль, но Таня перебила его:

- Ты бы помолчал. И опять тебе говорю - подбери губы. - Она села между ними и пожаловалась Андрею: - Что у тебя за друг?! Вечно говорит какие-то глупости, вечно от него уходишь расстроенная. Нет бы рассказать девушке что-то интересное, увлекательное. Так он болтает всякую чушь! - она посмотрела на Андрея так, что он понял: она и досадует на Стаса, и в то же время хочет, чтобы Стас изменился, так как он ей нравится, и еще просит его, Андрея, чтобы он помог ей.

- Вот как? Глупости говорит? На него это...

- Похоже, похоже! - перебила Таня.

Она была сейчас очень хороша - на ее щеках горел румянец, широко раскрытые ореховые глаза блестели, из-под косынки выбилась прядка, от торопливого дыхания грудь под аккуратным халатиком то поднималась, то опускалась, а руками Таня теребила, раздвигая марлевую салфетку.

- И не защищай, не защищай. Ну разве про то, что солнце погаснет, что оно когда-то, - она пренебрежительно махнула салфеткой, - через пять миллиардов лет погаснет, - не глупости? А про мировую скорбь? А про Адама и Еву? Ведь это же религия. Какое-то яблоко... Фи!

В этом «фи» прозвучала не только досада, но и огорчение прозвучало в нем. Видимо, Таня хотела каких-то хороших и прочных отношений с Черданцевым, устав от бесконечных ухаживаний раненых и вообще мужчин. Видимо, Черданцев нравился ей, но и открывался ей такими сторонами, которые понять, а значит, и принять, она не могла.

- Ведь так хорошо! - она закрыла глаза от той красоты, что видела, от чувств, наполнявших ее.

И правда, было очень хорошо. Осень расцвела лес, кусты, траву золотыми и багряными цветами, но, хотя зеленого оставалось еще много, он не главенствовал, он стал цветом равным с другими, служил сейчас фоном, на котором светились, горели желтый, бронзовый, багровый, нежно-коричневый.

Часть листьев дерева уронили и стояли сквозными, четко показывая стволы и ветви - белые у берез, зеленоватые у осин, красноватые у диких яблонек. Трава под деревьями тоже была иной, она подсохла, посветлела, и ее цвет смешался с разноцветьем увядших цветов.

Ночами становилось холодней, выпадала роса, за ночь воздух промывался, и сейчас, под солнцем, был чист, и стоило поднять голову и посмотреть вверх, как виднелась бездонность неба, потерявшего за лето синеву, блеклого, но очень прозрачного. Солнце стояло в нем низко, не жгло, а только нежно грело.

Над землей и высоко летали серебряные нити паутины, чиркали, но не так, как раньше, не

стремительно, а тяжелей, стрекозы, совсем сонливо жужжали и возились в последних цветах шмели, лишь птицы, сбиваясь в быстрые стайки, кричали тревожно.

- Вот чудо-богатыри и наслаждаются, причем законно наслаждаются, - снова начал было Стас, но Таня сразу же оборвала его:

- Ах, оставь! - она обернулась к Андрею и не положила голову ему на плечо, а как бы прикоснулась щекой к нему и не отнимала. - Лена счастливая такая! Посмотришь на нее, она вся в счастье. Какая девушка не хочет этого? Я так рада за нее! Что у нее все так получилось. Только бы скорей кончилась война. И как интересно - кто знал, что тогда, когда вы умывались, а она лежала со своими ожогами... что ты потом зайдешь. Почему ты зашел? Ты не мог не зайти?

Нет, он тогда не мог не зайти. Он пошел до ужина. Стукнув, подождя: «Войдите. Можно», он притворил за собой дверь. Лена обернулась к нему, удивилась, смигнула несколько раз и предложила:

- Зачем же стоять у двери? Садись на этот стул, но сначала - здравствуй.

Все в его жизни до этого часа могло быть обычным, разнясь только местом, где стоял госпиталь, людьми в палате да еще другими ранами.

Так и шли бы здесь дни один за одним, складываясь в недели. Раны бы поджили, его вызвали бы на комиссию, посмотрели бы врачи, решили бы «годен», канцелярия выписала бы ему новую справку о ранениях, пообедал бы он последний раз в палате, получил бы комплект обмундирования да вещмешок, стал бы на улице у дверей госпиталя в строй команды отбывающих, пошел или поехал бы с ней на пересыльный пункт, и начался бы новый круг солдатских дней на войне. Минуло бы очень короткое время, и госпиталь ушел бы из его памяти, отошли бы в ней куда-то далеко и товарищи по палате. Ну совсем бы они не забылись, но отошли бы в дальний уголок памяти, потому что другие товарищи по службе, новые дела, иные будни оттеснили бы их туда..

- Здравствуй, - ответил он и прошел к столу. Он сел и зачем-то сложил руки на коленях («Как послушный школьник», - потом сказала ему Лена).

- Зачем ты пришел? - спросила она.

- Так. - Он не нашелся, что сказать.

- Тебя кто-то послал?

- Нет.

(«Послала судьба», - потом объяснила ему Лена).

- Куда ты ранен?

Он показал, притронувшись пальцами к повязкам. Язык у него не хотел ворочаться («Ты сидел как под уколom снотворного, которое еще только начало действовать», - потом оценила Лена его поведение).

- Давно? Где?

Он рассказал, жестами он бы этого сделать не смог.

- А у меня вот... - Лена осторожно потянула одеяло, опять показала забинтованные ступни, опять рассказала про бензин и все остальное, а он опять спросил:

- Больно? Тебе теперь не больно?

- Ах, нет! - с готовностью ответила она и огорченно добавила: - Но как же потом? Всю жизнь или в чулках, или сапогах?

Он не понял:

- Почему?

- Но ведь следы останутся же? Летом, в открытых туфлях...

- Глупости! - тут он не мог молчать. - Глупости. Во-первых, шрамы заживают. Ну в общем, становятся почти такими, как все тело. Во-вторых, подумаешь, следы от ожогов. Ведь не на лице же!

Она слушала его крайне внимательно, крайне заинтересованно: шрамы на ногах ее беспокоили. Она, наверное, не раз об этом думала.

- Ты так считаешь?

- Конечно, - с жаром подтвердил он.

- Ты - матадор.

Он снял руки с колен, упер их в бедра.

- Кто? Матадор? Почему?

- Матадор. Отвернись на минутку. Я хочу сесть. - Он слышал как она усаживалась. - Теперь можно. - Она устроилась полусидя, так что обе подушки были у нее за спиной, укуталась в одеяло и, чтобы оно не сползло, локтями поддерживала его, спрятав кулачки под подбородок. - Ты матадор. Танечка мне так сказала. Она тебя так назвала. Ну ладно. Мы даже еще не познакомились. Я...

Она рассказала ему, что в Свердловске работала в госпитале, что сначала решила после войны стать врачом, но передумала, так как, хотя медицина и благородная специальность, ей всю жизнь видеть страдания будет не под силу, но что она пока не решила, кем же ей быть.

- Но не геодезистом. Это определено. - Ее отец был геодезистом. - Не могу терпеть комаров, а геодезисты их кормят целое лето. И вообще слишком скитальческая жизнь. Хотя, конечно, они делают нужное дело. Отец так говорил перед экспедициями: «Смеряем еще кусочек земли».

«А немцы взрывают геодезические знаки. Подкладывают тол под бетон, в который влиты металлические отметки, - подумал Андрей. - А вышки, деревянные, высокие, сухие, как старые телеграфные столбы, вышки они жгут. Они не хотят, уходя, оставить нам даже того, что было просто смерено на земле, даже знаков отмеренного».

В тот первый вечер они поговорили о разных вещах, и он ушел, а она осталась, и, оборачиваясь у двери, посмотрев на нее в последний раз в тот вечер, он и увидел, и почувствовал, что ей тоже будет одиноко.

Неделю он заходил к ней, иногда в день два раза, принося то свежую газету, то «Огонек», побывавший во многих руках, то книжку, то просто так.

В госпитале еще не работало и электричество, сумерки же приходили быстро, после ужина госпиталь замирал, раненные грудились в палатах вокруг ламп-катуш, плошек, домино, шашек, и проскользнуть в полутемном коридоре к Лене не представляло труда.

В один из вечеров он остался у нее. За окном хлестал дождь, ударяя по стеклу, барабания по раме, гудел примчавшийся откуда-то с севера холодный ветер, на улице все казалось пустынным, сиротливым, брошенным.

Лена зябко куталась в два одеяла, была рассеянна, молчала. Тревожно взглядывая на него, внимательно всматриваясь в его лицо, она как бы трогала взглядом его лоб, щеки, шею.

Он было встал прощаться, она подала ему руку и неожиданно сказала:

- Поцелуй.

Он сделал это, ощущая губами тепло и нежность ее маленькой кисти. Кисть, сжимая его пальцы, чуть потянула его, и, повинувшись этому приказу, он переступил к постели и сел на край.

Лена вырвала вторую руку из-под одеяла, протянула и ее ему, он радостно наклонился к ней, она обняла, захлестнула его руками, приникла к нему грудью, плечами, ее губы сами нашли его губы.

- Ах! - сказала она с радостным отчаянием и, опускаясь на подушку, не отпускала его плечи...

Андрей засыпал на спине и поэтому занимал почти всю узкую кровать, хотя его плечо и локоть приходились на боковину, а Лена засыпала на боку, лежа рядом, вплотную, уткнувшись лицом ему в другое плечо. Она, засыпая, или держала его за руку, или закидывала свою руку ему через грудь, как бы прижимая его к кровати, как бы карауля его.

От этого у него щемило сердце, но он молчал, лишь радостно улыбаясь про себя, а когда ему хотелось что-то сказать, он не был уверен, что скажет именно нужные слова, а ненужными он боялся обидеть, и он просто гладил Лену по голове, по лицу, по худеньким лопаткам.

Но об одном он мог спрашивать и спрашивал:

- Тебе удобно? Не дует? Удобно?

- Да, милый, - отвечала она.

Хотя он и засыпал как убитый, почти мгновенно уходя из этого мира в мир снов, он все-таки по несколько раз за ночь просыпался. То ли еще не ушла из него фронтовая настороженность - слушать все чутко, слышать, что делается вокруг тебя, хотя ты и спишь, то ли оттого, что чувствовал Лену - ощущал тепло ее груди, руку, закинутую ему через плечо, другую руку, которой она держала его за кисть, словно опасаясь, что, пока она спит, он может исчезнуть. Он просыпался, наверное, и оттого еще, что сам должен был проверить, с ним ли Лена, не ушла ли, хорошо ли ей, все ли с ней в порядке, не обидел ли кто ее, не надо ли что-то для нее сделать.

Открыв глаза, мгновенно вспомнив, где он, он той рукой, которую Лена не держала, нежно обхватив ее спину, нежно же прижимал ее к себе, гладил по голове, шептал ей в ухо:

- Спишь? Ну спи, спи. Еще, наверное, рано. До утра далеко. Спи, милая. Спи.

- Ага, - сонно отвечала Лена. - Далеко. Хорошо, что далеко. Пусть часы не торопят. Ты им скажи это.

Она вздыхала, наверное, сообразив, что ни ее просьба, ни его слова, не могут задержать часы, наверное, от этой мысли она совсем просыпалась и, отчаиваясь, что часы бегут, бегут, бегут, и, вздохнув глубже и грустней, сопротивляясь времени, сильнее сжимала ему запястье, крепче обнимала другой рукой плечо и, сонно переспросив: «Где ты? Ты где?», найдя губами его губы, нежно прикоснувшись ими к ним, так затихала еще на мгновенья...

Андрей, когда бывал с Леной, чаще молчал. Как-то складывалось, что говорила она, а он лишь отвечал на ее вопросы. Потом о чем он мог особенно говорить? Их сблизило чувство, они отделились этому чувству, но ни общих интересов, ни общих дел у них пока не было, судьбы их пересеклись, но скоро каждая из них должна была идти опять в одиночку, так что о будущем и говорить-то было страшно и больно. Рассказав коротко о своем прошлом, Андрей предоставлял возможность говорить Лене, следя за ее мыслью, стараясь понять ее, хотя это бывало и нелегко, так как Лена порой сбивала его с толку вопросами, на которые не вдруг ответишь.

Он еще молчал и потому, что она вообще выбила его из привычного состояния, слагавшегося одновременно из уверенности в себе и неопределенности обстоятельств. Уверен он был в том, что ничего особенно плохого с ним не случится, ну будет тяжело, так ведь и было уже тяжело так, что тяжелей и не придумаешь. Ну будет опасно, но ведь он проходил через дьявольские опасности, и все ему везло, ну будет голодно, холодно, будут залитые водой окопы, так через это он тоже прошел. Тут он был уверен, что вынесет и на этот раз солдатский груз и что в опасностях ему повезет. Да, обстоятельства всегда менялись, но у него выработалось спокойное и верное отношение к ним: просто следовало всегда быть готовым встретить эти обстоятельства. Войне перечить не приходилось. Вот он и

жил так, не задавая себе особенных вопросов, зная, что прежде всего надо выстоять в этой войне.

Но Лена сбила все. Однажды она, как всегда держась за его руку, затихнув надолго, так что он было подумал, что она задремала, и тоже затих, чтобы не прогнать от нее сон, вдруг спросила:

- Что главное? Что главное в жизни? Что главное в жизни для тебя?

Поначалу этот вопрос показался ему и никчемным сейчас, и нелепым вообще. «Что главное?! Война!» - чуть было не соскочило у него с языка. Но Лена, словно опережая его ответ, попросила:

- Не торопись. Ты не торопись, милый... Я не знаю вас, мужчин, и, может быть, ошибаюсь, но вы - все вы - кажетесь мне странными. Вечно вы куда-то к чему-то спешите, всегда заняты разными мыслями, живете то прошлым, то будущим, не замечая настоящего. По-моему, мужчине нравится скитаться, и дом для него только кров, и даже под этим кровом мужчина не в нем, а где-то там, в том, с тем, к чему его вечно зачем-то тянет.

- Хм! - сказал он.

- Ты, конечно же, и не думал. Я так и знала. Ты, конечно же... Нет, я не сержусь, ты - хороший, - она трепетно прижалась к нему, - в темноте ты такой огромный. Просто как гора! А я кажусь себе маленькой. Кажется, что где-то потерялась за тобой. Как крошечка. Милый... - она замерла, отдаваясь этому трепету, этой радости, этому удивлению, что он - с ней.

«Ах ты...» - подумал нежно он. Он тихо поцеловал ее куда-то в висок.

- Так что же главное? Ты не досказала.

- Сейчас, - согласилась она, все еще охваченная нежностью. Ей надо было побороть эту нежность, чтобы вернуться к своим мыслям, чтобы собрать их.

- Так вот, не война - ты же хотел сказать именно это, что главное - война, ведь так? Так? Что главное - война... - она убедилась, что он кивнул, значит, признался, и продолжала: - Нет, не война, совсем не война главное, совсем-совсем-совсем не война, потому что война - это же временно! Эта война - на год, на три! На пять! Но не вечно же! Поэтому она и не главное, - торжественно заявила она.

Он смотрел перед собой, видя войну, - тот крохотнейший кусочек ее, выпавший на его долю, на долю тех, кто был там, где был он тогда, когда он был там, в жутком, но все-таки крохотном кусочке, если мерять его со всею войной.

Конечно же, она была права: не война была главным для человека. Война лишь оттеснила это главное, проклятая война отодвинула его от людей, подменив все собой. Став главным. Но став им на время. Но что, что же было главным? Что было главным для человека в жизни?

Стас, дернув подбородком, показал в боковую аллею, по которой, выжавшись на костылях в стойку, изогнувшись дугой, откинув затылок к спине, на руках шел акробат - красиво сложенный, весь мускулистый, небольшого роста парень лет двадцати. От натуги его серые глаза сузились, лицо побагровело, побагровела даже кожа под песочными короткими волосами, расчесанными на пробор.

Переноса тяжесть то на одну, то на другую руку, акробат, наподобие ручных ходуль, переставлял костыли. У скамейки, сделав несколько торопливых шагов, он скомандовал себе по-цирковому: «Ап!», отбросил костыль, перехватился за спинку скамейки, скомандовал еще раз: «Ап!», отбросил второй и, подержав стойку на спинке скамейки, медленно опустил ноги, прдел их под руки и, секунды продержав их углом, сел на спинку.

- Ну как? - В чистой, красиво сидящей на нем майке, загорелый, побритый, с подчеркнутым стрелкой усов акробат был хорош той почти еще юношеской красотой, которая говорила о нерастратченности сил, отменном здоровье и вере во все светлое на земле.

Портило его одно - левая его нога была без стопы.

- Здорово! - оценил Андрей. - Смотри, как ты натренировался!

- Акробатика плюс баланс! - акробат выбросил, как это делают на арене, обе руки вперед-вверх, как бы приветствуя публику, как бы салютуя ей.

- Три! Аллего! Три! - подхватил Стас на манер циркового конферансье, слегка для важности гнусава. - Следующим номером нашей программы уникальный аттракцион! Единственный в мире... Парад Алле! Маэстро, марш!

Андрей скосил глаза вниз, потому что акробат зашевелил культей, перехваченной внизу брючными завязками. Андрей сощурился, он очень четко увидел снова то, что три недели назад увидел в ППГ<sup>1</sup>, в который попал, переправившись на эту сторону Днепра.

<sup>1</sup>ППГ - передвижной полевой госпиталь.

Ему тогда все еще очень хотелось спать, он пока не отоспался после переднего края. И он решил: «Пойду посплю. Надо подольше. Буду спать столько, сколько захочу». Он посмотрел на небо. Оно было чистым, даже без облаков и, что ему особенно понравилось, без самолетов.

Прикинув, что, если налетят «юнкерсы», лучше быть ближе к окраине, он пошел к ней, туда, где кончались дома и садики возле них, но так как и тут всюду были солдаты, уже побывавшие на перевязках, ему пришлось идти все дальше и дальше.

А легкораненые солдаты - уже обжившись или обживаясь здесь, так как им не полагалось быть отправленными в дальний тыл, им надлежало лечиться поближе к частям, чтобы сразу же после выписки и топтать в роты и батареи, - а легкораненые солдаты жгли костерки, стирали, если обе руки были целы, портянки и бельишко, писали химическими карандашами письма, чинили порванные в боях гимнастерки и брюки, спали, лежали, сидели, слонялись без дела, так как дел у них до

выздоровления, кроме ходьбы на перевязку да за едой, не ожидалось.

После перевязки рана на плече ломила, а на боку жгла, но он старался не замечать всего этого, так как ничто помочь ему, кроме времени, не могло. Следовало терпеть и терпеть, да выспаться, да завтра прийти к канцелярии, да тронуться оттуда, да не торопясь идти и идти, куда будет указано команде в назначении.

Отойдя к самым дальним огородам, смыкающимся уже с кладбищем, он нашел себе место под последними деревьями, неподалеку от крайних могил, и расположился, расстелив шинель и разувшись.

Он задремал, увидел даже сон, как будто бы он опять студент, как будто бы он на какой-то лекции по этнографии, но чьи-то негромкие голоса его разбудили.

Страхнув дрему, он увидел, что к тому краю кладбища, где он лежал, идут двое пожилых солдат санитаров. Петля между могил, они осторожно проносили между ними большой цинковый бак. Один из санитаров, передний, нес, закинув на плечо, пару лопат, задний же держал чуть на отлете, чтобы не плескаться на сапоги, полное ведро карболки.

- Что, гвардеец, помешали и тут? - спросил его первый, рыжеусый, небольшого роста, санитар, отирая пилоткой лысую голову. - Так это, извини, наше местечко. Так решило начальство, а уж оно знает, что к чему.

Санитар смотрел на него приветливо-доброжелательно, лучась глазами, в которых были доброта и готовность сделать для другого человека что-либо полезное или приятное.

Бак был закрыт, но Андрей знал, что в нем. Он стал собираться - засунул портянки в голенища, поднял шинель и, осторожно ступая босыми ногами, сделал две ходки, перетащил свое хозяйство метров на сто в сторону. От постоянного хождения в сапогах, где ноги летом парились, кожа на подошвах стала слабой, чувствительной к камешку, веточке, и надо было идти осторожно, выбирая место для каждого шага.

Когда Андрей делал вторую ходку, санитары, поплевав на руки, примерялись копать.

- Ну, - сказал рыжеусый, - господи благослови, - Он мелко перекрестил перед собой землю, словно покидал в нее невидимое семя, и нажал сапогом на краб лопаты.

Второй санитар, кряжистый, коротконогий, длиннорукий, со скошенным подбородком, низколобый, отчего казалось, что стриженные «под нулевку» его серые от седины волосы растут прямо от бровей, что-то пробормотал - Андрей расслышал только обрывки: «...Ибо ты возвращаешь человека в тление... И даже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...» - и, лишь слегка ткнув лопату сапогом, вогнал ее по самый край в землю.

Андрей лег, но дрема ушла, и он лишь лежал, выбрав поудобней, стараясь забыть про бак, стараясь не думать, что санитары, отрыв короткую глубокую могилку, польют ее дно карболкой, потом, сняв крышку, наклонят бак и высыпят на карболку все то, что за сегодня накопилось в тазиках возле столов в операционных.

Большое наступление рождало и большой поток раненых, хирурги делали операции с утра и до ночи и даже ночью. За день в общем баке, который теперь принесли санитары, скапливалось то, что должно было быть похороненным, погребенным. Вот этим грустным делом в этом госпитале занимались эти санитары, в других госпиталях - другие, и от этого некуда было деться. Ему просто следовало забыть, выключить из головы сцену с баком, смотреть на небо, на рассекающих воздух стремительных стрижей, что-то щебечущих друг другу, на высоко забравшегося коршуна, распластавшего там крылья, делающего торжественные круги. Можно было повернуться на бок, следить, как тихий у земли ветерок качает траву, смотреть, как ползают букахи, думать, что трава для них - это лес, трогать веточкой кузнечика. Можно было думать о многом другом.

Но не думать о том, что вот сейчас эти санитары польют вываленное из бака карболкой, наверное, рыжеусый покрестит все, наверное, тот, второй, кряжистый и низколобый, пошепчет молитву, и снова, поплевав на руки, чтобы черенки лопат держались в руках ловчей, санитары дружно наддадут - сгребут с краев ямы землю, а потом аккуратно приклепают ее лопатами, чтобы получилось что-то вроде холмика.

- Все фашисты! - пробормотал Андрей зло, обертывая ногу портянкой и морщась от боли в плече. - Мало мы их убивали!

Но он тут же подумал, что ведь и у немцев в каждом таком вот полевом госпитале все так же - ведь режут же и там! Ведь кто-то же, какие-то такие же пожилые немецкие солдаты, так же осторожно сыпают с тазиков в бачок чьи-то стопы, руки, ноги выше колен.

- Гитлер - гад! - подумал он. - Каких еще земля не видела. Тварь и сволочь! От Эль-Аламейна до Нарвика. От Ла-Манша до Волги. Всюду такие холмики.

Он пошел к деревне, ему надо было побыть среди людей. Толкаясь там бесцельно, присаживаясь у плетней, переходя с места на место, он постепенно успокаивался, стал думать четче, размышляя, как же за таким гадом могли пойти немцы? Что за проклятье на них нашло? И как они потом будут оправдываться перед миром за все содеянное?

В сравнительно небольшом госпитале, где скоро вообще многие узнают судьбу других, акробат, конечно, был заметным. И делала его заметным редкая его довоенная профессия. Как он говорил, он не просто вырос, но и родился в цирке. «Я был зачат, я был рожден под куполом «шапито!» -



несколько высокопарно заявлял он, когда заходил разговор о его жизни. Его отец и мать были профессиональными цирковыми актерами, разъезжавшими по стране. Понятно, что вся жизнь этого акробата была связана с цирком, и он не мыслил жизни вне его.

- Один запах опилок чего стоит! - восклицал акробат. - А лошади! А свет! А костюмы на стройненьких наездницах! А дробь барабана при каком-нибудь сложном трюке! Вдруг дробь обрывается, цирк замер, прыжок, вздох тысячи людей и - как удар в сердце - гром, ребята, гром аплодисментов! - он счастливо вздыхал, глядел на всех восторженно. - Нет, ребята, цирк - это не по билету. Цирк - это целый мир!

Так вот, не желая расставаться с этим миром и калекой, акробат разработал себе программу, по которой выходило, что он лишь меняет, так сказать, свою специализацию и из акробата перестраивается в гимнаста или в артиста другого жанра.

- Турник, трапеции под куполом, - развивал он свои планы. - Ноги - это соскок, соскока у меня, ясно, не будет, даже если мне сделают мастерский протез! Но трапеции под куполом... Кто видит снизу, какой у меня голеностоп?

Иногда ему казалось, что он не сможет работать на трапеции, так как там, при перелетах с одной на другую, партнер ловит летящего и за лодыжки. Акробат опасался, что в этом случае у него может оторваться протез, и будет скандал. Поэтому он разработал и запасные варианты цирковой жизни:

- Дрессура, жонглирование, ассистирование в каком-нибудь сложном большом номере, - перечислял он эти варианты. - Наконец оригинальный жанр! - но так как он, зная, что, для того, чтобы стать приличным фокусником, выступающим со своим номером, требуются годы и годы, то, не очень надеясь на эту переспециализацию, породил самый скромный итог: - В крайнем случае пойду в униформисты...

Как бы то ни было, акробат упорно готовился к дальнейшей цирковой жизни - качал брюшной пресс, жал стойки прямо на кровати, ходил по коридорам на руках, чем вызывал недоумение у санитарок, а на спинках кроватей держал тело горизонтально на одной руке, уткнув ее в бедро, откинув другую руку в сторону, в пространство.

Лежал он в этом госпитале немало, обжился; заходя на руках к сестре-хозяйке, добыл у нее хорошее белье, почти новые брюки, новые тапочки, довоенного выпуска крепчайшие костыли с переставными точеными ручками. На этих-то костылях он и осваивал тот номер, который продемонстрировал сейчас Андрею и Стасу.

Сидя на спинке скамейки, акробат, кланяясь, принял аплодисменты Стаса, довольно улыбнулся и сказал мечтательно:

- И потом - по стране! На гастроли! По разным городам! До чего же это хорошо жить в разных городах. Сегодня одни люди, одни улицы, одни дома, завтра - все иное...

Его надеждам, его радости можно было позавидовать, и он увидел эту мелькнувшую в глазах и Андрея и Стаса зависть, торопливо, извинительно, сочувственно добавил:

- А вам опять туда, - откачнувшись назад, он показал подбородком на солнце, на запад. - Ничего, ребята. Рано или поздно все эти гастроли кончатся. Пусть только вам повезет. Правда? Дайте-ка!

Акробат взял костыли, ловко спрыгнул со скамейки, сунул костыли под мышки и, упираясь сильными кулаками в ручки, запрыгал по аллее, держа все свое ладное, сбитое тело между костылями легко, уверенно, словно играючи, а культю чуть отогнув назад, чтобы случайно не зашибить.

Они со Стасом сидели на обрубках березы, поставленных торчком, в подвале какого-то большого харьковского дома, где был, пересыльный пункт, и чистили картошку.

Весь тот, госпитальный, кусок жизни остался позади. Он кончился просто - пришел день, когда Андрея назначили на комиссию, пришло утро комиссионного дня, вслед за кем-то он, раздетый до пояса, без повязки на заживавшей после всех других ране стал перед столом врачей, комиссия сестра коротко зачитала историю болезни, ему предложили показать рубцы на ранах, он их показал. Осмотрев его, врачи спросили: «Жалобы на здоровье есть?» Он ответил, что жалоб нет, председатель комиссии решил: «Sanus», scomандовал: «Свободен», потребовал: «Следующий», и он, натянув в коридоре рубашку, накинув халат, пошел в палату, где сразу же завалился на кровать, как если бы ему было жалко с ней расставаться.

К вечеру всех комиссованных по разряду «sanus» обмундировали, потом подошел грузовик, их построили перед грузовиком, проверили по списку, пожелали успехов в борьбе с фашистами, грузовик заработал, дернулся, заложил дугу перед госпиталем, выехал на шоссе и помчался к Харькову.

Он бы мог сразу же после комиссии пойти к Лене. Он, наверное, так и должен был бы сделать - она ждала его, это он знал, она ждала, что ему скажут на комиссии, хотя и знала что. Но ему было трудно спуститься к ней, он представлял, какие у нее будут глаза, последнюю неделю перед выпиской и так они у нее все время поблескивали от сдерживаемых слез.

Он попросил лишь Таню сказать Лене, что он придет после обеда, когда она забежала узнать, что решено со Стасом да и с ним тоже.

- Оба - «sanus». Оба в одну команду, - ответил ей Стас. - Мы отплываем в новый мир. В неведомые дали...

Полтора часа Андрей пролежал в полудреме, глядя в окно, почти не шевелясь, словно собирая силы для всего того, что ждало его в «неведомых далях».

День выпал серенький, с мелким нудным дождем, зарядившим еще с ночи. Сквозь мокрые стекла тускло виднелись мокрые же сосны, опустившие под тяжестью воды свои ветки. Серую сетку дождя иногда чиркали намокшие, отчего они казались меньшими, воробьи, - вместо неба сверху просто медленно двигались лохматые темные тучи. Оттого что в палате похолодало, она потеряла уютность, стала казенной, чужой.

- Так! - сказал себе Андрей. - Так! Вот и все. Хочешь не хочешь, а все кончилось. Так что...

Он повыше натянул одеяло и лежал на боку и смотрел, как бьет дождь в окна и как за окнами быстро падают отсыревшие желтые листья е деревьев. Развивать мысль от слов «Так что» не хотелось, и без всякого этого развития было ясно, что «золотые денечки» кончились. Под «золотыми денечками» он понимал время с 29 сентября по этот день, по 4 ноября, - месяц и неделю, месяц и неделю жизни легкораненого.

Но все стало на свои места, а что было - то было. Была же прекрасная жизнь, даже прекраснейшая! Но все возвратилось на круги свои.

Он то закрывал бездумно глаза, то открывал их, следя, как стекают по стеклу капли, и кутался в халат. Потом, наскоро глотая и не чувствуя вкуса еды, пообедал, торопливо выкурил папиросу и сбежал вниз.

Лена сидела на краешке кровати, положив руки на колени, и, казалось, разглядывала громадные, чтобы и в бинтах помещались в них ноги, тапочки.

От дождя на улице в комнате было сумеречно, и в этой сумеречности ее лицо - нежный овал - смотрелось четче, и четче же виднелись на нем темные круги под глазами, скорбно сложенные губы.

Он сел не рядом, а на тот единственный стул, на который сел, первый раз войдя к ней. Так как виновником ее огорчений он считал себя, он должен был и что-то делать, чтобы смягчить это огорчение.

- Ну все! - как бы небрежно, как само собой разумеющееся и не такое уж трагичное дело, начал он. - Уезжаю...

- Ведь, может быть, навсегда! - почти прошептала она, все не поднимая головы, лишь коротко взглянув на него снизу вверх.

- Но может и нет, - помолчав, возразил он. Еще подумав, он добавил: - Все зависит от того, как мы воспримем это - с отчаянием или с надеждой...

Она наклонила голову чуть набок, как бы для того, чтобы лучше вслушаться, и, слегка потерев колени, тут же остановив руки, повторила опять почти шепотом:

- С отчаянием ли, с надеждой ли...

Он пересел к ней, обнял за плечи, она обернулась, снова коротко взглянув ему в лицо.

- Я буду тебя ждать.

Он кивнул.

- Даже когда будешь уходить все дальше и дальше. Или... Ты бы, может, хотел, чтоб все было не так... Ведь было б легче. С глаз долой - из сердца вон. Ты бы хотел?

- Не знаю.

- Не знаешь... - задумчиво и горько сказала она и чуть отстранилась. - Не знаешь, значит, не любишь. - Он хотел было что-то возразить, но она остановила его, положив ладонь ему на пальцы: - Если бы ты любил, ты бы так не сказал: «Не знаю». - Как бы уверяя и себя, она сказала тверже: - Нет, не любишь. Еще не любишь. А я - люблю. - Он чуть сильнее прижал ее к себе. - Я отдала тебе все... Нет, не тело, нет, главное, - она положила ладонь под левую грудь, - тут... Ты для меня первый, последний, единственный. Если бы ты только понял и помнил это...

- Буду помнить, - пообещал он, стараясь, чтобы и голос передал ей это обещание. Но она не очень поверила:

- Конечно, если бы ты остался тут, даже если бы уехал куда-то, но не на фронт, а временно, например, по каким-то делам, было бы легче ждать... - она повторила со вздохом, с улыбкой, голосом, в котором даже теплилась радость: - Ждать с надеждой...

Он погладил ее по голове:

- Ничего. Так и жди.

Она качала головой, и ее волосы от этого закрывали и открывали щеки.

Я буду стараться. Но ты уходишь туда, да вы все, наверное, не такие, как здесь. Я не знаю, какие вы там, но чувствую, что другие. ...

Он опустил подбородок, уперся им в грудь, так ему было легче сдержать вздох.

- Мы в этом не виноваты. Мы...

- При чем тут вина! - быстро перебила она его и сняла его руку с плеча. Но руку она не отпустила, а положила ее себе на колени и прикрыла своими. - Речь не о вине. Я о другом - я боюсь, что жестокость изменит тебя. А ведь я знаю теперь, что главное на земле. Для меня, - уточнила она. - Может, тебе это покажется глупым...

Он чувствовал ладонью легкое тепло ее колен.

- Почему глупым? Скажи. Я постараюсь понять. Так что же главное на земле?

- Это любовь. Любовь и надежда. Наверное, я эгоистка, но что уж делать! А может, любовь делает человека эгоистом? Ведь он боится потерять того, кого любит. Тебе не смешно?

- Что ты? Что ты?

Она стала как-то спокойней, скорбное выражение сошло с ее лица, голос звучал бодрей, ей как

будто стало легче от того, что она смогла передать ему свои мысли.

- Так ты понял?

- Понял, понял, - ответил он, снова погладив ее по голове. - Но не надо больше думать про это. Ты устала. Приляг.

Она с готовностью подчинилась ему, забралась под одеяло, свернулась там, согреваясь, все держа, не отпуская его руку, подремала немного, потом, вспомнив, что это для них за день, торопливо позвала:

- Иди ко мне...

Потом он лежал, обняв подушку, от которой пахло ее щеками, а она - она так захотела - сидела с краю, обернувшись к нему, и гладила его затылок, шею, плечи, спину, повторяя:

- Ты поспи. Поспи, милый, перед дорогой. Где ты сегодня встретишь ночь? Где будешь спать?

Поэтому поспи у меня. Хоть полчаса...

И он и правда уснул, но она разбудила его, сказав:

- Пора.

Кто-то командовал в коридоре:

- Отъезжающим получать обмундирование! Отправка через час!

Когда они строились у грузовика, когда с ними прощались, она смотрела из окошка поверх занавески, прижавшись к уголку рамы. Но, когда отъезжающие полезли в грузовик, она вышла на крыльцо. На ней были те же огромные тапочки, наброшенная на плечи шинель, которую она запахивала вокруг ног, отчего плечи ее опустились и она горбилась.

Дождик все шел. На мокром крыльце, на фоне мокрой стены - она отодвинулась в сторонку от двери - она показалась ему маленькой, незащищенной и несчастной.

- Что ты стоишь? - рассердилась на него Таня. - Беги прощайся. Не видишь, что для этого вышла! - Таня держала Стаса за карман, не пуская его в грузовик.

Андрей перебежал до крыльца, прыгнул через три ступеньки, обнял Лену, она вскрикнула, прижалась к нему, а когда он отстранился, чтобы идти, она попыталась было удержать его, жалко повиснув, ухватившись за мокрую шинель. Тогда он сказал ей: «Меня ждут. Всего. Люблю. Жди. С надеждой!..», поцеловал обе ее руки, уронил их, сбегал с крыльца и по колесу взобрался в грузовик.

Пока грузовик разворачивался, пока съезжал к шоссе, он все смотрел на нее, кивая ей.

Она, прислонившись к стейе, держала руки под горлом, как бы не пуская крик, который бился в ней.

- Счастливо всем! - закричал Стас, встав в грузовике во весь рост и махая над головой обеими руками. - Счастливо всем! Счастливо!..

Горели плоски-катюши, бросая колеблющийся свет на гору картошки, вокруг которой все они сгрудились, беря по одной, срезая кожуру прямо под сапоги или ботинки и кидая очищенную, светлую, в общий большой бак с водой. Как только бак наполнялся, его тотчас же уносили к поварам. От поваров бак возвращался пустым.

Было тихо, только всплескивали, падая в бак, очищенные картофелины, да иногда Стас, закуривая, начинал бормотать какую-нибудь чушь, вроде: «Всю ночь они пили дешевенький херес. Херес был дрянным. Дрянней не придумаешь, но так как, кроме него, нечего было пить, они пили херес, морщились, кряхтели, убегали в кухню запивать водой. Херес пах не то сердцевиной грецкого ореха, не то его скорлупой, не то жженой пробкой, в общем пах отвратительно, но они пили его, страдая и крякая».

- Как из тебя все это выскакивает? - поинтересовался Андрей.

- А бес его знает! - Стас выбрал самую большую картофелину, обтер ее о полу шинели, картофелина засветилась нежной еще кожей - вся эта картошка, судя по свежей земле на ней, была вырыта недавно, - подбросил картофелину несколько раз - она плотно ложилась на ладонь, - прижал потом к щеке и вздохнул:

- Плоды земли... Плоды земли...

На пересылке они пробыли сутки. Потом их влили в большую команду, довели поездом-товарняком до Полтавы, откуда они пешком, топая по шпалам, добрались до запасного полка.

Из их госпитальной команды в маршевую пехотную роту попала лишь половина. Неделю с этой маршевой ротой Стас и Андрей шагали по обочинам раскисших дорог, едва выдирая сапоги из густого, липкого чернозема.

Начались дожди. Они лишь изредка перемежались ясной погодой. В один из таких дней рота, выбрав перелесок посуше со знаком саперов «Мин нет!», сделала дневку. Солдаты раскладывали костры, сушили набухшие отяжелевшие шинели, невысыхающую за ночь обувь, варили концентраты, гоняли чай, поглядывали на небо, в котором ходили и фрицевские самолеты, наблюдали, как идут в тылы раненые и как время от времени ведут пленных немцев.

С каждым днем отчетливее становились признаки войны - воронки от бомб и снарядов казались глубже, ящиков от боеприпасов попадалось больше, на подбитых немецких и наших танках следы гари чернее, а пирамидки из досок на братских могилах светлее.

После госпитальных блаженств - чистоты, заботы персонала, пищи и сна по режиму, - конечно,

такой марш быстро снял с них всех ухоженность, лень, тончайший слой жирка, который кой у кого там завязался. Все они опять, ночуя где попало, обогреваясь у костров, варя на них себе еду, топя иногда целый день под дождем, стали грязными, щеки их ввалились, глаза запали, лица и руки обветрились. Но этот марш им был на пользу - он втягивал их в жизнь солдата-пехотинца на фронте, готовил к тому, что ждало их на переднем крае.

Ритм их движения был прост: вечером, добравшись до какой-нибудь деревни, они слышали одну и ту же команду:

- С рассветом проверка на западной околице!

Так как их никто не размещал - не было для них квартирьеров, - то они, разбившись на группы по три-пять человек, сами заботились о ночлеге. Если вечер заставал их в большой деревне, да если в этой деревне было мало войск, то удавалось попроситься ночевать в хату. В этом случае хозяева варили им из солдатского пайка ужин, иногда добавляя к нему отварной картошки, кринку молока, огурцов или капусты, словом, то, чем могли поделиться. Если же деревня оказывалась маленькой, или сильно сожженной, или занятой войсками, тогда ночевать приходилось где попало: в сараях, конюшнях, курятниках, просто в стогах соломы. В этих случаях не всегда удавалось и сварить что-то - с вечера открытые костры жечь не разрешалось: костер мог привлечь немецкие самолеты - и приходилось ужинать сухарем, запивая его водичкой.

Переспав на полу ли в хате или скоротавав как-то иначе ночь, позавтракав, если хозяйка топила печь и вскипятила для них чугунок кипятку под концентрат или чай, или так, хлебнув водички, пожевав сухарей с воблой ли, с крошечным ли кусочком пайкового сала, они с рассветом тянулись к западной околице.

Здесь старший, у которого были все их служебные документы - солдатские книжки и справки из госпиталей, - делал проверку, выкрикивая фамилии по списку.

Пленных, когда они встречались роте, конвойные сводили с дороги и вели целиной или по пахоте. Там было куда грязней, чем на вытоптанной тысячами ног тропке сбоку дороги, и поэтому никто к пленным не лез, а если кто и пытался, то конвойные, вскидывая винтовки, кричали: «Назад! Назад, солдат! Стрелять буду!»

Конечно, рота, когда мимо нее проводили пленных, останавливалась: было интересно и посмотреть на них, и хотелось им чего-то крикнуть, погрозить кулаком, и им кричали, смеясь:

- Что, фриц! Нах Москау? То-то!

- Нах Сибирь? Нах Чукотка?

- А мы - нах Дойчланд!

- Эй, конвойный! Дай тому рыжему по шее! Уж больно волком смотрит. Дай разок за меня!

Не замедляя шага, уже привыкнув к таким насмешкам, пленные шли, опустив головы, изредка лишь взглядывая в смеющиеся над ними лица, изредка роняя друг другу какие-то свои, немецкие, слова.

- Тоже мне, тоже мне, рыцари конкисты, - сказал Андрей Стасу.

- Подожди! - перебил его Стас. - Слушай. Слушай, что говорил мне один профессор в Пулковской обсерватории: «Познавать тайны природы - означает во имя человека сокращать число неизвестностей в ней. Поэтому, милый юноша, - он так звал меня, - и вы, когда станете астрономом, должны будете всю свою жизнь, в меру своих слабых сил и скромных знаний, должны будете во имя человека сокращать число...» - Стас не договорил, он почти задохнулся, цедя: - Нет Пулкова! Нет профессора - там и похоронен, под развалинами...

Потерь у них особенных не было. На дороге они шли не колонной, а вытягивались в длинную цепочку, и не представляли цели для немецких самолетов. Но один раз, входя в деревню, забитую какими-то частями с танками и артиллерией, они попали под бомбежку, и несколько человек из их маршевой роты было убито и ранено.

Рота, их маршевая рота следовала к месту назначения без особых происшествий, если не иметь в виду этих встреч с пленными, если не считать той бомбежки, если не считать того налета, под который они попали.

Жестокий налет это был!

Из-за непогоды - облачность стояла низко, дожди скрывали от летчиков землю - авиация бездействовала, а пехоте и танкистам было хорошо: дождь не бомбы.

В ту деревню, на которую немцы налетели, прибыла какая-то сильная часть. Тридцатьчетверки и самоходки стояли чуть ли не во всех огородах, прижимаясь к домам и сараям, но листья с деревьев давно опали, так что деревья технику не прятали, и танкисты маскировали ее сетями, соломой, палками кукурузы и подсолнечника. Насколько удалось им спрятать свои боевые машины, трудно сказать, но деревня была забита еще и всякими грузовиками и бензовозами, и поэтому для немецких летчиков она была хорошей целью. Но, может быть, и кто-то из немецких агентов как-то передал сведения о всей этой технике, и вот под вечер, когда вдруг подул сильный и холодный ветер, который отогнал дождь куда-то в сторону, так что тучи, еще густые тучи, темные, со свисающими лохмами, приподнялись так, что даже показалось опускающееся к горизонту солнце, вот в этот вечер, когда рота лишь втягивалась в деревню, не торопясь особенно входить в нее, так как солдаты услышали в небе гул, причем гул приближался, а не затихал, поэтому следовало не торопиться, а выждать, чем же весь этот гул кончится, вот в этот-то по-осеннему погожий вечер, с бодрым, полярным, наверное, ветерком, прилетевшим, может быть, из самой Арктики, из отодвинувшихся не очень далеко туч вырвалась

девятка «юнкеров»- пикировщиков.

Андрей успел их сосчитать, крикнул Стасу и всем, кто был рядом: «Ходу!»- и все они, вся рота, помчались назад, подальше от домов, от танков и всяких других машин. Они успели отбежать за огороды, на край поля, шмякнулись там в сырые холодные борозды, прежде чем «юнкеры» ударили по деревне.

Шанс у немцев-летчиков был всего один - ударить и уходить, что они и сделали, потому что из тех же туч, с того же направления, доставая пикировщиков, вылетело несколько пар наших истребителей. Наверное, поэтому немцы в один - единственный заход высыпали все, что у каждого из них было в бомболюках и под крыльями, несколько секунд стоял такой грохот, что и в межу, за отвалом плотной, слежавшейся земли било так по перепонкам, что Андрей зажал уши и уткнулся лицом в межу, а сама эта межа дергалась под ним, как будто кто-то рвал ее, и, казалось, она сейчас не выдержит, сейчас вот треснет, и он, Андрей, провалится куда-то туда, где клокочет то, что бьет землю снизу.

Еще до взрывов первых бомб он слышал, как часто-часто застукали снизу зенитные пушки и затрещали зенитные пулеметы, потом гул задавил эти звуки, а когда юнкеры с ревом, делая один и тот же поворот в сторону солнца, ушли от деревни, то стало слышно, как в небе стучают пушки догнавших их, запоздавших лишь на какие-то две-три минуты истребителей, и как рвутся бензиновые баки на машинах в деревне.

Она горела, и не столько от самих бомб, как оттого, что взрываясь, машины, бензозаправщики, наверное, и танки, швыряли бензин на стены и крыши домов и сараев; тот холодный, арктический ветерок раздувал пламя, сырая солома крыш, подсохнув, вспыхивала, огонь сжигал стропила, крыши рушились, разбрасывая искры на соседние дома.

- Подъем! - крикнул Стас Андрею, и они побежали в деревню. - Вот дал! Вот дал, гадина! - бормотал Стас.

Они включились в то, что делали многие: став в цепь, передавали ведра, которые пустыми плыли по рукам к колодцам, а полными от них.

Кричали раненые, офицеры командовали танкистам и шоферам, и танки, самоходки, тяжелые грузовики, отодвигаясь от огня, а некоторые как бы уже выбираясь из-под него, тяжело урча, уходили от домов и сараев через огороды и сады, давя яблоньки, вишни, сливы, пустые уже грядки.

К медпункту шли сами, кто мог, других вели и несли, несли детей, женщин, стариков, иногда сквозь запах горелого бензина, соломы, глиняной штукатурки вдруг пробивался сладковатый запах жареного. Этот запах означал, что где-то горит чья-то скотина, а может быть, и оглушенные, раненые, задохнувшиеся люди.

Какая-то женщина, простоволосая, босая, в порванной кофте, с лицом искаженным, с набок скошенным ртом, бежала, крича:

- О дитынок! О дитынок!

Мальчик у нее на руках, лет шести, в короткой домотканой свитке, в заправленных в сапоги, окровавленных на животе брюках, уже не стонал, а лишь слабо хватал воздух, как бы глотал его и как бы задыхался им. На свисшей через материнскую руку его белесой головенке были кровавые сгустки, затекшие и на лоб, отчего закатившиеся так глубоко, что спрятались зрачки, глаза мальчика казались в прыгающем от пламени свете иссиня-белыми.

За женщиной, спотыкаясь, не видя ничего, кроме своей левой руки, кисть которой висела, болтаясь на сухожилиях, обнажив белеющие косточки, потому что кровь из руки падала вниз, за женщиной бежала девочка лет десяти, тоже босая, тоже раздетая, тоже простоволосая, в одном лишь платишке, заляпанном по подолу и жидкой грязью, и алой кровью.

- О боже ж мий! О боже! О рученька моя, о боже ж мий! - причитала девочка и тут же сбивалась на жалкий, как у подстреленного зайчонка визг: - А-я-я-я-я-я-й! А-я-я-я-я-я-й!

Стас, швырнув Андрею ведро, метнулся к девочке, схватил ее под колени, бросил себе на плечо, как куль, и побежал к медпункту. От этого кисть на руке девочки затрепетала сильнее, девочке стало больней, и она закричала:

- А-а-а! Дядечку! Больно ж! Пустить! Пустить меня! Больно ж! Больно ж!.. - но Стас, не обращая внимания на этот крик, притиснул ее к себе, не давая вырваться, и побежал, побежал, побежал и, обгоняя мать, на ходу крикнул ей:

- Быстрее! Быстро! Не отставай!

Андрей, коротко глянув на запад, пробормотал: «Гады!..», но ему сунули ведро с водой, крикнув: «Не разевай рот! Давай, давай, давай!»

Когда солнце срезалось горизонтом наполовину, сожженные и разрушенные дома дотлевали; чадили, догорая, оттянутые на буксирах сгоревшие машины, парили залитые водой танки, из которых выгужали боекомплект, снимали пулеметы. Слышались команды: «Проверить людей, имущество! Доложить...», наверное, всем раненым оказали помощь, а всех убитых снесли на буторок, на сельское кладбище и положили - деревенских рядом с могилками под ветхими, покосившимися, осевшими крестами, а военных - чуть в стороне, где какой-то сержант уже делал разметку для братской могилы.

Стас, вернувшись, бросил мрачно:

- Пацана нет. У девочки нет кисти. Мать спит - кубик морфия...

Он сел рядом на остатки завалинки, подгрел сапогом углей, сдвинул к ним несколько головешек и так и сидел, уронив голову и грея руки...

Последний переход был длинным: они уже затемно добрались до села, где их ждали командиры, оружие, война. Андрей шел вместе со всеми, мок, как они, месил придорожную грязь, подняв воротник и сунув руки в карманы, бездумно смотрел на голые поля, пожелтевшую, прибитую дождями траву на обочинах, за которыми лежала сырая пахота. Он старался ничего не вспоминать - так было легче, - но воспоминания, не подчиняясь его воле, приходили сами.

Его все время мучила песенка, которую он слышал до войны, но тогда ее слова не трогали его, а вот услышав эту песенку в госпитале, ее там играли на патефоне, он не мог сделать так, чтобы она не приходила в память.

**... Скажите, почему нас с вами разлучили.  
Зачем навек расстаться мы должны?  
Ведь знаю я, что вы меня любили,  
Но вы ушли, скажите, почему?..**

«Вот именно, - думал он, - скажите, почему?» На душе у него было скверно. Шагая за Стасом, он механически переставлял ноги, отворачивался в сторону, когда ветер швырял дождь прямо в лицо, и горько усмехался, когда слышал, как Лена говорит ему: «В такую погоду любимые должны быть вместе. Пить вкусное вино, обнимать, греть, любить друг друга. Может быть, старые люди это не так понимают, но я смотрю на мир так...»

- Пить вкусное вино... Любить друг друга!.. - бормотал он. - А фрицы? А проклятые эти фашисты?..

Холодало, тот арктический ветер не уходил, вымораживал сырость из воздуха, так что звезды казались ярче, и еще за несколько километров от переднего края было четко видно, как взлетают к небу трассирующие очереди и как вспыхивают ракеты.

- Ну что, прибыли? - спросил Стас, когда они остановились для перекура. Все в роте смотрели туда, где взлетали трассирующие и ракеты. - Вот они, наши уголья. Вот где развелось микроцефалов. Но мы их будем сокращать. В меру наших сил и скромных дарований...

В сарае, к которому их подвели, горело несколько фонарей «летучая мышь», в топках двух кухонь, стоявших посередине, красным огнем тлели угли, и в сарае было достаточно светло, чтобы одним раздавать винтовки, патроны, гранаты и еду, а другим чтобы получать все это.

- Как в преисподней! - буркнул ему в шею Стас. - Не хватает только Вельзевула. И пахнет не серой и смолой, а ячневой кашей.

Пахло и правда ячкой, она перебивала запах от сырых шинелей, сгоревшего керосина и тот запах, который идет от открытых патронных и гранатных ящиков; они пахнут и свежеструганными досками, и порохом, и новым железом, и толом.

Свет от ламп, подвешенных к стропилам, падал на головы и спины, угли из топок бросали багровый отсвет на полы шинелей, на колени, все остальное скрадывала темнота, и казалось, что из людей вырезаны средняя и нижняя четверти.

- Ну что, что выбираешь? - сердито говорил кому-то тот, кто раздавал оружие. - Все одинаковые. Все бэу!

\_\_\_ - Ты вроде бы раз получил, - сказал повар тому, кто был впереди них. - Ну-ка к свету! Конечно, получил! Я твою физию запомнил. Не надо было ее отворачивать! А то отворачиваешь, оно и кидается в глаза. Убирайся из строя! Ну!

- А водочки нет! - кто-то в строю с досадой вздохнул. - Вроде и месяц с «р», ан не припасли. - В октябре, и правда, на фронте полагалась водка, она полагалась с сентября по апрель.

- Припасут тебе, жди! - кто-то оборвал любителя водочки. - Может, тебе еще и курник испечь? - ехидно добавил он.

- Пошел ты, знаешь!.. - ругнулся любитель водочки, но и сам замолчал.

Андрей, держась за Стасом, двигался с очередью, стараясь, чтобы тот, кто шел сзади него, не наступал ему на пятки и не тыкался головой в спину. Все это было ему знакомо, все это он уже видел не раз, все это ему не раз предстояло видеть впереди. Нужно было помалкивать да терпеть, да спокойно ждать, да делать то, что прикажут, да стараться расходовать меньше сил, потому что в каждую минуту эти силы, вообще все силы, что были в нем, могли понадобиться крайне.

Андрею тоже досталась старая винтовка. «Черт с ним, - подумал он. - Раздобуду ППШ. А на худой конец - «шмайссер».

Им сунули по паре гранат, одну на двоих запарафиненную пачку патронов - в ней их было сто штук: боеприпасы и новое оружие были где-то на подходе, застряв в бездорожье, - одну буханку хлеба и налили один на двоих котелок не очень густой, но и не очень жидкой ячки с консервами.

- Для начала не так уж плохо, если еще дадут и посидеть на спине минут триста, я скажу, что это и есть тихое счастье с белыми окнами в сад, - отметил Стас, увлекая Андрея к середине сарая, где котелок еще, хотя и смутно, но различался и его не надо было искать ложкой на ощупь.

Они приткнулись к стене и, сидя на сухом полу, съели кашу, черпая поочередно, приедая ее хлебом, ломоть за ломтем, которые Стас резал ему и себе. Из того же котелка они попили и чаю. Чай был несладкий, сахар им, видимо, тоже пока не полагался. Оставшуюся горбушку Стас разрезал пополам и дал одну половину Андрею.

За спиной - они чувствовали это спинами - стучал дождь, крыша не текла, доски стен отсырели, кухни, лампы, дыхание людей нагрели воздух в сарае, и все было бы хорошо, если бы Андрей не ощущал подошвой левой ноги, что сапог протекает.

«Вот черт, - подумал он. - Что же будет дальше?» Дальше представлялось что угодно, только не то, что сапог перестанет протекать, а это означало быть двадцать четыре часа в сутки с мокрой ногой.

Пока Стас вскрывал коробку с патронами, пока делил их, доставая их тройками и пятерками, Андрей переобул левую ногу: сухую портянку с голени обернул вокруг стопы, а мокрую, отжав, навернул на голень для просушки. Он сунул свою горбушку за борт шинели, растолкал патроны по карманам - они легли там тяжело и кололись в бока, и он подумал:

«Первое - подсумки. У старшины. Если нет - искать в траншеях. Сапог. У старшины. Если нет? Если нет - посмотрим».

- Ложись вдоль стены. Оттопчут ноги, - сказал Стас, укладываясь именно так и выталкивая из-под себя карманы с патронами. - Или боишься, что оттопчут голову?

- Угу, - ответил Андрей.

«Потом ППШ, - додумывал Андрей, засыпая. - Вот так-то. Вот так-то, Лена...» - он сонно улыбнулся вдруг засветившемуся перед ним ее лицу.

- Вот ты где! Вот ты где, субчик. Ишь, замаскировался! Как настоящий диверсант! Подъем, подъем. Не на дачу приехал, - говорил ротный, наклонившись над ним и толкая и тормоша его. - Дай вам волю, вы и конец войны проспите. Подъем, Новгородцев. Я тебя, субчик, запрягу. Ты для меня как находка.

- А поминали Вельзевула. Дескать, нет его, - Стас, жмурясь от фонарика ротного, пытался повернуться к стене. - Будет тебе сера, будет и смола!..

Ротный присел к Андрею и положил ему руку на плечо.

- Рад тебе, Новгородцев. Пойдешь на взвод. Я как увидел в списке пополнения твою фамилию, так чуть не подпрыгнул.

Наверное, ротный не врал, потому что Андрей и сам был рад встретиться с ним. На фронте, если встретишь даже просто знакомого, и то рад, а с ротным они прошли пол-левобережной Украины и были на Букрине, а это чего-то да стоило. Это стоило много.

- И смола и сера... - повторил Стас. - А как же, тут тебе котлы, тут тебе страдания и печали...

- Он - сумасшедший? - спросил ротный и встал. - Подъем! Подъем! - скомандовал он всем. - Новгородцев! Построить людей. Разбить на отделения! Взвод пока за тобой.

Кряхтя, сонно дозевывая, надевая вещмешки, взвод построился, и ротный обошел строй и назначил сержантов командирами трех отделений, а его, Андрея Новгородцева, объявил командиром взвода.

Им еще раз дали поесть оставшейся каши и раздали малые саперные лопатки, но лопаток оказалось два десятка, а людей во взводе было двадцать семь, так что семерым лопат не хватило. Потом ротный, кивнув: «Выводи!», пошел к воротам сарая, и Андрей вывел за ним взвод.

- До переднего края - километр, - объяснял ротный, шагая перед ним. - Часа через полтора, как только-только рассветет, атакуем. - Твой взвод ставлю в центре, чтобы поначалу не скисли. Надо взять их первую траншею, потом по ходам выскочить ко второй и, если удастся, выбить и из третьей. Мы и ждали вас - в роте у меня всего полсотни, теперь с вами восемьдесят, теперь что-то можно сделать.

За ночь опять похолодало, и дождь перешел в снежную крупу. Она усыпала землю и крыши, и на ее белом фоне четче виднелись углы домов и торная тропка, по которой ходили сюда и на которой крупу растоптали, не давая ей лечь так же ровно, как всюду.

«Это лучше, - подумал Андрей, - если будет мороз, значит, ноге будет сухо. - Ему не хотелось говорить ротному про сапог. - Только пришел, и сразу тебе про сапоги!»

- Я тут тоже всего ничего, - объяснял ему ротный. - Три недели. На весь батальон пяток офицеров. Как ты полежал? Ничего? Я тоже ничего. ГЛР - не стационар, но все-таки. Почти месяц пролетел, как день.

Ротный оставался тем же - уверенным, жестким, размашистым. Но ротный, на его взгляд, и должен был быть таким, иначе как бы ему было под силу управлять сотней человек под пулеметным огнем в упор? Или когда мины ложатся чуть ли не рядом? Теперь, на должности командира взвода, он, Андрей, и сам должен был быть таким.

- Общество умных мужчин и милых женщин, - бормотал шагавший за ними Стас. - Задушевные беседы, вино, отличный ужин, фрукты, кофе, мороженое. Мягкий свет, спокойная музыка...

- Это тебе не Сумская область, - продолжал ротный, останавливаясь, закуривая в кулак, давая возможность подтянуться отставшим. - В Кировоградской пока особых побед нет. Деремся неделю за деревню. Он, сволочь, окопался, а мы за распутицу выдохлись, пока не подмерзнет - каждая граната на счету, и в роте два офицера. Шагом марш!

Они прошли еще несколько минут.

- Стой! - крикнули метрах в тридцати от них, и все они вздрогнули и остановились. - Кто идет?

- Свой! - крикнул в ответ ротный.

- Пропуск!

- Цевье! Отзв?

- Елабуга!

- Шагом марш! - приказал ротный.

- Книжки, картины, филармония, чай с вареньем на дачной веранде... - Стас, ткнувшись в него, тоже остановился, но остановить мысль или не смог, или не захотел и договорил: - И ведь есть же где-то такая жизнь? Простой трамвай кажется милейшим существом...

- Он что, правда чокнутый? - ротный, чиркнув зажигалкой, держа ее в горсти, направил ладони так, что свет упал на лицо Стаса. - Контуженный? Или романтик?

- Нет. Он не чокнутый. Не контуженный. И не романтик. Он даже не усталый, не изношенный, не одинокий, не постаревший, не больной, - ответил Стас. - Он просто грустит.

- О бездумно растраченной юности? - зажигалка ротного щелкнула, погасив колпачком пламя, и вокруг них опять стало темно и тихо, только крупа, падая им на лица, головы, плечи, вещмешки, едва слышно шуршала. - Не рано ли? И время ли? У меня в роте... -

- Па-па-па! - перебил его Стас. - У тебя в роте только и думают, как бы лучше атаковать. День думают, ночь думают, даже не спят - все об этом одном и думают.

Тот, кто шел за Стасом, уже подошел, подтягивались и остальные, и Андрей сказал:

- Кончайте. Кончайте, ребята. Сколько осталось? - спросил он ротного.

- Сейчас будет взгорок, поднимемся и - метров четыреста. За взгорком все простреливается.

- Огонь не зажигать! Прячь папиросы! - командовал Андрей взводу, когда они поднимались на взгорок - короткий, крутой, скользкий уступ, а когда поднялись, глухо приказал: - Прибавить шаг! Не растягиваться!

Их еще раз остановили, требуя: «Пропуск!», и «Цевье» открывало им дорогу. Они не видели лиц тех, кто спрашивал, а, проходя мимо, лишь смутно различали их серые фигуры, осыпаемые снежной крупой.

То ли из-за приближающегося рассвета, то ли оттого, что из-за снежной крупы видимость сократилась, немцы кидали одну за другой ракеты, а их дежурные пулеметчики садили длинными очередями. Конечно, пулеметчики били без прицела, стреляя каждый по своему сектору, намеченному при свете.

Если ракета взлетала не против них, а наискось, сбоку, они, как это делал ротный, только приседали, но если спереди, прямо против них, они ложились на мокрую, рыхлую, уже очень остуженную землю и лежали на ней, пока ракета не гасла. Тогда они вставали и, сдерживая дыхание, как будто пулеметчики немцев могли прицелиться по их дыханию, быстро шли, переходя время от времени на бег.

Серии желтых, зеленых, алых трассирующих пуль стремительно пролетали левее, правее их, над ними, но пока все обходилось хорошо, лишь совсем недалеко от траншеи одна такая очередь задела их бегущую цепочку. Задела краем, если бы она пришлась по середине, они потеряли бы больше, очередь задела их лишь краем, и они потеряли только одного - он был убит.

- Взять на руки! - приказал Андрей. - Прибавить шаг!

Ротный, чуть попетляв, а они тоже чуть попетляв за ним, наконец спрыгнул в ход сообщения.

- Вот мы и дома! - довольно сказал он и пошел, на ходу приказывая Андрею:

- Участок твоего взвода вправо от хода сообщения.

- Ясно, - ответил Андрей, держась за ротным вплотную.

- Оттуда я всех сниму. Твой участок триста метров. - Это было не так уж много - по пятнадцать метров на человека. - Расставь людей парами. Все равно в пары сойдутся. - Это было верно: ночью на переднем крае в одиночку не стоят, люди всегда сбиваются в пары и тройки, и, хотя открытый интервал при этом получается больше, все-таки на пару с кем-то ночью, когда перед тобой только ничья земля, все-таки на пару с кем-то спокойней.

- Ясно.

- Боевое охранение не выставляй, впереди три секрета. Смотрите, когда будут отходить, не пристрелите.

- Ясно.

- Мой КП влево, от хода сообщения двести метров, сто метров в тыл. Сарай сельхозинвентаря.

- Ясно.

- Выделить мне связного.

- Ясно.

- Давай этого субчика. Чокнутого, - ротный все-таки так назвал Стаса. - Люблю веселых людей. С ними смешнее.

- Нет, - не согласился Андрей. - Он будет со мной.

- Не хочешь расставаться с другом?

- Он мне не друг, - уточнил Андрей. - Не то слово. Просто товарищ. Мы с ним лежали в госпитале.

- Тогда в чем дело?

- Нет, - повторил Андрей. - Вы там будете цапаться. Ни к чему здесь это.

- Да нет! - уверил его ротный. - На кой он мне. Кто он вообще?

- Он хотел быть астрономом...

Ротный даже остановился, так что Андрей налетел на него.

- Астрономом? Звездочетом? Значит, теперь нас, недоучившихся студентов, на роту трое? Не много ли?

У конца хода сообщения ротный остановился.

- Расставишь людей, придешь доложить.



- Есть.  
- Пусть не вылазят на брустверы - затопчут порошу, демаскируются, утром немцу только этого и надо - сразу пристреляется.  
- Ясно.  
- Ну, пока...  
- Пока. Взвод, вправо по траншее вперед! - приказал Андрей.  
- Да, - вернулся ротный. - Как расставишь людей, сразу же похорони убитого. Чтобы утром не видели. Чтоб не с этого начинать. Документы мне на КП.  
- Есть.  
- И пусть не спят! Пусть копают лисьи норы. Блиндажей здесь нет, если атака сорвется и если днем пойдет дождь, а к вечеру опять похолодает, шинели будут как кол, а люди как кочерыжки. Не давай спать, пока у каждого не будет лисьей норы.  
- Почему нет блиндажей? - спросил Андрей.  
- Почему, почему! - буркнул ротный. - Потому, что траншею только позавчера отбили и потому, что утром атакуем следующую. До нее четыреста метров. Ясно?

«Туда! - мелькнуло у него в голове. - Туда!»

Сжавшись, напрягшись до того, что в нем задрожали все мускулы, Андрей вскочил и, петляя, нагнув голову, как будто приготовился бить ею кого-то в живот, перебежал за фундамент МТФ.

Перебежка получилась длинной - метров тридцать и поэтому долгой, и несколько немцев успели под конец ее ударить по нему, и пули их тенькнули по сторонам его, над ним, но он петлял, и второпях немцы били навскидку и не попали. Добежав до фундамента, он упал за него, на угли от сгоревших стен, прямо в жижу, получившуюся оттого, что уголь и сажу размыло дождями.

Фундамент - большие саманные кирпичи шириной в локоть - выступал над землей и прятал его от немцев, защищая от пуль. Молочнооварная ферма сгорела дотла: от камышовой крыши и деревянных стен остались лишь головешки, угли да пепел. Видимо, ферма сгорела еще в сорок первом, потому что головешки были затоптаны, а пепел и угли стали кое-где черной землей и еще потому, что на этой черной земле стояла необгоревшая арба, завезенная туда, наверное, позднее. Ни решетки арбы, ни доски ее дна, не обгорели.

Он и отполз так, что оказался между фундаментом и арбой, арба как бы прикрывала его тыл. Это была третья атака сегодня. Это был седьмой день на фронте, и он уже раздобыл автомат, взяв его у убитого, и все остальное, что ему было надо, - магазины к автомату, гранатную сумку и финку.

Он полежал с полминуты щекой в жиже, отдышался и, резко приподнявшись, лишь на мгновение высунулся. Фундамент защищал его, но и делал слепым. Он должен был посмотреть, как и что там впереди.

Немцы не контратаковали - это было самым главным. Если бы немцы контратаковали, ему следовало бы или выползти к углу фундамента, или подняться над ним, чтобы стрелять, иначе любой бежавший немец легко бы всадил в него, лежащего, пулю или очередь, и все тебе. Но немцы не контратаковали, а держали их пулеметами, прижимая к земле.

Его взвод - оставшиеся семнадцать человек - торопливо окапывался. Андрей успел заметить, как справа и слева от него чуть взлетала земля, которую окапывающиеся, лежа на боку, бросали перед собой так, чтобы она падала перед головой. Под пулеметным огнем кажется, что и кучечка земли перед головой спасет.

«Вот-вот! - сказал он себе, когда немцы ударили из минометов. - Начинается старая песня».

Что ж, для него это и правда была старая песня: в скольких атаках он участвовал! Сколько раз ложился, как ложились и все, под пулеметным огнем! Сколько раз, вжимаясь лицом в песок ли, в траву ли, в стерную ли, в дорожную пыль - словом, в землю, сколько раз ждал он и почти всегда дождался, как на той, на немецкой, стороне глухо ударят минометы и, уплотняя перед собой воздух, понесутся на него мины! Прямо в него! Сколько раз, подлетая к нему, визжа у земли, рвались с жутким треском эти мины.

Он оттолкнул автомат, выдернул из чехла лопатку и, отвалившись на бок, не поднимая плеча и головы, начал рыть перед грудью. От неудобной позы ныли руки, ломило плечо, на которое ложилась вся нагрузка, но он торопливо выкидывал землю, то отползая от фундамента, чтобы удлинить канавку, то придвигаясь к нему, чтобы углубить место для головы и груди.

Все, что ему сейчас надо было, это узкая, лишь бы втиснуться, щелочка в земле, глубиной полметра, нет, даже сантиметров тридцать. В этой щелочке осколки были нестрашны, все они летели бы над землей, над ним, а он был бы в земле. Плевал бы он тогда на осколки! Ну, а если бы мина ударила прямо в него, тут уж... Тут же... Тут же он бы и подумать ничего не успел.

Мины рвались плотней, ближе, в паузах между разрывами он слышал крики раненых, но он слышал и то, что к батальонным минометам немцы подключили полковые, мины которых рвались с тяжелым глухим треском.

Он стал копать еще быстрее, он перекатился через канавку, чтобы сменить руку, и, когда перекачивался, почувствовал всем телом, какая канавка еще мелкая, какая короткая, а мины били, били, били, и воздух от близких взрывов ударял его по ушам и по лицу, а перед глазами на секунду вспыхивали красные отблески. Два раза его начинал душить кашель, но он давил его в себе, он, стиснув

зубы, как бы сжимая и свою грудь, не давал легким колотиться в ней.

Тут кто-то крикнул, кто-то закричал:

- Хлопцы! Хлопцы! Киньте лопату! Киньте лопату! Во загну! Хлопцы! Киньте лопату, бо загну!

«Пилипенко», - догадался он по голосу и, совсем уже спеша, потому что крик Пилипенко подхлестывал его, дорыл кусочек канавки для ног.

- Хлопцы! Киньте лопату! Бо загну! Бо загну! - не угомонялся Пилипенко, потому что мины все шваркали, и осколки все секли, резали, кромсали воздух.

- Киньте лопату! - уже не крикнул, а заверещал Пилипенко, и Андрей, приподнявшись, так как до Пилипенко было метров двадцать, размахнувшись, швырнул ему лопату. Потом, чтобы еще раз посмотреть, как лежит его взвод, он выглянул и тут же бросился лицом под фундамент, но и тут же - ему показалось, что он даже почувствовал ветер от них - штук восемь разрывных пуль ударило, пролетев над ним, по арбе, и щепки от нее полетели ему на ноги, на спину, на голову.

Его убило, на какие-то секунды его убило - он лежал в своей канавке как в своей могиле, не двигаясь, не дыша, ничего кроме льда во всем себе не ощущая, потому что возьми немец на крошку ниже, и пуля разворотила бы ему череп, и он бы и упал бы в свою щелку, как в могилу.

Его трясло, колотило, и он никак не мог удержать дрожь, и ему надо было до ломоты в скулах стиснуть зубы, чтобы прийти в себя.

К нему подполз Стас. Стас постучал ему по спине.

- Жив? Там ротный. Машет. Надо атаковать.

- Где машет? - спросил он, поворачиваясь на бок, но не высовываясь из канавки. - Голову ниже, ниже голову. По мне пристрелялись. Атаковать?

- Вон он. Бежит. Да, атаковать.

Ротный и Степанчик, его ординарец, где переползая, где перебегая, упали возле него.

- Лежишь? - спросил ротный. - Лежите все? Отдыхаете? И каждая минута - потери! - ротный был для удобства без шинели, без телогрейки, в одном меховом жилете, отчего рукава его гимнастерки вымазались и намокли до плеч. Ротный смотрел на него суженными глазами, лежа на боку, тоже не поднимая головы из-за самана.

- Это вам не с поваром драться! - ротный сказал это зло, без намека на шутливость.

Да откуда тут мог быть намек на нее, когда рота легла. Когда ротный должен был ее поднять. Насчет повара он был прав, хотя и вспомнил о нем не к месту. Наверное, ротному пришла в голову эта история сейчас для того, чтобы задеть, уколоть его и Стаса, чтобы они легче встали под огнем и подняли других и помогли поднять всю роту.

История же с поваром получилась нелепая. Виноват в ней был Стас, хотя при этой истории присутствовал и Андрей. Больше того, по сути Стас и не был виноват, он как раз исправлял несправедливость, но история эта произошла, ротный о ней знал, так как повар пожаловался старшине, а старшина доложил ротному.

Все же произошло так.

Три дня назад Андрей и Стас, когда ходили за гранатами для взвода, ошиблись в деревне домом и зашли в тот, за которым стояла ротная кухня. Кухня потихоньку топилась, в ней варился ужин, но Гостьева, повара, около нее не было. Он оказался в доме, занятый тем, что на хорошо горевшей плите жарил оладьи. Черпая из котелка жидкое тесто, он лил его прямо на раскаленный чугун рядом с конфорками. Тесто не подгорало, потому что на плите, ближе к ее краям Гостьев насыпал мелко порезанного сала, из которого, шипя и потрескивая, жир все время подтекал туда, куда Гостьев лил тесто. Так как плита была велика, в две конфорки, Гостьев едва успевал переворачивать подгорающие оладьи, снимать готовые, наливать на освободившиеся места тесто. Он то брался за немецкий штык, которым он поворачивал или снимал, поддев их, оладьи, то отодвигал побуревшие шкварки дальше к краю плиты или ловко скидывал их в миску с оладьями, то подрезал сала, то хватался за котелок и ложку, чтобы подлить теста.

В брошенном, полуразвалившемся домике, в котором все было сейчас грязным, потому что в нем побывало столько чужих для этого домика людей - немцев и наших солдат, людей, лишь пользующихся домиком, но не ухаживающих за ним, - в этом домике пахло не просто румяными оладьями, а, казалось, пахло детством, миром, человеческой жизнью.

- Фокусник! Право фокусник! - оценил способности Гостьева Стас. - Ни тебе сковородки, ни тебе помазка из перышек. А оладьи - чудо! Чародей!

- Голь на выдумки хитра. Ловкость рук... - буркнул Гостьев, кинув на них хмурый взгляд. Гостьев не очень-то был рад их видеть.

- Ловкость рук и никакого мошенства? - поддержал его вроде бы приветливо Стас, но тут же поправился: - Нет, брат, ловкость рук плюс мошенство. Мучка-то подболточная?

Гостьев еще раз хмуро посмотрел на них, но ничего не ответил, а сбросил новую порцию оладушек в миску. Их уже там было с горкой.

- Котловая мучка-то? - продолжал наседать Стас. - То-то я замечаю, что у нас такой жидкий борщ. Картошка отдельно, капуста отдельно, свекла отдельно, горячая вода отдельно - связи нет. Нет, потому что нет подболтки. А ее вот куда пускают эти чародеи!

Гостьев разлил на плиту остатки теста, присел перед топкой, пошевелил угли, расколлот штыком

остатки доски от лавки, которую он пустил на дрова, наступил ногой, переломил палки и швырнул их в топку. Сухое дерево затрещало, запылало, а огонь загудел.

- Ай да чародей! - нажимал Стас.

- Пошел ты, знаешь, куда... - зло наконец процедил Гостьев. Он наклонился над плитой, приподымая штыком оладушки, чтобы под них хорошо подтекло сало. - Попросил бы по-людски...

- Что-оо? - протянул Стас. - Попросил бы? - Он подошел к миске, подождал, когда Гостьев сбросит поверх оладушек шкварки, и, когда Гостьев сделал это и поставил миску на угол плиты, Стас взял миску и выдернул из-под горки хорошую, уже не горячую, а в меру теплую оладушку и стал ее есть.

- Поставь! Поставь на место! - не сказал, а как-то зашипел Гостьев, задыхаясь, что ли, от неожиданности.

- А что, это для раненых? - наивно спросил Стас, делая вид, что готов поставить миску, если услышит, что оладьи и правда пеклись для раненых.

- Не суй свой нос... - начал было Гостьев.

Но Стас достал новую оладушку и протянул ее Андрею:

- Андрюха, что за чудо! Что за чудо! Как будто бы для генерала. А может, мы уже и генералы? - Стас посмотрел на свои солдатские погоны, растрепанные лямки вещмешка. - Ешь, не стесняйся. Это оладьи из твоей нормы подболточной муки за фронтовых дней десять. Каждому солдату полагается, кажется, пять грамм муки на подболтку в сутки.

Несколько оладушек стало подгорать, и Стас крикнул на повара:

- Мешай! Мешай! То есть, переворачивай! - он озабоченно смотрел, как повар переворачивает оладушки. - Если от великого до смешного один шаг, то от поджаренного до горелого один миг!

Гостьев шагнул к Стасу и, замахнувшись штыком, крикнул зло и глухо:

- А ну, поставь, не то!.. Поставь, тварь!

Стас смигнул, сощурился, осторожно поставил миску, даже подвинул ее от края, чтобы не опрокинуть, снял с плеча автомат, отступил, чтобы приставить его к стене, и пошел на Гостьева.

- Так это я тварь, а не ты? Ах ты гаденыш! Ворюга! Ты еще этим махаешь? Фриц ты поганый! Я тебе сейчас устрою детский крик на лужайке...

Гостьеву, конечно, не следовало замахиваться этим фрицевским штыком, тут уж любой не сдержался бы: пойманный за руку вор поднимает на человека немецкий штык! Где? На фронте! Грозит тому, кто только что пришел из первой траншеи. Кто час назад отбивал атаку немцев, третью за день! Из-за этих атак они и израсходовали гранаты, поэтому-то и оказались здесь, чтобы получить их. И впереди было неизвестно, ползут снова или не ползут немцы. И если ползут, то сколько в роте будет новых раненых и убитых, во время немецких атак рота потеряла человек тридцать. Из этих тридцати - двенадцать человек убитыми. А тут этот Гостьев не просто ворует у роты подболточную муку, да и сало тоже, наверно, а еще замахивается немецким штыком! Такое Гостьеву проститься не могло.

Андрей было сделал шаг от двери, но Стас остановил его:

- Не надо, Андрюша, не надо, милый. Уж как-нибудь я сам, я эту сволочь сам проучу, не лишай ты меня такого права. И такого удовольствия. Постоим за правду и тут, за нее надо стоять всегда и везде.

Гостьев, отступая, опустил штык, даже отвел его за бедро, а Стас, чуть согнувшись, выставив наготове руки вперед, шел за ним, глядя ему в глаза и, сдерживаясь, чтобы не крикнуть и этим самым не привлечь кого-нибудь к дому, зло и беспощадно говорил:

- А шанежки ты тоже себе печешь? А консервы, ротные консервы, меняешь на часики? - В роте шли такие разговоры, мол, Гостьев кому-то за трофейные часы предлагал две банки консервов и фляжку водки. - А что ты еще у ребят ворешь? Дурак ты, Гостьев, за такое на переднем крае и расстрелять могут. Так, что и начальство не узнает. Мелкая ты сволочь, Гостьев, мелкая да еще и злая сволочь! За оладушки нарезать готов?! Фрицевским штыком! Это что - конец света? Сумерки цивилизации? А еще - человек! Нет, это не о тебе было сказано, что человек - звучит гордо!

Стас был выше и, видимо, сильнее Гостьева, к тому же Стас, как старый солдат, знал приемы рукопашного боя, приемы этого боя и когда у тебя нет оружия, а Гостьев, видимо, не знал, служа в поварах, так что преимущество было на стороне Стаса, но у Гостьева был штык, и Андрей крикнул:

- Брось штык! Брось, сволочь! Стас, назад! Брось штык, гад! Иначе!.. - он сдернул с плеча автомат, чтобы, если придется, дать прикладом этому ворюге и сволочи Гостьеву, но Гостьев вдруг бросил штык, и Андрей снова крикнул: - Стас, назад, тебе говорят!

Но Стас не считал нужным выполнять эту команду. Он загнал Гостьева в угол и, хлеща ладонями ему по щекам, приговаривал:

- Хотя нет, ты вообще не человек! Человек разумен и добр. А ты же обезьяна! Обезьяна шерстью внутри! Вот тебе, ублюдок, мука! Вот сало! Вот тебе тушенка... Ты пародия на человека!..

Гостьев закрылся, хватал Стаса за руки, но Стас успел хорошо надавать, пока Андрей не оттащил его, зажав в локте шею Стаса, так что он даже захрипел. Но это помогло ему опомниться.

Стас забросил автомат за плечо, поднял полу шинели, высыпал в нее все оладушки и, хлопнув дверью, вышел. Андрей догнал его уже у нужного им дома, где Стас, оттопырив полу, так что оладушки были видны, командовал ребятам, пришедшим за боеприпасами:

- Братъ по одной! Не жадничай, черти. Где взял? Командир корпуса прислал. Лично мне. А как я могу не поделиться с чудо-богатырями? С мужественными и героическими воинами? На, - сказал он Андрею, сунув ему пару оладушек. - Тебе тоже полагается. Что мы, хуже всех, что ли. Гранаты раздадут поровну. Значит, и оладушки поровну. Лопаи, черт длинный. Ну как? Не оладушки, а мечта!..

- Давай! - ротный протянул руку, и Степанчик подвинул ему противогазную сумку, полную гранат. - Атакуем! Взять траншею! Рассредоточимся по цепи, и, как я поднимусь - поднять людей. Ясно? И ты - звездочет! Встанешь?

- Встану! - отрезал Стас.

Тут шваркнула новая серия мин, они все спрятали носы в землю, а когда разрывов стало вроде бы меньше, ротный разделил гранаты (каждому пришлось по три штуки) и скомандовал:

- Ну, ну, ребята... Черт не выдаст, свинья не съест! Вперед!

Они так и сделали: расползлись по цепи, причем ротный уполз

дальше всех на стык с другим взводом, чтобы поднимать и его, между ними четверыми оказалось метров по тридцать, и, когда, в паузе между сериями мин, ротный поднялся и крикнул: «Рота, вперед! В атаку! Ура!» - Андрей, сказав себе: «Пронесет! Пронесет и сейчас!» - тоже вскочил, тоже крикнул: «Взвод, в атаку! Вперед!» - увидел, как вскочил, подхватив его команду, Стас, побежал, сжавшись, чтобы казаться поменьше, к траншее немцев, слыша, как топает по бокам его взвод. Он стрелял на ходу по вспыхивающим немецким автоматам, а потом швырнул две гранаты, прыгнул с бруствера туда, где они взорвались, и дал очередь по убегавшим по ходу сообщения немцам.

- Закрепитесь! - крикнул им ротный. - Рассредоточиться! Командиры взводов, проверить людей!

Андрей пошел сначала в одну сторону, потом в другую, считая, сколько же у него осталось во взводе. Осталось одиннадцать. Пилипенко был убит, Пилипенко лежал недалеко, раскинув руки, лицом вниз, так что засунутая сзади за пояс лопатка была хорошо видна, но Андрей не пошел за ней.

- Дозарядить оружие! - скомандовал он и пошел к ротному сказать, что у него от взвода осталось одно отделение.

- Не горюй. Не горюй! - утешал его ротный. - Не на учениях. Сколько мы прошли за эти дни? Километров семьдесят будет? Будет. Сколько отбили деревень? То-то! И без паники.

Андрей пожал плечами.

- Какая там паника!

- Вот именно! Никакой паники. Мы еще только в Кировоградской области. До границы черт те знает сколько. Еще идти и идти! И, наверно, и по заграницам. Потери? Что ж, потери как потери. Пополнят. Глядишь, и заменят. Отоспимся во втором эшелоне. Тебе, взводный, ясно?

...Еще не свечерело как следует, еще сумерки только опускались, когда ротный сам пришел к ним.

- Пошли! - приказал он. - И ты, звездочет. Главное, именно ты.

- Далече? - как эдакий крестьянский простачок спросил Стас.

Ротный подхватил его тон:

- Нет, недалече. Пошли, пошли. На посиделки. У меня тут мысль одна...

На этот раз кухня стояла прямо за высоткой. Ужин еще был не совсем готов, но солдаты - человек восемь - уже толкались возле нее, не обращая внимания на старшину Алексева. Заметив ротного, они хотели было испариться, но он издал крик:

- Отставить! Всем - к кухне. - Дернув громадный, им впору было запирать церковь, замок на передке кухни, он приказал Гостьеву: - Открыть. Живо. Живо, Гостьев!

Гостьев изменился в лице, посмотрел направо, налево, помешал черпаком кашу, Гостьев выигрывал время, соображая:

- Да, товарищ старший лейтенант... Я, товарищ старший лейтенант...

- Что, ключ потерял?

- Так точно, товарищ старший лейтенант. Выпал, наверное, из шинели...

- Бывает, - согласился ротный. Он взял карабин Гостьева и, зайдя сбоку, примерившись, в два удара прикладом сбил замок, выдернув скобы прямо с мясом.

Все, кто был поблизости, сгрудились по сторонам и за спиной ротного.

- Чего-то будет, ребята. Фокус-покус... В самое заветное поварское местечко заглянем... - говорили они.

- Лезь! - приказал ротный Стасу. - Доводи до конца. Лезь. Языком работать легче. Поработай руками. Живо!

Среди всего прочего - сухой подтопки, кое-какого инструмента для починки кухни, запасных вожжей, подков, чересседельника, изрядного мешочка сухарей, такого же мешочка муки, пачек патронов, Стас нашел три банки тушенки, две двухсотграммовые пачки чая и килограмма полтора шпика. Шпик был не куском, эти килограмма полтора состояли из толстых пластиков и крупных обрезков, слепившихся в комок. Каждому было ясно, что эти куски Гостьев в разные дни не порезал и не пустил в котел.

Всю еду Стас выкладывал на край кухни так, чтобы ее видел каждый.

- Ах ты ворюга! Ах ты сволочь! - разъярился Алексеев и ткнул банкой тушенки Гостьеву в физиономию, а сержант Никодимов, здоровенный дядька, согнул Гостьева пополам, двинул кулачищем по спине так, что Гостьев охнул, и дал Гостьеву хорошего пинка.

- У кого воруюешь? Гад! Ублюдок!

Солдаты, конечно, внесли свои предложения:

- Ребята, набьем ему морду.

- Судить его, собаку!

- Пулю ему в зад!
- Чтобы потом в госпиталь? Шиш ему, а не такую пулю, морду набить и все!
- Чтоб запомнил!

Ротный, оглядев всех, как бы колеблясь, спросил:

- Или простим? Может, исправится.

Но в паузе тяжело упали чьи-то приговорные слова:

- Жди! Раз даже здесь крал... Под смертью... Отпетый, значит. Сколько елку ни тряси, яблоко не свалится.

- Заменить. Назначить поваром другого... Этого, - ротный, оглядев Гостьева с ног до головы, даже скосоротился от презрения, - этого в траншею. Возьмешь себе. В атаке - в цепь. И смотри, чтобы не ложился, - приказал он Андрею, а старшине разъяснил: - Не найдешь быстро замену, вари сам. И ужин тоже раздашь сам. Пошли, - снова приказал он Андрею и Стасу, когда каша была готова и они получили свои порции.

- Ах, ребята, ребята! - благодушеествовал ротный, лежа на боку на разостланной шинели перед костерком. - Беда мне с вами. Беда и только! Один смотрит сычом, как будто это я виноват, что война. Ну чего, ну чего ты, Андрей, такой мрачный? Скажи хоть слово. А? - Не с чего веселиться, - буркнул Андрей. Он сидел, скрестив по-турецки ноги, грел руки, подставляя их огню. - Тебе бы тоже не следовало сиять.

- Другой, - развивал свою мысль ротный, - другой лазит без спросу на ничью землю, считает звезды и... и далеко не похож на того солдата, которого рисуют на плакатах. А бедное ротное начальство...

- Ха-ха-ха! - засмеялся Стас. - А бедное ротное начальство не спит, не ест, исхудало... - Стас, говоря это, следил, как Степанчик режет сало, вскрывает рыбные консервы, режет хлеб, расставляет на шинели кружки: ротный получил офицерский паек. - И лишь по случаю взятия второй линии траншей дает, как пишут в газетах, ужин. На ужине присутствуют...

- Что, мы его не заслужили? - спросил ротный, сменив тон. - И дело не только в этой траншее. Наливай, Степанчик. Хотя нет, дай я. Сегодня только для посвященных, - он перехватил у Степанчика флягу и разлил водку в три кружки, пояснив: - Сегодня - студенческий мальчишник...

«Вот оно что», - догадался было Андрей.

- Сколько тебе?

Ротный вздохнул:

- Двадцать пять, - он снял шапку. - Совсем старик. Седой и старый... Но это было месяц назад, а сегодня... Сегодня я просто еще раз родился. - У ротного и правда виски были с сединой. - Но треть века прожита. Считаю не считай. Это - если считать по-человечески. Без войны. А если с войной... если бы не звездочет, всего бы было треть века. Спасибо тебе. Я видел. Глупо быть убитым всего через месяц после дня рождения. - Ротный грустно посмотрел на них. Ротному явно было грустно. Он даже уронил подбородок на грудь. Он, наверное, вспомнил тот день и тот час.

Как это часто бывает, выбив немцев из траншеи, рота начала было растекаться по ней, но тут немцы бросили в контратаку резерв, и рота стала сжиматься, медленно отходя к флангу траншеи. Хуже всего было то, что по ходам сообщения к траншее из глубины немецкой обороны тоже перебежали немцы, накапливаясь для броска.

Ротный, ругая связистов, у которых что-то не ладилось с телефоном, отчего ротный не мог указать командиру батальона те участки, по которым следовало ударить из батальонных минометов, ротный бежал по траншее, командуя:

- Не отходить! Не отходить! Ни с места! Огонь! Огонь! Огонь! - Но немцы, чувствуя, что по ним не бьют ни артиллерия, ни минометы, вдруг по какому-то сигналу враз поднялись и побежали к траншее, и одновременно из ходов сообщения побежали и те, кто был там. Было видно, как колеблются их каски, все приближаясь.

Так случилось, что ротный, конечно же, с ним Степанчик, несколько солдат, Андрей и Стас были отрезаны немцами, которые, выскочив из хода сообщения, заняли кусок траншеи, разделив остатки роты на две части. Ротный, чтобы восстановить положение, вытолкнул всех солдат вперед, но атака по узкой траншее, где надо было бежать один за другим, не получилась. Тогда ротный, крикнув: «За мной!» - выскочил на бруствер. За ним выскочили Стас, Степанчик, Андрей и остальные. Все они, пробежав сколько-то по брустверам, швыряя гранаты, снова спрыгнули вниз. Как будто все получилось как надо - они вот-вот должны были соединиться с другой частью роты. Но, когда ротный пробежал мимо хода сообщения, вдруг несколько немцев - человек десять - выскочило прямо на него. Ротный дал очередь из ППШ, но на каком-то выстреле перекосило патрон, автомат заглох, и ротного хотел взять на штык какой-то длинный фриц, но Стас ухитрился дать коротенькую очередь над плечом ротного, фриц сразу же уронил винтовку, тут Стаса сбил на дно другой фриц и, навалившись на него, стал душить. Андрей, подскочив, в упор - в напряженную спину немца - всадил короткую очередь, запоздало подумав: «А вдруг - насквозь? И Стасу в грудь?» Немец дернулся, обмяк, придавливая Стаса своим весом, и Андрей рванул его за воротник шинели, сдергивая со Стаса.

Стае встал, держась за горло, судорожно глотая, пытаясь что-то сказать, но у него получилось только: «Куль-куль-куль!» Горло болело и отказывалось работать. Стас сел на корточки, глядя снизу вверх, и стал осторожно пить из фляжки.

Солдаты, бежавшие сзади, бросили несколько гранат в ход сообщения, кого-то из фрицев убили, кого-то ранили, в эту минуту навстречу им прибежал от отрезанной части роты старшина Алексеев с ручным пулеметом и, стреляя от живота, упираясь плечом в откос хода сообщения, высадил почти весь магазин, и фрицы отошли.

Ротный, перезарядив автомат, крикнул:

- Держаться! Не отходить! Шире интервал! - К ним прибежали солдаты из другого взвода, и ротный, расставив всех, сомкнул роту. - Теперь вроде бы ничего! - сказал он Андрею. - Теперь удержимся.

Тут связисты наконец дали связь, ротный доложил все комбату, и комбат подбросил им одиннадцать человек, которые принесли килограммов по пятнадцать патронов и гранат. Словом, все кончилось благополучно. Если, конечно, не считать, что в роте опять было процентов тридцать людей от того состава, который ей полагался по штату.

- Ну, - ротный поднял кружку, и они тоже взяли кружки и подняли их, - за тех студентов, кому выпали и кому еще выпадут эти незапланированные семестры. От Балтики до Черного моря.. За тебя! За меня! За всех, кто останется. И всех, кто не вернется!

Ротный выпил, тут зазуммерил телефон, ротный, дожевывая сало, поднял трубку.

- Есть! Ясно. Есть... - он медленно положил трубку. - Завтра опять атакуем. Он поковырялся вилкой в консервах. - И так - до Берлина, - он вздохнул. - Но кто-то же дойдет до него. Хоть один из троих. Хоть один с трех факультетов! А мы... Что ж мы... Полжизни все-таки прожито...

- Вот как? - Стас поджал губы и с любопытством посмотрел на ротного. Стас даже отнес ото рта кружку, ожидая разъяснения. - Непонятно.

- Чего тут непонятного? Человек живет до пятидесяти. Да-да, уважаемые коллеги. Всего лишь до пятидесяти.

- А после пятидесяти? - вырвалось у Степанчика.

- А после пятидесяти он борется со старостью.

- Отодвигая смерть, - сделал вставку Стас.

- Мы ее каждый день отодвигаем, - буркнул Степанчик, поставил новую вскрытую банку тушенки и воткнул в нее ложку ротного. - А вы своими... - сказал он Андрею и Стасу. - Лишних приборов нет. Не держим. - Степанчик, наверное, ревновал ротного к ним.

Стас, поймав Степанчика за голенище, держа его так, сказал:

- Предлагаю считать этого парня абитуриентом. Против нет? - он потянул Степанчика вниз, Степанчик было для вида стал выдирать сапог, но ротный крикнул: «Принято!», и Степанчик брякнулся между Андреем и Стасом, как раз против ротного, на самом почетном месте.

- Налей себе! - приказал ротный.

- Быстро! - передразнил его Степанчик, но и тут же исправился: - Ваше приказание выполнено, товарищ гвардии старший лейтенант Шивардин Георгий Николаевич!

Перед второй Степанчик, уже захмелев, чокнувшись кружкой со всеми, вдруг попросил ротного:

- Разрешите, товарищ гвардии старший лейтенант...

- Шивардин Георгий Николаевич, - вставил Стас, но Степанчик отмахнулся:

- Разрешите мне задать один вопрос этому умнику. Всюду встречается. Вот и сейчас - сами слышали. И вообще все знает, на все у него ответ. С поваром дрался. Разрешите? Я хочу ему маленько гонор сбить! А то он, знаете, и дразнится: «Ты чего, говорит, ходишь тут, портняжка!» Я вам не жаловался, я и сейчас не жалуясь, я просто так! Разрешите? Он еще и так мне говорит: «Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, а ты кто такой?» Разрешите его законтроупить? Хоть разок!

Костерок отбрасывал им на лица неровный, перебегающий свет, но даже в этом свете было хорошо видно, как разгорелась и от водки, и от захватившей его мысли рожица Степанчика - серые глаза расширились, смотрели просительно и с ожиданием разрешения, на чумазом лбу и на коротком носу у него от возбуждения выступили капли пота.

- Ну скажи, скажи, - поддержал его Андрей, а ротный определил:

- Только быстро.

Степанчик поднял свою кружку и, вода ее у губ Стаса, начал:

- Вот ты ответь, ну-ка, ответь, задавала, угадаешь, - отдаю свою порцию: почему петух...

Но Стас, отодвигая голову от кружки, показал Степанчику на его зашморганный обшлаг рукава шинели:

- Почему ты не пользуешься платком? Или хотя бы пальцами?

Свободной рукой Степанчик сделал отчаянный жест.

- Опять дразнится!

- Давай, давай! - подбодрил Андрей. Как ни глупо это было, но он хотел узнать про петуха. - Плюнь ты на него. Так почему петух что?

- Почему петух поет? Вот что! - наклонившись, Степанчик уперся своим лбом в лоб Стаса. - Почему петух поет? - Побыв так, лоб в лоб со Стасом, он откинулся и подбоченился, а кружку поставил перед собой. - Это тебе не про абитуриентов.

- А черт его знает! - Стас смотрел, мигая, в огонь. - Может, от радости. Славит, так сказать, мир божий. Или нет - от отчаяния, что не убежит из лапши.

Дав им всем минуту подумать, Степанчик заявил Стасу:

- Эх ты, тюрка несоленая. А еще образованный. А еще студент. Простого вопроса отгадать не

можешь!

Вопрос, конечно, был страшно глуп, но эта глупость как-то неудержимо и требовала отгадки.

- Так почему? - настаивал Андрей. Водка хорошо уже согрела ему живот и навевала благодущие. - Ну, скажи же, скажи. Иначе я буду думать и думать. Скажи, Степанчик.

Степанчик, надменно посмотрев на Стаса, демонстративно вытер обшлагом нос.

- Да потому, что у петуха много жен, - Степанчик захохотал, - и... много жен и... и ни одной тещи!

Вот почему, - выпалил он торжествующе.

Ротный хмыкнул, подмигнул Андрею и приказал Степанчику:

- Наливай остатки! Работай. Тоже мне, большой знаток жен и тещ!

Они съели все, что приготовил им Степанчик, съели и кашу, хорошо напились чаю, подремали, осоловело закрывая глаза, а потом ротный, странно трезвый, собранный, жесткий, собираясь на КП батальона, вытолкнул их:

- Топайте, ребята. И чтобы к утру во взводе все было готово! Чтоб все было в ажуре! Проследить, чтобы набили магазины. Проследить, чтобы к атаке у каждого автоматчика было по четыре - не меньше чем по четыре - магазина!..

- Я философию постиг! Я стал юристом. Стал врачом! Увы, с усердием и трудом и в богословие проник, - заявил Стас Андрею, когда Андрей подошел к нему, возвращаясь из обычной поверки своего участка.

- Опять полезешь? - спросил он.

- Ага. Человек должен же как-то развлекаться. От одних серьезных мыслей можно с ума сойти. Ничто так не сводит с ума, как серьезные мысли. Поэтому время от времени о них надо забывать. Полезли на пару?

- Не могу бросить людей. И ты считаешь это развлечением?

- То-то быть в рядовых! - засмеялся Стас. - Теперь эти. Ну-ка, лезьте, где должны сидеть, - приказал он, обращаясь к патронам и сажая их в обоймы. - А насчет твоего вопроса о развлечении, считаю ли я это развлечением, так есть, как говорил мистер Оскар Уайльд, мудрая истина: простые радости - это утехы сложных натур. Правда, он плохо кончил, но... - Стас не договорил.

Так как эти дни они были в обороне, Стас взял себе в забубенную голову раз в несколько ночей вылезать из траншеи на ничью землю и, окопавшись там в какой-нибудь воронке, ждать в ней рассвета. С рассветом же, когда поднимался туман и только начинала просматриваться немецкая сторона, он, осторожно выдвинув винтовку на брустверов, припав к ней, ловил цели.

Как это всегда бывает на фронте, находились немцы, которые, запоздав доделать какие-то дела в темноте, уже при рассвете то ли перебежали откуда-то из тыла, то ли, наоборот, спешили в тыл или перебежали, или торопливо шли, пригнувшись, вдоль своего переднего края. Вот эти-то цели и ловил Стас.

Фокус заключался в том, что немцы от своей передовой траншеи в первые минуты рассвета еще не различали наш передний край и, естественно, полагали, что с него не различается и их передний край. Поэтому-то в эти короткие первые минуты рассвета они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы идти или бежать по открытым участкам. Но, выдвинувшись метров за сотню, а иногда и дальше вперед, Стас их видел. И убивал. Во всяком случае, если он попадал в немца, то уж, конечно, выводил его из строя - он стрелял из немецкого карабина немецкими же разрывными пулями.

Сейчас он как раз и набивал эти патроны в черными головками на концах пуль, с черными же капсюлями в тонкие немецкие обоймы-пластинки.

Узнав об этих вылазках Стаса, ротный сказал Андрею:

- Прекратить самодеятельность! А если его фрицы утащат? - ротный не хотел неприятностей со «Смершем». - Или он переползет к ним сам? Ты у него в душе был? Ты...

- Глупости! - перебил Андрей. - Стас не из тех, кто перебегает. И даже если я ему скажу, он не послушается.

- То есть как не послушается? - рассердился ротный. - Мы что, на лекции в университете или на фронте? Ты мне брось эти штучки. Я с вас обоих три кожи спущу... - глаза ротного горели гневом, рот плотно сжался, отчего его квадратный подбородок еще сильнее раздвоился.

- Ты читал нам приказ, что надо быть активными и в обороне? - возразил Андрей. Такой приказ был отдан по армии и зачитан «во всех ротах и батареях». - Он выполняет этот приказ.

Андрей не стал объяснять ротному, что ему на этот счет говорил Стас. А Стас говорил так:

- Все мы ведем войну народную. Она так и называется - народная, священная война. Но народ ведь не безликая масса, как мальки, например, народ - это сумма личностей, и вклад каждой личности в дело борьбы с общим врагом дает сумму народных побед, - Стас говорил как по писаному. Он был серьезен, серьезен, пожалуй, как никогда, и нотки иронии не слышалось в его голосе. - Если говорить о философии войны, о ее главной цели, то дело, конечно, не в том, чтобы убить сколько-то немцев, хотя убивать их надо, сами они не уйдут. Главное все-таки - это освободить народы, попавшие под их иго. И вообще наша борьба с фашизмом - это не просто борьба армий, это борьба систем. Вот в чем соль. Вот главная философия войны. Так вот, Андрюша, так вот, витязь ты российский, в этой общей войне, в народной войне, есть и моя доля - личноперсональная. Каждый делает свое дело в меру сил. И совести. Что касается меня, так пока хоть один фриц впереди, я не угомонюсь. Извини, брат, но это мой

принцип. Как сказал поэт... - Стас наморщил лоб, вспоминая: «Так убей фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал. Не в твоём доме чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он. Его вина...» Помнишь?

Степанчик говорил на ротном КП о том, что Стас ходит по траншее и объявляет: «Меняю сахар на разрывные!» Степанчик ни капли не прибавлял. Стас действительно ходил по траншеям, собирая немецкие патроны с разрывными пулями. В дополнение к ППШ Стас добыл себе немецкий карабин - в обороне он был не в тягость. Стас держал его просто на бруствере, не жалея, что он ржавеет, и, конечно, нуждался в патронах к нему. В принципе их можно было просто найти, но Стас искал только разрывные...

И не хотел утомляться. Выползая с ночи, зарывшись в воронку или между отвалов пахоты, дождавшись рассвета и целей, убив одного или нескольких немцев, он в одиночку коротал хоть и не длинный, но целый день: возвращаться к своим при свете не было никакой возможности. Если бы Стас только поднял голову над окопчиком, только высунулся бы на секунды, дежурные немецкие пулеметчики мгновенно бы застрелили его.

Немцы стали за ним охотиться: бить из минометов, стрелять, по Стас, улегшись на дне, поглядывая в небо, не высывался до настоящей темноты. Он или дремал, или читал, если день выдавался сухим, или просто лежал без дела, лишь все время прислушиваясь, ничего, конечно, не видя, полагаясь на слух.

Готовясь к такой вылазке, Стас брал целый арсенал гранат - лимонки, РГ-42, парочку противотанковых. Гранаты ему нужны были на случай, если немцы, выследив его, захотят в темноте перехватить, когда он будет отходить в траншею. Раз так и было. То ли они заметили его, когда он стрелял еще утром, то ли днем разглядели, то ли он сам, ворочаясь в окопчике днем, выставился, и наблюдатель его засек, но в общем они, чуть свечерело, поползли к нему. Было их человек десять. Стараясь окружить его, они поползли с нескольких точек траншеи.

- Когда они были в какой-то полусотне метров, я вдруг их почувствовал, - рассказывал Стас. - Точнее, не их почувствовал, а почувствовал какую-то тревогу. Начал даже суетиться, заталкивать гранаты в вещмешок. В общем, ощущал какое-то неудобство в душе. Как будто ей неловко. Непокойно. Потом прислушался - кто-то кашлянул. Глухо так, в землю. Держался, наверное, держался, да не сдержался. Я раз - гранату! На всякий случай! Для испуга. Граната сработала, и тут началось!..

«Да, - подумал Андрей. - А не кашляни этот фриц?»

Получилось же так, что вслед за гранатой Стаса немцы в траншее дали несколько ракет, чтобы облегчить захват, считая, что, если рванула граната, значит, неожиданный поиск сорвался, что надо действовать быстро и точно. Вот тут-то Стас и развернулся: он им был нужен живым, и они в него не стреляли, он это сообразил и сначала, швыряя одну за другой противотанковые и оборонительные гранаты им под ноги из окопчика, прячась в нем на секунды от взрывов, он поубивал, наверное, половину, а потом, выпрыгнув из него, на бегу к секретам швырнул остальные, легкие РГ-42, и уложил еще несколько немцев.

Так как в стрельбу ввязались секреты, а затем и первая траншея, шуму в этот вечер было много, и именно тогда ротный сказал, что надо запретить ту самодеятельность, на что Стас, когда Андрей передал ему этот приказ, только хмыкнул, но от каких-либо слов воздержался.

И вот теперь он снова собирался, готовя свою снасть: патроны и гранаты.

Еще не свечерело, когда он был готов, теперь ему ничего не оставалось делать, как ждать темноты, когда отъедет кухня, поест, завалиться поспать, ждать, когда до рассвета останется часа два, и потом, пройдя первую полусотню метров от траншеи, лечь и поползти к намеченному месту.

Худой, длинный, в измазанной и прожженной шинели, в грязных до половины голенищ сапогах, в подгоревшей то же шапке, он ходил взад-вперед по траншее не отдаляясь, так, чтобы Андрей мог его слышать, и по ходу рассуждений то выкидывал руки вперед, к Андрею, то забрасывал их за спину и сцеплял там, то поднимал в особо патетических местах к небу.

Андрей, упиравшись спиной в стенку траншеи, сидел на корточках, сосал самокрутку, иногда смотрел снизу в осунувшееся, давно небритое, поросшее черной щетиной лицо Стаса, на котором запали щеки, ввалились глаза, отчего нос Стаса стал еще тоньше, прямей, изящней, рот приобрел еще большую квадратность, четче очерчивался, сильнее выдвинулся вперед подбородок, а громадный лоб - широченный и высоченный - как бы нависал над всем лицом.

- ...В учебнике по зоологии сказано, что все живое на земле делится на роды и виды. Всякое зверье, рыбы там, пичуги, шестиногие и прочая живность - имеет множество видов и родов. И семейств. А человек - один. Один вид - гомо сапиенс. Ни подвидов у него, ни семейств - нет ничего. Гомо сапиенс - один. - Тут Стас как раз и выкинул патетически руки к небу и как бы даже сам потянулся к нему.

- Голову! - крикнул Андрей. Хотя они были в глубоком месте траншеи, высываться из нее не следовало - еще не смерилось, чего же было подставлять полчерепа под пулю.

Стас пригнулся.

- А, черт! Перебиваешь мне мысль. О чем это я, бишь? Ага, так вот, гомо сапиенс - один, неразделим. Так по зоологии. Но не ошиблись ли все эти теоретики? Ведь что же получается? За миллион лет эволюции, пройдя через черт знает что, чтобы выжить в жесточайшей борьбе за существование, поднявшись на земле надо всем!..

- Голову! - опять крикнул Андрей. - Или ты будешь держать голову как следует, или я не стану тебя



слушать. Я не хочу, чтобы из-за этого трепе пришлось тебя тут зарывать. - Он поймал Стаса за полу шинели, потянул к себе, дал окурочек. - Сядь. Сядь, тебе говорят.

- Это не треп, - Стас сел. - Я хочу, чтобы ты мне помог, я ни хрена теперь не понимаю. Речь идет не о том, убивать их или не убивать. Речь о другом, не заблуждаются ли зоологи, относя всех гомо сапиенс к одному виду?

- Глупости, - буркнул Андрей. - Ты имеешь в виду фрицев?

- Ну да! - Стас дотягивал окурочек. - Судя по тому, что они делали и делают, невольно напрашивается вопрос: а не есть ли они какой-то подвид? Какая-то ветвь, остановившаяся в эволюции, тупиковая ветвь?

- Глупости, - опять возразил Андрей. - Ты сам в этом случае на позиции расиста. И не фрицы выдумали идею высшей расы. Эта идея старая. Мало ли было в истории богом ли, небом ли, черт его знает еще кем выдвинутых «избранных народов»? Помнишь у Киплинга «Бремя белого человека»? А ты - «тупиковая ветвь»! Глупости.

Стас тянул окурочек до того, что он ожег ему губы. Выплюнув наконец окурочек, Стас встал и начал снова месить грязь в траншее. Она чавкала у него под ногами.

- Тогда заблудилось все человечество. Иначе как же? Если отбросить идею существования подвида, то как объяснить, что, пройдя эволюцию от зверя до бога на земле, гомо сапиенс, отбросив этого бога, пройдя через тьму средневековья, и возрождение, и гуманизм, как мог этот гомо сапиенс вновь превратиться в зверя? Ведь даром, что ли, пишут в газетах: «звериный оскал фашизма»? - Стас остановился над ним.

Андрей смотрел снизу вверх Стасу в лицо и над его головой на тот кусочек неба, который был виден из траншеи. Уже посеревшее, с низкой облачностью небо закрывало далекие звезды, которые Стас когда-то изучал.

- Не ты один об этом думаешь, - ответил он, вставая: у него затекли ноги, и надо было размяться. - Кто об этом не думает? Но там, - усмехнувшись, он потыкал пальцем в небо, - там ты ответа не найдешь. И в твоих картах и, как это у вас - каталогах? - да, каталогах звезд- и галактик тоже ответа не найдешь.

Наверное, Стас очень любил свою астрономию. Приоткрыв рот, закинув голову далеко назад, отчего в ворота шинели выпятился его острый кадык и обнажилось высокое сильное горло, Стас счастливо смотрел на небо, разглядывал там, за облаками, знакомые ему звезды, созвездия, туманности. Внутренним зрением, мысленно он их, конечно, видел: он топтался, чавкая сапогами по жиже, поворачиваясь так, чтобы осмотреть весь купол - все ли. в нем в порядке? Нет ли каких новостей, нарушений, изменений.

- Да-а-а! - протянул он, отчего его кадык подрожал. - Там на эти вопросы ответов не ищут. Там, когда туда взглядишься, ты пигмей. Даже не песчинка, даже не атом мироздания, а просто до того ничтожная частица, что и говорить о тебе нечего.

- И бог! - возразил Андрей. - Потому что твоя забубенная башка вмещает все это и еще больше. Но если ты хочешь найти ответ на те вопросы, которые касаются земли, тех же фрицев, наверное, надо подолбить историю. И философию. Не так, чтоб проскочить сессию, а для себя. Как думаешь?

Стас повернулся в сторону немцев, осторожно высунулся над бруствером, положил на него локти и стал выбирать себе путь и точку, где он должен был встречать рассвет, чтобы стрелять по запоздавшим немцам.

- Дадут они тебе долбить историю и философию, - процедил он, - как же! Библиотеки, милый, они считают не для нас. И астрономия не для нас.

- Все-таки полезешь? - спросил Андрей, тоже осторожно высовываясь над бруствером.

Ничья земля была пустынной пахотой, обмытой многими дождями, отчего бугры отваленной земли округлились, потеряли резкость. Мокрые, они тускло поблескивали, казались гладкими, и лишь воронки от мин и снарядов смотрелись на этой пахоте как черные оспины.

- Может, не надо? Может, сегодня не надо? - продолжал Андрей, так как Стас не ответил. - У тебя сегодня какое-то дурацкое настроение. Может, не надо?

- Надо! - жестко сказал Стас. - При чем тут настроение? Надо, потому что это хоть на секунду, но приблизит и историю, и астрономию, и вообще... И вообще человеческую жизнь.

Под утро в траншее раздались незнакомые голоса, но различался и голос ротного. Еще не рассвело, и увидеть, кто шел с ротным, было нельзя.

- Триста метров! - объяснял ротный. - А до их секретов еще ближе. На правом фланге - он выдвинут - метров двести восемьдесят.

- Очень хорошо! - сказал кто-то баском. - Идем туда.

- Что-то будет. Что-то, Андрюша, будет, - решил Стас. - Вчера артразведчики, сегодня новые гости...

Они со Стасом стояли лицом к немцам, привалившись грудью к брустверам, и слушали. Ночь была темной, без луны, звезды прятались за облаками, и ни черта не различалось даже в нескольких шагах. Им оставалось, подняв наушники шапок, только слушать да держать руки на шейках автоматов, которые лежали перед ними. Они стояли близко, в полуметре, и слышали дыхание друг друга. Так стояла вся рота, потому что между ними и немцами было всего эти три сотни метров ничьей земли.

Ротный вел кого-то за собой.

- Когда они корректируют огонь, слышно, как фриц кричит по телефону.

Это было верно: слышно было не только, как фриц кричит по телефону, корректируя огонь артиллерии, когда эта артиллерия была не по их траншее, а куда-то по тылам, и снаряды летели над ними, лишь шелестя воздухом - «шух-шух-шух». Вечером было слышно, как фрицы играют на губной гармошке, а ночью даже, как звякает лопата о камень, когда они углубляли свою первую траншею или рыли еще что-нибудь: квадратную глубокую яму для блиндажа, минометные или пулеметные окопы, или еще что-то, что было им необходимо.

Ротный провел мимо них несколько человек. Один из этих прошедших вместо оружия нес предмет, похожий на граммофонную трубу.

- Ну, Андрюха, держись! Сейчас с фрицами будет разговор, всякий там цирлих-манирлих, а потом они нам врежут. Фрицы не любят таких разговоров. - Стас хмыкнул: - Оч-ч-чень не любят.

Прошел, наверное, час, наступило то время, когда и они, и немцы должны были получать завтрак. И тут в полусотне метров от него и от Стаса вдруг кто-то громко заговорил по-немецки. Рупор очень усиливал слова.

- Ахтунг! Ахтунг! Дойчише золдатен!..

Рота замерла от неожиданности, но немцы сразу же навесили над ничьей землей ракеты, и все в траншее пригнулись, потому что тут же дежурные пулеметчики немцев ударили по пристрелянным днем секторам, и пули засвистели над траншеей. Сдернув с брустверов автоматы, Андрей и Стас опустились на дно.

Но немец-антифашист, лишь чуть повысив голос, спокойно в четко говорил в микрофон.

- О чем он говорит? - спросил Андрей. Стас учил в школе и университете немецкий и сносно понимал его.

- Погоди... Погоди... - Стас напряженно слушал. - Это уполномоченный Национального Комитета «Свободная Германия». Ага! Кажется, до них дошло...

Наверное, до немцев и правда дошло - они вдруг прекратили стрелять, и стало тихо так, что, конечно же, они слышали, что говорил уполномоченный.

- ...Поражение под Курском... Битва за Днепр вермахтом проиграна... Вынужденный отход и в Белоруссии. Выход Италии из войны... В целом война проиграна... Идет зима... - переводил Стас. - Бессмысленное сопротивление... Не понял... Сейчас... Ага... Ненужная кровь... Ждут семьи... Единственный выход: освободить без боев оккупированные земли, отходить к Германии... Несмотря на Гитлера... Товарищ! Думай сам! Не будь пассивен! Кончай выполнять приказы Гитлера! Он ведет к гибели... От тебя тоже зависит, что будет с немецким народом... Лозунг Гитлера «Победа или гибель» - против народа... Родились немцами, а не фашистами... Пусть гибнет Гитлер!.. Пусть живет Германия!..

Уполномоченный сделал паузу то ли для того, чтобы немцы лучше вдумались, то ли, чтобы перевести дыхание.

- А ведь слушают! - сказал Стас и засмеялся. - Пронимает. До кишок, наверное, пронимает. Представляешь их положение: самый тупой фриц понимает, хоть уголком мозга, а понимает, что победы им не видать. И что тогда? Тогда, в конце концов, отвечай за все, что делал. Рано или поздно, но отвечай! Видишь - никто и не стреляет...

- Погоди. Сейчас начнут.

Слышали голос антифашиста не дальше первой немецкой траншеи. И выдвинутые секреты. Но в секретах и в первой траншее кто был? Рядовые, унтер-офицеры, командиры взводов и рот. Те, кто каждый день подставлял себя под пули. КП их батальона был значительно дальше, голос из рупора туда не долетал, и их комбат некоторое время, пока ему не сообщили об этом, не знал о передаче. И эти рядовые, унтер-офицеры, командиры взводов и рот, отступая изо дня в день, отступая вот уже больше года, хотели знать ответ на вопрос: что им делать дальше? Немец же из комитета «Свободная Германия» и давал этот ответ: «Отходить без боев к границе рейха!» Такой вариант, конечно, устраивал: и жив останешься, и Германия цела. А что потом - там будет видно. Тем более, что теперь им победа «не светила».

Командиры рот, хотя и были обязаны доложить командиру батальона об этой передаче, могли позвонить ему минутой раньше, минутой позже, и за это время услышать то, что хотели знать, а потом уж выполнять команду командира батальона. Но что командир батальона прикажет открыть огонь по передающему, в этом не было никакого сомнения.

Стас высунулся над бруствером по грудь.

- Оттуда ему кричат! Ага...

Голос с той стороны ничьей земли едва долетел, но стояла такая тишина, что различить его все-таки было можно.

- Вот он весь фокус где, вот он! Личный контакт! - сказал Стас и щелкнул пальцами. Щелчок был таким сильным, что Андрей вздрогнул.

- Брось!

Что ж, это было верно. Те, кто был на переднем крае, знали, видели, как велись передачи на противника. Куда-нибудь в неглубокий овраг, за высотку, еще в какое-нибудь укрытие заезжала машина с радиоустановкой, и из нее в микрофон говорили агитаторы, а усилитель посылал их голос через передний край. Этот голос был слышен в тылу немцев на сотни метров, а может, и на километры. После передачи агитаторы крутили пластинки с музыкой и всякими песнями, потом опять передавали какой-то текст. Все это делалось до тех пор, пока немцы не начинали, сумев засесть по звуку место,

стрелять по агитмашине, и тогда она укатывала. Но, разговаривая с дальнего расстояния, пропагандисты оставались как бы какими-то неконкретными людьми. А тут было иное: тут был прямой человеческий разговор.

Антифашист что есть силы быстро закричал в рупор.

- Что он? Что он? - Андрей дернул Стаса за рукав.

- Сейчас... Ага... «Геббельс-пропаганда! Гитлер запретил переписку между военнопленными в СССР и их семьями! Иначе письма пленных завалили бы Германию. Пленных здесь сотни тысяч! Теперь не вермахт, а Красная Армия берет тысячи в плен...»

На этом месте, наверное, сработала команда немецкого комбата - по траншее опять ударили немецкие пулеметы.

Антифашист, несмотря на то, что к пулеметам против него присоединились и другие на флангах, так что не очень-то все могли услышать за ничьей землей, антифашист все-таки повторил свое обращение, прежде чем немцы ударили и из минометов.

Мины рвались на брустверах и за траншеей, а некоторые и в ней, стоял грохот от взрывов, коротко красным огнем освещающих пространство вокруг, визжали, впиваясь в стенки, осколки, и Андрею и Стасу пришлось лечь. Уже кричали: «Санитары! Санитары! Санитары!» - раненые, а немцы били, и били, и били, подключив и артиллерию, они хотели стереть эту первую траншею с лица земли.

- Во дают! Во дают! - словами Степанчика определил Стас. Они лежали голова к голове, и Андрей между разрывами слышал его. - Ну завел их этот дяденька. Ну завел. Еще несколько минут и...

Он не досказал, потому что по немцам, по их артиллерийским и минометным позициям ударили наши артиллерия и минометы, ударили дружно и мощно, и было ясно, что недаром вчера в их траншею перебрались артиллерийские офицеры-разведчики и что не даром вчера же изредка - одним снарядом, одной миной - постреливали наши пушки и минометы, пристреливаясь по целям.

Через день, примерно в то же время, может, на полчаса раньше, пропагандисты опять пришли. На этот раз их было больше, и, когда они проходили мимо, Андрей различил, что оружия нет у двоих. Так и оказалось - по рупору поочередно выступали два немца. Стас сказал, что первый повторяет, что говорил позавчера, и переводил слова второго. Оказалось, что этот второй - офицер, лейтенант - был взят в плен на их участке из той немецкой дивизии, которая стояла против них. Он согласился помогать «Свободной Германии».

- Рассказывает, как его взяли в плен... Куда направили. Встречался с уполномоченными «Свободная Германия», - переводил Стас. - Говорит, что выступал много раз. Говорит, что в захваченном нами фрицевском информационном листке сообщалось, что он убит. Это ложь. Хотя смерть засвидетельствована ротным фельдшером. «Нас объявляют погибшими, чтобы скрыть правду от солдат и населения, что пленные в России живут, получая довольствие и медицинскую помощь... Что они ждут мира, чтобы прийти в него живыми, а не покойниками... Мы выступаем, чтобы доказать, что мы живы, и желаем, чтобы и вы оказались в живых! Кончайте эту бессмысленную войну!»

Слышно было, как этот лейтенант называет фамилии солдат и офицеров, тех, наверно, кого он знал.

- А что, это, брат, убедительно, - решил Андрей. - Чего оя там дальше?

- Говорит, что дивизия формировалась под Гамбургом. Говорит, что много портовых рабочих и моряков. Говорит, что бессмысленно ждать, когда Гамбург будет уничтожен с воздуха. Не ждите, - говорит, - пока Гитлер затащит вермахт и весь немецкий народ в могилу. Отвечайте силой! Сопровитляйтесь гитлеровским приказам. Прекращайте боевые действия. Требуйте отвода войск к границам родины! Выступление против Гитлера - выступление за Германию!

«Ну сейчас они нам врежут похлеще!» - подумал Андрей, втягивая голову в плечи и опускаясь на дно. Он потянул за полу шинели и Стаса.

- От такого они просто взбесятся!

- Еще бы! - Стас сел рядом с ним и как раз вовремя: немцы ударили вовсю, то, что было день назад, сейчас казалось им лишь пристрелкой. Был настоящий ад, и им пришлось лечь, прижимаясь ко дну траншеи как можно плотней.

Ротный снова бежал впереди пропагандистов и кричал то же самое: «Рота, к бою! Дорогу! Дорогу! Дорогу!» -и солдаты отжимались к стенкам, пропуская тех, кто торопился к ходу сообщения в тыл. Пробегая мимо них, ротный крикнул:

- Новгородцев! К бою!

Андрей и Стас было встали в полроста, но тут ударила новая и такая плотная серия мин, что ротный крикнул бежавшим за ним: «Ложись!» Андрей и Стас снова упали на дно, одна из мин шагах в трех рванула на бруствере, и Андрей почувствовал, что кто-то с ходу повалился ему на ноги.

«Черт!» - подумал он, но тут же услышал, как упавший застонал:

- О майн гот!

Андрей выдернул из-под него ноги, повернулся к нему и ошупал голову. На голове крови не было, тут рванула еще одна близкая мина, и в ее вспышке было видно, что немец-антифашист лежит ничком и что шинель, наша шинель, но без погон, у него распорота осколками над ключицей и на правой руке - сзади и чуть выше локтя.

- Стас! - крикнул Андрей. - Старший лейтенант, сюда!

Став на колени над раненым, он рывком повернул его на спину,

дернул пояс, расстегнул, чуть не срывая крючки, шинель, посадил его к стенке, содрал шинель,

задрал гимнастерку и обе нижние рубахи и сунул руку ему за спину. Спина у немца была холодной и поэтому кровь на ней казалась особенно теплой.

- Держи его! - крикнул он Стасу, потому что немец сползал на бок по стенке. Стас, согнувшись под бруствером, держал немца за шиворот, и Андрей, достав санпакет, разорвав его, стал на ощупь обматывать спину немцу. В узкой траншее, в темноте делать все это было неловко, но он кое-как смотал бинт. Бинт тот час же промок, и он ткнул Стаса в ногу:

- Пакет!

- О майн гот! Камарад... Товарищ... - пробормотал немец.

Тут подскочил и ротный и Степанчик.

- В чем дело?

- Немец ранен, - ответил Стас, перехватывая ворот немца другой рукой и доставая пакет.

- Степанчик! Связь с батальоном! - приказал ротный. Став на колени, он потрогал лицо немца.

- Сильно? Дышит?

- Кажется, - Андрей отодвинул ротного.

Он смотал второй бинт, и как будто бинт уже не промокая, но он ощущал ладонью, что из руки немца кровь просто бьет.

- Пакет! - сказал он ротному. - Быстро! Стас! Жгут! Надо жгут! Ищи веревку, провод. Хоть что-то.

Стас, замешкавшись какие-то секунды, отпустил немца, и Андрей его придержал, и Стас, распахнув свою шинель, выдернул из лямок брючный ремень.

- Пойдет?

- Пойдет.

Тут подбежали те, кто бежал за ротным, - тот офицер с баском и еще какие-то двое.

- Что произошло? Что произошло? - торопливо спросил тот, с баском.

- Ваш подопечный ранен, - ответил ротный и, вскочив, повалил того, с баском, на дно, потому что ударила еще одна серия мин.

- Не может быть! - громко бормотал тот, с баском. - Пустите меня! Я отвечаю за его жизнь и безопасность! Пустите же!

- Лежите, лежите! - уговаривал его ротный. - Минуты не играют роли. Или вы хотите, чтобы вас всех поубивало?

- Я отвечаю...

- А я отвечаю за вашу жизнь! - оборвал его ротный. - Новгородцев! Как он там?

- Сейчас. Дышит. Наверно, болевой шок.

Тут подбежал второй немец-пропагандист и стал, опустившись на колени и теребя раненого, говорить ему по-немецки, но раненый ему лишь вяло пробормотал что-то, и Андрей отодвинул второго немца, бросив: «Не мешай» - повалил раненого на бок, перетянул ремнем его руку у плеча и прямо поверх гимнастерки туго замотал бинтом. На ощупь бинт был пока сух.

Вернулся, запыхавшись, Степанчик.

- Связи нет, тааш старший лейтенант. Связисты к обрыву, а там - фрицы...

Что ж, это было как дважды два: когда рота отрезала какую-то группу немцев, то сразу же рубила все телефонные провода, которые шли от этой группы куда бы то ни было. Так же делали и немцы.

«Плохо! - подумал Андрей. - Просочились, сволочи».

- Воды! - громко сказал он. - У кого есть вода?

Степанчик дал ему флягу, он сжал щеки пропагандиста, тот открыл рот, он всунул в него горло фляги, и, запрокинув голову, стал лить пропагандисту в рот воду. Пропагандист пил вяло, кашлял, вода стекала у него по щекам и подбородку.

Разрывы немецких мин ушли в глубину, в тыл, примерно на линию КП батальона.

К Андрею, вырвавшись из рук ротного, перебежал офицер с баском.

- Ну как?

- У вас есть водка? Он в шоке.

Офицер отстегнул свою фляжку.

Немец, закашлявшись, отворачиваясь от фляги, начал говорить:

- Данке. Спасибо. Надо медицину. В госпиталь. Надо скоро...

После немца Андрей тоже хлебнул из фляги и, толкнув Стаса в ногу, передал ее ему: во фляге был коньяк, и грех было не хлебнуть.

- Можно тащить.

- Дайте людей! - приказал было тот, с баском, но Степанчик вдруг начал садить из автомата, крича:

- Фрицы! Ребята, фрицы! Огонь! Бей их! Бей их, гадов!

Стас, Андрей, ротный, тот, с баском, и все остальные вскочили, метнулись к брустверам, ротный успел выстрелить вверх из ракетницы, и в ее красном мерцающем свете все увидели, как к траншее бегут немцы. Было видно даже, что пулеметчики со своими ручными МГ отстали.

- Огонь! - запоздало крикнул ротный, хотя все в траншее и так стреляли.

Немцы, ведя огонь с ходу, били неприцельно, потому что на бегу не очень-то попадешь, а рота вела плотный, прицельный огонь: на фоне неба снизу, да еще подсвеченные ракетами, немцы виднелись довольно четко, и с бруствера, упершись в него локтями, можно было хорошо попадать, и рота отбила эту атаку. Но правее их немцам удалось прорваться до второй траншеи, взять ее, они побежали по ней в обе стороны, и Андрей слышал, что стрельба идет почти у него за спиной.

«Отрезали! - похолодев, подумал он. - Вот черт! Плохо дело! Очень плохо дело!»  
- Бери Черданцева и влево! - приказал ротный, - Их надо вывести. Быстро! Быстро! Вам понятна обстановка? - спросил он у того, с баском.

Баски них все стреляли, наверное, немцы вскочили во вторую траншею, и поэтому обстановка тому, с баском, видимо, была понятна, но они не слышали, что он ответил, потому что побежали, как сказал ротный, влево, ударяясь в темноте об углы траншеи, падая там, где мелкое дно вдруг обрывалось перед более глубокой частью.

Они пробежали всего ничего, сотни две метров, когда им крикнули:

- Стой! Куда! Стой! В лощине фрицы!

Это был командир второго взвода. Вместе с ним фланг прикрывали писарь и трое солдат. Они стояли в траншее наготове, потому что здесь она обрывалась, у ее конца начиналась лощина, которая шла от немцев в тыл роты. Эту лощину немцы тоже хорошо пристреляли из пулеметов, по ней то и дело летели очереди трассирующих пуль, и ее было рискованно перебежать даже спокойной ночью, а сейчас она вообще была непроходимой.

Понаблюдав, убедившись, что немцы почти непрерывно бьют по этой лощине из пулеметов, Андрей и Стас вернулись, и Андрей доложил все ротному. Тот, с баском, тоже слушал все это.

- Так! Ясно, - подвел итог ротный. - Эвакуация невозможна.

- Будем прорываться! - решил тот, с баском. - Обеспечьте прорыв. Выделите максимум людей. Пока не рассвело:...

- Но, товарищ подполковник...

- Никаких «но»! - басок зазвучал с металлическим оттенком. - Готовьте прорыв. Группа прорыва не меньше взвода. С ручными пулеметами. Обязательно. Прикрытие - человек пятнадцать. И четверых покрепче, чтобы несли раненого. Носилок нет? Обеспечьте плащ-палатку. Прорывом буду командовать я. Вы остаетесь здесь.

- Если я дам вам эти пятьдесят человек, в траншее останется двадцать, - глухо ответил ротный. - В случае новой атаки противника траншею не удержать. А у меня приказ удерживать ее до последнего солдата...

- Выполняйте последний приказ! - это звучало железно.

- За эту траншею мы заплатили кровью. Семеро убитых. Восемнадцать раненых. И сдавать ее...

- А вы не сдавайте! - подполковник еще добавил в голос металла. - Кто вам приказывает сдать траншею? Кто, я вас спрашиваю?

- Но вы требуете практически всю роту. Ручные пулеметы...

- Дайте не все, дайте половину.

- Не могу.

- Вы... вы отказываетесь? Да вы понимаете, что говорите? Вы отдаете отчет в своих словах? - от растерянности, а подполковник явно растерялся, услышав, что его приказ собираются не выполнить, от растерянности из голоса подполковника металл вдруг пропал, вместо него в нем появился какой-то хрип, как если бы у подполковника вдруг запершило в горле.

- Отдаю. Я выполняю боевую задачу, поставленную мне командиром батальона.

А вот голос ротного звучал твердо, и это сработало:

- Да вы... Да вы... - совсем задохнулся подполковник, не находя слов... - Не выполнить приказа старшего!.. На переднем крае!.. Да за это под трибунал!..

- В трибунале тоже люди, - успел сказать ротный.

- Кру-гом! - вдруг выкрикнул подполковник. - Шагом марш! Все, кроме командира роты, шагом марш! На двадцать метров! Иначе загремите в штрафную!

И в десяти метрах ни черта не было видно, и они сели в десяти метрах и закурили.

Ротный все-таки уговорил подполковника. Он сказал - почти все слова, отражаясь от стенок траншеи, были слышны хорошо - он сказал:

- ...И что даст этот прорыв? Кроме потерь? Каковы шансы на успех? Минимальные. Я не говорю о своих солдатах - я их могу потерять завтра, да даже сегодня - после несколько таких артминналетов да двух-трех атак противника, вы знаете, от роты в лучшем случае останется половина. Но речь не о них. Где гарантия, что вы вынесете вашего подопечного живым и выведете живым второго? И сами вырветесь благополучно? С раненым и вчетвером особенно не побежишь! А цель какая - четверка с грузом посередине! Одна ракета, хорошая очередь, и нет ни носильщиков, ни выносимого. Вы же этого не хотите! Вы...

- Что вы предлагаете? - подполковник уже взял себя в руки. - Связи с КП батальона нет. Через час-полтора будет светло, и если немцы правильно оценят обстановку... Этот человек - фронтовой уполномоченный НКСГ!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> НКСГ - Национальный Комитет «Свободная Германия».

- Связь будет, - твердо ответил ротный. - Будет. Я пошлю двоих-троих, пошлю надежных солдат. В темноте мелкая группа проскочит, или кто-то из нее проскочит, доложит комбату, и нас деблокируют. Это лучше, чем рисковать вашим подопечным, прорываясь с ним. Согласны? - уговаривал ротный.

- Гм! - басок подполковника стал почти ровным. - Что ж... Посылайте. Немедленно! Выполняйте!

Ротный подсел к ним, притянул их к себе и приказал:

- Третьим с вами - Степанчик. Взять только автоматы и по паре гранат. Ничего лишнего. Главное - тихо и быстро. В случае чего - огонь, рывок, рассредоточиться и прорываться по одному. Сигнал - наша

атака на правом фланге. Мы отвлечем их. Но чтобы хоть один был у комбата. Передать - прорыв от нас к ним нецелесообразен. Ждем прорыва батальона к нам. Лучшее время - до рассвета. И тактически, и потому, что немец плох. В атаке участия не принимать. Жду вас живыми. Ясно? Старший - Новгородцев.

- Так! - сказал Стас. - Черт не выдаст, свинья не съест, - и стал снимать шинель.

- А вы? А вы, тааш старший лейтенант? А если фрицы атакуют? - заволновался Степанчик. Он даже заерзал, то вставая, то опять присаживаясь.

- Ничего, ничего, - ротный пошлепал Степанчика по плечу. - Одна нога здесь, другая там. День без тебя как-нибудь перебыюсь.

Андрей тоже, поколебавшись, снял шинель, сдернул с пояса магазины, а финку оставил - финка не мешала, а вот магазины оттягивали пояс и мешали бежать. Поколебавшись, он засунул прямо под пояс пару гранат РГД-33.

Степанчик тоже снял шинель.

- Сигнал - наша атака на правом фланге, - повторил ротный. - Ну...

Он ощупью нашел их руки и пожал.

Они побежали, снова ударяясь об углы траншеи, к лощине.

Там они немного подождали, так как по лощине немцы били из пулеметов и так как сигнала все не было.

Без шинелей, в одних гимнастерках, они дрожали, но, может, они дрожали не только от холода, а и от ожидания того, что было у них впереди.

Андрей положил руку на плечо Степанчика.

- Первым - ты. Потом - он. Я прикрою вам спину. Тихо. Без всякого шума. Хотя бы вначале. Ясно?

Им надо было проскочить всего метров триста, и пробежать их они могли на одном дыхании, тем более что лощина понижалась.

- Минутку! - Стас, сунув Андрею свой автомат, побежал назад и скоро вернулся. Он завязывал что-то на штанах. - Черт! Сталистый, ага. Теперь хорошо. А то штаны потеряешь.

- Кабель? - спросил Степанчик.

- Ага. Связист откусил метр. Я готов, - доложил он. - Перекурим пока?

Они не выкурили и по половине, когда на правом фланге рота закричала «Ура!», и ударили немецкие пулеметы. Прислушиваясь несколько секунд, они определили, что рота на правом фланге атакует в тыл, как будто идет на прорыв.

- Живо! - толкнул Андрей Степанчика, и Степанчик, бросив окурок под сапог, вылез из траншеи и скользнул в лощину. - Давай! - Андрей толкнул Стаса. Стас, обернувшись, обнял его за плечо: «Черт не выдаст...», выпрыгнул на бруствер и побежал за Степанчиком.

Он слышал, как негромко, потому что земля была мягкой от дождей, стучат их сапоги. Дернув затвор на боевой взвод, сбив чуть назад шапку, поправив за ремнем гранаты, держа автомат на отлете, согнувшись, он побежал за ними.

Лощина шла под уклон, бежать ему было легко, он хорошо наддал, но бежал все-таки не во весь дух, опасаясь попасть в воронку - на очень большой скорости оступись он в ней, он бы не просто полетел кубарём, а мог бы и поломать ногу.

Справа шагах в пяти, опережая звук очереди, прошла цепочка трассирующих пуль, потом ее догнал звук от выстрелов, и он метнулся туда, вправо, считая, что пулеметчик сменит прицел, повернет пулемет, чтобы ударить по другому сектору, и угадал: пули следующей очереди прошли левее его.

Сбавив бег, он прислушался, не застонет ли Стас или Степанчик, но все обходилось пока хорошо, пока хорошо за эти первые два десятка секунд, за которые он пробежал, наверное, сотню метров, опять наддав, и он стал уже надеяться, что они втроем вот так и промчатся остальные две сотни метров, когда спереди застучали сначала «шмайссеры», а потом торопливо, излишне длинными очередями, им ответили ПППШ Степанчика и Стаса - один ближе к нему, другой дальше.

Не останавливаясь, почти не сбавляя бега, он начал стрелять по вспышкам «шмайссеров», отвлекая их на себя, он расстрелял почти весь магазин, когда вдруг справа от него вскочили с земли трое - он увидел их в то короткое мгновение, когда над стволом его автомата вспыхнул красноватый свет от последней его очереди, и он дернул автомат в их сторону и нажал на спуск, но то ли он просчитался, уже расстреляв весь магазин, то ли перекосило патрон, и автомат, коротко тыркнув, замолк, но он видел во время этой последней вспышки, что упал из тех троих только один и что двое рванулись к нему наперерез, и он, нажав изо всех сил, сшибся с ними, ударив одного не прикладом, а кожухом то ли в лицо, то ли в горло, от столкновения с этим немцем его отбросило вбок, ко второму, этот второй, прыгнув, повис у него на спине, и он бросил автомат и, отдирая руки немца одной рукой, другой, нащупав финку, выдернул ее и, тряхнув немца так, что он свис ему на бок, ударил финкой ниже груди, немец охнул, обеими руками стиснул его кулак сначала очень сильно, но и сразу же ослабев, и он, резко крутнув плечами, швырнул немца с себя и побежал, на ходу ощупывая ремень, но гранат под ремнем не было, он даже не почувствовал, когда они вывалились.

«Черта с два они бы проскочили с ним тут!» - подумал он.

Он пополз, прижимаясь щекой и грудью к земле, набирая воды и грязи за шиворот, в рукава, за голенища сапог. Он полз так всего минут пять, косясь на пролетавшие над ним и по бокам его очереди трассирующих пуль. Потом его позвал Степанчик:

- Андрей! Андрей! Новгородцев!

Если бы его окликнули: «Кто идет? Сюда! К нам! - он бы не поверил - так и немцы могли позвать, чтобы он сам пришел к ним в лапы, но откуда немцы могли знать его фамилию и имя?»

Голос Степанчика был приглушен, Степанчик звал его то ли лежа, то ли из окопа, так что звук шел над самой землей. Он пополз к нему и, когда его позвал Стас: «Андрей! Андрей!» - он, уже шагов с десяти от них, ответил: «Тише! Тише, Стас!» - чтобы Стас тоже понял, что это он, а не фрицы откликаются.

Они сползлись.

- Ну, кажется... - начал Стас и не договорил, боясь спугнуть удачу.

Степанчик, ощупывая его, спрашивал:

- Нигде? Ничего? Не зацепило? А где автомат?

- Черт с ним! - ответил он. - Вы готовы? Ползком? Или рывком?

- Нет, нет. Поближе к земельке, - не согласился Стас...

Комбат слушал их полусидя, полулежа в крохотном подбру-стверном блиндажике. В блиндажике чуть теплились две свечки, отбрасывая тени на телефонистов.

- Ясно! - сказал он. - Я в курсе всего. Мы атакуем через сорок минут. Сейчас еще кое-что подойдет, и мы собьем их.

- Немец плох, - подчеркнул Андрей. - Был в шоке.

- Ясно, - еще раз сказал комбат. - Антифашиста жалко. Но главное - выбить немцев. Восстановить положение. И если мы поторопимся, не дождавшись того, что нам должны подбросить, мы можем застрять. Это будет хуже. Свободны. Отдыхайте.

Стас поднял руку к шапке, как бы отдавая честь.

- Разрешите обратиться?

- Что еще? - Комбат обернулся к телефонисту. - Второго

мне! - Держа вытянутую руку к телефонисту, который кричал в телефон: «Семга! Семга! Я - Лещ! Я - Лещ! Семга, Семга,

Семга!..» - комбат переспросил: - Что еще?

- Особенно ничего, товарищ гвардии капитан, - браво ответил Стас. - Только скромная просьба.

Оттеснив Степанчика и его, Стас выступил так, что свет падал на его мокрую и грязную гимнастерку, на такие же брюки. Наклонившись, он достал пригоршню жижи из-за голенища.

- Скромная просьба: нельзя ли получить чего-нибудь для, как говорится, сугреву? Шинели там, - он показал за блиндажик, - куда вы поведете батальон. Так что было бы хорошо, чтобы грело душу хоть изнутри. А то мы как цуцки. Хотя и гвардейцы.

Стас отступил, делая жест приглашения посмотреть и на них.

- Нда! - сказал комбат, колеблясь. Комбат у них был что надо - три ордена, две нашивки за тяжелые ранения. Комбат отходил от Прута, защищал Одессу, воевал на Кавказе. И они со Степанчиком тоже приняли бравый вид, хотя их тела, остывая после бега и быстрой ходьбы сюда, уже начали дрожать.

- Горбов, - позвал комбат. - Горбов!

- Раздает боеприпасы, - ответил кто-то.

- Отведи к Горбову, передай - по двести грамм из моего РГК<sup>1</sup>, - приказал комбат посыльному.

<sup>1</sup> **РГК - резерв главного командования.**

- «Чтобы грело душу изнутри», - повторил он и взял протянутую трубку. - Готовность плюс двадцать пять минут... Понимаю... Нет, не дадим накопиться... Ну, не первый раз... Выбьем... Это точно...

Они пошли за посыльным, услышав последние слова комбата:

- Всех командиров - ко мне!

Горбов - толстый, пожилой, вислоусый дядька в очках с железной оправой, похожий липом на сельского врача, в телогрейке, ватных брюках и без шапки, так что его седая голова поблескивала в свете «летучей мыши», - в большой и глубокой землянке заканчивал раздавать ящики с патронами и гранатами. Солдаты из двух рот, выделенные для контратаки, и солдаты из бригадного резерва тащили эти ящики к своим местам, а Горбов подгонял:

- А ну, шевелись! А ну, не спи на ходу! А ну, живо-живенько! - Уф! - сказал Горбов, отирая пот и разглядывая их. Они, войдя в землянку, чтобы не мешать, стали сбоку двери. - Чьи? Вам чего?

Посыльный доложил.

- С какой стати! - возмутился Горбов. - Да еще по двести! Хотя бы по сто! Ничего у меня нет. Свободны! - Он сел на патронный ящик и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Чтобы еще больше подчеркнуть это, он даже занялся какими-то бумажками, то ли батальонной строевкой, то ли накладными на что-то.

Вид у него был крайне занятый, озабоченный, даже слегка несчастный - не хотел он отдавать эти шестьсот граммов. Ему, наверное, легче было бы отдать столько своей крови.

- Приказ комбата! - сказал Андрей. - А приказ выполняется... Вот что, отец, - не дал он Горбову ничего возразить. - Выпьешь с нами? С хорошим человеком почему не поделиться. Так где она у тебя? Там? - он было пошел к термосам, которые стояли в дальнем углу, но Горбов его перехватил.

- Не суйсь! Не суйсь. Я сам. В чего лить-то?

Они плотно поели, водка согрела их, и, навалившись на стол, они даже задремали, но вдруг началась ожесточенная стрельба, сон с них сразу слетел, они услышали, как батальон, вернее, те из него, кто участвовал в контратаке, крикнули: «Ура! Ра-ра-а-а!» - и все вчетвером они встали и, слушая

напряженно, стараясь определить, движутся ли контратакующие, подошли к двери.

Каждый из них знал, что даже за тот час, что немцы, захватив, удерживали позицию внутри батальонного района обороны, немцы сделали все, чтобы ее укрепить - подбрасывали людей, пулеметы, боеприпасы, - и что не так-то легко их будет выбить с этой позиции. Но все-таки стрельба ухитрилась отодвигаться, а это означало, что контратакующие не легли, а пробивались к их роте.

- Ну, - сказал Стас, переглянувшись с Андреем. - Спасибо этому дому. Спасибо, отец, за все. Дай-ка нам патронов. Или нет, некогда! - он открыл защелку и выбил пустой магазин. - Замени! И по паре гранат. Живо, живо! А ну, не спи на ходу! А ну, живо-живенько!

Надев магазины на ремень, взяв в руки по гранате, Андрей, пропустив Стаса и Степанчика вперед, побежал сзади, рассчитывая подобрать ППШ, и он подобрал его, вынув из рук лежавшего в ходе сообщения, стонущего раненого.

Чуть-чуть лишь светало, когда они снова были в своих окопах. Немец на дне траншеи, возле которого сустились подполковник, ротный и солдаты, готовящиеся его нести, немец был плохо виден.

Андрей протолкнулся к нему.

- Посвети! - сказал он ротному. - Жгут...

Под фонариком лицо немца было очень белым, он не открывал глаз, и Андрей слегка пошлепал его по щекам.

- Пошевели рукой! Пальцами! Пальцами пошевели! - говорил он немцу.

Немец мигал, морщился от боли, но пальцы у него - они были куда бледнее его лица, они были даже с синевой, - не шевелились.

- Не могу. Мерзлые... Пальцы как нет...

Ослабив жгут, Андрей зажал ладонями повязку, через минуту синева стала слабеть, но зато начала промокать повязка.

- Живо! Живо! - торопил его подполковник.

- До санбата вам полчаса, даже больше, - ответил сердито он. - Вы что, не понимаете, что будет с рукой через эти полчаса?

Когда синева сошла, он снова затянул жгут, кто-то дал ему пакет, поверх прежней повязки он намотал бинт поплотнее и встал.

- Вот теперь «живо-живо»! Полей, - сказал он Стасу, когда немца понесли за побежавшим по ходу сообщения подполковником.

Степанчик раздобыл обмылок, Стас сходил к луже, она натекла в воронку от мины, которая попала в траншею, и он, намыливая руки погуще, зачерпывая даже землицы, смыл с них и эту кровь.

- Андрей! Новгородцев! Андрюха!

Стас Черданцев шлепал по грязи, которой уже по щиколотку намесили на дне траншеи. Было слышно, как под сапогами хлопала вода.

- Андрей! Кухня! Праздник души, именины сердца!

Андрей только что залез в «лисью нору», согнувшись, устроился поудобней и опустил полог.

«Надо взять еще таблеток, - подумал он. - Кажется, они помогают». - Ему стало легче, он уже не кашлял так, что ему раздирало и горло и грудь, кашель стал мягче, не таким сухим, а с мокротой, но все-таки время от времени он заходил от кашля, и тогда поворачивался на живот и, уткнувшись лицом в руки, бухал в них, пока дыхание не выравнилось.

Он, как и все, отрыл себе «лисью нору» - узкую пещерку в передней крутости траншеи - так, что пещерка имела порог, и вода со дна траншеи не попадала внутрь. В «лисьей норе» было сухо и, скорчившись в ней, можно было угреться. Наломав в лощинке сушняка от кустов, он приволок его, настелил на дне и вдоль стенок, и, по сравнению с мокрой, ставшей от частых дождей осклизлой траншеей, в «лисьей норе» было хорошо. Дождь туда не падал, а для стекавшей сверху воды он сверху, срезав на ладонь земли, сделал уступ и канавку на нем, и вода сбегала по канавке сбоку, не затекая внутрь. Лаз внутрь занавешивался драной трофейной палаткой, сложенная вчетверо, прибитая частыми кольшками, которых он настругал из патронного ящика, палатка служила неплохим пологом. Когда он ронял полог за порожек, то как бы отделялся от траншеи и вообще от всего.

Но за пять секунд, а, пожалуй, даже и за три секунды, он мог выскочить в траншею, стать лицом к немцам и открыть из ППШ огонь. ППШ он брал внутрь «лисьей норы», оставляя в нише, глубиной в локоть, запасные магазины и гранаты: две РГ-42, две «лимонки» и тяжелую противотанковую. Не мешая в «лисьей норе», там они были у него под рукой.

- Кухня? - переспросил Андрей, когда Стас остановился возле полога. - Пусть идут. Сначала второе отделение, потом первое. Иди и ты. Получи и на меня, - он хотел еще немного полежать, его опять начало знобить. - Котелок на бруствере, - он просунул за полог флягу, - Главное - чаю. И сразу сюда. Топай!

Стас побежал по траншее, командуя:

- Второе отделение - на ужин! Быстро! И не засиживаться там! Потом первое! Быстро, быстро, ребята! Быстро, чудо-богатыри!

Нет, неистребимый был у Стаса оптимизм. Просто неистребимый. Андрей улыбнулся, думая, что очень хорошо, что Стас с ним. Со Стасом все как-то казалось светлей. Со Стасом даже Лена вспоминалась не с такой тоской, не с таким отчаянием.



Прошла неделя с того дня, как они пытались отбить у немцев следующий рубеж, больше они не атаквали, потерь не имели, если не считать, что не то снайпер, не то просто хороший стрелок подстрелил Гуреева из второго взвода.

Их и немцев разделяли какие-то метров четыреста, пожалуй, даже триста пятьдесят. Половину этой полосы занимали огороды, на них еще стояли побуревшие, с обвисшими длинными листьями стволы кукурузы и черные палки обломанных подсолнухов. За огородами начиналось темное вспаханное поле. Но утром, заиндевшее, оно казалось посыпанным серебром. Через это поле и проходила немецкая оборона, она просматривалась, так как и кукуруза и подсолнечники нигде не были густыми. Но, значит, со стороны немцев они тоже просматривались, поэтому днем нельзя было высовываться и носа.

Днем все они сидели на дне траншеи или, согнувшись, ходили по ней, чтобы согреться. Но когда наступала темнота, они могли вылезти и ходить поверху, держась, правда, все время рядом с траншеей либо с ходом сообщения, чтобы при немецкой ракете быстро прыгнуть и спрятаться за бруствер.

Шли дожди, мелкие позднеосенние дожди, от них промокало все. Солнышко появлялось редко, да оно уже и не грело, а так, лишь светило, поэтому подсушиться на нем было нельзя.

Если ночь выдавалась без дождей и стрельбы, то было слышно, как немцы возятся на своей позиции - оттуда долетали стук топора, скрип колес, когда они что-то подвозили на телегах, чтобы не демаскироваться моторами, чуть слышались голоса.

После такой сухой и холодной ночи, когда рассветало, можно было засесть даже блиндажи немцев. Они, конечно, еще затемно гасили печки, но некоторое время из труб все-таки шел теплый воздух, смешанный с паром, похожий в промерзшем воздухе на белый дымок.

В такое прозрачное утро виднелось все далеко-далеко - на километры, и Андрей, и все остальные различали фигурки немцев, запоздавших к своим местам. Немцы шли парами, тройками, группами, долго не прячась, потому что на таком расстоянии даже с ничьей земли они не доставались и из снайперской, а пушкам и минометам по этим группам стрелять не стоило.

Иногда из дальней деревеньки вот так же после рассвета вылетали запоздавшая фрицевская машина или несколько машин. Они быстро мчались в свой тыл, их сколько-то времени можно было видеть, но и по ним редко посылали мины или снаряды, берегли боеприпасы.

Но немцы стреляли каждый день. Конечно, просматривая так же нашу оборону, все замеченное, они, как и наши, заносили на карты и, отобрав цели, часами били по ним из пушек и минометов. Немцы отступали, они, отходя, как бы прислонялись к своим складам, и боеприпасов у них было вдосталь, они могли их расходовать. А наши наступали, была поздняя осень, дороги раскисли, вдоль них и на них стояли остановившиеся или застрявшие грузовики со снарядами, едой, всем остальным, и поэтому приходилось беречь боеприпасы и есть утром суп из пшеницы, а вечером из пшена, или наоборот, и так день за днем. Хотя кончался ноябрь, но ни у кого еще в роте не было ни телогреек, ни ватных брюк, рота получила только шапки и рукавицы. Все остальное где-то ехало. Или лежало, ожидая переборски. Но почти каждый день, вернее, почти каждую ночь что-то да выдавали.

Несмотря на холод, на собачью мокрядь, все как-то приспособились к траншее, притерпелись к ней, жизнь в ней более менее отладилась, и день сменялся ночью, а ночь сменялась днем.

Перед рассветом и вечером они получали еду. Им полагалось по котелку не то густого супа, не то жидкой каши, иногда с мясом, иногда без него, и по девятьсот граммов хлеба, хлеб выдавали вечером. Иногда тут же, у кухни, они получали и водку. Казалось, ее было невозможно разлить в темноте точно, но у Алексева, их нынешнего старшины, была консервная баночка, обрезанная как раз на сто граммов. Черпая ею из термоса, Алексеев плескал водку в кружку очередного, водка тут же выпивалась, заедалась кашей, супом или коркой хлеба.

Но хлеб вообще-то надлежало у кухни не есть, а нести в траншею: хлеб нужен был на день. Поэтому у кухни, стоя возле нее - не сядешь же на мокрядь, - все обычно съедали суп или кашу, котелок выскребывался, вычищался корочкой, подставлялся под черпак чаю и осторожно доставлялся в траншею. Там среди ночи можно было отломить кусок хлеба от порции, запить его пусть остывшим, пусть жиденьким, но все-таки чайком, а днем и надо было держаться на хлебе и на этом чае.

Все бы было ничего, терпимо, если бы Андрей не простудился. Несколько дней он ходил с мокрыми ногами. Сначала подтекал один сапог, потом начал пропускать воду второй, потом у этого, второго вообще откисла подошва, и нога вечно была мокрой и холодной. Он переобувался, когда подсыхали запасные портянки - он сушил их, наматывая на голень, но в траншее на дне все время была вода, и ноги снова быстро промокали. Сначала он просто мерз, потом закашлял, потом у него начался жар. Он сказал об этом санинструктору, санинструктор раздобыл для него каких-то таблеток, первые два дня он принимал их по одной, потом сразу по две, ему полегчало, но, хотя кашель и помягчел, все-таки время от времени ему еще было худо - накатывался жар, его трясло, ломило все кости, и он распахивал шинель и сдвигал на затылок шапку. Но когда жар проходил, он дрожал от озноба так, что должен был прижимать подбородок к коленям, чтобы не стучали зубы.

Вот и сейчас на него накатывал жар, и он улегся в своей «лисьей норе», чтобы переждать его там.

- Пошли, пошли, Андрей, - сказал Стас, когда второе отделение возвратилось на свои места, а первое ушло. - Пошли, а то остынет все к черту.

Стас стоял над ним, касаясь коленями полога. У Стаса тоже была «лисья нора», он вырыл ее рядом, но сейчас не полез в нее, а пережидал стоя.

Андрей, как приказал ему ротный, исполнял обязанности командира третьего взвода, потому что на

смену убитому офицеру никто пока не прибыл.

Но эта должность несколько не отделила его от Стаса, да и Стас не отделился, наоборот, Стас был рядом с ним чаще, чем другие, он и «лисей нору» вырыл себе в метре от его «лисей норы», он и ночью стоял, ожидая немцев, в шаге от него, так что Андрей слышал и его дыхание, и как он шевелится, и как переминается с ноги на ногу.

Словом, Стас держался с ним. На фронте человек прибавляется к человеку, потому что в паре с кем-то все легче: и дни коротать на холоде и в полуголоде, и атаковать, бежать рядом, и отходить от немцев, прикрывая друг друга, и в случае чего перевязать и оттащить в местечко побезопасней, и в случае похоронить, взять из кармана письмо с адресом, чтобы было кому сообщить.

Служебно же Стас все-таки числился связным у ротного от взвода. Но Андрей предпочитал, чтобы Стас не засиживался у ротного, особенно с вечера, потому что во взводе было всего четырнадцать человек, а взвод должен был удерживать участок траншеи в полторы сотни метров. На каждого получалось по десять метров, но так как ночью следовало стоять парами, разрыв между ними был метров по двадцать, оборона выходила жидкой, и каждый ППШ - а у Стаса и был ППШ - оказывался очень к месту.

- Пошли, Андрей, пошли.

- Пошли, - согласился Андрей и вылез из-за полога. Он взял котелок с бруствера, считая, что есть надо, иначе он вообще может сдохнуть. - Что там на ужин?

- Горох! - засмеялся Стас, шагая впереди. - Но мы его будем есть так: в твой котелок - горох, в мой - чай и будем припивать. Трахнем пару котелочков гороха! Трахнем и завалимся дрыхнуть.

- Завалишься! - усомнился Андрей, посмотрев на небо. Было новолуние, тусклые звезды затягивало опять тучами, ночь обещала быть адски темной, и перед их траншеей никого и ничего не было. Ротный считал, что в такую темень, в дождь, когда шорох подползающих не услышишь и в трех шагах, выставлять далеко секреты опасно, а близко - бессмысленно. Больше того, если бы секреты все-таки были бы выставлены, те, кто оставался в траншеях, полагаясь на них, спали бы, и, сняв секреты, немцы могли бы ночью ворваться в траншею и, перестреляв сонных, не дав многим даже вылезти из «лисей нор», захватили бы ее. А так, зная, что впереди секретов нет, что впереди нет ни минного поля, ни колючки, отгораживающих от немцев, каждый понимал, что если уснет, может никогда и не проснуться.

- Вся рота секрет! Не спать никому! - разъярял и приказывал командирам взводов ротный. - Между немцами и нашим тылом - мы! - Ротный был прав. - Ну выставили бы по парному от взвода - это три пары на полкилометра. Между ними в такие ночи можно батальон провести. Ну выставили бы по два парных, чтоб было плотней - тогда во взводах останется по десять человек. В случае сильной атаки, секреты мы потеряем - пока секреты добегут до траншеи, их перестреляют. В случае разведки боем или атаки встретим их из траншеи, - говорил ротный. - Главное - чтоб ночью все были наготове! Пусть отсыпаятся днем. Так и толкуйте людям. Каждую ночь каждый из нас - в секрете!

- Не спать, не спать, ребята, - говорил Андрей, проходя мимо Пестова, Жалыткина, Рахимова, Шергина, Пахомова, Дадаева. - Ни в коем случае не спать! - «Не спать» задача оказывалась не из легких, ночи в конце ноября длиннющие, кажется, и не дожидаться рассвета, но такую длинную ночь следовало коротать перекуривая, что-то вспоминая, на что-то надеясь, да ежиться от холода и сырости.

Они со Стасом прошли по ходу сообщения, и там, где ход помельчал, Стас вылез из него.

- Смотри, ракета... - предупредил его Андрей.

- Да ну их, - отмахнулся Стас, шагая у края бруствера. - Ты заметил, что-то они меньше их пускают. То, сволочи, с вечера навешивали, оправиться не вылезешь, а теперь почти ни одной за ночь. Что-то притихли они. К чему бы, а?

- Не знаю, - неопределенно ответил Андрей. Он тоже полез на брунстер, но оттого ли, что согнулся и сжал легкие, оттого ли, что сбил дыхание, закашлялся. Он лег животом на мокрый брунстер, свесив ноги в ход сообщения.

- Я все еще... - бормотал он. - Подожди. Постучи по спине. Все еще трясет. Черт!

- Может, малярия? - предположил Стас. - При малярии тоже колотит. - Наклонившись, он довольно сильно постучал Андрею между лопатками. - Если малярия, пьют акрихин. Желтые таблетки. И уколы в зад. От этого акрихина человек глохнет. - Ну как? Легче?

Взяв Андрея за шиворот, он помог ему встать, и они пошли к овражку, куда, сварив в тылу еду, повар привозил кухню, которую таскала небольшого роста кряжистая лошаденка, с лохматой, забитой репьями гривой.

Андрею нравилось, пристроившись у оглобли, поев, прихлебывая кипяток, просовывать руку лошаденке под гриву и гладить ей теплую сильную шею. После «лисей норы», мертвой ничьей земли перед глазами, где, конечно, никакой живности из-за постоянной стрельбы не водилось, эта лошаденка казалась особенно живой, и к ней тянуло, как к какому-то милейшему доброму существу. Их, этих добрейших существ, было мало на фронте. Иногда над траншеями пролетали птицы, но они держались высоко, летели быстро, испуганные взрывами или стрельбой. Сейчас, в такую слякоть, попрятались и мыши-полевки, а холода загнали стрекоз, бабочек, муравьев, божьих коровок и прочую мелкую живность во всякие щелочки и дырочки, и от этого земля казалась совсем пустынной,

брошенной, осиротевшей.

- Что, брат, это тебе не в колхозе! - говорил Андрей лошади. - Как там наш Зазор? Будем надеяться, что жив, что все с ним нормально. - Лошадь дергала у него под рукой кожей, загибая за оглоблю голову, тянула к нему и дышала ему в лицо.

Когда приехала кухня, все по-своему радовались и из-за еды, и из-за того, что там можно было встретиться друг с другом все-таки на каком-то приволье, а не в узкой траншее, но Андрею было приятно идти к кухне и из-за этой лошаденки, безропотно коротавшей дни вместе с остатками их батальона.

У кухни стояла короткая очередь - начала подходить, вторая рота. Так как в ротах набиралось всего чуть больше сотни людей, еду для обеих рот варили в одной кухне.

Стас, взяв у него котелок под чай, пристроился в хвост очереди, а Андрей зашел за кухню. Там, почти под мордой лошади, стояли Алексеев и санинструктор. Оба держали, свесив их к сапогам, узлы из плащ-палаток, в которых был хлеб.

- А, Новгородцев! Тебе подарок. Зайдешь на КП, - сказал ему старшина, доставая из узла кубическую буханку хлеба, которая и тянула фронтovou норму - девятьсот граммов. Хлеб был свежим, еще тепловатым, но с сильной просырью, поэтому, несмотря на вес, буханочка сказывалась невелика.

- Какой подарок? Письмо? - Андрей, прокрутив в голове всякие мысли, не мог догадаться. - Посылка? От кого? Или опять кисет? Отдашь кому-нибудь. Я получил.

Он и правда уже получил кисет с табаком. В роту их дали целый ящик, посылку из какой-то не то зауральской, не то иркутской - точно он не знал - школы. Но от кого - было вышито на кисете. Днем он читал при каждой закурке: **«Дорогому защитнику Родины от Зины Светаевой. НСШ №2. 7 кл.»** Все слова, кроме **«Родина»**, Зина вышила зелеными нитками, а **«Родина»** голубыми, и на крепком темно-синем сукне они смотрелись ярко, почему-то напоминая о лете. Вообще эта Зина, считал Андрей, росла старательной девочкой - она руками прострочила кисет мельчайшими, как машинными, стежками, вышила в него подклад из тонкой, не пропускавшей воду, парусины и вдела крепчайшую холщовую тесьму. Табаком, отличным самосадом, кисет был набит под завязку, и в табаке попадались сушеные ягоды шиповника и черемухи. Они, конечно, не годились в папироску, но от них табак пах лесом. Еще в табаке оказалось десять спичек и кусочек терочки от коробки. Больше, чем десять спичек, Зина, видимо, положить не могла.

Андрей, уже искурился табак наполовину, нашел и крохотную записку. В ней Зина желала ему **«крепко бить немцев-фашистов»**, заверяла, что она **«будет стараться не только учиться на «хор» и «отл», но и, «сколько у нее есть сил, помогать взрослым»**.

Сейчас в Зинином кисете осталось табаку с пригоршню. Андрей жалел докуривать его до конца, он хотел смешать его и все ягодки шиповника и черемухи с солдатской махоркой.

- Ты махорки дай. Можешь? - попросил он.

Следовало попросить махорки утром, когда раздавали завтрак. Тогда Алексеев был стоворчивей. Черная своей меркой водку, надышавшись ее сладким запахом, да и хлебнув предварительно, он становился добрей. Давали же водку утром потому, что так приказал ротный. Казалось бы, ее следовало давать с вечера, чтобы легче короталась ночь. Но ротный рассуждал по-иному: «И чтобы крепче спалось? Нет, давать утром, чтобы люди после ночи согрелись и, если можно спать, лучше поспали». В этом был резон.

- Махорку завтра получаем, - сказал Алексеев. - Что, и на ночь нет?

- На ночь есть. Так что там мне за подарок?

К ним подошел Стас.

- Держи, - он дал Андрею котелок. - Повар расстарался с картошкой и укропчиком. Старшина, обьяви ему благодарность.

Им теперь варил новый повар, пожилой солдат из второй роты, которому после первой траншеи батальонные тылы казались, конечно, землей обетованной, потому что к переднему краю надо было подъезжать только два раза в сутки, между ним и немцами стояли теперь и минометы, и пушки, и было много людей, и, хотя повар вертелся весь день почти без перерыва - надо было котлы мыть, ехать по воду, добывать дровишки, получать продукты, варить их, подтапливать печурку, как-то обихаживать и лошаденку: накормить-попить, хоть изредка, но и тернуть скребницей, - хотя дел у повара набегало невпроворот, потому что помощников ему не давали, он был рад этой должности. Она обеспечивала ему сытость, спал он, хоть и коротко, урывками, но в сухости, и шансов остаться живым ему выпадало больше. Поэтому повар старался: разживался, чем мог, в брошенной деревне копал картошку, чтоб добавить в суп, найдя на чердаке какого-то дома пук сухого укропа, он крошил его в котел, от чего суп пах свежестью, привозил то капустные кочерыжки, срубленные им на огородах, то по пол-соленого огурца на душу, добыв эти огурцы не известно, в каком погребе, то подсыпал в чай мелко посеченные кончики вишневых веточек, отчего чай становился и гуще, и запашистей, словом, всячески исхитрялся накормить роты получше. Что ж, своей заботой он отработывал право на батальонные тылы.

- Да, ничего, - ответил Андрей, хлебнув прямо через край котелка и обжигаясь супом. - Так что мне там за подарок? - еще раз спросил он, отбросив мысль о письме.

Если бы это было письмо, Алексеев сказал бы по-другому, сказал бы что-нибудь вроде - «сегодня тебе плясать» или «сегодня ты у меня попляшешь», и ему пришлось бы, если, конечно, не плясать, плясать бы он не стал, но ему пришлось бы топнуть раз-два ногой.

- Сапоги! Вот подарок! - обьяснил Алексеев. - Поешь, и на КП. Ротный велел. Ясно?

- Ясно, - ответил Андрей, пристраивая котелок на оглоблю.

- В атаку! - скомандовал Стас и запустил в котелок ложку.

Придерживая локтем автомат, повешенный на плечо стволом

вниз, держа за дужку полный котелок чаю и то и дело прихлебывая из него, давая прихлебывать Стасу, черпая суп из котелка, который поддерживал Стас, Андрей хорошо поел. То ли суп удался повару - чуть солоноватый, потому что и консервированная американская колбаса была солоновата, и уже посоленного на заводе концентрата повар положил побольше, чтоб суп вышел гуще, так что даже добавленная картошка не взяла весь этот излишек соли, то ли запах укропа родил аппетит, но Андрей впервые за несколько дней поел в охотой, почти с жадностью.

Они со Стасом повторили и суп и чай, повар же, наливая им в котелки, приговаривал:

- Ешьте, робяты. Ешьте досыту. Ночь длинная. Сейчас, поди, и десяти еще нету. Утром привезу перловочки с тушенкой. Как, картошки добавить в перловку-то? Чтоб оно вышло вроде кулеша? Или так - только кашку, но покруче?

- Разницы нет - кулеш или каша, - заявил авторитетно Стас. - Нам главное, чтоб побольше мяса. Это учти.

- Оно конечно, мясо есть мясо, - согласился повар, помешивая в котле. Он возвышался над всеми, стоя на кухонной приступке и орудуя черпаками, вычищенными так, что медь сияла, даже в темноте она отблескивала. - Но где его возьмешь, мясо-то? Норма, робяты! Чего дают - все до косточки варю. Другой раз дадут так, как украли, - мол, не подвезли. Оно понятно, не подвезли, где же его возьмешь? Вот и маракуешь так и эдак. Другой раз с себя бы отрезал, да и в котел.

- Ты это брось, брось, отец! - возразил Стас, как если бы он всерьез принял возможность того, что повар и правда когда-нибудь дойдет до такой точки, что от отчаяния отрежет от себя мясо и пустит в котел. - Нам твоего не надо.

- А как насчет конины? Давеча артиллерия прирезала кобылку - то ли ногу она сломала, то ли еще чо. Сходить попросить? Может, дадут кус? Или хоть голову. Не погребуете?

- Ты ротного опроси, - посоветовал ему Стас, допивая чай. - Я не погребую. Но ротного спроси. Он для тебя и царь, и бог. Ясно? Ну-ка еще плесни. Разольем во фляжки.

- Ясно, - откликнулся повар. - А и верно, надо спросить, - Откинув крышку, он почерпнул чай, коснулся черпаком котелка, осторожно слил чай и тотчас же захлопнул крышку. Чай еще был горячий, и они со Стасом налили по волной фляжке.

Темнело все больше, ночь становилась просто адски темной, и все, что они делали, совершалось на ощупь. Лицо Стаса, до которого Андрей мог бы дотянуться рукой, лишь угадывалось, как чуть более светлое пятно по сравнению со всем остальным - телом лошади, кухней, поваром над ней.

- Наши все поели? - спросил Андрей, пряча фляжку за борт шинели. Хлеб, чтобы не помять и не раскрошить, он переложил в котелок.

- Все, - Стас, сдернув вещмешок, на ощупь развязал его и хлеб положил туда. В его котелке еще остался суп, и он нес его в траншею. - Пошли? Что там тебе за сапоги?

Они пошли низом, свернув от овражка направо, держась параллельно своей позиции, по тропке, которую, конечно, в такой темноте они не видели, а угадывали ногами.

Спрятанная за борт шинели фляга сквозь чехол, гимнастерку, белье мягко грела, и все хотелось передвинуть флягу к спине, и Андрей подвигал ее то к одному боку, то к другому, еще не остыли от горячих котелков руки, и все выходило бы сносно, если бы не ноги - холодные, мокрые, в грязных от пропитавшей их жижи портянках, они казались чужими.

- Так где там твой подарок ему? - спросил ротный Алексеева, когда Андрей и Стас пришли в сарай и доложили, что все в траншее нормально. - Давай, давай! Не томи человека.

В сарае горел крохотный костерок, такой крохотный, что над ним можно было погреть лишь руки, да и этот костерок тоже был делом рискованным - если бы немцы засеки свет, пробивавшийся через щели сарая, они бы утром запросто сожгли бы сарай снарядами.

Но костерок все-таки горел и, сгрудившись вокруг него, сидели ротный, Алексеев, телефонист, Степанчик, санинструктор и связные. Костерок освещал их лица, а когда вспыхивала какая-нибудь сухая палочка, то и колесо и бок телеги, стоявшей в сарае, борону, валявшуюся под ней вверх зубьями, похожими на ржавые короткие штыки. Сарай был набит всяким сельхозинвентарем, лишь в проходе оставалось место, и в проходе-то, у двери, и горел костерок.

- С него причитается! - сказал Алексеев и, потянувшись за спину, достал из темноты пару сапог. - Фляжка шнапса. Когда пойдем в наступление. Так что, Новгородцев, имей в виду. Меряй! - Он поставил сапоги к ногам Андрея.

Сапоги были не новые, чиненые, но крепкие и, главное, сухие.

Андрей сел и разулся.

- Не гоже! Не гоже! <- огорчился Алексеев, глядя, как он отжимает совсем намокшую часть портянки, которая облегла стопу. На рябом широком лице Алексеева было написано сочувствие.

- Из-за тебя он и болен! - сказал санинструктор. - Видишь, красный какой. Ну-ка! - санинструктор потрогал Андрею лоб. - Ого! Надо на ПМП<sup>1</sup>. Понял?

<sup>1</sup> ПМП - пункт медицинской помощи.

- Так если бы то было в наступлении! - оправдывался Алексеев, - Разве бы... Я и так с них не слезал! А они мне что? Они мне либо ботинки, либо сапоги-маломерки - сороковой самый большой размер. А у него ножища сорок три! Да если после перетяжки - значит, бери сорок четвертый, потому как после

перетяжки сапог на размер меньше...

- Если бы да кабы! - перебил его ротный. - Так вот, Андрей... Так вот, товарищ сержант Новгородцев. У меня тоже для тебя сюрприз.

Ротный смотрел на него как-то особенно: прищурился, слегка покачивая, как бы для того, чтобы лучше его рассмотреть, своей тяжелой, круглой головой. Сейчас ротный напоминал Будду - он сидел по-восточному, упираясь ладонями в свои крепкие, как, наверное, у борцов или штангистов, ляжки. Ротный ждал, когда он переобуется. Потом ротный ему выдал:

- Есть приказ по бригаде - откомандировать от каждой роты по одному сержанту или старшине, которые были на взводах, на курсы младших лейтенантов. Образование - не ниже девяти классов. Направить комсомольцев, отличившихся в бою. Представить на них ходатайства о награде до ордена Красной Звезды. Поедешь ты.

- Я? - это было неожиданностью, и все сразу осмыслить было трудно. - При чем тут я?

- При том! - не меняя положения ног, ротный качнулся к нему своим массивным корпусом так, что почти наклонился над костерком. - На взводе был, образование подходит, в боях... в боях был не хуже каждого, дисциплинирован, комсомолец, что тебе еще?

В голове Андрея завертелись всякие мысли, и в первую очередь мысль о том, что, может быть, эти курсы недалеко от Харькова - курсы-то подчинялись или армии или самому фронту, а, значит, были довольно-таки глубоко в тылу. В этом случае проглядывала возможность повидаться с Леной то ли во время учебы - курсы-то были не менее, чем трехмесячные, - то ли после окончания этих курсов. Так или иначе шансов увидеть Лену, учась на этих курсах, было-куда больше, чем воюя здесь, и у него перед глазами вдруг встал госпиталь 3792, ее окно, ее лицо, ее тело, и он почувствовал, как нежность прилила к его сердцу.

- Ну что ж, ну что ж... - Андрей все-таки колебался. - Может, поедет кто-то другой?

- Будешь офицериком! - Степанчик толкнул его в бок. - Новые погончики, обмундированьице английского суконца, шинелька тоже хаки, допшаек...

Офицерская шинель из английского сукна цвета хаки была дрянь шинелью - красивая, но непрактичная на фронте, она, во-первых, хуже грела, во-вторых, куда быстрее, чем наша серая, пропускала воду и, в-третьих, на фронте в ней было опасно - человек в ней резко выделялся, немцы знали, кому ее выдавали, и быстро выводили из строя офицера в такой шинели. Но дело, конечно, было не в этом, не в шинели было дело.

Левая бровь ротного полезла вверх, как будто для того, чтобы лучше открылся левый глаз, чтобы лучше рассмотреть Андрея этим левым глазом.

- Никакой ни другой! Поедешь ты. Ясно? Это приказ.

- Ты, Андрюха, осел и сивый мерин, - заявил старшина. - Поедешь, значит, что? - старшина начал загибать пальцы. Пальцы у него были громадные и толстые, покрытые рыжеватыми волосами. - Значит, зиму в тепле, во всяком случае, ночь в тепле. Днем учеба там, то да се, но ночь-то в тепле на матраце, а может, даже и с простынько-одеялом. Это тебе не траншея. И никаких бомбежек! Харч, правда, там по тыловой норме, зато увольнения. Где бы вы ни стояли, будут какие-то люди, значит, и девушки будут. Что тебе? Парень ты молодой, видный, не семейный. Не для того же мы на свет рождаемся, чтобы только за курок дергать... И так месяца три.

- Пять, - уточнил ротный. - Потом в свою часть. Так говорится в приказе.

- Надо ехать! Надо, Андрюша, ехать, - Стас положил руку ему на плечо. - Пять месяцев - срок велик. По нынешнему времени пять месяцев гарантированной жизни - это, брат, состояние.

- А потом? После войны? Все по домам, все в институт, а я?

Этот довод не убедил Стаса.

- Когда она кончится? До конца надо дожить. Там видно будет. Это, как Ходжа Насреддин учил осла читать. Он заявил эмиру, что за семь лет обучит осла читать, считая, что или осел, или эмир, или он - но кто-то за эти семь лет умрет. Так и ты - до конца войны надо дожить. Там видно будет.

- Поезжай ты. Поедешь? - предложил Андрей.

Ротный все поставил на свои места:

- Не подходит: на взводе не был, не сержант, не комсомолец.

- И баламут, - добавил Степанчик. - Скажут: кого прислали? - Стас улыбался от уха до уха. - Вот и сейчас - ему говорят, а с него как с гуся вода, - сердился Степанчик. - Нет, Андрюха, поезжай ты. Ты парень что надо. Ты там нашу роту не подведешь.

Ротный приказал старшине:

- К завтрашнему собрать ему сидор, чтоб кое-что и из трофеев. Чтоб проводить по-людски. Сбор на КП батальона завтра к двадцати ноль-ноль. Мне в роту нужны офицеры. Пол-Украины, Польша, Европа впереди. Ты отдаешь себе в этом отчет? С тебя два спроса - за себя и за людей. Мало самому воевать как надо. На этом этапе ты должен вести людей через войну. К победе, - ротный постучал кулаком по колену Андрея. - Ждем тебя через пять месяцев. Я жду. Ясно?

- Он и так взводный, - вставил Стас.

- Да. Сейчас взводный. Выучится, станет офицером; и глядишь, - ротный, - ротный не дал никому ничего возразить. - Армии нужны толковые люди, - ротный посмотрел на часы, потом вдруг накрыл их ладонью: - Не глядя? На память? А, Андрей?

Это была известная на фронте шутка меняться - «махаться» - часами не глядя. За свои плохонькие часы-штамповку ты мог получить хорошие, но мог получить и еще худшие. Но у ротного-то были

прекрасные часы-браслет под платину со светящимся циферблатом. Так что ротный тут выгоду не искал. Он и правда хотел сделать этот обмен на память.

Андрей отстегнул свои часы и, пристегивая часы ротного, прочел надпись по-немецки: «Dem Geliebten von der Liebenden», что означало: «Любимому от любящей». Надпись шла по кругу, и внизу, где она смыкалась, чуть выше, были тончайше выгравированы две ладони, нежно держащие сердце. Ладони были узкие, изящные.

Они пожали друг другу руки. Ротный сел снова по-восточному.

- Заканчивай тут все. Бери людей и шагом марш в батальон. Вместо пополнения нам дают еще один пулемет. Людей бери побольше -хватишь ящика два патронов. Как рассветет, выберешь ОП<sup>1</sup>, подготовишь пару запасных. За печь набить ленты, найти наводчика, подобрать расчет. Ну как ноги, отошли?

<sup>1</sup> ОП - огневая позиция.

- Отходят! - ответил Андрей, все еще грея ступни. Он вытер их сухой портянкой и сейчас ощущал, как приятно им от тепла костерка. Все так же сидя на полах шинели, он расстегнул крючки, распахнул шинель и стал греть грудь и живот и почувствовал, что вот-вот уснет.

Степанчик накрыл ладонью свои часы.

- Махнем? Не глядя. Махнем, Андрюха?

Конечно, Степанчик знал, что никто с ним часами меняться не будет - у него были наши довоенные часы - здоровенные, толстые, хоть коли ими сахар, забивай гвозди, они, наверное, могли бы согнуться и в рукопашной: дай такими часами фрицу в висок, и фриц свалится, и они так громко тикали, что их слышал не только сам Степанчик, но и те люди, которые были с ним рядом. Но шли они точно, не останавливались, и Степанчик в ответ на насмешки обычно отвечал:

- Тюрехлеб ты! Ну что понимаешь?

- Отставить! - приказал ротный. - Махальщик какой.

Андрей было засмеялся, но сразу же и закашлялся.

- Вот-вот. Как в бочку, - сказал санинструктор. - Надо на ПМП. Пусть зайдет на ПМП, - повторил санинструктор на этот раз для ротного.

Может, не надо? - Андрей соображал, кого взять с собой за пулеметом, как дотащить еще коробки и патроны, где поставить пулемет, кого для начала назначить в расчет. - Мне вроде легче. С сухими ногами должно все пройти. - Идти на ПМП ему не хотелось.

Он зрительно представил себе, как выглядит днем местность перед той частью траншеи, которую занимал его взвод, чтобы подобрать такую ОП для пулемета, с которой он мог бы простреливать пространство перед всей обороной роты.

- Сходишь, - решил ротный. - Отправишь пулемет, я встречу, а сам туда. Пусть дадут на дорогу пилюль. Самых лучших. Скажешь, я приказал.

- Я вообще ничего, - еще раз сказал Андрей. - Только слабость какая-то.

- На, - расщедрился Алексеев и сунул ему под руку новую пару теплых байковых портянок. - Эти на ногу, старые просуши. Мотай! Мотай! Это тоже, так сказать, подарок от роты. Чем богаты, тем и рады.

Руки не поднимались наматывать эти чистейшие, мягчайшие два куса байки на грязные, с отросшими ногтями, с полузакжившими мозолями ноги. Хотелось, аккуратно сложив байку, постелив на землю что-то под нее, чтобы не пачкать, лечь щекой на эти чистые нежные тряпицы и здесь же, возле этого костерка, уснуть до того времени, пока не кончится война.

- Дай-ка! - Андрей взял у Алексеева из губ самокрутку, дернуя два раза, вернул самокрутку, обулся, встал и прошелся.

- Нет, не должны жать! Как раз впору, - ревниво следил за ним Алексеев. - Там у него голимый уют. Там нога сейчас, как младенец на грудях у матери. Хоть маленько поздно, да... Кабы наступали мы...

Алексеев слегка махнул рукой с папироской, как бы говоря этим жестом, что в наступлении одежда да и еда - не вопрос, в наступлении одежда и еда перед тобой, иногда целые фрицевские склады, не считая обозов или машин. В наступлении не хватает только патронов и гранат, потому что ты их быстро расходует, а подбросить тебе их запаздывают. Разжиться парой сапог в наступлении чепуха - мало ли, если нет их в трофеях, фрицев-покойников? Мало ли их? А если у кого нога с большим подъемом, и фрицевский сапог не гожд для такой ноги, потому что даже большой в стопе он не пропустит тепло обмотанный подъем, а на одну портянку будет хлябать и, жесткий, из толстой негнущейся кожи, изотрет всю ногу в кровь, словом, если фрицевский сапог не гожд на твою русскую нору, так что же... что же... так мало ли своих погибших? Твоих товарищей по войне, кто бежал рядом с тобой и упал в этот день. Упал навсегда и кому уже не нужны его сапоги, как ничто, уже не нужно, и кто с готовностью отдаст тебе эти сапоги. Отдаст, как магазины с патронами: хочешь - бери с чехлами, сдернув их у него с ремня, хочешь - вынь из чехлов, не тревожа ремень. Отдаст, как и гранаты из сумки, а если есть они и в его тощем солдатском вещмешке, в котором-то все богатство на донышке, который захлестнут лямкой больше чем наполовину, так что горло мешка надо сначала сложить книзу и захватить лямкой, а иначе мешок висит как кишка, - а если есть они, гранаты, и в его вещмешке, отдаст и из вещмешка. Как и банку прибереженных консервов, которую он откладывал все про запас, все про запас, все до какого-то другого случая, другого дня, да этот день, случай не подошел. А может, он, этот твой навсегда упавший товарищ, откладывал эту банку для тебя? Кто знает, кто знает, кто знает... Ну, словом, он с готовностью отдаст тебе все: патроны, гранаты, шинель, сапоги, махру, консервы, сухарь - лишь бы это помогло тебе идти дальше или сидеть в окопе до команды: «В атаку! Вперед!», лишь бы

это тебе помогло воевать. Ведь на фронте патроны, еда, курево, рукавицы и многое другое, что нужно на войне человеку, стоят в одном ряду. Правда, сначала стоят патроны. Но за ними-то стоит и все остальное. Словом, если ты возьмешь у упавшего его сапоги, чтобы сменить свои рваные, возьмешь его сапоги для ног, а не в мешок - это почти то же, что ты сунешь его ручную гранату в свою гранатную сумку.

Ну а уж если ты не можешь сам взять его сапоги, если тебе это невмозможно, позови стариков солдат из похоронной команды. Они могут, они привычные. Они все сделают не торопясь, по-людски, разговаривая и с покойничками и промеж себя, они оружие отложат в сторонку - сорт к сорту и так же сорт к сорту разложат солдатское имущество - сапоги к сапогам, шинели к шинелям, шапки к шапкам, брюки к брюкам, гимнастерки к гимнастеркам, чтоб сподручнее, было сдавать в **ОВС**<sup>1</sup>, откуда вся эта скорбная одежка, пробитая пулями, разорванная осколками, пропотевшая, измазанная родной землей и солдатской же кровушкой, уйдет в тылы, где руки солдат-прачек затолкают ее в прожарки, потом перестирывают, потом подштопают, починят, чтобы одеть в нее подлеченных в госпиталях.

<sup>1</sup> **ОВС - отдел вещевого снабжения.**

- Носи! - сделал широкий жест Алексеев. - Воюй, Андрюха!

- Я пошел! - сказал Андрей ротному, как-то сразу приободрившись, то ли оттого, что и правда ноги его блаженствовали в сушейшей баечке, и он, чтобы получше ощущать ее, все шевелил пальцами в ней, то ли еще и оттого, что и весь он обогрелся у костерка. - «Максим» и патроны. Все?

- Минутку! - спохватился Стас. - А мне? Кому так сапоги и онучи, кому так ленты, кружева, ботинки. А мне?.. - он, расстегнув шинель, задрал гимнастерку. Брюки у него были все еще подпоясаны куском телефонного кабеля.

Старшина тупо посмотрел на этот кабель.

- А куда дел?

Стас изобразил широкий жест - распахнул обе руки.

- Подарил.

Старшина воспринял это как глупость.

- Кому? На кой? Кому он нужен?

- Ха-ха-ха! - вдруг захохотал Степанчик, крутя палец у виска, как будто желая просверлить его. - Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! - Степанчик просто закатывался. Он что-то хотел сказать, начинал: - Надо было... Надо было... - но докончить не мог. - Только чокнутые... Только чокнутые... - Ха-ха-ха! А еще старые солдаты! Ха-ха-ха! Я у мамки дурачок... - наклонившись, он подергал Стаса за кабель. - Я такой задался... Ха-ха-ха!

Старшина, уставившись в рожицу Степанчика, начал было тоже заражаться его весельем, старшина еще не смеялся, а только коротко выдыхал:

- Го-го-го.

- И ты хорош! - обернувшись к Андрею, Степанчик ткнул его кулаком в бок, обнял за шею, положил ему на плечо голову и, все смеясь, заявил: - Но он-то ладно, он что? Звездочет! Какой с него, с недоумка, спрос? Но ты-то! Ты-то! Ты-то, Андрюха! Ох-ох-ох! Гвардеец, у которого сваливаются штаны, а на него смотрят все народы Европы! Хо-хо-хо...

- Выйди! - приказал ротный. - Выйди-выйди. Погуляй. Приведи себя в порядок. Попей водички или наоборот.

Но развеселый Степанчик приказ выполнять не собирался.

- Не буду! Больше не буду. Честное комсомольское, тааш старший лейтенант... - Обняв Стаса за шею, наклонившись к нему, давась от смеха, он прошептал ему, но так громко, что слышали все: у того, кому ты подарил, тоже был ремень?

Андрей и Стас переглянулись. Стас сделал кислую физиономию.

- Раз! - показал Степанчик, распахнув на Андрее шинель. - Два! - он сделал вид, что выдергивает его брючный ремень. - И - в дамках. Так нет же! С себя! А еще говорят про воинскую смекалку. Да какая тут смекалка! Ха-ха-ха. Черт с ним, со звездочетом, что с него взять? Кулема же! Но ты-то, ты-то, Андрюха! - Степанчик, дотянувшись, постучал кулаком Андрею по затылку. - Тоже, оказывается, кулема. Простую вещь не сообразил. Третий год на фронте! Ха-ха-ха... Ха-ха-ха! Велика Федула... Ха-ха-ха...

- А еще с образованием! - поддержал его старшина - Го-го-го! Раструха! Старая скворешня..

- Ну, братцы! - насмешливо сказал ротный. - Ну студиозусы... Век живи, век учишь, а конец очень пессимистический...

Они со Стасом глупо переглядывались, отводили глаза. Потом Стас тоже засмеялся, а Андрей смотрел им всем в лица и был им всем рад и любил их.

«Максим» оказался не новым - из ремонта, но люфта в вертлюге не было, это означало, что пулемет не станет рассеивать больше нормы, даст хорошие попадания, а это было главным.

Проверив сальники, набив кусок ленты, Андрей опробовал приемник, приемник работал исправно, выталкивая на пол патроны. Он как будто выплевывал их через дырку-рот, который находился у него под кожухом, при стрельбе под этой дыркой быстро вырастали кучки гильз, словно это были несъедобные для пулемета кости.

- Что, не очень веришь ремонтникам? - спросил комбат. В хате, которую занимал комбат, уже хорошенько наследили. Кроме Андрея еще два пулемета получили другие роты, и в хату набилось

человек десять. Комбат, отодвинувшись в угол, сидел на краешке кровати, поглядывая на все, что тут происходило. - Почему не пришел командир роты? - спросил комбат.

- Выбирает позицию, - ответил за Андрея Стас. - Шомпола, других каких принадлежностей нет? И всего по три коробки? Маловато.

- Кое-что есть, но не полностью. Старшина, дай. Коробок только по три.

Андрей осмотрел принадлежности.

- Пойдет. Разрешите идти?

- Идите. У двери патроны. По ящику.

Так как Андрей и Стас тащили патроны, Стасу пришлось свернуть вместе с ним к ПМП. При свете далекой ракеты они различили крылечко перевязочной - столбики, поддерживающие крышу над крылечком, были перехвачены, как повязками, бинтами, - опознавательным знаком медицины.

Они втащили ящик на крыльцо, и Андрей толкнул дверь.

- Разрешите?

Склонившись у «летучей мыши», накинув шинель на плечи, у уголка чисто отмытого стола, на котором лежали кучки санпакетов, широких, прикрытых марлями бинтов, салфеток, стояли никелированные бачки с застегнутыми петлями, у стола дремала фельдшер-лейтенант, женщина не очень чтоб в летах, но уже и не очень молодая. Она сонно посмотрела на него своими маленькими бесцветными глазами, зевнула, прикрыв рот, и, не вставая, сказала:

- Разрешаю. Что, солдатик? Зацепило? Не? Тогда чего ж не спитесь?

Он объяснил, сказал насчет всех тех таблеток, которые ему пришлось проглотить, и смутился, потому что фельдшер теперь пристальней разглядывала его.

- Ну и что? Жар? Еще что, кроме жара?

Тут вошел Стас.

- Тоже больной? - испытующе спросила фельдшер. - Тоже сейчас уставившись на сапоги?

- Так это он оттого, что ему только их дали. Не налюбуется. А я не больной. Я так... - Стас сделал галантный жест. - Так сказать, с визитом вежливости.

- С переднего края и «так»? - фельдшер сделала ударение на так.

- Мы патроны несем, - объяснил Андрей. - Ящик.

- У него малярия. И кашель. Кашляет так, что, наверное, здесь было слышно. Точно, малярия. То в жар, то в холод. Я сам болел, знаю. Лечат... - завёлся было Стас, но фельдшер его осекла:

- Ты, доктор, не топчись. Зашел, так стой у двери, грейся. И помалкивай. - Стас, переступая, уже изрядно натоптал грязи. - Сними шинель, - приказала она Андрею. - Иди сюда. Так! - Она встала, потрогала его лоб, наклонила его голову к фонарю, оттянула веки и, прищурившись, посмотрела в глаза: - Так. Стой. - Она сжала губы и приподняла бровь, вспоминая: - Где же... Где же я его видела?..

Сняв шинель, пошарив на посудной полке, приспособленной под медицину, в каком-то свертке она разыскала термометр, стряхнула его и сунула Андрею пол мышки. Без шинели она казалась моложе, но и какой-то кряжистой, ширококостной, так что на её полной груди и орден Красной Звезды, и медаль «За боевые заслуги», и две нашивки за ранение смотрелись маленькими, как игрушечные.

Забрав термометр, глянув на него у лампы, она взяла с той же полки стетоскоп.

- Подними гимнастерку. Так. Дыши. Дыши. Не дыши. Так. Повернись. Дыши. Покашляй. Еще. Еще, - фельдшер приставляла к нему стетоскоп, слушала, а другой рукой придерживала его бок или поясницу. Рука фельдшера была теплой и мягкой, а стетоскоп холодным и жестким.

Пока он так вот кружился, задрал гимнастерку и рубаху, дышал-не дышал, Стас смотрел на него, надувал щеки или одними губами повторял команды фельдшера.

Конечно, все это дело казалось здесь нелепейшим - термометр, стетоскоп! Это здесь-то! Куда приволакивают (так было, Андрей знал это, так будет, Андрей (в этом не сомневался), куда приволакивают стреленных или искромсанных осколками!

- Тебе надо остаться. На несколько дней. Побывать в тепле. Хотя все кончается: ты знаешь, что ты на ногах проходил пневмонию? Воспаление легкого! Вот тут, - фельдшер ткнула ему ниже лопатки, у поясницы, где он и не думал, что есть легкие. - Знаешь? Нет? Так знай. Ты что, маленький? Почему не пришел раньше? Кончается, а если опять вспышка? Дня три, дней пять побудешь у нас. Ясно? Минутку. Не одевайся.

Фельдшер отошла к столу и, приподняв марлю, что-то брала там. Они со Стасом переглянулись, Стас вопросительно смотрел на него, и тут же разулыбался от уха до уха:

- Так сказать, без лишних сантиментов, нуждается в санаторно-курортном лечении и направляется в трехдневный фронтальной дом отдыха! Повезло тебе, Андрюха! Завидую. Будешь спать на кровати с простынями! Представляешь? Где-то лесок, домики, чистые кровати, и ничего не надо делать, как только спать и есть! Я бы...

- Выйди! Выйди, тебе говорят! - фельдшер рассердилась. Она сделала несколько шагов к Стасу, и Стас выскочил на крыльцо.

- Я не могу остаться, - решил Андрей. - Тем более сегодня. Никак не могу. Мы получили пулемет, - он говорил это, опять приподняв гимнастерку, а фельдшер смазывала его фурункулы зеленкой и залепляла марлей с мазью, обводя сначала вокруг фурункула клеолом. - Мне легче. Хотя остаться бы было неплохо. Но не сегодня. Сегодня никак. И надо еще дотащить патроны. - Об офицерских курсах он не стал ей ничего говорить, считая, что это. здесь ни в чем. Патроны действительно надо было дотащить побыстрей: он представлял себе, как ротный ждет эти патроны. Он и так задержался со



всеми этими термометрами, стетоскопами, фурункулами. Пулемет, наверное, уже установили - ротный, конечно, выбрал временную позицию, - залили в пулемет водички, кто-то занялся коробками, а патронов нет. Ротный, наверное, злился, наверное, собирал патроны у стрелков, чтобы набить ими хоть ленту. В траншее, наверное, уже все знали, что у них еще один пулемет, и все, конечно, прибородрились.

- Смотри! - согласилась фельдшер. - Смотри. - Из всех его фурункулов она вскрыла два - на шее и на животе. На шею она не пожалела бинта, а на животе налепила целую горку марли с ватой. - Зови этого, профессора.

Она обработала и Стаса, который, ежась от щекотки, подставлял ей всего себя.

- А это что! Как не стыдно! Ну, дожил ты! - фельдшер дернула Стаса за телефонный кабель.

Так как Стас сейчас же начал бы балаганить насчет общей победы и так далее - а Стас уже стал в позу для произнесения высоких фраз, - Андрей, не дав ему раскрыть рта, объяснил, что и как.

- Знаю, знаю! - подтвердила фельдшер. - Его к нам принесли. Мы тут с ним... - она махнула рукой, показывая, что дел с этим немцем было много.

- Выживет? - странно, но Стас спросил это весьма заинтересованно.

Фельдшер неопределенно пожалала плечами.

- Трудно сказать. Но вообще-то... проникающее в легкое - это еще ничего. Легкое, видимо, чуть задето. От этого, как правило, не умирают. Но касательное сложное - рассечена не просто мышца-бицепс, - рассечена локтевая артерия. Артерию тронь, а в ней кровь под давлением, щелочка, а гонит, и гонит, и гонит. Но максимум для него был сделан. Милочка его прооперировала, а Милочка из фарша может сделать руку. Она звонила, что завтра его самолетом куда-то в тыл, в спецгоспиталь.

Пошарив за печкой кочергой, фельдшер достала оттуда немецкий широкий кожаный ремень с белой пряжкой. На пряжке был вензель в виде круга со свастикой внутри и с надписью: God mit uns, что означало: «С нами бог».

- Не подойдет?

В брючные лямки такой широкий ремень не пролезал, а если бы Стас затянул брюки просто поверх них, то при движении они бы вылезали из-под ремня и все равно свалились бы.

- Нет. Благодарю. Это, - он потрогал кабель, - надежнее. Немножко грубо, неэстетично, но зато знаешь, что штаны, извините, эту часть туалета в атаке не потеряешь.

Пошоркав еще кочергой за печкой, фельдшер достала советский брючный ремень.

- Твой? Он с того немца...

- Возможно. Возвращается все на круги своя. - Стас наклонился, но ремень не брал, а отвел руки за спину: ремень был в бурых пятнах. - Спасибо, но должен отказаться. Хоть это и благородная кровь, но... Спасибо. Старшина обещал выдать завтра. Так что не трудитесь.

Швырнув оба ремня за печку, фельдшер сходила в горницу и принесла совершенно новенький ремень.

- На. Это мои. Мне тоже положено. Но я в брюках не хожу.

- И правильно делаете! - назидал ее Стас, продергивая ремень в лямки. - Зачем терять женственность? Женщина должна надевать, извините, брюки только... только для поездок верхом... Или для лыжных прогулок... Или, предположим, когда она собирается за горд по грибы... Или...

Стас смотрел на свою грудь, живот, на бока, он даже изогнулся, заглядывая через плечо на спину, - весь он был в пятнах от зеленки и марлевых наклейках.

- Как пятнистый олень! - определил он.

- Балаболка! - фельдшер шлепнула его по животу. - Одевайся! Живо! Простудишься! - Как подростку, хотя Стас возвышался над ней не только головой, но и плечами, она помогла ему натянуть рубаху и пошла к рукомоюнику. - Мальчики, мальчики... - вздохнула она, намыливая ладони. - Тут такое делается! Столько крови... - фельдшер сокрушенно покачала головой. И, помолчав, добавила:

- Бани вашей роте через два дня.

- Ура! - Стас сделал вид, что он кричит. - После бани чувствуешь себя чистым и свежим.

- Вот именно, - согласилась фельдшер.

- Особенно первые два месяца, - добавил Стас и взял с рукомоюника обмылок туалетного мыла. - Разрешите? На память.

- Ах ты неутомонный! - смеялась фельдшер. Теперь она смотрела на них, не в силах сдержать улыбку, у нее были очень белые зубы, и когда она улыбалась, ее лицо, светлея, становилось даже красивым.

- Зачем тебе? Что с него проку? На раз умыться? Дать простого?

Стас поднял руку ладонью перед собой, как бы говоря: «Минутку, минутку», достал кисет, бросил в него обмылок, потряс кисетом, открыл кисет, поднес его к носу фельдшера и дал ей понюхать. Махорка, обтершись об мыло, приобрела его запах и отдавала парфюмерией.

- Для духовитости! - объявил Стас. - Теперь ко мне со всей траншеей будут бегать - дай, мол, твоего, духовитого. Так где простое мыло?

Фельдшер дала ему щлпечатки мыла, сунула в карман его шинели два сухаря, налила каждому граммов по сто водки, которую, она, наверное, получая, не пила, а вот так раздавала то тому, то другому, достала из-за печки совершенно сухую, хотя и старенькую, телогрейку, отдала ее Андрею, сказав: «Осталась тут... После одного... Бери, бери...» - и, глядя, как они снаряжаются - затягивают ремни потуже, поправляют на них чехлы с магазинами, вешают на плечи автоматы, поглубже натягивают шапки, - стояла перед ними, скрестив, как крестьянка, на груди руки.

- Ах, мальчики, мальчики! Когда же кончится эта проклятая война? - вздохнула она.

Все трое секунды помолчали, соображая, когда же она действительно может кончиться. Война как раз набрала размах, шла во всю ширь от Северного моря до Черного, уже было много отбито у немцев, половина того, что они взяли в сорок первом и втором: от Сталинграда до Кировограда, у которого они сейчас стояли, было, поди, по птичьему полету километров восемьсот, но ведь надо было отбивать и вторую половину: Крым, Украину до конца, почти всю Белоруссию, всю Прибалтику, сбить немцев под Ленинградом, а потом идти до Германии, чтобы там добить всех тех проклятых гитлеровцев, которые еще уцелеют. На все это требовались месяцы, а может, и годы...

Фельдшер подтолкнула их к двери и, не опуская рук с их плеч, прижимая ладони к их мокрым шинелям, на секунду даже как будто повиснув у них на плечах, опираясь об эти плечи, сделала с ними вместе несколько шагов.

- Пока, мальчики. Воюйте. Да берегите себя, - она приподняла палатку, закрывавшую для светомаскировки дверь, пропустила их на крыльцо и вышла за ними. - Новгородцев, если почувствуешь себя хуже, придешь. Договорились? Темень-то какая!..

- Договорились. Пока. Спасибо. Взяли! - скомандовал Андрей Стасу, и они подняли ящик.

- Он теперь в телогрейке да в своих вездеходах как бог! - сказал Стас, опускаясь с крыльца. - Спасибо вам, доктор. Пока.

- Пока, мальчики, пока! Будьте живы! - ответила фельдшер им уже в темноту.

Они слышали, как скрипнула, а потом, притворяясь, стукнула дверь. Некоторое время они шли напряженно, потому что со свету вообще ничего не различалось, но потом приспособились к темноте и прибавили шагу.

Дождь снова закрапал, что за чертовский был этот дождь - холодный, мелкий, нудный. Такой дождь мог сыпаться и сыпаться, от него некуда было деться, постепенно человек промокал насквозь, отсыревал весь.

Правда, уже несколько раз после такого вот вечернего дождя под утро ударял морозец, грязь на дне траншеи замерзала, лужи схватывали бурые морщинистые льдинки, с хрустом ломающиеся под сапогом, на брустверах и всюду дальше за ними серебрился иней, а вымерзший воздух был не то что очень холодный, а резкий, колючий, при вдохе от этого воздуха першило в горле.

Такая погода прибавляла бодрости, если ты был сухой, но те, кто стоял в траншее и основательно намок, не очень-то бодрелись.

Плащ-палатка, замерзнув, висела на человеке колом и гремела, как железная, задеревеневшие лица приобретали сероватый цвет, губы не слушались, и люди не говорили слова, а как-то выдыхали их из себя.

Ожидая рассвета, ожидая еще до него заветной команды на завтрак, все время прислушиваясь к немецкой стороне, люди жались друг к другу, сбивались в кучки и осторожнейшим образом жгли прямо на дне траншеи крохотные костерки, настроговав в них лучинок от патронных ящиков или иной какой сухой досточки. Вокруг такого костерка, который можно было бы взять в две ладони, присев над ним, грелось несколько человек, подкладывая палочки, протягивая к нему задубевшие пальцы, наклоняясь лицом, стараясь не просто отогреть их, а через пальцы, через лицо пустить хоть немного тепла себе внутрь, где, казалось, продрогла сама душа.

Из них двоих костерок раскладывал Стас, и каждому, кто подходил к огню, он, уже чуть отогревшись, предлагал: «Дядя, дядя, скажи «тпру!» Тут, конечно, не то что «тпру!»», тут не каждый мог выговорить что-то попроще, вроде «пошел к черту!», и Стас, подвигаясь, давал места другим, укоряя: «Тоже мне, Аники-воины! Посмотрели бы на вас родные и близкие!»

Когда звезды начинали тускнеть, а небо, на востоке из черного делалось фиолетовым, костерки беспощадно гасились - их затапывали. Но можно было взять лопаткой угольки, сыпать их в немецкую противогазную коробку и, сунув ее в свою нишу, держа на бруствере автомат наготове, греть об коробку руки, стоя опять лицом к немцам.

- Ах ты леший! - выругался Стас, когда они молча добрались до околицы, стали подниматься на взгорок и вошли уже в ход сообщения. - Кажется, добавил в супчик!

- Что? - не понял Андрей. Он шел первым, развернувшись боком и держа в левой руке лямку ящика, а в правой ППШ. У Стаса же автомат был за спиной, потому что в свободной руке он нес суп. - Чего добавил?

- Что, что! Чего, чего! - сердито повторил Стас. - Масла добавил. Черпанул земли в котелок!

Суп, видимо, пропал, если так и произошло, если Стас задел котелком за стену хода сообщения и в котелок насыпалось земли.

- Выльешь? - спросил Андрей. Он спросил это механически, думая о другом. Он думал, что пулемет надо бы испробовать, выстрелить несколько хороших очередей, чтобы посмотреть, не дает ли пулемет задержки и если дает, то отчего, чтобы потом, когда немцы полезут, знать, что может быть с пулеметом. Но он понимал, что после первой же пробной очереди немцы будут знать про пулемет. Конечно, можно было бы испробовать пулемет с ложной позиции, а потом перетащить его на основную. Можно было бы пострелять и одиночными выстрелами - немцы приняли бы этот огонь за винтовочный - посмотреть, как работает приемник, отходит ли полностью рама для перезарядки, но такая проверка давала мало, она ничего не говорила о том, как будет вести себя «Максим», когда понадобится садить из него очереди по 20-30-40 выстрелов.

«Ладно, я сам его переберу. Днем, - решил Андрей. - И посмотрю ленты. Если старые, если

растрепались, могут заедать в приемнике. Надо быстрее их набить».

Он сменил руку, дернув через ящик Стаса, прибавил шагу, смело ставя ноги в оконную грязь. Сапоги держали воду, в сапогах было все так же сухо, от ходьбы ноги разогрелись, им было очень тепло и удобно, под телогрейкой тепло было и плечам и синие, так что на мокрые колени, на которые дождь подал, когда при движении распахивалась шинель и плащ-палатка, можно было не обращать внимания.

До их траншеи оставалось идти всего ничего - сотню метров, когда Андрей натолкнулся рукой на проволочный еж, который загораживал дорогу. Еж был высокий, почти вровень с краем хода сообщения, перелезть через него он не мог и остановился.

- Давай-давай, - сказал Стас. - Передых дома. Давай! - Стас толкнул его ящиком.

- Какой там передых, проволока. Вроде ее тут не было. Какому дьяволу... - Андрей поднял свой край ящика. - Придется вылезать. Толкай! Р-р-аз! - они вытолкнули ящик, Андрей, нащупав сапогом пружинистые проволоки ежа, найдя опору, ухватившись за бруствер, вылез на него. Он разогнулся и хотел уже было обернуться и подать Стасу руку, когда к нему вдруг справа и слева метнулись тени - он услышал, как хлюпнула, чавкнула под ними вода и грязь, - и он мгновенно сообразил, что тут к чему, а тут еще Стас крикнул: «Назад!» - но назад было поздно!.. Наоборот, он прыгнул вперед, дернув на ходу затвор, и от живота дал длинную очередь по этим фрицам, и в свете от пламени автомата различил на секунду еще несколько вдруг выросших как из-под земли бегущих к нему немцев, и как Стас сдергивает свой ППШ из-за спины, и как в Стаса летят сразу две гранаты, и что котелок с супом, который Стас, перед тем как вылезать, выставил на бруствер, так и стоит там, но тут кто-то со страшной силой ударил Андрея чем-то тяжелым по затылку так, что обе летевшие в Стаса гранаты взорвались у Андрея внутри глаз, и больше он ничего не видел и не слышал.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ОДИНОЧНЫЙ БОЕЦ

Кто-то лил на него воду, он чувствовал, как намочила у него голова и как вода затекает ему за воротник на спину и на грудь. Но, странно, воздух, которым он дышал, был теплый, пахнущий не то бензином, не то солидолом, не то еще чем-то нефтяным. Болел затылок, ломило, словно вывихнутое, плечо и саднило рот, как будто он пожевал колючек.

Андрей открыл глаза и, не поверив сначала, а потом ужаснувшись, плотно, до боли сжав веки, стал мысленно уговаривать себя: «Это сон. Это мне снится! Со мной не может быть такого! С кем угодно, но не со мной! Это просто кошмарный сон, я сейчас проснусь... Мне надо сейчас же проснуться!»

Его грубо ткнули в плечо так, что он упал на бок.

- Вставай! - приказали ему по-немецки.

Он открыл глаза.

Нет, это не было кошмарным сном, это была кошмарная явь: он лежал в блиндаже, где было полно фрицев.

Один из них, по виду старший офицер, сидел у металлического складного столика, на котором стояли телефоны и аккумуляторная лампа и лежали какие-то, свесившиеся со столика, схемы и карта. Офицер был в чистом мундире, под горлом у этого офицера между углами воротника был подвешен поблескивающий от лампы крест, еще один крест висел под клапаном левого кармана. Офицер был худой, с узким, клиновидным лицом и темными волосами, зачесанными на пробор. В одной руке офицер держал красный карандаш, другая его рука опиралась на карту. Он смотрел на Андрея в упор, постукивая пальцами по карте, приподняв высоко одну бровь, отчего глаз под ней казался больше другого, и в этом расширенном глазу было нетерпение и в то же время какое-то холодное спокойствие.

Еще два офицера, тоже в мундирах, поблескивающих серебром петлиц и погонов, сидели слева от того, с крестами, сидели на нарах, покрытых матрацами из серой, вроде брезента, материи. Узкая, на одного человека, кровать была за спиной офицера с крестом, видимо, там спал он, а слева от стола на нарах легко могло поместиться несколько человек, но на них там сейчас сидели два этих совершенно молодых младших офицера, у которых на мундирах не было ничего, кроме пуговиц и, как вообще у всех офицеров, фашистской эмблемы - орел держит в когтях круг со свастикой.

Офицеры сидели на краю нар, дальний от Андрея наклонился, чтобы лучше видеть его. Этот дальний был кучерявый и смуглый, а ближний коротко стрижен, совершенно рыжий, весь в веснушках и длинноносый. Они смотрели на Андрея не так, как тот, у стола, - холодно, а напряженно: нетерпеливо и с любопытством.

У угла нар, на котором лежал «шмайссер», между офицерами и Андреем стоял фриц в мокром и грязном маскировочном комбинезоне разведчиков с откинутым капюшоном. Разведчик держал ведро, он и лил на Андрея воду. Когда Андрей открыл глаза, разведчик ткнул его ногой в бок.

- Вставай! Быстро! - разведчик показал рукой. - Вставай! - отставил ведро и схватил «шмайссер».

Разведчик был одних примерно с ним лет, крепкий, широкий, как штангист, над краем капюшона видна была сильная короткая шея.

Еще один фриц, в таком же измазанном и мокром масккомбинезоне, сидел боком на скамейке у двери, зажав свой «шмайссер» между колен, и что-то - что с полу Андрей не рассмотрел - складывал в небольшой полотняный мешочек. Третий разведчик стоял по одну сторону двери, четвертый по другую, и оба они держали свои «шмайссеры» наготове. Еще один в масккомбинезоне, тоже со «шмайссером» наготове, грел бок возле гудевшей круглой чугунной печки, в которую толстозадый в полурасстегнутом мундирчике, на вид вестовой, подливал из лейки что-то вроде мазута. Сгорая, мазут раскалил печку так, что на ней полоска в три пальца светилась темно-красным цветом.

Сразу же за печкой стояла длинная скамейка, такая, какие бывают в деревенских домах возле столов, - на такую скамейку усаживается есть вся семья. На этой скамейке, свесив через торец ноги от колен, лежал долговязый разведчик, комбинезон которого был спущен до пояса. Наклонившись, с ним возились еще двое немцев - один поддерживал, а другой, доставая из распахнутой сумки с крестом бинты, перевязывал долговязого. Вся грудь долговязого была уже замотана, но кровь шла сильно, и бинты промокали тут же на глазах. Долговязый был плох - он даже не открывал глаз, а лицо его было таким белым, словно его обсыпали мукой.

Андрей, уронив голову на грудь, отчаянно подумал: «Так вот оно что! Так вот! Попался! - он выплюнул кусочек тряпки, который остался у него во рту от кляпа. - Вот тебе ПМП! И офицерские курсы. И все остальное...»

- Вставай! - повторил штангист, и в его тоне Андрей уловил не только приказ, но и ту хозяйскую нотку, с которой человек обращается к своей собственности - собаке ли, корове ли, лошади ли. Видимо, этот немец и взял его, хотя, конечно, брали его они все вшестером, переползши через траншею к ходу сообщения, закрыв его проволочным ежом и поджидая одиночку, чтобы взять «языка» и отойти с ним без шума и без потерь. Андрей знал, что брать «языка» с переднего края или из секрета перед ним почти всегда труднее, чем брать где-то чуть-чуть в тылу, где люди уже не так настороже, как в секрете или в самой первой траншее.

«Что же делать?! Что же мне делать? - мелькнуло у него в голове. - Как нелепо, как по-дурачки нелепо!..»

Штангист, наклонившись, наотмашь ударил его по лицу, ударил вроде бы слегка, но у Андрея полетели искры из глаз и страшно заломил разбитый затылок.

«Гад! - подумал он. - Сволочь!»

Поднимаясь, превозмогая боль и в затылке и в вывихнутой руке, он сделал шаг к штангисту, но тут ближний из других разведчиков ткнул стволом автомата ему в ребра, штангист теперь кулаком, ударом в подбородок, отбросил его к стенке.

Андрей опустил руки прижался спиной к стене.

«Да! - сказал он себе. - Да! Тут ты уж... Тут они из тебя котлету сделают прежде, чем ты... Надо по-другому...»

Он еще раз обвел глазами блиндаж.

Блиндаж был обустроен - плотно прикрывалась дверь, навешенная на крепкую коробку, подвязанная проволокой к потолку труба от печки, изогнутая в несколько колен, чтобы больше отдавалось тепла внутрь блиндажа, выходила в противоположном от печки углу; на стенах, на вбитых в них штырях, было несколько палок, на которых стояли бутылки, коробки, термоса, банки и всякие другие вещи и вещицы, пол покрывал толстый слой соломы, а вдоль стен, где это было видно, шла узкая глубокая канавка, в которую стекала сырость, так что пол оставался сухим. Недалеко от двери часть стены закрывал картон, прибитый точеными колышками, которые служили одновременно и вешалками. На них висели офицерские плащи, шинели, каски, бинокли, два автомата и три «парабеллума» в кобурах на ремнях.

Андрей видел такие офицерские блиндажи всегда брошенными, разоренными, ничьими, с оставленными второпях вещами или забытым хламом - пустыми бутылками, растоптанными пакетами, рассыпанными патронами, смятыми консервными жестянками. А здесь все было так обжито, что, казалось, эти фрицы намереваются провести тут годы!

«Ничего, - подумал Андрей. - И вас выбьем, сволочи!»

Офицер у телефона молчал, молчали и остальные, видимо, дожидаясь, что будет делать старший, лишь вестовой что-то буркнул штангисту и подхватил ведро. Осторожно поболтав воду, он вышел с ведром.

«Далеко ли они меня затащили? - соображал Андрей. Обычно разведчики с «языком» не задерживаются на переднем крае, а поспешно, как будто даже свои могут у них его отнять, волокут «языка» к себе. - С километр оттащили, - зло подумал он. - То-то рожи у них у всех красные... Ах, черт! Надо же было так!»

Скрипнула дверь, в блиндаж вошел офицер в шинели и, отдав честь фрицу с крестами, на что тот лишь кивнул, прошел к столу, сел сбоку него и, обернувшись к Андрею, резко спросил по-русски:

- Звание, фамилия, имя, отчество? Отвечать!

Еще раз отворилась дверь, и в блиндаж, не заходя в него, сунулось две головы фрицев с натянутыми капюшонами. Оба фрица, взглянув коротко на офицера у стола, что-то спросили штангиста, Андрей лишь уловил имя Гюнтер. Штангист, заглянув через плечо санитаров, что-то ответил им, судя по тону, что-то сердитое, повторив опять имя Гюнтер, но тут старший офицер нахмурился, и, поймав его взгляд, оба фрица в капюшонах исчезли, тихо притворив дверь. Но сначала они все-таки посмотрели на Андрея, посмотрели злобно, один даже процедил: «Швайн!!» - и Андрей догадался, что этот Гюнтер его, Андрея, крестничек.

«Где второй? - мелькнуло у него в голове. - Я и второму всадил не одну, - но эти мысли исчезли, потому что их вытеснили другие: - Что же мне делать? Что делать? Что делать? - с совершенным отчаянием думал он. - Отвечать? Молчать? Что же делать?!»

Он не представлял, что он должен сейчас, на допросе в плену, делать. Он читал в газетах и не раз слышал на политинформациях, что немцы зверски обращаются с пленными - истязают, расстреливают, морят голодом, добивают раненых. Что немцы - изверги, что они растоптали всякую человечность, попирают нормы конвенций о пленных, конвенций, которые они когда-то тоже подписали. Он сам видел возле отбитых городов лагеря, где немцы держали наших пленных, длинные могилы, где были закопаны сотни, а может быть, и тысячи погибших от голода, ран, болезней, расстрелянных или повешенных наших солдат и офицеров. Но ведь и тысячи бежали из плена, а другие многие тысячи были освобождены. И как-то же они там вели себя на допросах. Как-то же вели. Но как? Никто никогда ни ему, ни тем, с кем он служил, с кем рядом воевал, не говорил о том, что надо делать, если попадешь в плен. Сдаваться в плен было предательством, но ведь он не сдался. У него и в мыслях не было такого! Он попал в плен!

Переводчик что-то спросил старшего офицера, тот кивнул на того разведчика, который на лавке у двери возился с парусиновым мешочком, переводчик что-то приказал этому разведчику, и разведчик встал и, подойдя к столу, на его свободный угол высыпал из мешочка все, что там было: солдатскую книжку, комсомольский билет, письмо Лены, ее фотографию, кисет, «клатюшу», орден, медали, гвардейский знак и часы ротного.

Совершенно бессмысленно Андрей притронулся руками к шинели на груди - под шинелью карманы были пусты.

Вновь, как тогда, когда он открыл глаза в этом блиндаже, он задохнулся, но только теперь не стал гнать все, что увидел, как кошмарный сон - теперь не осталось ни крошки надежды на это, теперь пришли другие мысли: «Неужели конец! Неужели все? Не может быть! Нет! Нет!!»

Он даже наклонился к столу, он сделал даже движение к нему, но штангист коротко ткнул ему

кулаком в скулу, и Андрей опять ударился головой об стенку.

«Сволочь! - повторил про себя Андрей. - Фриц вонючий».

Он смотрел, как переводчик, раскрыв его солдатскую книжку, вынул все удостоверения на его награды, справки о ранениях, мельком глянул на них, отложил и пробежал глазами странички книжки.

- Звание, фамилия, имя, отчество? - повторил переводчик, хотя это ему было ясно из книжки. - Отвечать немедленно!

Переводчик был толстым пожилым немцем с надменной физиономией и водянистыми глазами, в них не выражалось ничего, кроме равнодушия ко всему.

«Что же делать?! Что делать?!» - крикнул мысленно Андрей. Запираться? Так и идиот же теперь сообразит, что у него в карманах были его документы. Письма для него. И фотография его девушки. Звание нашито на погонах!

- Новгородцев. Андрей. Васильевич. Старший сержант, - ответил он глухо и все-таки опять ужаснулся, потому что его голос снова подтверждал, что все это трижды проклятая действительность и он не видел и намека на выход из нее.

Все немцы задвигались - офицеры на нарах приподнялись повыше, один даже встал рядом с краем, вынул сигарету, чиркнул зажигалкой, пустил дым и с любопытством смотрел на Андрея в упор, как бы ожидая от него очень интересных лично для себя рассказов. Разведчики затоптались, подвинулись ближе, а вестовой, обтерев руку об руку, застегнул на мундире пуговицы.

«Ну а дальше что, ну а дальше? - лихорадочно думал Андрей. - Запираться? Запираться, и все? Так запираться? Запираться, и все! - решил он. - Бить сволочи будут... - это тоже он решил, но тут же уточнил это решение: - Но не долго и не до смерти: я им нужен живой. Там, в их штабе... Иначе на кой они лезли за мной...»

И он мысленно как бы полетел от блиндажа в неопределенный немецкий тыл, в неопределенный немецкий штаб, сообразив, что блиндаж и допрос в нем - дело временное, так как не солдаты этого офицера с крестами брали его, а разведчики, видимо, полковые или даже дивизионные, что разведчики затащили его сюда по пути, чтобы оказать помощь их Гюнтеру и ему, и, может быть, ему в первую очередь, чтобы он не сдох. Сейчас он был для них дорожке Гюнтера: сдохни он, а не Гюнтер, и их задание было бы не выполнено, да еще потери, а сдохни Гюнтер и останься живой он, задание считалось бы выполненным, а потери... Что ж, без потерь на войне не бывает, потери - дело второе, первое дело - задание. Разведчики даже не должны были особо задерживаться в этом блиндаже, он не раз видел, как, возвращаясь из разведки, наши разведчики почти бегом уходили с переднего края, волоча за собой «языка», подталкивая его, а если «язык» был при захвате ранен, то помогая ему быстро идти или бежать. Если же «язык» был ранен серьезно, то разведчики несли его на шинели или плащ-палатке, или кто-то тащил его у себя на хребте.

Видимо, пока фрицы разведчики тащили его от переднего края в свой тыл, он все не приходил в сознание, и они боялись, что он может отдать концы у них на руках, и затащили его в этот блиндаж, чтобы что-то сделать, чтобы он пришел в себя.

Но этот офицер с крестами, конечно, как всякий офицер на переднем крае, хотел воспользоваться такой возможностью и хоть что-то да узнать от «языка», взятого у противника, который стоял против его позиции. Что ж, пока они возились с Гюнтером, пока еще разведчики могли задержаться, офицер и хотел что-то выведать от него.

«Черта лысого тебе! - решил Андрей. - В вашем штабе я нужен живой... Но бить все-таки будут. Гадь!»

- Какой дивизии! Полк, батальон, рота! - приказал переводчик. Раскрыв перед собой широкий блокнот, быстро записав в него ответ на первый вопрос, он готов был писать дальше.

«Сказать, что не знаю. - решил Андрей. - Что только прибыл на пополнение. Что вчера ночью прибыл на пополнение и знаю лишь командира взвода, да и то в лицо, и что он лейтенант. Мол, ночью выдвигались из второго эшелона, где-то нас разбили по ротам, потом прямо в траншею. А день проспал, ни с кем особо не говорил, не успел спросить, что за часть, куда попал. А до этого шел с маршевой ротой и куда шел - не знаю. Как все. Потому что солдату не говорят, куда его ведут или везут. Начальство знает и ладно».

«Чепуха! - оборвал он себя. - Так они тебе и поверят! Так они тебе поверили. Нашел дураков! Нашел мальчиков! Да по одному твоему потрепанному виду каждый догадается, сколько ты на переднем крае. Это они, сволочи, недавно...»

- Новгородцев. Сержант Андрей Новгородцев, - повторил он, выигрывая время и предавая еще раз себя, только себя, но никого больше, и острей посмотрел на блиндаж и на немцев, ища подтверждения мелькнувшей только в это мгновение мысли, что эти немцы недавно, совсем недавно на переднем крае, значит, сменили других, а это могло быть не известно нашим и могло представить для командования важную новость.

Все подтверждало его мысль, что эти немцы недавно на переднем крае: их еще довольно чистый вид - сами офицеры были ухожены: хотя и помятые, офицерские плащи не были потрепаны; шинели выглядели даже еще новей, новым казался и мундир денщика: карманы мундира не отдувались, не отписали, прилепали к нему свежо, не выгоревшие, не затерто смотрелся фашистский вензель на всех их

мундирах, поблескивали лаком ремни, поблескивало лаком и ложе винтовки, прислоненной к стене с краю от вешалки, видимо, денщиковой винтовки, карта на столе сохраняла упругость и, лишь сломленная на сгибах, не потерлась там, отсвечивая глянецом от падавшего на нее света из аккумуляторной лампы. Отсвечивал почти не поджаренный термос, термос стоял в метре от стола, и Андрей хорошо заметил, что ляжки термоса не захватаны и не скручиваются, и сам блиндаж еще был свеж, почти не закопчен, а в углу, недалеко от печки, сложенные в ровную кучечку, лежали белые щепки, видимо, подобранные при постройке блиндажа и сохраняемые денщиком на растопку.

«Значит, недавно рыли, а раз рыли, значит, тех блиндажей, что остались после сменной части, оказалось мало, значит, это, судя по всему, новая часть, более полная, более боеспособная», - решил Андрей. На все эти мысли ушли лишь крохи секунд, мысли не сбивались, не меняли друг друга, а вспыхивали одновременно, на все мысли ушло лишь то время, в которое он остро взглянул на блиндаж и немцев. «Но что мне делать?!» - кто-то крикнул в нем.

- Ты!.. Ты!.. - возмутился переводчик и зло прищурился, как бы отыскивая подходящее злое же продолжение, и немец-штангист, уловив его тон, поняв его как команду приготовиться, сделал шаг к Андрею и стал так, чтобы было удобнее бить. Остальные разведчики тоже приготовились, наклонились, а один из них даже посмотрел, куда ему пристроить «шмайссер», чтобы иметь обе руки свободными.

«Черт с ним! - Андрей сжался, напрягся. - Сразу на пол. На живот. Или я дам одному. А ногой второму! - решил он. - Не забьют. Я им еще ничего не сказал! Я им нужен! Сволочи!»

Старший офицер грифелем карандаша пошевелил награды Андрея так, что все они легли в ряд, так, чтобы первым в ряду оказался орден, и начал говорить, а переводчик тут же переводил.

- Скажите ему, что если он будет хорошо отвечать, он получит шнапс и махорку. Скажите, что война для него кончилась. - Офицер перевернул орден, наклонив голову набок, прочел его номер и опять перевернул орден.

Тот офицер, который курил, наклонился так, чтобы лучше видеть, и с любопытством посмотрел на медали, а орден, взяв за уголок знамени, поднес поближе. Второй офицер тоже наклонился к столу. Оба они были молодыми еще, на их мундирах, кроме фашистской эмблемы, ничего не было, ничего не было и на мундире денщика, и это тоже подтверждало, что все они недавно на фронте, так как ничего еще, ни одного креста, не успели заслужить.

Теперь Андрей рассмотрел, что у старшего офицера чистый, без их немецких, четырехгранных звездочек-пирамидок погон, но серебро на нем было витое, и это означало, что офицер - майор. У одного из двух молодых офицеров тоже был чистый погон, но с простым, прямым шитьем серебром, что означало, что этот офицер лейтенант, а другой молодой офицер был обер-лейтенантом, так как у него на погоне была одна пирамидка.

«Кончилась! - повторил себе Андрей, когда переводчик перевел ему. - За шнапс и махорку! Вот это цена...»

Он покосился на разведчиков - не рвануть ли у одного из них, у того же штангиста, «шмайссер», чтобы полоснуть их всех тут длиннющей очередью так, чтобы они закорчились прямо на своих местах - разведчики и денщик у дверей, переводчик прямо на табуретке, а офицеры возле стола. Но разведчики были не дураки, разведчики ждали и такого варианта, они бы могли при первом же его движении, всадить в него по полдюжине пуль - Андрей заметил, как угрожающе лег палец штангиста на спусковой крючок и как напрягся на нем - но они бы, конечно, даже не стали стрелять: он был их добычей, их «языком». Даром, что ли, они лезли за ним через передний край, лежали в грязи, поджидая этого «языка», когда вокруг были русские, даром, что ли, они рисковали не только самим стать «языками», но рисковали подохнуть от очереди из ППШ. А он еще не сказал им практически ни слова, не сделал ни крошки того, ради чего они и лазили через передний край. Нет, смысла убивать его для них не было. Рванись он к ним, они бы мгновенно упали на него, сшибли на пол, избili бы и как следует затоптали сапогами. Рванись он к переводчику за «парабеллумом», штангист и остальные упали бы на него сразу, и все бы было также, разве что с ма-лым отличиями. Что он мог сделать сейчас? Один против десятерых, против вооруженных здоровых десятерых фрицев, безоружный, избитый, почти отчаявшийся?..

Смени по волшебству все наоборот, перенеси судьба его через передний край в наш блиндаж, поставь с автоматом за спиной хоть этого штангиста, тоже безоружного, тоже с разбитой, раскровавленной головой, дал бы он этому фрицу вырвать у себя ППШ? Черта с два! Черта с два! И штангист черта с два даст ему это сделать!

«Но что-то надо же делать!» - крикнул он себе.

- Шнапс? Махорку? - переспросил он, не давая включиться переводчику, а подключая к разговору майора, к разговору не по существу допроса.

- Да! - подтвердил майор и развернул хорошенько карту и взгляделся в нее. Он опять начал говорить, а переводчик переводил:

- Где и какие огневые точки находятся на этом участке? Где позиции артиллерии? Где штаб батальона? Где штаб полка? Где проходят линии связи между полком и батальоном? И пусть он не врет, он старый солдат, он должен уметь читать карту. И пусть он не врет, скажи ему, скажите, что многие огневые точки мне известны, и если он соврет, я его поймаю, и тогда ему будет не шнапс и махорка, а будет плохо, - предупреждал майор.

Пока переводчик переводил ему все это, он сообразил, что этого майора интересует участок против

его батальона, что майор хочет пополнить сведения о противостоящем ему противнике, полученные от того командира, которого он сменил. Приподняв голову и сделав два небольших спокойных шага к столу, Андрей различил на карте кривую жирную линию с частыми усиками, обозначающую передний край, и за ней значки наших огневых точек. Значков было немало, и от них у него защемило сердце - там были, там, под этими значками, были свои! Он даже увидел их - и пулеметчиков, и пэтээровцев, и артиллеристов - он увидел их серые, измазанные глиной, прожженные шинели, шапки-ушанки, повидавшие не один дождь, не один мокрый снег, верно служившие и для того, чтобы их носить, и как подушка, и как емкость, куда, перед тем как рассовать по карманам, солдат получает сухари.

- Комм! - приказал ему майор, и переводчик встал и тоже подошел к карте и приготовился, глядя на него, переводить. Оба они смотрели на него, но если переводчик смотрел зло и в то же время довольно, то майор смотрел, чуть сощурившись, выжидательно-напряженно, как бы одновременно веря, что он скажет им, всем этим фрицам, что-то нужное им, полезное, но вредное для всех тех в серых шинелях, обмотках, замызганных шапках, и в то же время, как бы сомневаясь, что получит от него эти сведения за такую дешевку, как кружка шнапса и горсть махры.

Второй молодой офицер - лейтенант - взял его комсомольский билет и, раскрыв, с интересом рассматривал. Что ж, ему было, наверное, и правда сейчас интересно: он мог читать хоть цифры, если все слова он читать не мог, то цифры, конечно, понимал, а цифры были - год и день рождения, год и день выдачи билета, он мог прочесть и название города: Москва, он мог понять и странички с отметкой о членских взносах, он мог рассмотреть и его фотографию в штатском: на ней Андрей-девятиклассник нахмуренно уставился прямо в объектив, стараясь не сморгнуть, пока фотограф не закроет объектив колпачком. На Андрее там его первый двубортный пиджак, на ворот которого выпущен отложной воротничок сорочки.

- Комсомол! - полупрезрительно, но и полудивленно сказал лейтенант и уставился на Андрея, а потом снова заглянул в билет, как если бы сверяя фотографию и его личность.

Майор покосился на молодых офицеров, и оба они положили и билет, и орден и отодвинулись от стола, один из них пыхнул презрительно перед собой дымом, как бы отгораживаясь этим дымом от Андрея.

То ли от этого дыма, то ли оттого, что Андрей немного отошел, ему захотелось курить. Он проглотил слюну и, посмотрев в лицо майору, показал пальцем на кисет. Они встретились взглядами, майор кивнул, Андрей тоже кивнул, успев сейчас с близкого расстояния заметить, что у этого офицера с крестами оба уха как будто сверху откусаны и что на руке, в которой он держал карандаш, нет последних фаланг на трех пальцах.

- Так, - сказал Андрей, чтобы что-то сказать, свертывая папироску. В Зинином кисете спичек уже не было, они истратились на костерки, и он, взяв со стола свою «катушу», прикурил от нее.

Майор терпеливо ждал эту минуту ради тех сведений, которые он хотел получить от него, майору пришлось и потерпеть такую минуту, переводчик ерзал на стульчике, а молодые офицеры опять с любопытством смотрели, как он рвет верхнюю полоску от сложенной в гармошку газеты, как слюнявит, чтобы не расклеилась, папироску, как действует «катушей». Им, конечно, это было интересно, они даже что-то сказали друг другу, но Андрей не понял что, он разобрал лишь одно слово «технише». «Технише» относилось явно к «катуше», которая состояла из хлопчатобумажной веревочки-трута, втиснутого в патрон с обрезанным доньшком. Обугленный конец трута прикрывался у торца патрона пуговицей от гимнастерки, привязанной к труту суровой ниткой и пропущенной через патрон. Стоило потянуть за пуговицу, и трут выходил из патрона. Положив обугленный конец на кремешек, надо было чиркнуть по кремешку кусочком стали - кресалом, от этого из кремня летели искры, они и зажигали трут. Чуть подув на него или помахав им, чтоб он лучше разгорелся, от него можно было прикурить и даже поджечь сухую тонкую бумажку. После этого надо было потянуть за конец веревочки, трут уходил в глубь патрона, гас там, а пуговица, как крышечка, прикрывала трут до следующего раза. «Катушу» можно было зажечь и в дождь, нагнувшись над ней, и в ветер, причем, на ветру она загоралась еще быстрее. В окопах «катуша» была незаменима, она не сырела так, как спички, не нуждалась ни в бензине, ни в камешках, как зажигалка.

- Так, - еще раз сказал Андрей, затягиваясь и как бы между прочим засовывая в карман и кисет, и «катушу». Запах махорки, перебив запах тлевшей веревочки, как будто ударил его в сердце, напомнив о своих, и у него защемило душу, на душе сейчас было больше кровоподтеков и ран, чем на всем его теле. Все в нем содрогнулось, потом сжалось, закаменело, он прошептал:

- Как же так? За что? Как же так?

Немец-штангист, стоя у него за спиной так, что он чувствовал его дыхание на шее, хотел было перехватить у него кисет и «катушу», когда он совал их в карманы, но Андрей дернулся, сунул глубоко руки в карманы, и, так как немцу-штангисту бросился помогать еще один разведчик, он крикнул переводчику:

- Скажи им, что они дешевки! Что табак не трофей! Скажи, что они крохоборы и гады!

Все решил майор: он поднял карандаш, и оба фрица отстали. Теперь, после этой победы, ему стало легче, он был не один, с ним была девочка Зина Светаева из седьмого класса иркутской школы.

- Где проходит оборона твоей роты? Сколько человек в роте? Какое тяжелое оружие в твоей роте? Сколько офицеров в твоей роте? - быстро спросил майор и переводчик так же быстро перевел.

Это были примитивные вопросы, но майор, конечно, знал, что именно на эти вопросы может быть дан самый точный ответ. Что мог знать солдат или сержант-пехотинец? Только то, что видел сам, а вся



его жизнь в траншее ограничивалась участком его роты. Плюс еще те куски траншеи, которые занимали справа и слева другие роты, но таи он не бывал, ему там нечего было делать, просто так шляться туда было ни к чему. Такие самостоятельные прогулки к соседям не только не поощрялись, а и запрещались. Солдат должен был всегда находиться на месте, отсутствие его на месте считалось самовольной отлучкой, самовольная отлучка свыше двух часов по закону превращалась в дезертирство, за дезертирство из части, находящейся в тылу, дезертир шел по суду на десять лет с отправкой на фронт в штрафбат, за дезертирство в боевых условиях дезертиру полагался и расстрел. Поэтому солдаты не очень-то отлучались из своих рот, а если отлучались, то недалеко и ненадолго - к земляку, или дружку, или еще зачем-то и, конечно, обстановку за пределами роты знали мало. А многие вообще ничего не знали.

- Деревня Малиновка, деревня Васильевка. Тебя взяли здесь, - сориентировал его майор, показывая карандашом, где Малиновка, где Васильевка, где его взяли, помогая ему лучше, точнее показать на карте, где располагается его рота.

Покажи он, где проходит их траншея, этот фриц с крестами приказал бы показать, где стоят пулеметы, где окоп пэтээровцев, где, если он знает, окопы пулеметов и ПТР в соседних ротах. Потом - что он видел в ротном тылу? Нет ли там минометных позиций, пушек ПТО, а если есть, то где, нет ли мин перед передним краем, а если их ставили саперы, то какие мины - противопехотные или противотанковые? Потом бы этот майор перешел к вопросам насчет батальона: сколько рот, есть ли в батальоне свои пушки и минометы, есть ли взвод автоматчиков, где находится КП батальона, сколько в батальоне офицеров и так далее.

- Ты все это знаешь. Ты старый солдат, - продолжал майор. - Не ври. Отвечай. И для тебя война кончилась, - опять пообещал он. - Лояльных пленных у нас не расстреливают. Будешь работать, и все. Ждать конца войны. С тебя хватит. - Он показал карандашом на его награды.

Было ясно, куда гнет майор, майор понимал, что если Андрей согласится с ним и что-то скажет, то сказанное будет достоверным. Но, видимо, этот повоевавший уже фриц понимал и другое, понимал, что из него ни черта не выбьют.

Майор притронулся карандашом к медали «За боевые заслуги».

- Где? Когда?

Ну, на такие вопросы он мог и готов был отвечать, они занимали время, а время работало на него: разведчики вот-вот должны были уходить, он это чувствовал, видя, как они переминаются на своих местах, как поглядывают на Гюнтера, которого заканчивали перевязывать и которому всадили два укола - один в плечо, а другой куда-то под лопатку. Но это Гюнтеру ни черта не помогало, Гюнтер был очень плох. Гюнтер доходил, он так и не открывал глаз, а когда его перевернули после укола грудью вверх, то та кровавая пена, которая все время пузырилась у него на губах, пошла особенно сильно, ее не успевали стирать.

- За Москву. В сорок первом.

Да, он начал войну в сорок первом под Москвой, добровольцем, в лыжной разведдиверсионной группе...

Майор трогал карандашом все по порядку, и Андрей по порядку же отвечал:

- За Сталинград. За Курскую дугу.

Оба лейтенанта как будто безучастно уселись на нарах, вроде бы потеряв теперь к нему интерес, вроде бы эта часть разговора их не касалась, майор тоже как будто потускнел, словно бы вдруг обнаружив, что сделал что-то не то, но вот штангист его ответы воспринял иначе - он опять приблизился к нему так, что Андрей слышал, как он дышит у него за спиной, и второй разведчик, который помогал штангисту отнимать кисет и «катышу», тоже снова стал поближе.

Он все про себя решил, колебаться ему теперь было нечего, все стало на свои места, правда, оттого, что он решил именно так, оттого, что колебаться было нечего, он весь как бы налился холодной водой, так стью было в нем во всем, так заглушенно, как то ли под этой водой, то ли за какой-то стенкой билось его сердце, - в некоторые секунды ему казалось, что это сердце вообще не его, а черт знает даже чье, но все это не имело теперь почти никакого значения, не играло никакой роли.

- А это? - он показал себе на шинель там, где примерно у майора находилась вторая сверху пуговица мундира с лентой, выходящей из-за борта и пристегнутой к этой пуговице, и кивнул потом на грудь майора: - За Москву? - Майор не ответил, и он показал на горло, даже приподняв подбородок, как если бы у него тоже висел там крест: - Сталинград? - Майор опять не ответил, и тогда он провел ладонью по пальцам другой руки, как бы отсекая от них крайние фаланги и прикоснулся к ушам, повторив: - Сталинград?

Он думал, что этот майор именно там потерял, отморожив, часть пальцев и верхушки ушей. И он хотел, чтобы майор вспомнил все это, конечно, майор не раз вспоминал Сталинград. Он, наверное, тоже видел тысячи убитых фрицев, замерзших в разных позах, разбросанных всюду - и у Питомника, и у Гумрака, и у окраин города. Если этот майор с крестами был в Сталинграде, он, может быть, видел и как брели к городу, чтобы спрятаться в его подвалах и хоть немного обогреться, тысячи, тысячи раненых и обмороженных немцев, которых потом, когда все там было кончено, в товарняках отправляли куда-то в тыл. Нет, последнего, пожалуй, этот майор видеть не мог, иначе его бы не было в блиндаже сейчас, но тысячи мерзлых кукол на снегу видел, как видел и тысячи, тысячи раненых, бредущих к Сталинграду. Сколько из них падало и не поднималось, превращаясь тоже в ледяные куклы? Ведь потом, чтобы похоронить те сто пятьдесят тысяч убитых в сталинградском котле немцев,

снаряжались целые батальоны. И хоронили фрицев до весны, торопясь, чтобы с приходом тепла не пошла от них зараза.

Вот он и хотел напомнить этому майору про Сталинград, лишний раз заставить вспомнить о Сталинграде. Это могло быть похлеще, чем просто ударить майора.

Майор ничего не ответил, но посмотрел на переводчика, и переводчик рявкнул на него:

- Отвечать! Немедленно!

Но тут застонал Гюнтер, один из разведчиков выскочил из блиндажа и сразу же появился в нем с теми двумя, которые заглядывали. Эта пара втащила и носилки, и Гюнтера положили на носилки, пара подхватила их и понесла к выходу, причем вестовой с готовностью открыл перед носилками дверь, как бы даже радуясь, что блиндаж освобождается от ненужных в нем людей. Гюнтер был плох, Гюнтер совсем был плох, хуже некуда, он все пускал кровавые пузыри, что-то бормоча в бреду.

Все проводили его взглядом, а когда носилки прошли через дверь, когда дверь вестовой захлопнул, все повернулись к Андрею.

- Оборона твоей роты! - приказал майор и уставился на него, а переводчик перевел, сохраняя тон майора, более жесткий, как бы показывая, что минутное отступление, разговор о нем, как о старом солдате, - кончился, что допрос есть допрос.

Тут немец-лейтенант вдруг заинтересовался часами ротного. Он взял их, повертел и, конечно же, прочел: «Dem Geliebten von der Liebenden», увидел, как две узкие изящные ладони держат сердце. Он показал надпись и рисунок обер-лейтенанту и майору, обер-лейтенант, прочитав надпись, задвигал желваками, а майор только сильнее вздернул левую бровь.

Медики сложили свое хозяйство и, козырнув офицерам, ушли.

Но майор все еще не хотел расставаться с надеждой получить от него сведения. Он приподнял подбородок, глядя теперь не в глаза Андрею, а поверх его головы, в верхний угол блиндажа.

- Позиция роты! - повторил переводчик все тот же вопрос и задал новый: - Сколько в роте людей?

«Сейчас они меня должны уводить...» - подбодрил себя Андрей. Он сделал последнюю затяжку, уже обжигая губы, бросил окурочек к печке, тут майор положил карандаш, отступил на шаг от стола, сел на край кровати, как бы говоря, что больше не намерен заниматься пустым делом, а фриц-штангист ударил чем-то жестким и узким, как ребро доски, Андрея по шее, как раз над воротником.

У него потемнело в глазах, шея мгновенно налилась болью, он даже присел, но потом, крикнув: «Гад!» - бросился на штангиста, успел дать ему в морду, но штангист и второй фриц, который все время был рядом, а потом и двое других, подскочивших к нему, сбили его на пол и, пиная сапогами, не давали подняться. Они оттащили его от стола на то место, где он очнулся, и били его там еще сколько-то, норовя сапогом попасть в лицо, в пах или в живот. Он, скорчившись, лежал на полу, на соломе, забрызганной его кровью.

«Ладно, - подумал он, когда боль в нем, во всех тех местах, куда они попали сапогами, притихла. - Ладно. Мало я вас стрелял, но, может быть, мне повезет, и тогда я постараюсь все наверстать!..»

Он за секунду вспомнил тех немцев, которые падали под его выстрелами и на Западном фронте в сорок первом, и на Донском в сорок втором, и на Степном в этом году, и до Днепра, и после Днепра.

«Не так мало. Даже очень немало, - утешил он себя. - Но и немало я мазал, - подумал он с сожалением и упреком к себе. - А теперь влопался! Сдохнуть же можно! - как крикнул он себе. - Сдохнуть, как собака! И никто никогда, никогда не узнает...»

Зазвонил телефон. Майор поговорил в трубку. Из его разговора Андрей ничего не понял, но разведчики засуетились и стали натягивать капюшоны на головы. Один из них опять сложил его документы и награды в холщовый мешочек, и Андрей тоже должен был готовиться идти. Он приподнялся, сел, посмотрел вокруг себя, ища шапку, дотянулся до нее, а когда штангист скомандовал ему: «Вставай!», он, вставая, поднял и ремень, к которому на ляжке с карабинчиком был пристегнут котелок.

Он подпоясался, натянул поглубже шапку, и тут вестовой, покосившись на майора, который не смотрел сейчас сюда, что-то говоря лейтенантам, тут вестовой толчком сапога подшвырнул ему его перчатки. Он поднял их. Майор все говорил что-то офицерам, они сдержанно кивали, соглашаясь и время от времени посматривая на него, как на предмет, о котором идет разговор.

Андрей натянул перчатки и сплюнул стусток набежавшей в рот крови. Стусток упал на солому, и Андрей подумал: «Бежать! Бежать!» Приказал он себе: «Бежать! Бежать! Бежать!»

Его повернули спиной к столу, и штангист и еще один фриц, заломив ему руки назад, связали их - кисти к кисти так, что веревка врезалась ему в кожу, так, что у веревки остался конец метра полтора, который штангист взял себе.

Майор что-то сказал фрицам-разведчикам, они что-то все ему ответили, может быть, майор поздравил их с добычей и пожелал им дальнейших успехов, а они заверили его, что будут стараться и дальше действовать так же, а может быть, они говорили что-то другое, потом фрицы-разведчики отдали ему честь, майор и лейтенанты кивнули им, вестовой пошел к двери, два фрица пошли за ним, штангист толкнул Андрея в спину, он тоже пошел к двери, но, пока два фрица проходили через нее, он обернулся и посмотрел сначала на майора, а потом на офицеров, показал глазами на пол, а чтобы они лучше поняли его, еще стукнул носком в землю и сказал:

- Кировград!

Он бы мог добавить еще что-нибудь, но не хотел злить штангиста: со связанными руками не очень-то защитишь даже физиономию, поэтому он больше ничего и не добавил, полагая, что «Кировград»

напомнит им его же слова: «Москва», «Сталинград», и они поймут, что они, то есть немцы, там, под Москвой, под самой Москвой и в Сталинграде были, а теперь их там нет, если не считать покойников, что теперь они уже под Кировоградом, то есть отступают, то есть все время отступают, и отступают, и отступают, и никогда уже не смогут зацепиться надолго, а что это означало для них, эти офицерики и майор могли, считал он, догадаться сами.

Штангист ткнул стволом автомата ему в хребет, и он прошел мимо вестового, чуть кивнув ему, считая, что если вестовой не просто хотел избавиться от перчаток как от лишнего, то этот кивок он поймет, а если вестовой просто тоже сволочь, то черт с ним с этим кивком. Но не подтолкни вестовой ему перчатки, он бы и не взял их, ему было не до перчаток. Но не взять их было бы тоже глупо - черт знает, что его ожидало, а ему нужны были непомороженные руки.

Они шли ходко - штангист то и дело подталкивал его стволом в хребет, но ему трудно было поспевать за идущими впереди фрицами, потому что он ослаб от побоев и еще потому, что они все дальше уходили к немцам в тыл.

Он то и дело оборачивался, он смотрел через плечо на вспышки далеких ракет, и он делал это не только потому, что старался определить расстояние до переднего края, но больше потому, что теперь у него так щемила, так болела душа, что по сравнению с болью от тычков автоматом в хребет и от пинков, которые ему, поторапливая, поддавал штангист, эта боль была куда громадней.

Одни ракеты, взлетев, повиснув на мгновение в высшей точке, падали, догорая, другие, взлетев, снижаясь на парашютах, медленно двигались по ветру, до всех этих ракет, как и до редких, слишком высоко пущенных трассирующих пуль было не так уж далеко. Исчезни немцы или отпусти они его, и он бы добежал до этих ракет, несмотря на боль, добежал бы не останавливаясь, не передыхая, но немцы, конечно, исчезнуть не могли, тем более не могли они его отпустить, и надо было шагать среди них, скорбя, печалась, представляя себе своих знакомых и не знакомых, но своих, своих, своих...

Немцы шли почти не переговариваясь, так изредка кто-то из них бросал фразу-другую, кто-то так же коротко отвечал, немцы шли, все прибавляя ходу, наверное, потому, что разогрелись, разошлись, а может быть, и потому, что торопились до места.

Когда они вышли на какую-то дорогу, им то и дело начали попадаться другие немцы, больше идущие навстречу, это были группы, и целые взводы, и целые роты: по покашливанию, бряцанию оружия, снаряжения, по общему звуку, который получался, когда десятки сапог одновременно хлюпали по дороге, можно было определить примерное число встречавшихся немцев. Попадались им и пушки, их везли тяжелые битюги, битюги всхрапывали, скользя на подъямах. Им попало и несколько одиночных машин, но что они везли, в темноте не виднелось, машины ехали, конечно, без фар, лишь на секунды включая синие подфарники. Один раз их остановили. Человек десять фрицев в толстых плащах, в касках задержали их у наспех сделанного шлагбаума. Старший из фрицев разведчиков что-то ответил на вопрос старшего из тех, кто был у шлагбаума, и их пропустили сбоку его, но еще прежде этот старший из фрицевских постовых осветил их всех фонариком с узким лучом, задержав свет на Андрее на несколько секунд.

Фрицы обменялись несколькими фразами, кто-то из них коротко засмеялся, старший постовой несколько раз сказал: «Гут. Гут. Гут», - в общем, было ясно, что и тут фрицев-разведчиков поздравили с «языком», и Андрей стиснул зубы от злости, отчаяния и бессилия. Кто-то из разведчиков помянул, проходя у шлагбаума, Гюнтера, постовые что-то ответили, но что, конечно, было непонятно.

За **КПП**<sup>1</sup> была опять та же раскисшая дорога, те же пешие фрицы, артиллеристы, в одном месте фрицы-артиллеристы ругались, освобождая запутавшуюся в постромках лошадь, еще попала им съехавшая в кювет и застрявшая там машина, над которой билось десятка полтора пехотинцев, шофер жал на газ, ревел натужно мотор, кто-то что-то командовал, видимо: «Раз-два, взяли! Еще взяли! Еще дружно! Раз-два, взяли!» - но машина, наверное, расколовив под колесами глину, сев на ось, повиснув теперь колесами над кюветом, не хотела из него выходить.

<sup>1</sup>**КПП - контрольно-пропускной пункт.**

В общем, все было, как и бывает ночью в прифронтовом тылу, только разница заключалась в том, что тыл-то был фрицевский, тыл-то был фрицевский. Тыл-то был фрицевский!..

Андрей шагал, низко опустив голову, механически переставляя ноги, не чувствуя врезавшуюся в кисти веревку, повторяя про себя, как сумасшедший, одно и то же слово: «Бежать! Бежать! Бежать! Бежать! Бежать!»

Гюнтера они догнали уже в деревне. Но сначала они догнали других разведчиков, с другим «Гюнтером». Этого Гюнтера, этого второго его крестника, несли на плащ-палатке другие разведчики, держа провисшую между ними плащ-палатку за ее углы, и Андрей сначала подумал, что не то Гюнтера зачем-то переложили в нее из носилок, не то Гюнтер умер, и они отослали носилки, позаимствованные у медиков батальона, которым командовал майор с крестами. Но он потом догадался, что это его второй крестник, и что ему он всадил очередь удачнее, чем Гюнтеру, и что тащат его посменно разведчики из группы обеспечения.

Видимо, пока Гюнтера перевязывали и кололи и пока Андрея отливали водой и потом допрашивали, группа обеспечения ждала где-то рядом с блиндажом, а этот второй Гюнтер, которого они вытащили убитым, лежал, ожидая, когда его понесут в тыл, чтобы предъявить начальству, как доказательство того, что этот, второй Гюнтер, не попал к русским в плен, а при захвате «языка» был

убит. Насколько Андрей знал, для разведчиков было делом обязательным вытащить с собой не только раненых, но и убитых, именно как доказательство того, что никто из разведчиков сам не стал «языком» для противника.

Видимо, по общей для всех разведчиков команде, группа обеспечения понесла этого второго Гюнтера, но отстала от тех, кто нес носилки, потому что те, кто нес носилки, все-таки торопились, считая, что Гюнтера могут спасти где-то: то ли в их санбате, то ли в ближайшем ППГ, а тем, кто нес палатку, торопиться особо было нечего. Вот они и отстали, и их нагнали те, кто вел Андрея, и когда все фрицы опять оказались вместе, то кто-то из группы обеспечения дал Андрею пинка, а еще кто-то дал сильно в скулу. Видимо, били его те, кто был дружен с этим вторым Гюнтером, которого он уложил наповал.

Стало чуть светлее, потому что немного вылезло, - дождь перестал, и из части неба ветер тучи выдул; кто там лежал в плащ-палатке, не виделось, но что в этой провисшей к коленям тех, кто ее нес, палатке лежит человек, Андрей различил хорошо: его провели в полуметре от фрицев с палаткой, и вот тут-то ему и дали пинка и в скулу.

У околицы деревни резко запахло бензином, и, по мере того как они шли дальше по улице, бензином пахло сильнее и сильнее, потому что вся деревня была набита танками, самоходками, бронетранспортерами, поставленными вплотную к домам, в палисадники, возле сараев, на огородах. В случайном свете, да еще под масксетями тела танков и других машин не имели четких очертаний, их темные тени лишь угадывались, но всех их на таком расстоянии выдавал запах горячего и остывающего металла.

Деревня была набита всей этой техникой, и Андрей подумал:

«Если все это утром развернется и двинет... Если наши еще не знают, что в этой деревне... Если завтра не разбомбят... А что я могу сделать, хоть и знаю про все это? Уже, наверное, за десять километров от наших? Нет, - прикинул он. - Не десять, километров пять-шесть».

Возле какого-то переулка те, кто нес носилки, остановились и, коротко посоветовавшись со штангистом и остальными, ушли в переулок. Гюнтер еще был жив, Андрей слышал, как он тихо стонал и что-то бормотал.

Андрея подвели в крыльцо какого-то дома, прямо к часовому, который стоял у нижней ступеньки, штангист развязал веревку, толкнул «шмайссером» в хребет и приказал:

- Комм!

Растирая затекшие кисти, поводя замлевыми плечами, Андрей прошел ступеньки и, вздохнув, как если бы собирался нырнуть, толкнул дверь и вошел в комнату.

Здесь все было не так, как в блиндаже, и в то же время именно почти все так же.

Но теперь у него был опыт, хоть крохотный, в какие-то двадцать минут допроса и час дороги на веревке под автоматом, но все-таки опыт пленного. Пока его вели сюда, у него в голове пролетел миллион мыслей, которые грубо делились на два разряда: первый - «Бежать!» и второй - «Ведь как-то же другие проходили через все это? Не он первый...» Если в блиндаже штангист и остальные разведчики берегли его жизнь, потому что не могли себе позволить расстрелять его, то теперь, в ближнем тылу немцев, его жизнь для немцев могла представляться величиной мнимой.

Что он был для них? Сержантишка, который запирается. Врет, выкручивается, стараясь и шкуру свою спасти, и не выдать ничего. Стоило немцам выудить у него то, что он знал, и он превратился бы для них в ноль. Может, и хуже, чем в ноль, - в некую помеху. Возись с ним: где-то держи, охраняй его, заботься, чтобы не сбоялся. Конечно, если бы он вымаливал у них жизнь, говорил все, что знал, немцы могли бы оставить ему жизнь. Но вот если бы он стал запирается, врать, выкручиваться, разве трудно было бы обозлить немцев? Тех, кто распоряжался его жизнью? Если бы они пришли к выводу, что толку от него для них не будет, какой же резон было бы вставлять ему жизнь? Из каких соображений? По каким мотивам?

Он был уверен, что никаких соображений, никаких резонов, никаких мотивов для этого у немцев быть не могло. В таком случае, не проще ли было дать кому-то из фрицев, тому же штангисту, побить, что он, Андрей, больше не нужен и нет нужды с ним возиться. И тогда шагом марш к ближайшему леску, или оврагу, или к обрыву речки. «Стой!», очередь в три-четыре пули, и никаких хлопот с ним у фрицев больше нет.

Шагая среди фрицев под тычки автомата штангиста, он лихорадочно вспоминал все то, что слышал в разговорах о плене.

С открытого грузовика виделось многое. Ему даже не надо было вертеть головой, как только они тронулись, он чуть повернул голову вправо и уставился так, что его взгляд приходился между головами двух сидевших напротив его немцев. Он не видел их глаз, так как не хотел их видеть, он смотрел на все то, что проплывало по левую сторону грузовика, приближалось спереди, и если косился вправо, то видел и то, что было там.

Хотя и подморозило, отчего дорога затвердела и грузовик ехал довольно быстро, колдобин попадалось много, грузовик трясло, все в нем дергались, подпрыгивали, хватались за лавки и борта, и в общем таком движении он мог хорошенько обернуться и вправо, чтобы, коротко глянув, охватить все, что было и там.

Как на всякой прифронтовой дороге, здесь было передвижение. Несмотря на то, что рассвело, по ней шли немцы, попадались встречные машины и колонны машин с грузами, солдатами, бензином,

пушки, обозы телег. Их тащили громадные светло-желтые, мохнатоногие ломовики. В одном месте грузовик, прижимаясь к обочине, объехал длинную цепочку танков - он насчитал сорок шесть штук.

Танки, чтобы не мешать движению, составленные у самого края дороги, хорошо спрятались под масксетями. Сверху, наверно, летчику их было не разглядеть, а следы их гусениц, конечно же, затерли машины и повозки, так что танки, именно спрятанные на дороге, оказывались невидимыми. Если бы они сошли с нее и, к примеру, попытались спрятаться в каком-нибудь перелеске, как раз следы и выдали бы их летчикам-разведчикам. А так, пожалуй, летчику на разведсамолете, чтобы разглядеть эти танки под сетками, покрашенными под грязь и землю, пришлось бы лететь все время на бреющем полете, чтобы, наткнувшись на эту колонну, разглядеть ее.

«Хитро, сволочи!» - подумал Андрей, считая эти танки. Он вообще все считал и запоминал, хотя и понимал, что, даже если бы ему и удалось бежать и бежать скоро, пока бы он добрался до своих и сообщил бы эти сведения, толку от них было бы чуть - сведения бы устарели.

Но все-таки он считал, сделав в уме мысленные графы: пехота, артиллерия, танки, машины, прибавляя в каждой графе новые числа:

«Пехота до батальона, пехота до двух батальонов. Пушек 6, 14, 27...  
Машин с бензовозами 43, 61, 75... Танков... Аэродром - один...»

Он заметил, что немецкие самолеты летят в одну сторону низко, да еще и снижаясь, вылетают оттуда тоже низко и поднимаются, и хотя самого аэродрома он не разглядел, но догадался, что аэродром где-то там есть.

Считать и запоминать для него сейчас было хоть каким-то смыслом. А что ему оставалось? Попытаться выскочить через борт? Даже если бы ему это и удалось, предположим, немцы не успели бы его задержать, и он сумел бы отбежать на какие-то метры, немцы прямо с грузовика всадили бы ему в спину, в затылок, в ноги столько пуль, что он бы стал похож на арбуз, набитый семечками.

Нет, бежать в этих обстоятельствах было невозможно. Надо было ждать своего случая, своего шанса.

«Только бы дался этот шанс! Только бы дался! - повторял он про себя. - А там мы посмотрим!»

Теперь, когда он ничего не сказал фрицам, на душе у него стало покойней. В том штабе, как он понял по охране и по количеству старших офицеров, - в штабе дивизии он заявил, что только прибыл на передний край. Прибыл именно в тот вечер, когда его и захватили. Справка о ранении из госпиталя 3792 подтверждала, что он недавно выписался. Между датой справки и днем его захвата был всего лишь сорок один день, и на допросе он раскидал этот срок на пребывание на пересыльном пункте, на дорогу от него в запасной полк, на пребывание в запасном полку, на дорогу от запасного полка.

Он сказал, что в первый вечер ему и его товарищу по госпиталю Черданцеву приказали тащить ящик патронов, что они отстали, что Черданцев был убит, а его захватили.

На все вопросы о переднем крае он отвечал:

- Не знаю. Я там не был. Если бы я там был, вы бы меня сейчас не допрашивали!

Он упорствовал, он мертво стоял на одном и том же, он козырял датой справки о ранении, вновь возвращался к разбивке сорока одного дня: приводил всякие мелкие доказательства, что, мол, из госпиталя, за сорок один день до передовой только-только и добираются, что и у них, у немцев, наверно, так же, пока собьют команды на пересылке, пока собьют маршевые роты, пока эти роты топают, не очень-то спеша к фронту, недели и проходят.

Как доказательство, что он только-только попал на передний край, он показывал на сапоги.

- Вот, даже сапоги еще целые. Получил в запасном полку. Да разве же на фронте... да через неделю на фронте они во что превращаются?

Те, кто допрашивал его, смотрели на его сапоги, о чем-то переговаривались, думали, мигали: сапоги казались и правда сильнейшим аргументом.

Его били, но он повторял одно и то же.

На вопросы, что он видел в тылу, он отвечал, говоря, что видел танки там, где их не видел.

Особенно их интересовало, где он видел, если видел, «сталиниш органен». Так немцы называли катюши. Он сказал им, что видел их в Харькове, хотя видел значительно ближе к фронту, считая, что Харьков был таким большим железнодорожным узлом, что определить, куда, на какой участок фронта что оттуда пошло, было практически невозможным. Тут он мог сочинять - поди, проверь его!

Его опять били, но не очень. А он стоял на своем - говорить наоборот. Словом, там, в штабе дивизии, они от него тоже ничего не узнали.

Его промурыжили три дня, запирая между допросами в холодном амбаре. Этот амбар-склад делился на несколько секций, каждая секция имела свою дверь, а вместо окон в каждой секции было лишь по крохотному квадратному отверстию для вентиляции, забранному решетками из полосового железа. В амбаре, наверно, хранились колхозные продукты, которые кладовщики отпускали прямо у двери.

В первую ночь он ощупал пол, стены, решетку, потолок, но все тут было сделано добротно, из крепких бревен и досок.

Когда его не допрашивали, он стоял в запертом амбаре у зарешеченного окошка без стекла, смотрел на огороды, на которых сейчас уже ничего не росло, на дальний, чуть синеющий лесок, прислушиваясь, как за дверью ходит часовой, стерегущий его, следил за редкими птицами, чиркавшими небо, тот его

кусочек, который был виден ему. Его сердце сжималось, он завидовал птицам, так легко и свободно мчавшимся туда, куда им хотелось.

Жителей в деревне не было, немцы их выселили, а может, кто-то из жителей и сам попрыгался в оврагах и балках, ожидая, когда фронт, пройдя через деревню, отодвинется дальше и можно будет выйти то ли к своим домам, то ли на их пепелища, но все же на родной клочок своей земли.

Конечно, и собак не было в деревне, они, видимо, ушли с хозяевами или разбежались, а вот коты были. По утрам и к сумеркам и, конечно, ночью они бесшумно и быстро перебежали от сарая к сараю, прижавшись к земле, они добирались до тех своих мест, где спали или охотились на мышей, мыши, конечно, были в сараях с соломой, сеном, остатками зерна.

- Кис-кис! - жалко звал он, чтоб хоть с кем-то своим смолвить слово, хоть кому-то своему пожаловаться, но коты только прибавляли ходу и исчезали, услышав его.

Время от времени, опустившись на пол, упираясь спиной в стену, втянув голову в поднятый воротник, прижав руки к животу, он, сидя на корточках, забывался. Но это был не сон, а лишь какое-то полубоддрствование, хотя он даже видел сны. Все в нем так напряглось, так сжалось, что сон не мог расслабить его, и он в дреме слышал, как гудят немецкие машины, проходя мимо сарая, как переключаются немцы, как отдаются команды. Если же он забывался глубже, то каждое пробуждение для него было мукой: мгновенно вспомнив, где он, что с ним, он содрогался, его сердце то стискивалось, то начинало глухо колотиться.

«Бежать! - приказывал он себе. - Бежать. Уж лучше пулю в затылок...» Через три дня от него отвязались, видимо, поверив справке из госпиталя, а может быть, и сапогам тоже, а на четвертый посадили на грузовик.

Часа два катился грузовик. Немцы почти не разговаривали, так, иногда перебрасывались словами, дремали, курили, он тоже иногда задремывал на минутку-другую, тоже курил, доставая махорку из Зининого кисета прямо в кармане, так как опасался, что вдруг кто-то из немцев позарится на кисет и отнимет. «Катюшу» он тоже не доставал из тех же соображений, ожидая с готовой сигаркой, когда кто-то из немцев станет прикуривать. Хотя и без особой готовности, прикурить ему давали. Что ж, большего ему и не требовалось.

Уходили назад, за машину, поля, деревеньки, перелески, полузамерзшие речушки, увеличивая расстояние, которое он потом должен был пройти, потом, когда он сбежит от немцев. Он, приглядываясь ко всему, не очень уж огорчался этим набегающим километрам, так как считал, что лишние день-два, вернее, лишние ночь-две, что ему потом придется идти к своим, особой роли не играют. По-настоящему ранен он не был, а ноги так вообще у него остались целы, и он полагался и на свои силы вообще и на свои ноги в особенности, прикидывая, что будет идти ночами, а ночи в ноябре длинные, за каждую ночь можно пройти и три и даже четыре десятка километров - ведь груз ему никакой не нести! Скорость его хода зависела теперь только от обстановки, от опасности напороться на немцев, но он, обдумывая это все, решил, что постарается дожидаться какого-нибудь конного ночного обоза, чтобы держась не очень далеко от него, идти за ним. Он полагал, что обоз будут задерживать на всяких заставах и таким образом станет известно, где эти заставы, чтобы их обойти.

Еще он думал, что, может быть, ему удастся натолкнуться на партизан, прикинув так и эдак, он пришел к выводу, что если ему удастся на них натолкнуться, то это будет лучший выход - он останется у них, и рано или поздно партизаны сообщат о нем. Тогда он не будет числиться дезертиром или пропавшим без вести.

Он не очень верил в такую возможность, так как понимал, что так близко к фронту партизаны вряд ли держатся, потому что прифронтовая полоса всегда набита войсками, против которых в партизанах особенно не развоюешься, что по мере отодвижения фронта, отодвигаются и партизаны, чтобы быть все-таки дальше в тылу у немцев, где как раз партизанам и можно развернуться - на коммуникациях, против каких-то гарнизонов, отдельных частей и тому подобное.

Нет, решил он, ему следовало полагаться только на самого себя - на свои ноги, на свою выносливость, на свою осторожность. Он должен был идти ночами, идти и идти, обходя поселки и деревни, черт с ним - идти без еды хоть неделю, а последнюю ночь даже не идти, а пробираться, ползти между артиллерийскими и минометными позициями немцев, через их траншеи.

«Через их миное поле за траншеями! И через наше тоже!» - мелькнуло у него в голове, но он отмахнулся от этих мыслей, в которых была скрыта опасность, как от мыслей несущественных, потому что главным для него сейчас оказывались не какие-то отдаленные минные поля, а необходимость вырваться.

«Так! - сказал он себе, когда машина въезжала в станционный поселок. - Куда дальше? Вагон, потом - лагерь? Но сначала от вагона до лагеря еще какая-то дорога. Вагон!» - повторил он себе.

Поселок был маленький, весь лепившийся к станции, и за какие-то минуты машина пересекла его и выехала на небольшую пристанционную площадь, где уже стояло несколько грузовиков, две легковушки, подводы и было порядочно немцев.

«Rakitnaja» - прочел название станции Андрей. Доска с этими немецкими буквами была прибита на месте старой, русской, надписи над часами.

Грузовик взял левее, к воротам, ведущим на перрон, надпись ушла из поля зрения Андрея, и то, что он увидел после надписи, заставило его вздрогнуть.

Из-за станции тянулись две нитки провода, которые пересекали поселок, для чего в поселке были врыты высокие телеграфные столбы, чтобы провод не касался ни крыш, ни деревьев. Столбы имели по

два длинных бревна, сходящихся вверху, и поперечные балки для скрепления. Нижние концы столбов и чтобы дерево не гнило, и чтобы поднять провод повыше, телеграфисты прикрепили к кускам рельсов, зарытым в землю, отчего перекаладина находилась более чем в двух метрах над землей.

Так вот, на перекаладине столба, самого близкого к станции, висели два человека.

Их ноги лишь чуть-чуть не доставали землю, и Андрею сначала показалось, что под перекаладиной просто в какой-то нелепой позе, прислонившись головами, стоят мужчина и девушка. Седые волосы мужчины смешались с рыжими растрепанными кудрями девушки, и можно было подумать, что мужчина наклонился так близко к девушке, чтобы сказать ей что-то важное, доверительное.

Повесили их, наверное, несколько дней назад, так как от дождя и морозца и их лица, и темная железнодорожная шинель мужчины, темные же брюки, заправленные в сапоги, сами сапоги, зеленое пальтишко девушки, ботик на одной ноге и чулок над ботиком, весь чулок на другой ноге, так как ботик с нее свалился - все было покрыто тонкой корочкой льда. Эта корочка серебрила покойников.

Выше повешенных была прибита фанера, на которой для всеобщего сведения объяснялось: «Семья партизан». Под доской лежала потерянная шапка отца и ботик дочери, а полушалок девушка, видимо, сдернув перед казнью, судорожно стискивала в кулачке.

У столба, хмуро поглядывая по сторонам, держа приклад под мышкой, а ствол винтовки перед собой, топтался часовой, но не немец, а синемордый, видимо, порядочно замерзший пожилой полицейский из местных в брезентовом, подпоясанном плаще поверх телогрейки и в шапке, на которой была какая-то ветвистая кокарда.

Все немцы в машине молча посмотрели на повешенных, тот немец, который давал ему прикуривать, даже вынул сигарету изо рта и держал ее на отлете, как бы для того, чтобы не мешал дым. Потом, не сговариваясь, они все коротко взглянули на Андрея, как если бы хотели дать ему понять, что и он будет так висеть, если удерет к партизанам. Но он не опустил голову, а, сжав лавку, только прищурился, и немцы перестали на него смотреть. Тут грузовик миновал ворота, дернулся влево к пакгаузу и остановился. Подхватив свои ранцы и оружие, немцы полезли через борта; чуть подождав, чтобы хоть секунды побыть наедине с собой, слез с грузовика и Андрей.

На земле немцы вдруг загалдели, заговорили, заулыбались, как если бы их прорвало. Видимо, только сейчас, на станции, они по-настоящему уразумели, что и правда едут в отпуска. Видимо, даже когда и приказы в их батальонах (или полках - кто их знает, где у них отдают приказы об отпусках), когда приказы были подписаны, когда эти немцы и узнали об этом, когда собирались, даже когда ехали сюда, им все-таки до конца не верилось, что они получают свои отпуска. Здесь же, увидев поезд, уходившие на запад рельсы, они вдруг поверили.

- А ну, шевелись! Быстро, комсомол! - радостно-зло скомандовал Андрею конвоир и больно ткнул его стволом карабина в ребро.

Он был передан под охрану других немцев, тех, кто сторожил небольшую группу пленных, отведенных к самому краю перрона, за пакгауз, к уборной. Старший из конвоиров принял у сопровождавшего его немца какую-то бумажку, вчитался в нее, кивнул, взял мешочек с документами, повел автоматом в сторону уборной.

Андрей, делая этот десяток шагов к пленным и виновато - что и он попался! - и в то же время радостно смотрел в их лица. Это были свои, русские, солдатские лица. Вообще каждая капелька этих пленных была своей - серые, а не зеленые шинели, кирзовые голенища сапог, брезентовые ремни, растрепанные, обожженные у костров шапки, тряпичные, затертые лямками вещмешков, погоны - все, все в этих людях было своим, и Андрей почувствовал, как горько-соленый комок стал ему поперек горла.

- Привет, - бросил он. - Привет, славяне! - «Славяне» относилось ко всем пленным, в том числе и к какому-то смуглому солдату с восточным разрезом глаз. «Славяне» было тем общим словом, которое родилось во время войны для обозначения принадлежности к тем, кто воевал против немцев. Формально не точное, так как против немцев воевали народы всего Советского Союза, слово до «славяне» приобрело значение «свои», «советские». И то, что на его «Привет!» ответил в числе других и тот смуглый, по виду туркмен, было обычно.

- Я пятый день у них, у иродов, - шагнув ему навстречу, сказал жилистый и длиннорукий сапер в бушлате, - а «шнель, щнель, шнель!» слышал раз тыщу. У них, поди, все и держится на этом «шнель!» Привет, браток. Значит, нашего горемычного полку прибыло? Откель ты? Не томский, случай?

Они долго стояли в хвосте эшелона тесной кучкой - их было двенадцать человек, безоружных, в раздерганных шинелях, ватниках, бушлатах. Они стояли, подняв воротники, надвинув шапки, сунув руки в карманы, хмуро озираясь, рассматривая, что происходило на этой крохотной станции, куда их привезли, чтобы, наверное, перебросить в какой-нибудь лагерь.

Они молчали, да и о чем могли они сейчас особенно говорить? Переминаясь, вздрагивая от холода и озобоченности, они жалась к майору, единственному среди них офицеру, словно майор знал за них, что им делать, как жить дальше, и вообще знал всю их будущую судьбу.

Майор-артиллерист, пожилой человек с узким обветренным лицом, чуть нависал над ними, потому что был и выше и еще потому, что голова его была замотана многими бинтами, как чалмой. Майор время от времени сплевывал кровавые сгустки, морщился, тяжело вздыхал и негромко, так, чтобы конвойные не очень слышали, подбадривал их:

- Ничего, товарищи! Главное, не сдаваться. Душой не сдаваться. И плотней друг к другу. Один за всех, все за одного. Спасенье каждого только в этом. Понятно, товарищи?

Никто, кроме сапера, майору ничего особенного не отвечал. А сапер, косясь на конвоиров, бормотал:

- Чего же тут непонятного, чего ж? Раз случилась такая запятая, тут в одиночку пропадешь. Шевельнись не так, сразу тебе очередь - и вверх воронкой...

Охраняло их всего трое конвойных, они расположились треугольником, согнав пленных к степе приземистой каменной уборной, от которой несло карболкой. Охранял их и пес, здоровенная черная, с подпалинами на животе овчарка, с блестящими злыми глазами и черной же мокрой пастью. Пес, если кто-нибудь из пленных начинал двигаться, отводил назад уши, скалился, глухо урчал, перебирал ногами, натягивал короткий поводок, которым конвоир удерживал его у сапога.

Их, верно, свезли сюда из разных мест, никто еще толком не знал друг друга, в разное время, при разных обстоятельствах они попали в плен, и тяжело и горько переживали это несчастье. Каждый был в нем, в этом несчастье, каждый, наверное, просыпаясь, вспомнив, где он, что с ним, содрогался душой, а потом лихорадочно думал, как же спастись, что же делать, на что, на кого надеяться.

А немцы между тем делали на станции свои дела: грузили раненых в санитарные вагоны, перегружали из теплушек длинные ящики со снарядами и короткие с патронами, или гранатами, или другим каким-нибудь военным имуществом в машины и телеги, заходили, предъявляя бумажки, в пассажирские вагоны, и Андрей заметил, что все немцы посматривали в небо - не летят ли самолеты.

«Вот бы прилетели! Вот бы дали им!» - помечтал он. - Как же, жди. Так тебе вовремя они прилетят». Но он все-таки то и дело с надеждой осматривал небо.

Еще было светло, еще даже солнце не село, оно над горизонтом просвечивало через тучки, как яичный желток, и ударить по этой деловитой станции, где паровоз попыхивал перед поездкой, было бы для наших летчиков самое время.

«И тогда - ходу!» - решил Андрей. - Будь, что будет. Пока не затолкали за проволоку».

Он хотел отойти к краю уборной, чтобы глянуть в ту сторону, за нее, но конвойный с собакой повел стволом автомата, небрежно бросил «Хальт!», чуть ослабил поводок, отчего пес сразу же напряжился, вытянулся, так что ошейник врезался ему в горло, и заскулил от злости, что, наверное, ему не дают рвануться и впитаться в шевелящегося, переступающего в сторону человека.

- Не надо, - как бы разговаривая сам с собой, сказал майор, не глядя на него. - Прилетят - услышим. Конвой не дразни. Все - потом.

Андрей замер, стараясь даже тише дышать. Он и голову опустил, чтобы не смотреть на конвойного. Но сапер то ли не мог, то ли не хотел сдержаться и крикнул собаководу:

- Ишь, ирод! Чего уставился? «Шнель!» - передразнил он сразу всех конвоиров, поочередно посмотрев и на того, который на него уставился, и на остальных. - Ваш, ваш нонче верх над нами. Да не над всеми! Да не до конца света!..

Конвоиры переглянулись, сделали вид, что ничего не поняли, а может, они и правда ничего не поняли из слов, но интонацию-то они, конечно, поняли.

- Садись! - приказал тот конвоир, который взял документы Андрея.

Усаживаясь на холодную, жесткую, вонючую от близости уборной землю, Андрей через рукавицу ощутил, что у него под рукой оказался какой-то очень твердый, продолговатый, короткий предмет.

Осмотревшись и как бы устраиваясь поудобней, он сел на него бедром, пряча этот предмет под себя.

Чтобы было теплее, почти все они сели спинами друг к дружке. С ним сел майор. Когда где-то невидимо загудели все-таки пролетавшие хоть и стороной самолеты, отчего зенитчики сыграли «Воздух!», конвоиры, как и все на станции, завертели головами, задирая их вверх, ведь никто тут не знал, чьи самолеты идут и куда идут.

Конечно же, забеспокоились больше всех отпускники, потому что было бы досадно попасть под бомбежку перед самым отъездом домой: если бы тебе самому повезло, если бы тебя даже и не ранило, не то что не кокнуло, то ведь могли разбомбить эшелон, или пути, или еще что-нибудь, что задержало бы отправку, а вдруг бы и сорвало ее вообще.

Когда загудели эти самолеты, Андрей подсунил руку под бедро, поковырял не очень долго и зажал в кулаке костыль.

Точно, это был настоящий железнодорожный костыль, ими прибывают к шпалам рельсы. Твердейший, четырехгранный, с откованной на одну сторону головкой, с заостренным концом. Тяжеленький, надежный, хорошо ложащийся в ладонь. И незаметный, очень даже незаметный - его можно было сунуть за широкое голенище, и он бы не был виден, убрать в рукав, он бы тоже там потерялся, спрятать за пазуху, на живот под пояс брюк. Конечно, при маломальском обыске его бы нашли, но Андрей при этой мысли усмехнулся:

«Не каждый час обыскивают пленных, не каждый час обыскивают любых арестантов!»

Не доставая руки из-под бедра, он вынул ладонь из варежки, толкнул в нее костыль и снова засунул в варежку ладонь. Костыль был шершавый, холодный. Он погладил пальцем его конец, потрогал шляпку, поцарапал ногтем весь стержень. Это был инструмент, которым можно было расковырять любые доски и кирпичи, представилась бы только для этого возможность. Костыль бы выдержал любую такую нагрузку, выдержали бы только руки. И это было страшное оружие - удар костылем в затылок означал смерть.

- Вот бы наши! Вот бы дали бы сейчас прикурить! - помечтал вслух кто-то из пленных.



- А мы бы ходу! - решил сапер. - Как зайцы, прысь - и по сторонам! Лови ветра в поле!  
- А они тебя в спину, да по ногам, да по башке! - сказал кто-то, Андрей не видел, да и не хотел видеть кто, но подумал: «Заткнись: типун тебе на язык!»

Помолчал, сапер все-таки возразил:

- Уж тут кому какая звезда светит. Кому, конечно, и по ногам и вообще, а кому - воля!

Андрей прислушался к гулу - гул уходил, и с ним уходила и надежда, родившаяся и у него рвануть под бомбежкой. Он даже прикинул, куда ему мчаться: за уборную, в поселок, через заборы, дворы, сады, к оврагу, который им попался по дороге, и по нему к лесу. Но самолеты ушли куда-то за горизонт, их гул замер, немцы на перроне воспрянули духом, конвоиры уставились на пленных, и он слегка толкнул майора в бок.

- Товарищ майор... Товарищ майор!

Майор повернул, насколько это было возможно, к нему голову, Андрей тоже обернулся и углом рта прошептал майору в ухо:

- У меня костыль. Железнодорожный.

Все сообразив, майор приказал:

- Молчи!

Пес, видимо, что-то почуял - он вновь зарычал, задвигал лапами, отчего у него на спине заходили лопатки, а с отвисших черных губ с боков пасти потекла слюна.

«Тварь!» - подумал Андрей, стискивая костыль.

Наверное, пес понял, почуял в нем врага, глаза у пса стали кровавыми, уши прижались к голове, пес зло взвизгнул, как бы принимая его вызов, и конвойный резче, злее скомандовал:

- Хальт! Цурюк!

- Спокойно, - тоже резче сказал, тоже скомандовал майор. - Ты что, по-русски не понимаешь? Все потом. Не шелохнись! Надежда - на тебя! Да гляди в оба!

Последние слова майор сказал с горькой насмешкой, Андрей даже обернулся к нему. И правда, лицо майора и выражало эту горькую насмешку, и было еще скорбным, и было еще в этой скорби и твердым, как если бы майор принял какое-то важное решение, которому должен был следовать неукоснительно.

- Хозяйничают! - пробормотал майор, но теперь не ему, не кому-то другому, а вроде бы себе самому и всем вместе.

- Кобель вонючий! - процедил сапер, тоже наблюдая за псом.

Майор усмехнулся:

- Пес ни при чем. Ты на людей смотри. Хозяйничают, - повторил майор.

Немцы, конечно, на станции хозяйничали. Видимо, они начали хозяйничать с того времени, как сбили со здания станции название, написанное по-русски, и повесили «Rakitnaja». Теперь станция жила их, немецкой, жизнью. Пропускала их поезда с их грузами, разгружала и загружала их людей, передавала по телеграфу сведения об их делах. Кроме большой надписи на немецком же были и маленькие надписи, указывающие, где комендант, зал ожидания, ватерклозет, грузовой склад.

Участвуя в боях за другие станции, Андрей видел такие таблички, но тут дело было другое. Те надписи казались мертвыми, так как если на тех станциях и оказывались немцы, то только в мертвом виде. Или раненые. Или - пленные. Те надписи, когда Андрей смотрел на них, не работали, не жили, а висели, дожидаясь, когда их собьют. Сдерут. Швырнут на землю, как вещи негодные, заменят. Эти же надписи на Rakitnaja работали, служили. И сам факт этот воспринимался Андреем как-то с трудом. Когда он обратил на них внимание, он все никак не мог сообразить, почему они так поражают его. А они поражали его именно тем, что жили. Были нужны. Служили. Служили немцам.

- Смотрю, - ответил он майору и подвинулся к нему, пользуясь тем, что конвойные на секунды отвернулись, потому что к уборной шли, громко разговаривая, несколько немцев-солдат. - Бежать! - шепнул он.

- Все в вагоне! - не глядя на него ответил майор. - Держись рядом. Хозяйничают, - еще раз сказал майор, теперь уже с таким презрением, что Андрей снова покосился на него, на этого пожилого худого человека с короткой, растрепанной, даже, кажется, оборванной с одного края бородкой, с глубокой ссадиной на скуле, с оборванным до половины воротником ладно сшитой офицерской шинели, на которой был всего один погон, да и то еле державшийся. Видно, майор, когда немцы брали его, не давался, ему и досталось.

- Ничего! - тихо сказал Андрей. - Сколько им так хозяйничать?

- Вот именно, - согласился майор. - Хозяйничать им мало. Поэтому и надо смотреть! Если останемся живы, расскажем. А ведь они думали, - майор, не вынимая рук из карманов шинели, показал подбородком и на конвоиров, и на немцев на станционной платформе, - навсегда! Навечно! На тысячу лет! - Майор вдруг хмыкнул и, не раскрывая рта, засмеялся.

Пленные, одни удивленно, другие сердито, но все посмотрели на него, потом на конвоиров, потом опять на него, одни с радостью, потому что этот совсем не к месту, не ко времени смех майора как бы родил в них еще надежду на благополучие в близком ли, далеком ли будущем, другие, опасаясь, что такое поведение майора навлечет на них злость конвоиров и им всем от этого будет хуже. Но майор, встретившись взглядом с их взглядами, перестал смеяться и строго оглядел их всех, как бы определял, на что каждый из них годен.

Андрей между тем, на секунды как-то забыв, что он пленный, забыв все свое горемычное

положение, смотрел на станцию, на все, что происходило на ней, смотрел во все глаза, запоминая.

Что ж, немцев за два года войны он видел, и немало. Но не так.

Он видел их, когда они еще с расстояния в километр представлялись короткими движущимися колышками, ни ног, ни рук, ни головы в тех колышках не различалось. По мере приближения все это начинало угадываться, а потом и различаться, колышки превращались в фигурки, которые бежали, стреляли, падали, вновь вскакивали, чтобы бежать и стрелять. Так было при атаках немцев. И он тоже должен был в них стрелять. И стрелял. И кидал в них гранаты, когда они сближались на такую дистанцию, что он не только видел их лица, но даже выражение на этих лицах.

Он участвовал и в уличных боях. В этих боях случалось, что его от немцев отделял лишь переулочек, за которым немцы занимали дома, и он видел, как мелькали они за разбитыми окнами, стреляя через них. А в Сталинграде он с ребятами из роты два дня удерживал третий и четвертый этажи какого-то большого дома, когда первый и второй уже были заняты немцами. В Прилуках, отбивая школу, ворвавшись в нее, швыряя в коридорах гранаты, он нос к носу неожиданно столкнулся с рослым фельдфебелем. Фельдфебель на бегу пытался перезарядить свой «шмайссер». А у Андрея в магазине оставалось патронов еще на короткую очередь, и он всадил эту очередь в фельдфебеля. Фельдфебеля отшвырнуло к двери учительской. Падая, фельдфебель судорожно хватался за табличку с надписью «Учительская», оборвал ее с одного гвоздика, она повисла на другом, слегка шатаясь, как маятник, над скорчившимся под ней фельдфебелем.

Немцев других - пленных - он тоже видел. Видел их и в расположении роты, здоровых, хмуро, настороженно оглядывающихся - не расстреляют ли? - раненых или стонавших, или молчавших, прислушивающихся к боли, старавшихся сидеть, лежать или двигаться так, чтобы боль была тише. Видел их в тылу, угрюмо и медленно работавших, отворачивающихся от любопытных, насмешливых, презрительных взглядов. Видел других, фальшиво-добродушных, фальшиво-приветливых, фальшиво-заискивающих немцев, которые просили: «Табак, сигарет, брод», - добавляя для убедительности: «Война - капут. Гитлер - капут!» Это, как правило, они добавляли, когда поблизости не было других пленников.

Даже в блиндаже, где были их офицеры, куда его затащили разведчики, даже в их дивизионном тылу все-таки все было не так, как на станции, была война. А здесь войны как бы уже и не было. Ходили, прогуливаясь по перрону, стояли на нем в одиночку и группами начищенные, ухоженные денщиками офицеры, они спокойно курили, о чем-то разговаривали, поглядывали на часы. Суетились, бегая за

кипятком или еще по каким-то делам, солдаты, спокойно и важно парами ходили жандармы, держа руки на псвенных поперек груди автоматах, поглядывая из-под касок, изредка останавливая какого-нибудь появившегося солдата, требуя документы.

Тут даже работая базарчик. Чуть на отлете от скверика станционного здания, между этим сквериком и пакгаузом, по ту сторону дороги, по которой подъезжали к пакгаузу, чуть в глубине от нее было несколько столов, за которыми расположились торговки. Перед ними на досках стояли миски с картошкой, огурцами, капустой, кусками пареной тыквы, прикрытые, чтобы не замерзли, тряпицами. Стояли, укутанные в мешковину и рогожи бидоны с молоком, а может быть, и с квасом. У одной женщины были лепешки, перед другой возвышалось десятка два яблок, сложенных в пирамидку, а единственный среди торговки мужчина, подвыпивший старикашка в потертой дамской шубке, поверх которой он был еще повязан дырявым платком, выложил на обрывок полотенца небольшой, с полкило, брусок сала.

Во все это сейчас, после таких значительных слов майора, Андрей не просто всматривался, а как бы даже впивался глазами, как бы снимал эти кадры на какую-то кинолентку, вдруг оказавшуюся в его мозгу. Его как будто стукнула, как ударила и по голове и в сердце мысль, что вот она - та жизнь, которая тут устраивала немцев, независимо от того, устраивала ли она не немцев, и против которой он воевал. Жизнь, которую, коротая дни и ночи в траншеях ли, шагая, навьюченный, словно мул, в переходах по двадцать часов, хлебая ли из котелка суп пополам с дождем - это еще ничего, с дождем-то, а то и с песком или землей, - валяясь на кровавой соломе медпунктов, хороня своих товарищей по отделению, взводу, жизни, которую он, Андрей Новгородцев, должен был поломать.

К базарчику подходили. И немцы, и жители станции, и не жители, которые куда-то ехали или должны были ехать, да ждали такой возможности. Их тут набралось немало, они узнавались по котомкам, мешкам, чемоданам и еще по тому выражению, которое ложится на лицо человека, снявшегося в путь и не приехавшего к месту, находящегося лишь где-то на этом пути между его началом и концом.

Как это и должно было бы быть, покупатели осматривали товар, спрашивали, даже трогали его, и одни брали, отсчитывая какие-то деньги, другие, поразмыслив, не брали, уходили по своим делам.

Кроме станционной жизни, слагавшейся из дел и забот пассажиров, была здесь еще и жизнь тех, кто работал на этой станции или прибыл на нее, работая.

Из помещения выходили женщины и мужчины с какими-то бумажками, пробежал торопливо в уборную, покосившись на пленных, человек в куртке и фуражке телеграфиста, кладовщик принимал в пакгаузе груз, груз состоял из многих ящиков и трех бельевых корзин. Возле них суетился, сгружая их с телеги, а потом сдавая в багаж, раздумывавшийся человек лет сорока, с широкими усами, одетый в крепкие сапоги, перешитое из армейской новенькой шинели полупальто с карманами на животе, в меховой шапке, купленной, видимо, по случаю, так как она ему была великовата и все время съезжала

на лоб, отчего он то и дело должен был толчком сдвигать шапку на затылок.

На дальнем от перрона пути шесть рабочих поднимали на платформу рельсы, закидывая на нее попеременно то один, то другой конец рельса. Нагрузив их штук пятнадцать, они, перекурив, навалившись, протолкнули платформу к штабелю шпал, к горке стальных толстых пластин, которыми связываются рельсы, и начали грузить все это, коротко переговариваясь.

Пришел встречный товарный поезд. Машинист, выглядывая из своего окошечка, отирал паклей руки, равнодушно ожидая, когда дежурный принесет ему жезл. К поезду спустились смазчики, обычные смазчики в насквозь пропитанной маслом одежде, с молотками на длинных ручках и носатыми плоскими лейками. Они пошли вдоль состава, постукивая по отзвенивающим колесам, поднимая молотками крышки буксов, доливая в некоторые бусы нефть, хлопая крышками буксов, обходя, словно это тоже были попадавшиеся им по дороге столбы, спрыгнувших с тамбуров, выстроившихся вдоль состава немцев-охранников, которые внимательно встречали и провожали взглядом этих смазчиков.

Все было как бы на обычной удаленной от фронта, но все-таки уже подчиненной ему станции, где все определяют военные и военные грузы же, а штатские отеснены на дальний и малый план.

Все было так и не так. Но суетня военных, но их разговоры и смех не разрушали какой-то общей покойницей атмосферы, как если бы тут же, на перроне, в скверике, у пакгауза, просто на рельсах и шпалах, вообще за каждым углом, на каждом шагу лежали мертвые, которых немцы не видели и которых не немцы, видя, старались не замечать.

Андрею пришло было в голову, что станция эта Rakitnaja, именно и похожа на кладбище, но он ошибся, потому что на кладбище не суетятся, не хохочут, громко не разговаривают, как делали это немцы, а у тех, других, выражение лиц должно было бы быть иным - грустным, задумчивым, добрым, просветленным, другим каким-то, но не таким, каким было оно здесь.

В первую очередь, главным на лицах, в глазах, даже в жестах, движениях, походке, вообще во всем облике не немцев обозначалась настороженность. Люди стояли, сидели, шли, делали что-то вроде бы внешне и спокойно, но когда они сидели или стояли, то время от времени оглядывались по сторонам и назад, словно ожидая чего-то неприятного, опасного и готовясь к этому неприятному, опасному. Они оглядывались так, хотя и реже, и когда работали, словно все эти люди в чем-то провинились и за это могли в любую секунду ждать облавы, ареста, немедленного осуждения и расправы.

Когда эти люди шли и когда навстречу им попадались немцы, было заметно, что немцы идут на них, как на пустое место.

Немцы, конечно же, так и хотели бы, чтобы не немцев вообще не было на этой Rakitnaja.

Сама Rakitnaja им, несомненно, была нужна, иначе на кой черт они сюда приперлись? Нужно было поле за путями, синевший вдаль за ним лес, нужна была, наверное, и речка, через которую они переехали, гремя на мосту. Нужно было и небо над всем этим. А люди, которые тут жили, немцам были, видимо, не просто не нужны. Они мешали немцам. Раздражали, наверное, самым фактом, что были. Немцы, конечно, не могли обойтись без них - чтобы работала эта Rakitnaja следовало грузить рельсы и шпалы, чтобы не горели бусы, следовало подливать в них нефть, чтобы поезда шли, ело-, довало машинистам их вести, а кочегарам кидать в топку уголь. Само по себе ничто это не делалось, а заменить не немцев на немцев немцы, конечно, не могли. Немцев просто не хватало на все те дела, которые должны были делаться, чтобы немцы могли жить там, везде за Германией, куда они пришли, на любой земле, которую они завоевали.

- Думаешь? - не оборачиваясь спросил майор.

Похолодало, да и от настывшей земли пробирала дрожь, и пленные тесней жались спина к спине. Андрей чувствовал, что майор, прислоняясь к нему, совсем дрожит.

- Думаю.

- Это хорошо. Что ж надумал?

- Пока ничего. Особенного ничего.

- Ну, а все-таки? Если без частных, что главное?

- Почему они здесь? Почему же все-таки они здесь?

- А-а-а... - протянул майор. - Значит, и ты тоже?

- Да. Но почему «и я тоже»?

- Почему и ты тоже? Да потому, что вся страна задает этот же вопрос: «Как немцы, почему немцы оказались... почему война обернулась для нас такой катастрофой, почти катастрофой», - поправился майор.

- И почему? - спросил Андрей. - Да, почему?

Так как все пленные угомонились, почти не шевелились, чтобы не терять тепло, молчали, конвоирам было наплевать на этот его негромкий разговор с майором. Конвоиры даже отошли, чтобы не нюхать из уборной.

- Потому что надо было лучше воевать! - ответил решительно майор. - В конечном итоге - это первая причина. А теперь... теперь, брат, вся страна воюет... Мужчины - в армию, женщины, подростки - на поля, к станкам, в шахты. Вся страна отбивает то, что было отдано этим, - майор показал пальцем на немцев на платформе, - представителям высшей расы. Тьфу! - сплюнул майор.

Майор помолчал, повздыхал, не поворачиваясь, нащупал его руку и пожал:

- Ладно, ладно, брат! Отбросить грусть! Мы еще будем у них! Будем! Никуда от нас они не уйдут! Главное, чтобы каждый воевал так, как надо. Чтобы стрелял их, уничтожал, сволочей!

Рабочие, накидав нужное количество шпал, сели опять курить.

- Помогают. Все-таки они немцам помогают, - заметил Андрей о них.

- Что сделаешь? - возразил майор. - Заставляют. За неявку - расстрел. Если бы мы сумели всех вывезти... Ведь не сумели же мы всех вывезти. Знаешь, когда надо кормить детвору, это... И в этом - в том, что наши люди, чтобы не быть расстрелянными, чтобы их детвора не умерла с голоду, работают на немцев, наша вина! Тоже наша вина!

«А что, если бы гитлеровцев было в десять раз больше, - ужаснулся про себя Андрей. - Тогда бы им нужна была только земля, только географическое пространство. Они бы не только уничтожили каждого, кто попал бы под них, они бы, наверное, и наши города целиком разрушили. Построили бы свои. Они бы все наше уничтожили!» - решил он.

То ли от холода, то ли от своих мыслей майор начал бормотать себе под нос про какой-то космический лед:

- Ганс Горбигер. И тоже австриец. Надо же так! Земля в тесной связи с космическим льдом. Вся ее история - это история катастроф, вызванных оледенениями. Ледники, смена климатов, отсюда подвижка живого, великие переселения народов, смена цивилизаций. Пусть арии пришли откуда-то из Гоби. Все это проверится наукой. В конечном итоге археологи и историки ответят, откуда и почему кто пришел. Археологию не сбросишь со счетов науки. Арии - сверхлюди, а все остальные - неполноценный человеческий материал? Почему в это мракобесие верят потомки Гете?

- Ладно, товарищ майор, - Андрей хотел успокоить майора. - Нам главное продержаться и вырваться. Вот что главное сейчас.

Майор поерзал у него за спиной, прижимаясь лопатками к его лопаткам.

- Верно, брат. Ага! Кажется, зашевелились! Кажется, сейчас поедем. Ну, сержант, умри, а чтоб костыль был в вагоне. Он - тоже оружие против мракобесов.

Дверь с лязгом поехала на свое место, глухо звякнул крюк, которым она запиралась снаружи, все замерло от нахлынувшего отчаяния: «Куда везут? Что ждет дальше?». В вагоне стало так тихо, что было слышно, как царапает по доскам проволока, которой конвоиры закручивали крюк, чтобы или его кто-то не откинул, или он не откинулся сам от тряски.

- Где ты? - позвал негромко майор. - Старший сержант!

- Здесь! - Андрей шагнул к нему. В вагоне было совершенно темно, пусто и пахло сырой картошкой. Несколько картошин каталось у них под ногами.

- У кого зажигалка? Осмотреть вагон! - приказал майор.

Чиркнул кремешок - желтый, маленький, как тыквенное семечко, огонек, осветил лишь несколько лиц.

- На! - Майор подал саперу, это он зажег огонек, письмо в конверте. - Жги. Посмотри, нет ли чего железного.

- Как только тронемся, как только наберем скорость - ломать. Здесь! - показал майор, взяв Андрея за руку и проведя его рукой по стене у двери. - На полу доски толще. Вдруг не успеем? Товарищи! - сказал майор громче. - Из лагеря бежать труднее. У них там все и продумано и налажено. Здесь наш последний реальный шанс. Пока мы не обессилели, чтобы добраться до своих. Или до партизан. Пока есть воля...

- Это уж как каждый. Кто бежит, а кто и нет, - возразил кто-то из темноты. - Дело добровольное.

- Правильно, - согласился майор. - Добровольное. Но...

- Чего там «но»? - возразил тот, из темноты. - Теперь каждый своей судьбе хозяин. Без всякого «но». Каждый живет один раз.

- И умирает тоже раз! - перебил его сапер. Он вернулся, бегло осмотрев вагон и не найдя ничего, что могло бы послужить им хоть какую-то пользу для побега. - Заткнись! - приказал он тому, кто возражал майору. - Не хощь, не надо. Подыхай у них под сапогом! Держи! - он сунул Андрею зажигалку и последний листок письма. Андрей, встряхнув листок, чтобы он развернулся, поджег уголок, и пламя полезло по строчкам вверх, сжигая слова: «Эта зима будет тоже трудной, хотя и... Сменяли твой коетюм на муку... Жена Николаева все ждет, не верит... Работали всей школой на заготовке дров...» - и всякие другие, в которых, наверное, жена майора рассказывала ему о своем житье-бытье.

- Вот! - сапер сдернул шапку и осторожно вынул из-за наушника минный взрыватель.

- Это - да! Это - да! - сказал майор.

- Вот! - повторил сапер, доставая второй взрыватель. - Меня взяли, когда мы ставили мины. Туман, за два шага не видно. Я и дернуться не успел. Все, ироды, обшарили, а в шапку не полезли. Не выкидывать же мне самому!

- Молодец! - майор держал оба взрывателя на ладонях. - Еще у кого есть бумага? - Кто-то передал тоже письмо. Оно было треугольником, из желтоватой оберточной бумаги. - Не жги! - приказал Андрею майор, потому что немцы шли вдоль загона, было слышно, как скрипели по гравию сапоги.

В темноте майор за руку подвел сапера к двери.

- Как только наберем скорость, надо рвануть здесь.

Шаги затихли, и сапер стал ошупывать стенку.

- Запалы, конечно, слабоваты, сюда бы полшашечки! Как же их приспособить-то? Аль чем просверлить да вставить?..

- Это решим. Это сделаем. Придумаем. Как будешь рвать? Сразу два или по одному? Чтобы дыра была побольше. Старший сержант! Дай-ка! - майор в темноте взял у Андрея костыль и дал его потрогать саперу. - Рви дыру, потом мы этим.

- Ага! Понял. Ну-кась! - сапер захлопотал у стены. Сейчас мы поковыряем, потом...

- Отставить! - приказал майор. - Только как стемнеет. Чтобы уходить в ночь, согласны, товарищи? Всем отдыхать!

Паровоз, гуднув, пошипев тормозами, дернул и потянул вагоны. Все пленные затихли, загорюнившись еще больше, потому что с каждым стуком колес о рельсы их увозили все дальше от своих, все глубже во фрицевскую жизнь, в которой для каждого из них не было места для человеческого существования. Разве только не горевал тот, который спорил с майором.

Андрей сел, съехав спиной по стенке, возле майора. Глядя перед собой в темноту, он видел, как мчится их поезд, как на закруглениях изгибается дугой, как пыхает из трубы паровоз, как напряженно натянута сцепка, как гнутся под набегающими колесами рельсы, как поднимаются, когда колесо прокатится, как дрожат камешки между шпал, как, нахохлившись, держа автоматы наготове, стоят в тамбуре их вагона охранники.

То ли от дрожи вагона, которая передавалась ему через пол и через стенку, на которую он опирался, то ли от волнения, что вот он, вот он, вот он, этот шанс - два взрывателя, потом костылем, руками расширить дыру так, что можно, высунувшись, броситься под откос, а вагон, а конвоиры лишь мелькнут, мелькнут их прыгающие от выстрелов стволы автоматов, конвоиры ведь заметят и начнут бить по каждому, кто кубарем будет лететь под откос, и в кого-то, конечно же, попадут, потому что расстояние всего ничего, какие-то метры! - то ли от дрожи вагона, то ли от всех этих мыслей, он начал тоже дрожать. Душа у него забилась, задергалась, затрепетала. Но он прикоснулся через карман к Зининому кисету, вздохнул и успокоился.

«Так, Лена! - сказал он себе. - Так. Посмотрим».

- Так что, начали? Чего ждать? Начали? - спросил он майора.

- В ночь, в ночь, в ночь, - хотел было доказать ему майор, но тут паровоз тревожно вскрикнул, резко прибавил скорость, так что пол дернулся под ними, кто-то, видно ударившись, выматерился, майор скомандовал: «Тихо! Слушать!» - все притаились, различая даже через стук колес и дребезжание вагона все усиливающийся гул. Потом впереди рванула бомба, но мимо, потому что поезд все мчался, пролетев под ревом самолетов, как под гулким длинным мостком; майор скомандовал: «Сапер, взрыватели! Живо! Свет!» - Чиркнула зажигалка, загорелась бумага, майор скомандовал Андрею: «Костыль! Сюда! Отжимай!» - показав, какую доску надо отжать, чтобы вставить взрыватели, и Андрей, всадив костыль в паз, навалился на костыль так, что доски раздвинулись, так, что сапер сунул в щель взрыватели, и, когда Андрей выдернул костыль, доски вновь сошлись и зажали взрыватели.

- Всем назад! Свет! - скомандовал майор, пока сапер приматывал к кольцу взрывателя проволочку и отжимал усики чеки. - Ложись. Сапер! Жди команды!

Самолеты сделали еще один заход, было слышно, как приближался их гул, майор крикнул: «Когда бомба, рви!» - поезд резко затормозил, наверное, потому, что самолеты летели с хвоста, ударило несколько бомб, сапер дернул проволочку, стенку на миг осветило, в пустом вагоне грохнуло, запахло толом, но тут же в вагон через дыру влетел свежий холодный воздух, от него сердце вдруг забилося в надежде, и Андрей вскочил и бросился вместе с сапером к дырке, которую сделало взрывом.

«Только бы не попали! - мечтал про себя Андрей. - Только бы мимо!»

Он думал верно: если бы наши летчики попали в паровоз или разбили перед ним путь, немцы бы выскочили из вагонов и залегли бы поблизости, пережидая бомбежку. Конвоиры тоже бы залегли, держа оружие наготове, и черта с два тогда бы было можно ломать стенку - немцы бы сразу это заметили и, конечно же, открыли бы огонь, а вот если бы наши бомбили и мазали, и поезд шел бы, можно было бы успеть сделать все!

«Только бы не попали!» - еще раз подумал он, всаживая костыль в щель рядом с дыркой.

- Дружно! - крикнул он. - Взяли! Несколько рук в темноте, на ощупь, ухватились за края дырки, за ребро доски, которую он, как рычагом, отвел внутрь вагона. - Взяли? Ну! - скомандовал он.

Вагончик был старый, катавшийся по рельсам много лет. Несмотря на многие покраски, доски от дождей, снега, жары, ветра, хотя и не сгнили, не подгнили даже, но крепость потеряли, и когда Андрей скомандовал: «Ну!» - сколько-то рук в темноте на пределе своих сил рванули доску. Она затрещала, сломалась, Андрей тут же скомандовал: «Нижнюю! Взяли! Ну!» - треснула и эта, он скомандовал: «Верхнюю! Ну!» - и эта доска затрещала и отломилась.

Так он командовал, и чьи-то руки хватили, дергали, ломали доски, и он чувствовал, как его, торопясь, толкают, как его невольные товарищи по этой движущейся тюрьме быстро, возбужденно дышат, он ощущал их горячее, пахнущее махоркой дыхание у себя на лице, и через несколько минут - через минутку всего, через две! - под ногами у всех трещали обломки, а в стене вагона получилась дыра, через которую, высунувшись из нее наполовину, став на одну ногу, можно было, толкнувшись, прыгнуть под откос.

- Давай! - крикнул майор. - Темп, черт! Один за одним - как горох!

Ухватившись левой рукой за край дыры, твердо поставив левую же ногу на полоз, по которому ходила дверь, Андрей просунул боком через дыру. В лицо, в грудь, в колени ему ударил тугой ветер, его даже отшатнуло вправо, но он напрягся, успев увидеть откос насыпи, канаву в конце ее, кусты за канавой и, главное, в километре за полем лес.

- Туда! - командовал он себе и, держа правую руку на отлете, потому что в ней был спаситель-костыль, потому что он опасался, падая, ударить себя, чуть спружинив на полозе, толкнулся ногой и рукой, пролетел над краем откоса, пробежал по нему несколько шагов, не удержался, упал вперед и кубарем, через голову, ударяясь об землю то спиной, то коленями, покатился в канаву, зажмурившись, стиснув зубы.

Но он был цел! Он почувствовал это, когда, ударившись о борт канавы, рывком приподнялся и выглянул из нее. Он был цел и свободен! Лишь какие-то мгновенья, глядя вслед поезду, он видел, как уменьшается последняя теплушка, на тамбуре которой вдруг засуетились немцы («Черта с два!» - подумал он злорадно), как, набирая высоту, уходит от него в еще непотемневшее небо тройка штурмовиков, как немцы с тамбура полоснули из автоматов по нему, как кто-то высунулся в дыру, чтобы прыгнуть под откос, как немцы полоснули теперь по этому человеку.

Он выпрыгнул из канавы и, не обращая внимания на то, что ломило все тел?, держа все так же костыль на отлете, побежал к лесу, то подгоняя себя: «Быстрее, быстрее, быстрее!» - то задыхаясь от счастья: «Свободен! Свободен! Лена! Леночка! Свободен! Жив! Быстрее, быстрее, быстрее!..»

Снегу выпало еще мало, в солнечные дни он подтаивал, на вспаханном поле снег лежал лишь в бороздах, а отвалы земли оставались черными, поэтому поле казалось рябым.

Мороз не очень жал, он не чувствовался даже ушами, не промерзла хорошенько еще и земля, мягко поддаваясь под ногами; вечер кончался, кругом не виднелось ни живой души, как-то незаметно приближавшийся лес ждал гостеприимно, и Андрей бежал и бежал, стискивая в кулаке костыль, командуя себе: «Не сбавлять! Прибавить темп! Ты же свободен!»

Эта мысль приходила к нему уже бесчисленное число раз, сна все время вскакивала между другими мыслями о том, что же дальше? Как двигаться - через лес или держаться на небольшом расстоянии от опушки? Идти ли всю ночь или только пока более менее видно, так как ночью в лесу обязательно будешь шуметь, а это значит, что ты легко на кого-то напорешься. Где достать при случае оружие, чтобы, если на кого-то напорешься, было бы чем отбиться. Он подумал и о том, что не лучше ли ему не очень рваться к переднему краю, по мере приближения к которому шансы, что немцы его заметят, все будут нарастать, не лучше ли подойти к нему на сравнительно безопасную дистанцию, а потом где-то, не зная где, не думая пока даже где и как, спрятаться, забазироваться и ждать, пока не подойдут наши. Он не принял и не отверг этот вариант, просто отметив его про себя, потому что опять мысль «Свободен!» захлестнула его такой радостью, что он на бегу затряс головой, обхватил затылок руками, закрыл даже на время глаза, продолжая бежать вслепую. Эта мысль была главной. Она определяла все.

Наверное, он промчался уже сотни метров от дороги, прежде чем глянул влево-назад. Там должны были бежать те, кто прыгал за ним. Если прыгал. Он хотел бы, чтобы это оказался майор, майор ему понравился, он чувствовал, что на майора можно положиться, он хотел бы, чтобы бежал и сапер, судя по всему, хороший парень, он хотел, чтобы бежали другие солдаты из той кучки, которая жалась к стенам уборной. Он хотел, чтобы бежали все.

Но не бежал никто.

У него сжалось сердце и за майора, и за сапера, и за остальных.

«Что же такое? - подумал он. Сразу за ним должен был прыгать сапер, сапер и сказал ему: «Давай, друг. Давай!» - и эти слова как бы включали в себя и другие: «Я - за тобой».

Он, летя под откос, не видел, как прыгал сапер или еще кто-то, а сейчас же, за то время, которое он бежал, поезд ушел далеко, спрятавшись за ракитник, посаженный вдоль дороги между насыпью и телеграфными столбами.

«Неужели больше никому не повезло? - подумал он, продолжая бежать. - Неужели «как горох» не получилось? Неужели охрана перестреляла всех, кто прыгал?»

Ждать, что кто-то из пленных все-таки выпрыгнет, что этому пленному тоже повезет - его не пристрелят, он не сломает себе шею или ногу так, что не сможет бежать, - ждать не было смысла: поезд уходил все дальше и дальше, и если бы кто-то даже и удачно выпрыгнул, то побежал бы к лесу по кратчайшему пути, и его следовало бы искать в лесу, к которому надо было бежать как можно быстрее.

Он и бежал так, хватая воздух все время открытым ртом, подхлестывая себя словами: «Давай! Жми! Наддай! Прибавь!» - но за опушкой, забежав за первые деревья, он обнял сосенку, приткнулся лицом к шершавой коре и то ли от бега, то ли оттого, что его сердце вдруг разжалось, он радостно замычал: «М...м...м...» Потом, увидев вновь куски того, что было с ним за эти дни: ПМП, испуганное лицо Стаса, блиндаж, рожи всех этих фрицев, которые были так близко к нему, но все время оставались для него недоступными, наоборот, он для них был очень доступен, и они били его, как хотели, как считали нужным бить, тыкали стволами автоматов ему в спину, под ребра, в грудь, увидев, как уходила от него, когда он ехал на машине, его земля, увидев станцию Ракитная, девочку без ботика и ее отца в железнодорожной шинели, пса, готового броситься на него по знаку конвоира, увидев, какой жалкой казалась кучечка пленных возле уборной, как летит на него откос, когда, прыгая, он толкнул ногой вагон, услышав, как конвоиры били по нему, как по движущейся мишени, как по какой-то крупной дичи, - увидев все это, он застонал. Спазма сдавила ему горло, его всего затрясло, но он, стиснув зубы, впившись ногтями в сосенку, прижавшись еще сильнее к ней лицом, подавил в себе дрожь и спазму в горле, открыл глаза, тревожно осмотрелся и пошел назад, к опушке, держа кулак с костылем у плеча. Как занесенный для удара нож.

«Что дальше? Так! Подождать? Подождать! Только немного. Минут десять! - сказал он себе, все-таки надеясь, все-таки не отбрасывая совсем надежду, что кто-то из пленных покажется. - А если? Вряд ли...» - решил он насчет того, что немцы будут гнаться за ним. Для немцев вряд ли был смысл останавливать поезд, ломать график из-за какого-то сбежавшего пленного, держать неподвижный состав на путях, где его могли разбомбить. Остановка этого поезда неизбежно задерживала другие. И следовало ли все его делать ради одного-двух сбежавших пленников? Даже если бы немцы остановили поезд, даже если бы они погнались за ним сейчас, разве они бы догнали его?

«А собака? А эта псина?» - вспомнил он.

Но перед ним и по сторонам никого не было - никто из пленных не подбегал к лесу, никто из немцев не гнался за ним. Поезд ушел, поле перед железной дорогой осталось пустынным и таким же пустынным оно было за железной дорогой.

Бурые, опавшие листья - корочка на снегу - шуршали у него под ногами, и больше ничего не слышалось в покойном и тихом лесу. Ему попался снегирь - красногрудый комочек с бусинками глаз - бесшумно перелетавший с ветки на ветку. Андрей задержался и, прислонившись, чтобы не чувствовать себя таким одиноким, плечом к дереву, последил за снегирем и сказал ему: «Что, брат, хорошо быть свободным? - улыбнулся и добавил: - Счастливо тебе зимовать!»

«Но если они не погнались, это не значит, что я им больше не нужен, - соображал он, глядя, как снегирь, пугаясь его, перепархивает перед ним от дерева к дереву. - На первой же станции узнают, сколько нет и кого, и сообщат куда надо. Куда? - соображал он, не очень-то точно представляя организацию немецкой службы тыла. - В полицию? Этим, как тот, что охранял повешенных? Раз. Своим постовым - два. Еще кому? В те части, которые тут поблизости? А будут ли эти части заниматься ловлей беглых пленников? В общем, держаться надо дальше и от дорог, и от деревень. Иначе - нарвешься!..»

Он шел третьи сутки, и его уже начало шатать, так как он ел только шиповник, обрывая алые ягоды с жестких кустов. От волосатых, шершавых зернышек, которые он выплевывал, у него саднило язык, губы и небо. Он съел много шиповника, ему попадались кусты, усыпанные им. Еще он ел боярку, кидая ее горсточками в рот, обдирая зубами с твердейших косточек тонкую, засохшую кожицу. В ней почти не было сова, она пахла листьями и корой, но когда по пути ему попадалась боярка он набивал ею полные карманы.

Раз ему попала груша-дичка. Прямо под деревом, разгребая снег сапогами, он наелся этих кислешких, вяжущих рот сморщенных груш и натолкал их за пазуху, сколько вошло. Хотя почти все время он жевал, ощущение голода не проходило, от ягод и груш лишь бурлило в животе.

С куревом дело обстояло лучше. Еще в первое утро, достав кисет, прикинув, что махорки осталось лишь на десяток тоненьких самокруток, нарвав сухих листьев крыжовника, он перетер их в ладонях и досыпал в кисет. Теперь его папироски лишь слегка пахли табаком, но все-таки это было курево.

Когда он шел, он не мерз. Телогрейка, шинель, сухие сапоги грели на ходу хорошо, он даже снимал варежки, сдвигал на затылок шапку. Мерз он, отдыхая. Присев под дерево, опираясь о него, завязав шапку, сложив руки на груди, он, засыпая, весь собирался в комок, но, успев поспать совсем немного, просыпался оттого, что замерзали поясница, бока, колени, дубело лицо, ломили затекшие колени, а пальцы на ногах и руках кололо иголками.

Но все-таки он спал, даже видел сны, правда, большей частью про еду, и этот короткий сон возвращал ему сколько-то сил.

Легко он мог бы развести костер, его «катушка» работала исправно. Он мог бы раздуть трут, надергать из телогрейки ваты, поджечь ее, поджечь потом лепесток березовой коры, от нее сухие веточки, от них палочки и получил бы костерок, в который только подкладывать и подкладывать. Но он опасался жечь костер. У него еще было достаточно сил, чтобы держаться без огня.

Просыпаясь после короткого сна, он сжимался в еще меньший комок, прислушиваясь - нет ли какой опасности, и, убедившись, что опасности нет, радостно вспоминал:

«Свободен! Черт, свободен!»

Не то что это слово согревало его, нет, оно его согреть не могло, но от этого слова чувство холода все-таки притуплялось, отходило.

Он вставал с корточек, стараясь не хрустеть суставами, закуривал, разжигал трут за бортом шинели, смотрел между крон деревьев в небо, угадывая, скоро ли рассветет, ходил вокруг дерева, согреваясь, размахивал руками, приседал и, согревшись, устав, опять опускался на корточки, закрывал глаза, чтобы уснуть еще.

В первую же ночь, отойдя порядочно от железной дороги, почувствовав себя в сравнительной безопасности, он решил, что ошибся, планируя идти ночами. Так как практически ничего не было видно - он шел вслепую. И кто-то, затаившийся где-то, мог услышать его. Нет, он решил идти днем, когда он мог увидеть опасность и сделать так - спрятаться ли за деревьями, лечь ли, - чтобы избежать эту опасность.

Как только рассветало, он, осмотревшись, выбирал направление, держась все время за опушкой леса, спускаясь в овраги, оставляя, если ему приходилось идти полем, далеко в стороне деревни, быстро перебегаая пустынные проселочные дороги, наметив в этом случае заранее, куда и как дальше бежать.

Ориентиром ему служила Полярная звезда. Он ждал ее вечером, а когда в небе начинали светиться звезды, когда различалась Большая Медведица, он смотрел на то место, где должна была показаться Полярная звезда, дожидаясь, когда она засветится, говорил ей: «Привет. Вот ты!» - зрительно ронял от нее линию с неба на землю так, чтобы линия уходила от его глаз на восток. Где-то эта линия пересекала фронт, к точке пересечения ему и надо было стремиться.

На линии «он - восток» ему встречались деревни, слишком открытая местность, железная дорога, другие, как он считал, опасные места. Их приходилось обходить, делая каждый раз в этом случае крюк в сколько-то километров.

Немцы, опасность с ними столкнуться, все-таки все время отжимали его к северу, так как он вынужден был идти лесами и перелесками, а поэтому почти каждое утро, намечая себе маршрут, он забирал северней - в северном направлении чаще виделся лес или лесок. Как он и ни хотел держаться восточнее, разглядывая, что было перед ним, он все-таки уходил все севернее, севернее, севернее, не приближаясь к фронту.

Безлюдье только подчеркивало ощущение свободы, и, останавливаясь отдохнуть, он радостно смотрел по сторонам - до горизонта, так как только горизонт теперь не позволял ему видеть дальше. Возможно, не во всех деревнях, медленно уходивших ему сначала за плечо, потом за спину, стояли немцы, и, разведав такую деревню, он мог бы раздобыть там еды - попросить из милости или стащить незаметно, но он предпочитал не приближаться к деревням, опасаясь нарваться на полицаев.

А вот зверей он не опасался. Возможно, в лесах, которыми он шел, водились и волки. Правда, он не слышал еще их воя, но в последнюю ночь, проснувшись, он хорошо разглядел глаза рыси. Пара зеленых огоньков перемещалась невысоко над землей. Рысь двигалась по веткам бесшумно, и тогда он глухо крикнул:

- Пошла вон! Я тебя! Ишь ты! Пошла, пошла!

Огоньки почти тотчас исчезли, в темноте как будто бы даже мелькнуло тело рыси - темное, удлинненное пятно. Улыбнувшись тому, что он крикнул рыси как какой-нибудь кошке или собаке, которых следовало прогнать, он не сильно постучал костылем по дереву. Но рысь-то хорошо слышала этот стук. Он еще раз улыбнулся, представляя, как она удирает по веткам, сердито прижимает уши с кисточками, мягко перепрыгивает с одного сука на другой.

Закуривая, он хорошенько почиркал огнем о камень, выбивая много искр, чтобы рысь, если она убежала недалеко, если что-то замышляла, убедилась, что у него есть огонь.

Под вечер того же дня он видел, как мышковала лиса. Ветер дул от нее к нему, она его не чуяла, занятая поисками под снегом мышей. Она совала нос в снег, нюхала там, дергала от нетерпения хвостом, перебегала, держа нос низко, чтобы не потерять след. Когда она услышала его, подняла к нему свою мордочку, до глаз измазанной снегом, он замер. Он не хотел ее пугать, но, поняв, кто перед ней, лиса как стрелнула себя с места и помчалась по опушке.

На предвечернем светло-фиолетовом снегу она смотрелась как желтая птица, вдруг пронесшаяся у земли.

Утром следующего дня он чуть не убил зайца. Заяц выпрыгнул из-за куста, заяц прыгал куда-то по своим делам, когда он долго и недвижимо сидел на пеньке, так как от голода у него кружилась голова.

Мгновенно выдернув костыль из-за борта шинели, он с силой швырнул его в зайца, метаясь в бок; с расстояния пяти метров, как бы костыль ни угодил, он, если бы и не убил зайца, то оглушил бы его, и тогда зайца можно было бы поймать.

Костыль, рассекая со свистом воздух, пролетел над спиной зайца, сбил снег с ветки елочки и врезался в сугроб, а заяц, зачем-то сначала подпрыгнув вверх - наверное, от неожиданности, а может, и от ужаса, метнулся в одну сторону, в другую, и наконец опомнившись, дал стрекача прямо и исчез за елочками.

- Ах, черт! Промазал! - огорчился Андрей.

Еще бы он не огорчился. Он бы наелся, и это вернуло бы ему силы, и перестали бы кружиться голова и дрожать ноги, его бы не тянуло сесть, дремать и дремать. Он шел уже меньше, чем сидел. Как только ему попадался пенек, или упавшее дерево, или просто выступавший из земли толстый корень, он сразу же присаживался.

А идти еще надо было далеко!

- Эх ты! - сказал он себе вслух, вставая с пенька, чтобы идти. - Если бы это увидела Лена... «Черт с ним, с зайцем!» - решил он. Он улыбнулся, вспомнив, что, подпрыгивая вверх, заяц зажмурился, а когда упал на ноги, то широко открыл глаза, - тот круглый глаз, который Андрей видел, смотрел на него с ужасом.

Шагая, шатаясь от голода, жуя боярку, глотая даже ее косточки, он тащился по тихому лесу, забирая к опушке.

Так как от слабости у него уже не просто кружилась голова, а перед глазами начали вертеться разноцветные пятна, и он должен был смигивать их, он решил, что в эту ночь он должен раздобыть настоящей еды, для чего ему придется выйти к людям.

- Эх ты, заяц! - прошептал он, рассматривая далекую деревню, выбирая себе место, откуда, считал он, ему придется наблюдать несколько часов, чтобы определить, есть ли в деревне немцы или нет их.

«Нет, так дальше нельзя! Так не пойдет! - считал он. - Надо рискнуть! Надо только хорошенько понаблюдать и решиться. А иначе как же? Иначе пропадешь...»

Ему, и правда, следовало рискнуть и выйти к людям. Поест, быть может, и запасть какой-то



едой, быть может, что-то узнать о партизанах, быть может, раздобыть какое-нибудь оружие.

Он был на той территории, по которой в сорок первом наши торопливо отступали, выходили из окружений, и, как всегда в таких случаях бывает, на пути спешно отходящих войск оставалось оружие и, как тоже всегда бывает, это оружие, во всяком случае какая-то часть его, попадало в руки населения, не ушедшего с армией.

Подбирали его и взрослые - одни, чтобы потом, при удобном случае, воевать против немцев, другие, просто хозяйственные мужики, не могли не прибрать бесхозное добро, они тащили к себе в клуни и сараи винтовки, патроны, гранаты, запаковав, как сумев, зарывали все это на огородах или в ином укромном месте.

Вездесущие мальчишки-подростки, тайно от родителей, несмотря на всяческие их наказания и близко не подходить к оружию, конечно, а находили его, и прятали, и, уединившись где-нибудь в лесу, в глухом овраге ли, постреливали из пистолетов и винтовок. Им надирали за это уши, их пороли, но переделать их породу, конечно же, не могли.

Он вспомнил пастушат, которых видел возле госпиталя 3792, вспомнил госпиталь, вспомнил Лену... «Если б ты знала! - подумал он. - Если б ты знала!.. Нет! - тут же решил он. - Очень хорошо, что ты не знаешь. Помочь ты все равно не смогла бы, зачем же тебе из-за меня терзаться?»

Выбрав позицию, он начал наблюдать за небольшой деревенькой. Она была недалеко от кромки леса, в низинке, протянувшись вдоль обоих берегов речки, которая сейчас, схваченная уже тонким ледком, поблескивала. Собственно, оба ряда домов, тянувшихся по берегам, и составляли деревню, но кое-где эти дома прерывались, так как между ними были постройки покрупнее, какие-то хозяйственные строения - сараи, амбары.

Жизнь в деревне шла своим чередом - несколько санных упряжек ездили из нее к видневшимся вдаль стогам, возя от них то ли сено, то ли солому, женщины ходили к речке полоскать белье, иногда до него долетал собачий лай, к вечеру над многими домами потянулись вверх дымки - хозяйева то ли готовили еду, то ли подтапливали на ночь.

У него складывалось впечатление, что войск в деревне нет, и он почти решил, дождавшись темноты, идти в нее, когда с запада на грейдерной дороге показалось несколько машин-грузовиков с тентами для перевозки солдат, темная легковушка и то ли полугусеничный вездеход, то ли бронетранспортер - он не мог с такого расстояния определить точно.

- Вот тебе и зайдешь в эту деревню! - сказал он вслух. - Тут надо уносить ноги да подальше. «Но, может, сволочи не заедут в нее или только проедут?» - подумал он.

Машины, свернув с грейдера, покатались к деревне, причем не доезжая до нее, колонна сделала охватывающий маневр - два грузовика пошли правее деревни, два левее, по тем не главным дорогам, которые служат в деревнях для внутренних хозяйственных нужд - подвезти ли по ним с полей к амбарам урожай, дрова ли к сараям, корм скоту и для подобных же дел.

Ядро колонны между тем втягивалось по центральной дороге к центру деревни, и за домами, за деревьями легковушка, вездеход, остальные грузовики для него потерялись. Но фланговые машины он видел хорошо - по мере продвижения к тому месту, где боковые дороги сходились у околицы, с этих грузовиков прыгивали солдаты, и за каких-то пятнадцать минут деревня была в кольце. Правда, цепь окружавших оказалась редкой - дистанция между солдатами составляла метров сорок-пятьдесят, но ведь солдатам не надо было никого хватать руками: даже с его позиции различалось их оружие, в том числе несколько ручных пулеметов, которые солдаты быстро установили в нужных им точках.

- Сволочи! Гады! - сказал Андрей. Ему показалось, что, сжатая этим кольцом, деревня даже как бы замерла, затихла, стала вроде бы и меньше размером, как будто беззащитные дома и прижались к земле, и сдвинулись поближе друг к другу.

Вдруг сразу же в нескольких дворах зло залаяли собаки, и тотчас ударили выстрелы, и собаки завизжали и заскулили.

- Бандиты! Сволочи! Микроцефалы! - ругался он.

Из деревни по огородам в разные же направления побежали люди, но постовые окриками и выстрелами вверх вернули всех, кроме двоих. Эти двое не останавливались, минули цепь окружения, и тогда немцы ударили по ним в спины, и оба убежавших упали и остались чернеть на снегу. И тут в деревне закричали, заплакали женщины и дети, вновь залаяли, завывали собаки, вновь раздалось несколько выстрелов, и они как будто прекратили человеческие крики и плач, и собачий лай и вой.

«Ну, только бы оружие! Только бы к своим! Только бы выпал еще шанс попасть в роту! - думал он. - Ах, мерзавцы! И так вот - на всей нашей земле, куда они дошли... Ну, погодите, ну, погодите! Еще не все со мной кончено... Еще я жив... Только бы оружие...»

Он собирался было идти дальше, но, кинув еще один взгляд на деревню, остановился. Было видно, что оцепление стягивается в нее, и что околицу миновал бронетранспортер, выехали за ним легковая и один грузовик.

- Неужели уходят? - обрадовался он. - Неужели все? - он обрадовался и потому, что все остальные в деревне уцелеют, и потому, что после хозяйничания немцев в ней, он подумал, что после того как они застрелили тех двоих на огородах, может быть, и еще кого-то, кого он не видел, что после всего этого люди встретят его с большим милосердием, возможно, даже сочувственно, возможно, помогут едой ли, оружием ли или что-то расскажут о партизанах. Лес скрывал его, лес кое-как кормил, но это было все, что лес пока мог дать ему. Рано или поздно ему надо было выходить к людям, к своим, и жители этой деревни, где немцы учинили расправу, если не все жители, то многие из них и были своими.

Он стал ждать. Оцепление, кроме нескольких постовых по всему кольцу, ушло через огороды за дома, потерялось из виду, видимо, присоединилось к своим на улицах, а бронетранспортер, легковая и грузовик, отъехав немного, вдруг не повернули к грейдеру, а, двигаясь медленно, свернули к высокому холму. Какие-то три часа назад он проходил недалеко от этого холма. Часть холма за много лет была срезана людьми - там, в карьере, они брали глину, наверное, для ближнего кирпичного завода. Под откосом, на котором снег не держался, были глубокие ямы, да и в самом откосе находились ниши, наподобие пещер.

В деревне опять раздались крики, выстрелы, лай собак, и скоро с той же околицы, через которую проехали легковушка, бронетранспортер и грузовик, вышли сначала немцы, а потом толпой, сжатой с трех сторон охраняющими, жители. Некоторые из них несли какие-то узлы, какие-то вещи, и среди них - Андрей различал это - были и дети.

Тем временем немцы с первого грузовика ссыпались около холма и расположились так, что толпы жителей должны были пройти только к откосу, только к ямам, к пещерам.

- О гады! О гады! - шептал он. - О боже!

Он сел, так как ноги его вдруг перестали держать, и спрятал лицо в руки. Что он мог сделать сейчас? Что? Один! С каким-то костылем против всех этих немцев с винтовками, автоматами, пулеметами, бронетранспортером.

Ударил одиночный винтовочный выстрел, за ним второй и почти одновременно третий.

Он поднял голову.

Так как от карьера до него было ближе, чем от деревни, то и различались сейчас лучше немцы в шинелях с оружием в руках, среди немцев какие-то другие - в полушубках, в пальто, но тоже с оружием, тоже в составе охраны, оцепления, и он догадался, что это или полицейские, или какие-то другие каратели, но не немцы, а из местных или еще откуда-то, а внутри оцепления мужчины, женщины в платках и детвора всякого возраста. У нескольких женщин дети были на руках.

Правей оцепления, шагах в десяти от дороги, темным пятном на снегу лежал человек. Это по нему, пытавшемуся убежать, выскочившему за оцепление, ударили винтовочные выстрелы.

Кто-то в полушубке, держа винтовку в одной руке, торопливо перебежал к застреленному, наклонился над ним, перевернул с живота на спину и возвратился в оцепление.

- О ужас! - бормотал Андрей.

Он знал, что тут будет сейчас, он знал. Он, Веня, Папа Карло, Ванятка, Коля Барышев и один взвод роты - еще до Букрина видали такое...

Кричащую, причитающую толпу гитлеровцы и те, кто был с ними, толкая прикладами, стволами автоматов, оттеснили к самой стене карьера, затем гитлеровцы и те, кто был с ними, по команде - потому что сделали они это одновременно, Андрей хотя и не слышал команды, но хорошо все видел, - по команде отбежали за пулеметы, установленные в трех местах: один напротив центра толпы, а два напротив ее краев, толпа закричала, заголосила, так что Андрей, скорчившись, зажал уши руками, но и так он слышал, как ударили пулеметы, но и так он слышал, как к пулеметам присоединились винтовки и «шмайссеры».

- Изверги! Ироды! - шептал он. - Но придет час... Придет этот час!

Когда деревня, подожженная в нескольких местах, запылала, грузовики, легковушка, бронетранспортер уехали. Остались лишь четверо саней с теми, кто был с немцами в полушубках, пальто, наших шинелях.

Человек шесть из них стаскивали расстрелянных в ямы, лопатами рушили на них с откоса землю, иногда кто-то из этих шестерых стрелял, добывая неубитого, а четверо, расположились так, чтобы видеть деревню, наблюдать за ней - не появится ли кто спрятавшийся, спасаясь от огня и дыма...

Щеночек плакал. Уже не скулил, не звал мать, он совсем отчаялся и не ждал уже ее. Он еще ползал по дороге, хорошо наезженной санями, перебирал растопыренными лапками, стараясь крепче зацепиться; тыкался носом в отброшенный к обочине снег, возвращался туда, где потверже, делал на дороге круги, боясь, наверное, еще больше заблудиться.

Когда Андрей его поднял, щенок был совсем холодный, лишь под брюшком угадывалось нежное тепло. Андрей сунул его за борт шинели, щеночек судорожно зацарапался, пополз глубже и, уткнувшись носом под мышку, затих там и задремал, согреваясь, он дрожал так долго, потому что промерз, наверное, до самого своего сердечка, плача все тише, тише, тише. А потом он заснул и спал, пока Андрей подходил к деревне.

Полная луна светила всю, рассвет лишь угадывался, и деревня лежала в ночи сонно-покойно, виднелась четко и казалась безопасной.

«Что ж ты... Что ж мне с тобой делать? - подумал Андрей о щеночке. - Что мне делать и с самим собой?»

Он свернул с дороги, когда до ближних домов оставалось метров триста и, забирая левее, пошел к огородам, а потом по ним к небольшой избе, которую он выбрал, еще наблюдая днем за деревней.

В этот день он прошел мало, ослабев до такой степени, что каждую ногу приходилось переставлять, как чужую. И к вечеру, когда он подошел к этой деревне, он решил, что войдет в нее, чтобы раздобыть хоть какой-то еды. Пять дней он держался на боярке и шиповнике, так как даже дичок-груш ему больше не попадалось. Что в эту пору он мог добыть в лесу и на полях? Поля стояли голые,

декабрьские, и в обмолоченных скирдах, к которым он несколько раз подходил, надо было потратить час, чтобы найти полгорсточку зерна.

Кошмары про еду его больше не мучили. Это раньше у него перед глазами вертелись, сменяясь, то куски хлеба, то бачки каши, то целая ротная кухня супа. Довоенная еда тоже выскакивала перед ним - яйца всмятку, бутерброды с ветчиной, сыром, красной икрой, французские булочки, батоны, котлеты, бифштексы, горки начиненных блинчиков или голубцов, словом, все то, что было в его детстве и юности, но что сразу оборвала война.

Он оступел, соображал слабо, весь как-то обмяк, словно его мускулы стали хуже держаться на костях, и шагал то в какой-то полудреме, то пробуждаясь из нее, бессмысленно глядя под ноги, лишь изредка оглядываясь - нет ли опасности.

Он даже было потерял варежку, заметив не скоро, что одной руке холодней. Но у него еще хватило воли вернуться за ней по следам, и он, подобрав ее, тут же и решил, что дальше так нельзя, что надо добывать еду, иначе все кончится плохо.

Ожидая, когда стемнеет, он сидел, зарывшись в стог. Ему показалось, что он вот-вот хорошо согреется, но потом пришла мысль, что он просто замерзает, что его изголодавшемуся телу и такой мороз не посилен, что тело сдастся, что оно готово умереть.

«Нет! - сказал он себе. - Нет!»

Несколько раз ему пришлось вылезать из стога, ходить около него, мерзнуть, прогоняя сонливость. Но и торопиться в деревню он не мог - немцев он заметил в ней немного, всего несколько саней с немцами, которые потом уехали, но он боялся, что нарвется на людей, которые выдадут его полициям, а те - немцам.

Дом, который он выбрал, не был крайним - в крайнем как раз и устраивают посты. «Его» дом находился за переулком, но сравнительно и недалеко от околицы. Дом выглядел и поменьше, и победней многих домов деревни, и это было хорошо - бедные люди добрей, бедные охотней подают. А он и рассчитывал на доброту.

Так как огород не отделялся от домов забором, к дому и следовало бы подходить оттуда, в случае чего можно было побежать назад и через поле к лесу. Конечно, то, что светила луна, ему помогало - он бы мог различить патрульных, если бы тут были патрули, он знал, как пойдет, как отступит. Но при луне в него и целиться было лучше.

Щеночек спал, щеночек угрелся, так что лишь изредка дергался от дрожи, от того холода, который чуть не пропитал его всего, чуть не превратил в ледышку, а теперь уходил, выталкиваемый теплом, той теплой кровью, что двигалась по маленьким щенячьим артериям и венам.

Андрей погладил его через шинель, вынул из кармана костыль, поправил шапку, сдвинул ее назад так, чтобы слышать лучше, и тихо пошел к «своему» дому.

Пропел петух, его крик подхватил другой, третий, петушиные голоса звучали из-под крыш, как бы в отдаленности.

«Как раз! - подумал Андрей. - Должно быть, как раз!» - он глянул на луну. Она скатилась к западу, была так же велика, так же красива, но чуть-чуть уже не такой накаленной.

На огороде остались не убранные с осени палки подсолнечника, стволы кукурузы, и он вышел так, чтобы, став на колено, спрятаться за ними.

С его места двор в свете луны различался хорошо - приземистый глиняный домишко в два оконца на две стороны, бурая от дождей, солнца, ветров соломенная крыша, низкая дверь, завалинка, укутанная для теплоты картофельной ботвой, горшки, насаженные на кольца плетеного забора.

Ветер подул на него, запахло навозом, коровой, и тут стеклышке окна во двор затеплилось, мигнуло, опять потемнело, дверь дома отворилась, и через двор к сараю пошла небольшая фигурка, одетая во что-то тяжелое и длинное.

То ли маленькая худенькая женщина, то ли девочка шла к сараю медленно, неся ведро, а в другой руке плошку с огоньком, стараясь, чтобы движение воздуха не убило крохотный огонек. У ее ног скользила короткой гибкой тенью кошка.

Фигурка вошла в сарай, притворив за собой дверь, но Андрей ждал, сколько мог еще терпеть, не выйдет ли еще кто.

Утихли, отпел, петухи, луна продвинулась по небу на какое-то расстояние, стукнули, скрипнули двери в других домах и сараях, и Андрей, потрогав щеночка, сказав ему: «Ну! Сейчас, кажется, повезет!» - скользнул через огород, через двор, сжимая в правой руке костыль, остановился на мгновение, прислушался и вошел в сарай.

Сидя на скамеечке, почти спрятавшись под старым полушубком, наклонившись чуть вперед, доила корову девочка-подросток. Полушалонок сдвинулся ей на плечи, открывая темную головку и тонкую, с ложбинкой посредине, шею.

Рядом с девочкой на обрубке стояли горевшая плошка и кружка. Возле плошки из глиняной миски лакал молоко кот.

Воздух от двери толкнул огонек, огонек дрогнул, затрепетал, девочка обернулась, увидела его, блеснувший костыль, глаза девочки наполнились ужасом, она, тихо вскрикнув: «Ой, боже ж мий!» - припала к задней ноге коровы, уцепившись левой рукой за ее шерсть, а правой обнимая вымя.

- Не бойся! Тихо! Сиди! - глухо приказал он, осматриваясь, прислушиваясь, нет ли тут еще кого, кроме этих четырех живых душ - девочки, коровы, теленка, кота. - Немцы в деревне есть?

- Ни, - ответила девочка, все так же заворуженно глядя на костыль. - Выхалы.

- Полицаи?
- Е.
- Где? В твоём доме есть?
- Ни.
- Где есть? Близко?
- Ни.

Он вздохнул, шагнул к ней, она испуганно забежала за корову, уронив полушубок.

- Можно? - спросил он, черпая из ведра кружкой. Молоко ударило ему в нос теплом, жизнью, и он, закрыв глаза, судорожно проглотил эту кружку, потом вторую, потом третью.

Щенок, пискнув, зашевелился у него на груди, и он, переведя дыхание, достал его, наклонился и сунул носом в миску кота. Кот, сделав «Пфф!», отпрыгнул в сторону, а щенок залез в миску с ногами и, давясь, стал глотать молоко.

От ударившей в ноги слабости Андрей сел на скамейку. Он выпил ещё две кружки и ткнулся головой корове в бок. Корова обернулась и задышала ему в щеку.

- Иди сюда! - приказал он девочке. - На, - он поднял и подал ей полушубок. - Не бойся. Я не трону тебя. Зачем ты мне? Ведь правда? Только ты молчи. Ты - пионерка?

- Була. При красных, - девочка вышла из-за коровы, взяла полушубок, накинула его на себя и повязала полушалок.

- Кто у тебя дома? Отец? Мать?

- Ни. Немае. Тильки диты.

- Где отец?

- На хронти.

- Мать?

- Выхалы. До сестры у Грицаевку.

- Зачем?

- Систра рожаютъ.

Андрей горько потерся лбом о шершавый коровий бок. «Диты... Кот... Теленок... Сестра рожаютъ!»

- Что эта за деревня?

- Яка? Грицаевка? - не поняла девочка.

- Твоя.

- Опонасовка.

- Какой тут ближний город? - Петляя, уходя от деревень, он потерял ориентировку, и ему надо было иметь хоть какое-то представление, где он находится.

- Гайсин.

- В какой стороне?

Девочка махнула рукой в сторону огорода.

- Туды, - она почти перестала его бояться, а может, другая забота отодвинула её страх. - Та вин же захлэбнэться! - Она пошла к щеночку и вынула его из миски. - Який малэнький! - Краем платка она вытерла ему мокрую мордочку и сунула под полушубок. Когда девочка пряталась за корову, она вступила в навоз, и к её сапогам прилипли его мокрые комья и солома.

- Возьмешь? - спросил он о щенке, вставая со скамейки. Слабость почти прошла, надо было действовать дальше. Девочка закивала, улыбнулась, глядя в крохотные, наверно, только недавно открывшиеся глаза щеночка. Наевшись, он сопел, мигал, довольно не то скулил, не то чего-то хотел сказать им.

- Дядечку, а вы - биглый? - спросила девочка.

- Да.

- Биглых шукають, - как бы предупредила она. - Ни кормить, ни в хату пускать не можно. А зараз говорить старосте. Бо - расстрел. Там, на раде, висить их приказ.

- Поэтому никому обо мне не говори. Ты же пионерка, - он ещё глотнул из кружки. - Хлеба не дашь мне?

- Маленько дам.

«Маленько» его не устраивало, но не мог же он требовать больше.

- Что ещё дашь? Картошки?

- О, картошки дам. Картошки у нас богато. И гарбуза богато.

Тут у неё, конечно, ничего не было, и он должен был отпустить её в дом. Но он боялся, что она там долго провозится.

- Быстро! Пожалуйста, быстро! Мне надо уходить. Ты же не хочешь, чтобы меня поймали. - Он наклонился к ней, держа её, чтобы она не отступала. - И я там буду валяться как...

Его тревога передалась ей, она стала выдергиваться.

- Пустить! Дядечку, пустить! Треба швыдко! Треба швыдко! Я зараз, зараз, тильки трохи почекайте...

Она шмыгнула в дверь, Андрей, держа её неприкрытой, смотрел, ожидая, слушал, даже высунулся раз.

В деревне было все спокойно, был тот короткий покой, который приходит на землю перед утром, как приходит к человеку крепкий последний предутренний сон.

Сонно дышала корова, почмокивал теленок, который добрался до вымени, только кот в дальнем

углу смотрел желтыми недовольными глазами.

От молока Андрея уже поташнивало, но он пил и пил его, то поднося кружку к губам, то относя ее, чтобы забыть запах.

Ему казалось, что время слишком быстро идет, а девочки все нет, он сердито подумал: «Ну что ж она там!» - но тут скрипнула дверь, он увидел, что из-за ее края высунулась голова девочки, как девочка посмотрела по сторонам, как быстро перебежала к нему, волоча у ноги мешок и прижимая что-то к груди.

- Ось! - взволнованно сказала девочка, сунув ему одновременно мешок, треть буханки хлеба, на которой лежал кусочек, величиной со спичечный коробок, сала. Он сунул хлеб за борт шинели, туда, на место щенка, а сало в карман, девочка порывисто вынула из кармана полшубка два вареных яйца, штук десять вареных картошек, ломоть печеной тыквы. - Ось! Ось! - говорила она, помогая расталкивать все это, все еще взволнованная поисками еды в темной избе, все еще взволнованная и мыслью, что может разбудить детей, которые как-то повредят их делу или принесут опасность. - Швидче, дядечку! Швидче! Бежить! Бежить же!

- Матери тоже не говори!

- Добре! Добре! Там картопля, у торби, сыра, и гарбуз. Зварить собі... - откуда она могла представить, что ему и не в чем варить, что ближе к фронту вообще будет опасней жечь костер, что больше он не рискнет никуда заходить, чтобы попросить сварить эти «сыри картопли и гарбуз». Боясь за него, и за себя, торопя его, она все же хотела показать, что хочет ему помочь, что жалеет его. - Та бижить, дядечку ж!

Он обнял ее той рукой, в которой у него был костыль, притиснул к себе, наклонился, она откинулась, безвольно положила ему ладони на локти, и он поцеловал ее в мокрый соленый глаз и в лоб.

- Спасибо тебе.

- Нема за що. Хиба ж мы не люды!.. Та й бижить же!

- Спасибо! Мне нечего тебе дать... - он отпустил ее, дернул, нащупав на гимнастерке, солдатскую пуговицу со звездочкой и серпом и молотом на ней, вложил эту пуговицу ей в шершавую от ежедневного крестьянского труда ладошку, приоткрыл дверь, услышал, как она сказала ему в спину: «Бережи вас боже!» - глянул на двор, огород, на поле между огородом и лесом, толкнул тихо дверь, вогнувшись, перебежал двор, согнувшись же, перебежал огород, давя капустные кочерыжки, старые, померзшие огурцы, подумал: «А ведь их можно есть!» - и, волоча сначала мешок на отлете, а потом, изловчившись, закинув его за плечо, помчался к лесу.

Луна скатилась еще дальше. То ли оттого, что он был в тепле, то ли оттого, что пришел предупреденный мороз, ему показалось, что на улице холодней, он пожалел о сарае, потом пожалел, что вообще убегает и от коровы, и от телят, и от сердитого старого кота, и от этой девочки, которую он даже не спросил, как зовут.

Раз он обернулся, глянул через плечо, увидел «свой» дом, сарай, желтую полоску света из приоткрытой двери. Она, эта девочка, смотрела на него в щелочку, ожидая, как он добежит до леса, она, наверное, тоже подбадривала его, но если он все время говорил себе: «Давай Давай! Давай!», то она, наверное, шептала: «Швидче! Швидче, дядечку!»

Он еще раз мысленно сказал ей спасибо: «Тебе, детям, твоей матери», - когда от деревни кто-то поскакал за ним верхом, когда этот верховой крикнул, убедившись, что не догонит: «Стой! Стой! Стой!», когда этот верховой, сдернув винтовку, дал по нему выстрел, другой, третий, и первая пуля ушла сбоку, вторая тенькнула где-то высоко, а третья ударила ему под ноги.

С разгона он забежал в лес и помчался, слыша, как верховой дострелял обойму наугад.

«Под самый занавес! Ведь надо же! Черт бы его драл, этого полиция! - ругался он про себя. - Чтоб ему миной обе ноги оторвало! А как же девочка?» - испугался он.

- Пусть ей повезет, пусть ей повезет, пусть ей повезет! - как заклятие повторил он вслух, словно бы обращаясь к деревьям, снегу, земле под снегом, воздуху, лунному свету, заливавшему вершины деревьев.

Старый человек - сгорбленный, в глухо завязанной меховой шапке, в полупальто, в больших, не по росту - росту человек был маленького - валенках, толсто подшитых, с заплатанными пятками, тянул за собой по дороге детские санки. На санках лежали топор, жгут веревки, мешок, свернутый в несколько раз, и детские грабли. Все это было крепко прихвачено к санкам несколькими витками бечевы.

Шел человек как-то боком, одним плечом вперед, подпрыгивая при каждом шаге. И усы, и соединяющаяся с ними борода, и края шапки, примыкавшие к его лицу, были как будто помазаны серебристою краской, так лег на них иней. Санки легко скользили, иногда сдвигаясь вбок, к обочине, и тогда человек резким движением направлял сани за собой, менял руку, но не сбавлял шагу.

Дорога шла под гору, слегка снижаясь от городка, из которого вышел человек, к лесу. Был тот хороший день, какие устанавливаются в начале зимы, когда снег уже лег окончательно, но еще нет сильных холодов, а просто свежо и звонко в воздухе. Ярко светило солнце, снег блестел так, что приходилось щуриться, блестели от солнца и стекла в домах городка, а кресты на куполах церковки, возвышавшейся над городком, сверкали, как будто ночью их кто-то начистил.

Сворачивая с дороги, перетаскивая через придорожную канаву санки, человек незаметно огляделся

и пошел к опушке. Зайдя за первые деревья, он отвязал топор, но не стал рубить сушняк тут, а пошел дальше, в глубь леса.

Следя за ним, стараясь переходить от дерева к дереву бесшумно, Андрей отступал стороной так, чтобы человеку не попались на глаза его следы.

На небольшой полянке, в сотне метров от опушки, человек постоял, вроде отдыхая, потоптался, сделав при этом полный оборот, чтобы вновь оглядеться, развязал наушники, чтобы послушать, ничего не увидел и не услышал и отошел к ничем не примечательной сосне.

Из-под ветки, согнувшейся под снегом, Андрей сбоку хорошо увидел, как старик, отогнув на сосне кусок надрезанной коры, что-то засунул под нее. Это «что-то» не вошло сразу как следует, и старик подтолкнул его пальцем, потом прижал кору, и можно было бы пройти рядом с сосной и ничего не заметить.

Еще Андрей разглядел, что старик колченог, одна нога у него была короче, отчего он и ходил как-то вприпрыжку, отчего все его тело было перекошено.

«Так, - подумал Андрей. - Так. Ну, кажется, я выбрался! Только убедить его! Только бы убедить».

Старик между тем, отвязав веревку, сняв мешок и грабли, взяв топор, пошел в сторону от сосны и начал рубить сушняк, стаскивая его к санкам и укладывая на них. Когда он отошел так, что от сосны его не стало видно, Андрей, прислушиваясь к ударам топора, перебежал к сосне, отогнул кору и достал сложенную бумажку. На бумажке было написано:

«1-6; 2-14; 3-52; 4-7». Ниже стояла приписка: «Неделя».

Сунув бумажку на место, Андрей пошел к старику. Он дождался, когда старик начал увязывать дрова.

- Здравствуйте, - сказал он. - Я все видел. - Старик вздрогнул, как если бы кто-то неожиданно ударил его по спине, отступил от саней, тревожно посмотрел по сторонам и потянулся было к топору. - Не надо, отец! - потребовал Андрей. - Я свой.

- То есть? - из-под кустистых седых бровей старик враждебно смотрел на Андрея. В его взгляде не было страха, скорее в нем была досада. - То есть?

- У вас, отец, еды нет какой-нибудь? Я третий день не ел, - он присел на дрова и опустил голову. Сил у него почти не осталось, желудок сжался и ныл, ноги дрожали, и он, двигаясь теперь медленно, мерз. Остатки еды, которую дала ему девочка, он съел третьего дня. - Я пленный. Бежал. Пробираюсь к своим.

Старик все так же настороженно молчал, этих слов для начала разговора не хватило, и Андрей должен был повторить:

- Я все видел. Я прочел «1-6; 2-14» и так далее. До «недели». Я положил записку на место. Верьте мне.

- Это почему же? - задал вполне резонный вопрос старик недоброжелательно, очень и очень недоброжелательно, да еще и заложив руки за спину, да еще покачавшись в валенках с носков на пятки. Старик, наверное, обдумывая что-то, привык так качаться. Но уходить старик не собирался, он даже не смотрел на дрова, на незавязанную веревку, по одному концу которой, валявшемуся на снегу, он и топтался.

Конечно, старик теперь не должен был торопиться - Андрей понимал это, - его тайная связь с кем-то была раскрыта, и он должен был узнать, кто это сделал, подумать, что делать дальше, что ему грозит.

- Так как же насчет поесть чего-нибудь? - спросил снова Андрей, похлопав по мешку, в котором что-то было завернуто. - Я говорю, я - сержант Новгородцев, Андрей Новгородцев. Десять дней назад попал в плен. Взяли они меня ночью. - Он коротко рассказал и о себе и о Стасе. - Нет, отец, я не сволочь. Вы верьте мне. Понятно, что доверяться каждому нельзя...

- Но тебе - можно?

- Вам придется, - сказал Андрей суше. - Вам доверяться мне придется. - Ему не понравилась ирония.

- Почему же?

- Потому что вам ничего другого не остается.

- То есть?

- То есть и пионеру понятно, что у вас с кем-то связь, что кто-то придет за бумажкой, что в бумажке какой-то шифр, что в войну такими вещами не шутят, что если бы эта бумажка попала фрицам... - он опять потрогал мешок. - Хлеб? А они зачем? - он поднял грабли.

- Шишки собирать. Для самовара, - старик, помедлив еще немного, развернул мешок, достал из него сверток и протянул ему. - Ешь. Хлеб, лук, картошка.

Андрей раскрыл сверток, и в ту же секунду его рот был полон слюны: от домашнего свежего хлеба так пахнуло, так пахнуло и теплой еще картошкой, так пахнуло и луковицей, очищенной и разрезанной вдоль на несколько частей! Он хотел впитаться во все зубами и глотать, не жуя, но удержался:

- А вы? Как вас зовут? Давайте пополам.

- Николай Никифорович. Ешь. Ешь, - старик смотрел, то и дело начиная покачиваться на валенках, как исчезает еда, как дрожат у Андрея руки, и то и дело не переставая покачиваться. Из-за колченовости он и стоял и покачивался как-то наискось, и вообще он напоминал старого воробья, переживающего свою последнюю зиму.

В крошечном бумажном кулечке была и соль - большие, чуть желтоватые кристаллы. Десять дней Андрей ел без соли, девочка в деревне второпях не догадалась дать ему соли, или, может, у них самих

ее было мало, или просто девочка не придавала ей значения, но от желтых полугнилых огурцов, капустных кочерыжек, с которых кочаны были срублены, от мякоти недоломанных подсолнечников, которые он жевал и глотал, от всей той еды, что он мог добыть, выползая к концам огородов так, чтобы его не почували собаки и не начали лаять на всю деревню, его поташнивало.

Он положил в рот сразу несколько кристаллов и с наслаждением стал их сосать.

Когда Андрей сгреб в ладонь и слизал с нее последние крошки, Николай Никифорович спросил:

- Что дальше?

Вместо воды Андрей почерпнул снега и проглотил его. Конечно, он не наелся, он мог бы съесть пять таких порций, но все-таки желудок стал ныть тише, а со спины исчезли мурашки.

- Что дальше? Закурить у вас не найдется?

Отогнув полу пальто, Николай Никифорович достал кисет и сложенную в размер на длинную закрутку газету. Себе он свернул именно такую длинную, толстую, почти с карандаш, твердую папироску, перекосив рот, сунул ее в угол и, не вынимая, держа сцепленные руки за спиной, пускал дым носом.

- Вот что, - начал Андрей после первых затяжек, от которых у него чуть закружилась голова: махорка была крепчайшая, не то что его, смешанная на три четверти с сухими листьями. - Вот что, Николай Никифорович. Если бы я был сволочь, разве я бы сидел тут с вами? Как сволочь должна бы была действовать? Как?

Николай Никифорович наискось пожал плечами, ожидая.

- Так как?

- А так: увидел и - спрятался. Вы живете в этом городе? Человек вы приметный? Чего же спугивать? Ваша бумажка - это только кончик ниточки. Какой, я не знаю. А спугни вас - предположим, я с этими сволочами, с полицией, например, - а спугни я вас, ведь даже если вы не уйдете из города, даже если вас арестуют, вы можете ничего и не сказать. И ничего, кроме кончика, у этих сволочей и не будет. Ведь так? Какой же смысл был бы для меня, если бы я был сволочь, подходить к вам и говорить про «неделю»? Логично?

Глядя сбоку, склонив голову к плечу, Николай Никифорович молчал.

- Вы же пожилой человек. Подпольщик. Года два, наверное, в подполье. Так? Молчите? - Андрей усмехнулся. - Ну и молчите себе. От логики никуда не уйдете. Всю ночь будете думать. А мне все-таки поверите... Хотя...

- Что «хотя»?

У Андрея мелькнула страшная мысль. Он подумал-подумал и решил ее высказать.

- То «хотя», что и я с вами рискую.

- Пока я дойду до городка, ты будешь за десять километров, - сказал Николай Никифорович. - Но я не собираюсь тебя выдавать. Одним беглым военнопленным больше, одним меньше - какая разница?

- Не в этом дело, - не согласился Андрей. - Хотя...

- Опять «хотя»?

- Да, - Андрей встал, подошел вплотную к Николаю Никифоровичу и, глядя сверху вниз, медленно начал: - Однажды я лежал в госпитале. В сорок втором. В Костроме. Там лежали и партизаны, которых вывозили на самолетах. Так вот, они рассказывали, что иногда свои страшней фрицев. Фриц что - он виден. А вот когда фрицы из наших предателей делали ложные партизанские группы, даже отряды, и эти группы или отряды вступали в контакт с настоящими партизанами и наводили на них немцев, тогда было плохо - тогда партизаны гибли пачками. Или когда фрицам удавалось с бежавшими пленными или как-то иначе забросить к партизанам своего агента, тогда партизанам тоже было плохо...

- При чем тут я! - сердито буркнул Николай Никифорович. Он ни на сантиметр не отодвинулся, хотя Андрей нависал над ним. В глазах у Николая Никифоровича горела злость. - Меня это не интересует.

- Да? Не интересует? Но интересует меня! - отрезал Андрей. - За хлеб - спасибо, но вдруг вы сволочь? Вдруг вы связной с немецким агентом? Вдруг это донесение для него? И агенту надо выходить на связь. Не так ли? Если это так, через сколько часов на меня начнется облава?

Андрей сел на сани, обдумывая эту мысль, прикидывая, что же делать дальше. Ему не доверяли, но и он не должен был доверять каждому. Даже за хлеб, картошку и лук. Но еще до этой мысли он принял решение, и теперь старик его не интересовал. Но он добавил:

- Когда я сказал вам: «Здравствуйте, я все видел», я тоже рисковал жизнью! И сейчас рискую. Но давайте собирать шишки. Могу помочь.

Он встал.

Николай Никифорович, покачавшись на носках, спросил:

- Что ты от меня хочешь?

- Вы не знаете, что в таких обстоятельствах может хотеть человек?

- Оружие?

- И это.

- Оружия у меня нет.

- Жаль.

- Еще что? Еда?

- Еда тоже нужна. Но главное - к своим, свяжите меня с нашими.

Николай Никифорович ответил без колебания:

- Не могу.

По тому, как он закрыл глаза, стиснул углом рта окурочек, Андрей понял, что дальше с ним говорить на эту тему бесполезно.

Андрей горько усмехнулся.

- Давайте собирать шишки. Не тратьте времени.

Они быстро нарубили еще сушняка, так что получилась хорошая вязанка, плотная, но и не очень большая, чтобы особенно не бросалась в глаза, а потом взялись за шишки: Андрей граблями ворошил под соснами снег, а Николай Никифорович, двигаясь за ним на корточках, волооча за собой мешок, собирал в него шишки. Сухие, смолистые, они, наверное, гудели огнем в самоварной трубе.

- Где ты учился? - как бы между прочим спросил Николай Никифорович, встряхивая мешок, чтобы шишки легли плотнее.

- В архивном. В Москве, - Андрей больше не нуждался в этом старике. Идти с ним в городок он не мог, это было и рискованно, да и не нужно: он принял решение.

- Вот как? - удивился Николай Никифорович. - А что, был такой институт?

- Почему «был»? Он и сейчас есть. Историко-архивный институт.

- Вот как? В Москве?

- В Москве.

- Где же в Москве? Москва большая! Хорошо бы, - после паузы, после подавленного вздоха, хорошо бы, - сказал Николай Никифорович, - побывать в Москве.

- Побываем, - поддержал его Андрей.

- И долго ты учился? - Николай Никифорович пристально смотрел на него.

- Два года. Два курса.

- Потом? Война помешала?

Андрей сообразил: «Он допрашивает меня». Он спросил:

- Отец, а вы кто? Кто по специальности?

- Никто, - сердито ответил Николай Никифорович. - Живу из милости у дочери.

- Нет, я не про это, не про сейчас. Сейчас ясно, что у фрицев все свое, и мы им не нужны. До войны кем вы были?

- Зачем это тебе?

- Да так, просто. Или это секрет? Вы же меня... расспрашиваете.

- Нет, какой там секрет, - Николай Никифорович отряхнул рукавицы и полез за махоркой. - Я работал архивариусом. Эхма! - вздохнул он. - Давай еще закурим. И вообще... Дай-ка свой кисет. Давай-давай, - он пересыпал всю махорку в Зинин кисет и положил туда всю бумагу, оторвав лишь себе и ему по полоске на закрутку. - Огонь у тебя есть? Хорошо, что дальше собираешься делать?

- Подумаю. Вам, наверное, надо торопиться. - Андрей сунул грабельки под веревки.

- Ничего. Успеется, - Николай Никифорович подергал сушняк из охапки, чтобы охапка не казалась такой аккуратной. - Еще кто заметит, догадается, что не один я увязывал. Я спросил тебя, что ты будешь делать потому, что завтра могу снова прийти. Мол, решил заготовить побольше дров, пока снега в лесу немного. На месяц, на два. Привезу тебе хлеба. Еще чего-нибудь. Приходить?

Андрей чувствовал, что старик начинает ему верить, но стоило ли ему верить старику? Еда, махорка, особенно записка как будто давали право на эту веру. Но береженого и бог бережет. К тому же он принял решение: он полагал, что между этим утром и часом, когда кто-то придет за запиской, не должно пройти особенно много времени, иначе донесение могло потерять цену.

- Нет, не надо, - уверенно сказал он, - бесполезно. Меня здесь не будет.

Николай Никифорович быстро, как бы между прочим, а в действительности очень внимательно, посмотрел ему в лицо:

- Не будет?

Андрей кивнул.

- Какой смысл? Ну раз вы принесете еду. Ну два. Взять меня к себе вы не можете...

- Нет. Это исключается.

- Получается, что мне надо действовать самому.

- Пожалуй, - согласился Николай Никифорович. Он взялся за веревку, которой тянул санки. - Что ж, желаю тебе всего... Всего доброго... Всего, чего ты заслуживаешь, - уточнил он.

- Вам тоже, - Андрей помог ему довести санки к опушке. - Так, значит, вы не можете свести меня со своими?

- Нет! Не могу, - они чуть постояли. - Но завтра на всякий случай я привезу еду.

- Дело ваше, - сказал Андрей. А архивный институт находится на улице 25-го Октября, бывшей Никольской, между площадью Дзержинского и Красной площадью. Там рядом Славянский базар, ГУМ, памятник Ивану Федорову. Да, - вспомнил он, - во дворе института теремок. Старинный теремок. Считают, что в нем не то жил, не то печатал Иван Федоров.

- На Никольской, говоришь? - старик лучше натянул рукавицы и обмотал вокруг правой веревку от саней. Это по имени церкви, что ли? Никольского собора?

Андрей поправил дрова, взялся рядом за веревку.

- Нет. Ну, поехали? Я помогу до опушки. Нет, не по церкви. Там рядом Никольская башня Кремля.



Из вспомогательных' исторических наук у нас были хронология, дипломатика, палеография, сфрагистика, нумизматика, и еще кое-что. Доволен, отец? То-то. Если мало, могу добавить, что на теремке Ивана Федорова флюгер, а на флюгере дата 1646 год. В общем, отец, этот экзамен я сдам тебе на пять. Да и не только тебе, потому что мне врать нечего. Ясно? Не тяжело везти? Ну, счастливо. Спасибо, что покормил. Я на тебя не в.обиде.

Фигурка Николая Никифоровича удалялась, скоро стало незаметно, как он подпрыгивает. Андрей смотрел ему вслед, и сердце у него щемило - он только что был со своим, только что мог связаться через него с кем-то.

«Ничего! - утешил он себя. - Еще не все потеряно. Еще посмотрим, как оно выйдет!»

Он верил в удачу. Когда-то, когда он был совсем маленьким, лет пяти, что ли, его бабка, набожная крайне старушенция, водила его в церковь. По дороге к ней им попадались всякие хромые, горбатые, колченогие, слепые, и бабка, раздавая милостыню, внушала ему: «Встретить убогого - к добру, к удаче, так что им, убогоньким, радоваться надо. А ты боишься. Стыд и срам!» Милосердие, необходимое убогим, таким образом получало твердую основу - помилосердствуешь, значит, и сам жди добра.

Конечно, Николай Никифорович был тридцать три раза прав: не мог он вот так взять и свести его с нашими, с подпольщиками ли, с партизанами ли, с кем-либо еще, борющимися против немцев. В сорок первом он, Андрей, в РДГ убедился, как должны были осторожничать все те, кто воевал в тылу гитлеровцев. Когда старший их группы выходил в какой-нибудь точке на обусловленную связь, когда там, на этой точке, ему говорили о бежавших пленным, ищущих возможности связаться с нашими - разведчиками, партизанами, подпольщиками, - ответ старшего группы всегда был один: «У нас своя задача. Никаких приказаний на этот счет у нас нет. Ставить под угрозу свою задачу не имею права!» На первый взгляд, так отвечать было жестоко. Но кто гарантировал, что под видом пленного, бежавшего из лагеря, или, как он, из поезда, им в группу не подсунили бы провокатора? Или шпиона, который искал и такой возможности перебраться на нашу сторону после того, как группа, выполнив задачу, вернется через фронт? Да немцы могли, завербовав предателей, под видом пленных пускать их скитаться по своим тылам с тем, чтобы эти предатели, взывая к милосердию наших людей, оставшихся на захваченной немцами территории, взывая к милосердию, с помощью этих людей могли связаться с партизанами или подпольщиками, а потом выдавать их, подводить под аресты, расстрелы.

Как же мог этот Николай Никифорович так вдруг поверить ему? Нет, тут все было логично, и он, Андрей, не имел оснований, ни малейшего основания злиться на этого старика. Но это все говорил разум, а сердцу от этого не было легче.

Когда старик укатил свои санки с дровами и шишками, так ничего и не сказав ему, он отошел от сосны, в которой была записка, так, чтобы видеть сосну, но чтобы его не видели, и залез под нижние ветки елки, которые от снега опустились и совершенно скрывали его. Там, на сухой хвое, он скорчился, так как и места было мало, так как и холодно там было, и начал ждать.

Он знал, что кто-то же придет, что кто-то должен прийти за запиской, и не ошибся. Через несколько часов недалеко хрустнул сучок, потом наступила тишина, потом слышались осторожные шаги, потом опять наступила тишина. Он догадался, что человек подошел близко, видит сосну, стоит, наблюдая, нет ли признаков опасности.

Он не высовывался, пока человек подходил к сосне, он не высунулся, когда человек быстро достал записку и быстро же сунул туда другую, когда торопливо пошел обратно в лес, когда даже скрылся из виду.

Человек был одет в маскхалат с накинутым капюшоном и обут в белые валенки, и, хотя эта одежда скрывала его фигуру, а капюшон почти скрывал лицо, по движениям, по тому, как человек держал автомат, который висел у него поперек груди, по походке каждый мог бы догадаться, что к сосне за запиской приходила девушка.

Решив, что так будет лучше, верней, он пошел за ней, держась ее следов, снег позволял делать это без труда. Он не стал рисковать - если бы он вступил с ней в разговор там, у сосны, она, как и тот архивариус, вполне резонно могла не поверить ему, должна была не поверить ему, а, не поверив, сделала бы все, чтобы не повести его за собой. Конечно, рано или поздно, но ей пришлось бы куда-то идти с этой запиской, и он бы пошел за ней, она бы от него не отделалась, но все это осложняло его задачу, и он выбрал именно вариант слежки за ней, чтобы появиться там, куда она шла, перед теми, к кому она шла, нежданно-негаданно, а там пусть делают с ним что хотят?

Он прошел километра два за ней - девушка уходила в глубь леса под косым углом к опушке, - когда она вдруг остановила его:

- Стой! Стой, стрелять буду! Ни с места!

Еще до этого крика он услышал, как клацнул взведенный затвор.

Она целилась в него, держа автомат руками в тонких перчатках - он видел, что палец у нее на спусковом крючке, - а варежки, варежки с меховой оторочкой, покачивались на лямках.

Голос у девушки был сердито-раздосадованный, взволнованный и в то же время испуганный. Девушка стояла за кустом, выставив из-за него автомат. Очень скоро ствол автомата не то что задрожал, а закачался вверх-вниз, вправо-влево: девушке, наверное, было или трудно, или неудобно, а может быть, даже страшно держать автомат.

Он остановился.

- Стою. Не стреляй. Не надо. Я - свой!

Девушка выглянула, чтобы рассмотреть его получше.

- Кто - свой? Какой - свой?

Он тоже ее рассмотрел: она, когда шла, отбросила капюшон комбинезона, отчего открылась ее голова в новенькой солдатской шапке с красной звездочкой. Звездочка утонула в цигейке, но он-то различил это алое пятнышко, и сердце его радостно заколотилось.

- Сними палец с крючка! Сейчас же сними! - приказал он. - Дернешь еще нечаянно! И кто-то услышит! - объяснил он, как бы отодвигая мысль, что он боится. Но вообще-то он боялся – девушка не просто держала палец на спусковом крючке, а давила на него, так что он даже как бы видел, как шептало крючка выходит из-под боевого взвода затвора. Надави девушка посильней, и он мог получить целую очередь.

- Видишь, - он поднял руки, - у меня ничего нет. - Он распахнул и шинель и показал, что и под шинелью у него ничего нет, а потом поднял руки вверх и снова прикрикнул, потому что, пока он распахивал шинель, девушка снова положила палец на крючок: - Убери палец! Автомат не игрушка! Ты это понимаешь? Я к тебе не подхожу! - он опять повторил, тыкая пальцем в то место на своей шапке, где была звездочка и где темная цигейка сохранила ее очертания: - Я - свой. Понятно? Свой!

- Ну и что? Что из этого? - спросила девушка, но палец все-таки вынула из предохранительной скобы, хотя и держала его так, чтобы успеть в секунду нажать на крючок. - Иди, куда ты шел. Понятно?

Девушка смотрела на него напряженно, хотя теперь уже и не испуганно. У девушки были маленькие темные глазки, вздернутый носик, широкие скулы и большой пухлый рот над круглым, как яблоко, подбородком. Из-под шапки, чуть сдвинутой на одну сторону, выбивались к виску и верхней части щеки неопределенного цвета - то ли коричневатые, то ли рыжеватые - волосы. Девушке было лет двадцать.

Он опустил руки и облегченно вздохнул.

- Мне некуда идти.

- Это не мое дело, - возразила девушка. - А подойдешь, буду стрелять.

- Будешь! - согласился он. - Будешь. Я поэтому и не подхожу к тебе. Ты мне не нужна. Мне нужны свои. А насчет стрелять - надо знать, в кого и когда. Или для тебя убить человека - это семечки? Надень сейчас же варежки! Ну! Руки поморозишь!

- Не заговаривай зубы! - возразила девушка. - Иди своей дорогой.

- Мне некуда идти! - повторил он. - И не нужно мне тебе заговаривать зубы. - Его злила, как ему показалось, ее глупость. - Ну ладно. Убей. Стреляй. Черт с тобой! Только помни потом, и дай бог, чтоб ты до конца войны дожиди, и долго потом жила после войны - до старости, - чтобы помнить долго, всю жизнь, что сегодня ты убила человека ни за что, ни про что. Ну что ж ты? Стреляй! Всади весь магазин. Чтоб быть уверенной...

- Иди своей дорогой, - сказала девушка. Губы ее дрогнули. - Иди и все.

Он с отчаянием сел на снег, опустил голову почти к коленям и покачал ею:

- У меня нет этой дороги. Мне некуда идти. Я ищу своих. Своих, понимаешь?

- Своих здесь нет.

- Но ты ведь своя? - он в это верил: звездочка, новенький ППШ - он разглядел, что ложе автомата поблескивает, на нем еще не стерся лак, солдатская шапка, армейский полубубок, который угадывался под маскхалатом, армейские же новые валеночки говорили ему, что девушка даже не партизанка, а солдат, который находится по какому-то заданию в тылу немцев.

- Своя, да не для тебя! - отрезала девушка. - Иди, тебе говорят. Но за мной - не смей! Вставай. Вставай, вставай! Неча тут слезы лить!

Он встал и немного отошел, чтобы успокоить ее и в то же время чтобы, если она вздумает стрелять в него, когда услышит, что он хотел ей сказать, чтобы она не попала наверняка.

- Я говорил с Николаем Никифоровичем. Я видел записку. Не будь душой! - крикнул он, потому что девушка подняла автомат и нацелилась ему в грудь. - Убери палец! Дослушай же! Стрелять будешь потом! Дослушай, тебе говорят! Что я, прыгну на тебя через эти десять метров? Опустит автомат! Так. Хорошо. Молодец. Так вот, я говорил с Николаем Никифоровичем. Он даже дал мне хлеба и картошки. Я видел записку. И я об этом ему сказал. Но я не сволочь, не предатель, не подослан к вам. Иначе на кой мне было тащиться за тобой? Предатель что бы делал? Что бы я делал, если бы я был сволочью? Старика связного видел, записку читал, тебя... - он чуть было не сказал «выследил», но вовремя поправился: - Тебя видел. Теперь что бы надо делать? Если рассуждать логически - следить дальше. Потихоньку за вами следить, и все. Зачем же рвать кончик, когда надо бы тянуть всю нитку? Так ведь? Так? Подумай сама. Подумай, подумай! - настаивал он. - У тебя ведь тоже мозги, а не солома, - сказал он с уверенностью, пояснив: - Если бы их не было, тебя бы не послали сюда. Ты - радистка?

- Не твое дело. - Но девушка думала, она еще ниже опустила ствол автомата. Она то смотрела на него, то даже в сторону.

Он достал махорку, свернул папироску, закурил, он не торопил девушку. Он тоже думал.

- Смотри, - начал он и подошел шага на три. - Смотри. Что у нас получается?

- Не подходи! - предупредила она. - Ближе не подходи! - В ее голосе уже не было той жесткой, той беспощадной настороженности. То ли начав верить ему, то ли убедившись, что он ей не опасен, она немного оттаяла.

- Ладно, - он кивнул несколько раз. - Хорошо. Не буду подходить. Но ты слушай внимательно. Так вот...

- Только быстро. Мне тут некогда с тобой растабаривать. Передавай покороче.

- Предположим, я - гад. Предположим, я сволочь, которую хотят забросить к вам под видом беглого пленного.

- Предположим, - согласилась девушка.

- А ты что делаешь? Делаешь глупость какую-то! Вроде бы не дура, а...

- Почему глупость? - девушка даже отошла от куста. Он видел, что она морщит лоб и моргает, соображая. - Ты мне мозги не морочь!

Поборов досаду, выждав чуть-чуть, чтобы лучше «передать», он постучал себе по виску и почти приказал ей:

- Включи «прием»! «Прием»! Включила? Теперь не перебивай. Повторяю: я, предположим, сволочь. Я обнаружил связного, твою связь с ним, выследил тебя. Теперь я прошусь к вам. Так разве можно меня прогонять? Я сам даюсь вам в руки. Что ты должна сделать со мной? Ты же, предположим, захватила сволочь. Так «Руки вверх! Кругом! Не оборачиваться! Шагом марш!» И веди эту сволочь к своему начальству. Доложи. Начальство допросит меня, снесется с кем надо, и, если я и правда сволочь, если я не сумею доказать, что я свой, если вы убедитесь, что я гад, - так что же проще: к сосенке и пулю в лоб. Или петлю на сук, а мою голову в петлю.

На недалекой елке одна ветка, стряхнув снег, разогнулась, толкнула верхние, те, тоже стряхивая снег, толкали другие, снег зашуршал, осыпался, девушка вздрогнула, быстро присела, дернула ствол автомата в ту сторону.

- Не бойся! - усмехнулся он. - Так вот...

Девушка открыла рот то ли от удивления, то ли чтобы что-то ему возразить, но он не дал ей и слова молвить»

- А ты... а ты эту сволочь отпускаешь, сволочь сейчас бегом в город, к первым фрицам или полициям: «Тревога! Тревога! Тревога! Русские диверсанты в квадрате таком-то! По машинам! Окружить квадрат!..» И куда ты денешься? Куда? Под землю? Улетишь на воздушном шаре? А остальные? Зароются в снег? Так у них, у фрицев, у полицаев - собачки...

- Гад! - коротко выдохнула девушка.

- Вот именно, - согласился он. - А ты этого гада не стреляешь, не ведешь на допрос, а отпускаешь.

Девушка было подняла автомат, но не надолго. Что делать - она не знала. Ей надо было подумать. И он дал ей подумать, свернув еще одну папироску, рассыпав от волнения немного махорки.

- Вот, - сказал он. - Из-за тебя. А ты не мычишь, не телишься. - Он не хотел ее обижать, но подтолкнуть ее к действию следовало. - Я ведь без тебя, без твоих товарищей пропаду!

«Почему она и правда меня ни к кому не ведет?» - подумал он, и тут у него мелькнула сумасшедшая мысль. Он даже опять было пошел к ней, но она предупреждающе вздернула автомат. Он остановился, недовольно махнув на ее движение.

- погоди. Успеешь убить. И насмотришься. Ведь ходить мимо будешь? Или обходить придется? Чтoб не отворачиваться?

- Не буду отворачиваться! - дерзко заявила девушка. Но в голосе у нее почти не было злобы, а были неуверенность, даже отчаяние.

- Нс смогла бы, - как решенное сказал он. - Так что с тобой? Ты одна? Тебе не к кому вести меня? Твои товарищи погибли?

- Ты... Ты... Ты... - выдохнула девушка, но он ее перебил:

- Ты только не ври! Не ври! Ни к чему это. Я на фронте с сорок первого. Три раза ранен. Я кое-что понимаю в войне. Я тебе сказал, что ты не дура, сказал? - он не дождался ответа. - Ты и не ведешь меня ни к кому, потому что не к кому вести. Я...

Он коротко рассказал о себе.

Девушка молчала.

- Мы должны помочь друг другу, - снова, как решенное, сказал он. - Ты мне. Я тебе. Поодиночке мы слабей. Подумай над этим. Кто тебя защитит? Николай Никифорович? Тенором?

- А ты чем?

Это уже был человеческий разговор. Он показал ей костыль.

- Не этим, конечно. Но оружие я добуду. Твоим автоматом. Все можно сделать, были бы согласие да воля. - Девушка опять молчала. - Он распахнул шинель. - У меня нет никаких документов, - он опять рассказал ей, как его взяли и про Стаса. - Но ведь не всем же везет, - объяснил он. - Не всем. Кому-то же должно не повезти. - Следующая фраза сложилась глупо-многозначительно: - Если всем не может повезти, значит, кому-то должно не повезти? А, черт, - махнул он на себя. - Да разве об этом говорить надо? Вот, - он показал издали кисет. - Его видел и Николай Никифорович. Это не документ, да если бы я и показал тебе кучу бумажек, поверила ты бы им?

- Думаешь, твои слова важнее? - не очень уверенно спросила девушка. - Им можно верить?

Он спокойно покачал головой и, как бы подытоживая весь этот разговор, начал загибать пальцы:

- Фактам. Верить можно только им. И вот они. Первое, я не предатель, не подослан, предатели и подосланные действовали бы в этих обстоятельствах иначе. Второе, я не бродяга, не дезертир, которому нужно твое оружие. - Он пояснил ей с невеселой усмешкой: - Когда я тебя ждал возле сосны, я мог взять тебя сзади. Вот этим же костылем... Прыжок, удар в спину или плечо, другой рукой за ствол, еще удар в шею... Что ты успела бы сделать? Разве удержала бы автомат? А потом из этого же автомата тебя... И с концами...

- Гад! - сказала девушка и стукнула от злости ногой. - Гад.

- Нет. Я не гад. Ты это знаешь. Ты злишься, потому что ты просто боишься мне верить. Ты вообще боишься. Тем более что ты одна...

- А ты веришь, что, если ты пойдешь за мной, я буду стрелять? - почти крикнула девушка. - Нет? Так походи, попробуй походи!

Он подумал и пришел к выводу, что она и правда будет в него стрелять.

- Ладно, - он пошел к елке погуще, приподнял ее нижние ветки. У ствола, скорчившись, можно было сидеть - под нижние ветки елки снега еще не намело, там лежали сухая рыжая хвоя и шишки. Их можно было сгрести, сесть на них и так, ежась, вздрагивая, коротать время. - Я буду здесь. Иди. Думай. Но помни, что я не гад и что сейчас мы можем помочь друг другу. Иди и думай. Хватит разговоров. Главное - думай!

Она позвала его, когда он задремал, он даже видел несколько снов, нелепых, перебивающих друг друга. В них смешивалось несовместимое - дом, мать, сестра и ротный, институт и Лена, сапер, взрывающий стенку вагона и Днепр, и эта девушка, которая не желала ему верить. Общим оказывалось для всех снов лишь то, что он в любом из них вздрагивал то ли от ужаса, то ли от невыносимой радости, то ли от прикосновений людей, которые были ему неприятны. Но вздрагивал он в действительности всегда от холода.

- Эй! Эй! Где ты? Как тебя? - Девушка вспомнила: - Новгородцев! Андрей! Ты не ушел?

- Нет, - сказал он из-под елки. - Я сейчас. Я замерз как собака. Ты молодец, что вернулась. Сейчас, - он вылез.

- Хотя солнышко и спряталось за серо-белые тучи, похолодало не очень - время было еще только за полдень, но все-таки он здорово промерз и, свертывая негнувшимися пальцами папироску, подождал: «Бр-р-р! Бр-р-р!» и тише спросил:

- Так что с тобой произошло? Почему ты одна? Ребята погибли? Или где-то пропали? Ты одна не должна быть здесь...

Автомат у девушки висел стволом вниз, глаза тоже смотрели вниз, на носки валенок, а голова свесилась так, что подбородок упирался в маскхалат на груди.

- Погиб. Один. Старший радист. Тиша Луньков.

- Убили?

- Убился.

- Нда!.. - это было все, что он мог ответить. - Ладно. Не плачь. Слезами ему не поможешь. - Он подумал, что так тоже бывает, что в общей - в большой - войне все это естественно: нельзя рассчитывать лишь на одни удачи, на одни победы, всегда и везде на фронте не могут быть одни удачи, одни победы, как не могут быть всегда и везде только поражения, только неудачи у противника. История с этой девушкой - младшей радисткой, сброшенной после разведшколы с опытным, наверное, радистом и разведчиком - этим Типей Луньковым, была печальной, но, в общем, и закономерной: сколько разведчиков благополучно сбрасывали в тактический или оперативный тыл немцев за войну? Сколько их благополучно делало свое дело, а потом уходило, куда приказывало командование? К партизанам или на явку, дожидаясь прихода своих, или через фронт, когда проходил через него обеспечивался. Но ведь сколько-то по логике и закономерности войны должно было погибнуть. Погибнуть на разном кусочке их пути: одни в воздухе - в простреленном самолете, другие, неудачно прыгнув с парашютом, третьи, отбиваясь, когда группу обнаруживали, четвертые где-то в конце задания, воюя вместе с партизанами, попав под облаву, переходя фронт, когда до своих было уже всего ничего.

Тиша Луньков погиб на начальном кусочке своей, в этот раз разведческой, дороги...

- Не плачь. Хочешь? - он обер папироску о варежку и дал ей.

Она неумело затанулась, пустила дым, сдержала кашель. Потом, опять прямо из его руки, затанулась еще раз.

- Погиб! Так по-ненужному! Мы шли низко, я прыгала первой, за мной летчики сбросили тюк, ну груз наш, и Тиша, наверное, чтобы сесть поближе, затащил прыжок. Может, на какие-то несколько секунд... Когда я нашла его, парашют на дереве не зонтиком, а как кишка, а Тиша... - девушка рукавом маскхалата вытерла глаза и нос... - Поперек сучка...

- Он и сейчас висит? Ты парашют сняла? - быстро спросил он. - Девушка затрясла головой. - Дай! - он протянул руку к автомату. - Ведь демаскирует же! Парашюты на деревьях не растут! Дай! Дай! Если что, я смогу лучше. Еще магазины есть? Два? Молодец, что не поленилась тащить. Ну, пошли, пошли. Веди.

Тяжесть автомата, ощущение его деревянного приклада и стального кожуха, два запасных магазина, то, что девушка покорно шла впереди и, по большому счету, к кому-то из своих вела его, все это возвращало ему уверенность, и он, вздохнув несколько раз, подумав: «Просто счастье! Просто, Лена, счастье!» стал прикидывать, что же ему надлежит делать сейчас.

- Как тебя зовут? Мария? Ну что ж, хорошее имя. Наше. Так вот, Мария, ты иди, иди. Так вот что... Где он разбился? Найдешь сейчас место? Найдешь до темноты? И сколько туда идти? Час? Два?

- Найду. Часа полтора. Но, может, завтра? Хотя там его и автомат, и все остальное, - неуверенно сказала Мария.

- Тогда - туда! - решил он. Пошел снег, судя по тому, как все в природе затихло, снег должен был идти всю ночь, и это было хорошо - снег к утру скрыл бы все следы. - Быстро туда. Мы должны успеть! Ясно?

- Ясно. Ясно, Андрей.

- Не плачь! - сказал он опять. И прибавил нежно: - Нам надо успеть и вернуться. Грузовой парашют нашла?

Мария на ходу развязала завязки маскхалата, расстегнула полушубок, сдвинула еще дальше на затылок шапку.

- Нашла. Он ближе. И он не на дереве, он сорвался с дерева. Он в кустах. Я спрятала. А Тишу достать не могла.

- Молодец, - похвалил он ее за грузовой. - Ладно. Все сделаем. Все, Мария, сделаем! Мы еще повоюем! Мы еще этим гадам всыпем!

Он не стал спрашивать ее больше ни о чем, план у него сложился, ему надо было только разделаться с парашютом, как-то похоронить или хотя бы спрятать Тишу, перетащить груз к какому-то месту, то есть - забазироваться и помочь этой Марии делать то, что она должна была делать.

За два года войны он повидал всяких солдат, в том числе и армейских разведчиков. С одним он лежал в госпитале месяца полтора. Их койки стояли рядом. Этот разведчик кое-что, в общих чертах, ему рассказывал. Разведчик ходил - прыгал - в тыл к немцам и больше, чем за сотню километров, несколько раз. Однажды он с двумя товарищами наблюдал за перекрестком каких-то важных дорог. Наблюдали издали, из леса, через десятикратный бинокль. Считали, что прошло за сутки - ночью они выдвигались поближе и старались определить на слух и по контурам, что движется по дороге. Потом, когда наши наступали, разведчики спрятались хорошенько и дождались наших. Весь месяц им было запрещено делать что-либо иное, кроме как наблюдать и передавать какому-то своему начальству данные. Ни стрельбы по немцам, ни «языков», ничего другого, что могло повредить их наблюдениям. Их данные были для начальства дороже всего, и им надлежало только этим и заниматься, стараясь не обнаружить себя ни своими действиями, ни радиосвязью. Раз за сколько-то времени они минуту слали в эфир код и замолкали. И не высовывались.

Но он-то решил, что он не замолкнет. Что он имеет право высовываться. И он решил, что он будет это делать, подумав хорошенько, как делать, чтобы не мешать Марии, и будет помогать ей, если она попросит.

Тиша и правда лежал поперек толстой ветки, ниже середины развесистой сосны, которая росла у края поляны, не стесненная другими деревьями, и поэтому тянулась не только вверх, но раздавалась многими ветвями и вширь - к центру поляны и к сторонам опушки.

Под сосной, почти под Тишей, валялись его автомат с оборванным ремнем и смятым магазином, почти засыпанные снегом банки сгущенки, консервов, пачки патронов, ломти сухарей, мьльница, сделанная из снарядной латунной гильзы, и исковерканные детали передатчика. Все это высыпалось из разорванного об ветки вещмешка. Под головой Тиши чуть розовело небольшое пятно - нового снега на него попало еще мало, но он все-таки почти скрыл кровь. Она была видна лишь на подбородке Тиши, застывшая бурая струйка, выбежавшая из угла его рта. Левую часть дерева, как громадный прилипший бинт, накрывал захлестнувшийся парашют.

Андрей, разглядев, что на боку у Тиши висит финка, быстро отдал Марии автомат, быстро же снял шинель, ткнул ее на куст и попытался залезть на сосну. До крепких веток руки его не доставали метра два, он попытался было обхватить сосну и ногами, чтобы пролезть эти метры, но намерзшие сапоги скользили, и он только исцарапал ладони и чуть ли не сорвал ногти, впиваясь ими в кору. Тогда, кинув шинель под ствол, на розовое пятно, он разулся и приказал Марии:

- Колено! Руку! Потом - плечо! - он показал ей, как надо стать, чтобы он мог упереться ей в колено, потом в прижатую к стволу руку, а с нее перебраться ей на плечо, чтобы уцепиться за ветки. Взглянув вверх, увидев прямо над собой лицо Тиши, Мария было сказала:

- Не могу, ой, не могу...

Но он прикрикнул на нее:

- Отставить! Надо мочь! - а когда она подставила ему руку, он пояснил: - Кто, кроме нас, ему поможет? Кто? - Через носок он ощутил, как дрогнуло под его тяжестью ее плечо, но он уже схватился за нижний сук, подтянулся, упираясь ступнями в бока сосны, перехватился за второй сук, поставил на первый ноги, схватился за третий и был на дереве, на человеческий рост от Тиши.

Сверху он скомандовал:

- Собирай все, что найдешь. Не стой без дела.

Всхлипывая, Мария начала собирать банки и остальное, а он полез к Тише. Он только раз еще глянул в белое, бескровное, припорошенное снежком лицо Тиши, блестящее под этим снежком, потому что, пока Тиша был еще теплым, тончайший слой снежка растаял и покрыл лицо еще более тонкой пленочкой льда. Он тронул его за плечо, пробормотав:

- И за тебя мы сочтемся...

Все стропы, кроме трех, он отрезал Тишиной финкой у самого чехла парашюта, а три, забравшись к куполу, коротко, у его края. Упершись ногами в хороший сук, прижавшись к стволу спиной, он потянул за эти стропы, вытянул Тишу из развилки и, послабляя стропы, спустил Тишу под дерево. Потом, карабкаясь по веткам, где распарывая парашют, где сдирая его с сучков, он сбросил стропы Марии и приказал ей тянуть. От лазанья по дереву он не просто согрелся, а даже вспотел, но он торопился и поэтому не давал себе ни секунды передышки. По пути сюда они оставили достаточно следов. Топчась у дерева, оставили еще больше, теперь же Мария, сдергивая парашют с веток, отходя то в одну, то в другую сторону, прибавила их столько, что любого попавшего к этому месту мало-мальски пытливого

человека они не могли не заинтересовать. Вся надежда была на то, что снег до утра прикроет их. Следовало как можно скорей уходить, чтобы снег упал на следы пораньше.

Он спрыгнул на шинель, быстро обулся, не обращая внимания на разорванный носок и довольно сильно ободранную лодыжку, оделся, отхватил ножом полпарашюта, расстелил его, срезал с Тиши вещмешок и рацию, снял с него маскхалат, полушубок, сумку с гранатами, магазины к автомату, флягу, компас, часы, уложил Тишу на край парашютной ткани и, обернувшись, бросил Марии:

- Попрощайся.

Мария, пока он управлялся с делами, стояла, прижав под грудью руки, закрыв глаза и плача, всхлипывая, как будто у нее в горле что-то перехлестнулось, и воздух то попадал в легкие, то не попадал, и она от этого задыхалась.

- Попрощайся, - еще раз сказал он. - Надо торопиться.

Мария, все не открывая глаз, сделала несколько вялых, каких-то тяжелых шагов, упала рядом с Тишей, прижалась виском к его подбородку, а руку закинула через грудь, обнимая его.

Андрей ошалело отступил, хлопая глазами, бессмысленно оглядываясь по сторонам. Такого он не ожидал, не знал, как поступить, растерялся, но все-таки понял, что эти двое были не просто товарищи по заданию.

- Он - твой друг?

- Муж. Месяц... как была... свадьба... Все разведчики.. Из армии... из штаба армии был генерал... Да... И вот... Ах, Тиша, Тишенька мой... - причитала Мария, утирая глаза о подбородок мужа.

Смеркалось, деревья стали нечеткими, снег потерял белизну, на него можно было смотреть просто, как на белый песок, нее щурясь, но так как к ночи стало холодать, снег скрипел громче, и как-то громче звучал голос девушки и его голос тоже.

«Не надо было тебе лететь!» - подумал Андрей, все же не сказал этого, потому что и говорить теперь было бесполезно, потому что он не знал, как она просилась на это задание, полагая лишь, что оба они, и Тиша и она, просили, видимо, не разрывать их. Конечно, то, что они поженились, не освобождало их от войны. Они должны были продолжать войну, но, видимо, хотели быть рядом или поблизости. Он подумал, что она, видимо, и уговорила командование послать е, а не другую радистку, с Тишей. Что ж, она должна была выполнять работу радистки-разведчицы, и те, что ее послали с мужем на эту работу, не составляло, наверное, особого нарушения правил. Кто же знал, что у них получится так нескладно? Кто же это мог вообще знать?

Он присел рядом с ней.

- Пора.

Мария только сильнее прижалась к мужу.

- Пора, Мария. Пора, - он потрогал ее за плечо. - Нельзя так... Убиваться... Что сделаешь?..

Мария сжала в кулаке воротник Тишиной телогрейки, а другой обвила его голову и снова затихла.

- Пора, Мария. Пора, - он погладил ее пальцы, потом осторожно расцепил их и, не давая ей снова схватиться за мужа, приподнял, перехватил под мышки и отнес в сосне.

Чехлом парашюта он накрыл лицо Тиши, считая, что так к нему не скоро доберутся ласки, или хорьки, или какие-то другие зверьки, которые, наверное, тут водились и зимой, закатал его в парашют и захлестнул стропами.

- Это все, что мы можем для тебя сделать, друг, - сказал он. - Ты уж нас извини. - Вскинув Тишу на плечо, он вошел с ним в ельник и, срезав почти у ствола крепкую ветку, подвесил на сук той частью, где была голова. Забросив ту часть, где были ноги, на другую ветку, он примотал все тело стропой. Тиша повис, как в коконе, выше, чем в метре от земли.

Срезанной веткой, пятась, Андрей, сколько мог, загладил свои следы, чтобы снег потом и вовсе скрыл их.

На остаток парашюта он быстро сложил все, что им досталось от Тиши, увязал концы узлом, приспособил все те же стропы, как лямки, сменил в Тишином автомате магазин, связал ремень, надел этот автомат на плечо Марии и поднял мешок.

- Ну, пошли, Мария. - Мария безучастно стояла, глядя на ельник. Она было наклонилась в ту сторону, как бы собираясь идти именно туда, но он не дал ей: - Нельзя. Не надо, Маша. Ты его выдашь. Ну, пошли?

Он взял ее за руку и повел за собой, и она шла за ним, как девочка, - боком, запинаясь, оглядываясь, оттягивая ему руку, плача.

Он вел ее, ощущая ее сопротивление и тяжесть вещмешка, в котором лежало то, что принадлежало Тише, ее мужу, а теперь должно было служить им, потому что на войне не только живые должны помогать живым, не только живые должны помогать мертвым. Потому что на войне мертвые тоже должны помогать живым.

Землянка оказалась крохотной - размером лишь на два хороших сундука или с железнодорожный контейнер для перевозки домашних вещей, если этот контейнер положить на бок. Но оборудовали ее отлично - справа и слева от входа пол поднимался, образуя по бокам землянки нары. Чтобы нары вышли пошире, в степях возле них были подрыты ниши, так что бок человека входил в такую нишу. Напротив входа на полу меж этих нар стояла печечка величиной с ведро. Кусок водопроводной трубы, ввинченный в крышу печки, выходил из землянки под ствол елки, так что ни дымок, ни тем более сама

трубка не были заметны даже с очень близкого расстояния.

Над нарами и под ними были вырыты разного размера квадратные и прямоугольные углубления, наподобие тех, что бывают в русских печках со стороны топки - в таких печурках сушат варежки, держат спички, свечки, прочую хозяйственную мелочь. В землянке же в этих печурках лежали, кроме немецких плашек-свечек и спичек, гранаты, патроны, банки консервов.

Плоский потолок землянки был сделан из толстых, сечением в бутылку, жердей, плотно пригнанных, так что и насыпанная на них земля не просыпалась и потолок держал тепло. Входом в землянку служил люк, вроде люка для погреба. Люк закрывался крышкой-творилом, имевшим с внутренней стороны ручки - кривые, прибитые к доскам палки. Чтобы вылезти из землянки, следовало приподнять крышку люка, стать на специальную ступеньку, сдвинуть люк в сторону на узловатые корни сосны и осторожно положить его на них. За печкой, в торцевой стенке была вырыта глубокая ниша, где лежали коротко напиленные, видимо, пиленные еще сырыми, а теперь хорошо просохшие, твердейшие березовые чурбаки. Там же в уголке было врыто до половины ведро для воды, накрытое фанерным кругом. По обе стороны от люка над нарами торчали вбитые в землю крепкие колья, на которые при нужде вешалось оружие, вещмешки и все, что надо было повесить. На нарах лежали сплетенные из тала на манер циновки двойные подстилки. Они делали нары мягче, суше, теплее, но не крошились, так как, видимо, от земли брали сырость и сохраняли от этого упругость, гибкость. Словом, земляночка оборудовалась со знанием дела, даже с какой-то затаенной любовью.

«Не иначе, как делал ее Николай Никифорович, - решил Андрей, уже пожив в землянке. - Потихонечку, полегонечку, сегодня одно, завтра - другое, за лето и сделал. - Он вспомнил пальцы Николая Никифоровича - они были длинные, сильные. Они хорошо обхватывали ручку топора. Да и топор у него был отточен, как плотницкий. И вообще, рассматривая Николая Никифоровича сейчас, из землянки, зрительно возвращая его на опушку, он пришел к выводу, что, несмотря на свою колченовость, этот архивариус был сильным человеком, родился сильным, и, если бы не увечье, он бы был крепким мужчиной. Поэтому-то ему и не составляло особого труда потихоньку вырыть эту крохотную землянку и оборудовать ее. Он и место для нее выбрал так - не в чашобе, куда, если будут искать, в первую очередь и начнут заглядывать, а в неприметном, вроде бы просматриваемом местечке, на которое глядят вскользь, с которого сразу же переводят глаза на чащобу, начинавшуюся метрах в пятнадцати-двадцати от землянки. Но он расположил ее так, что можно было пройти рядом и не заметить ничего подозрительного: кустики, старый, полусгнивший тяжеленный комель с землей и корневищем, овражек, пеньки от давно срубленного подлеска - все это маскировало землянку.

Конечно, при хорошо организованной облаве с собаками, с большим числом людей эту землянку немцы могли бы обнаружить, но, судя по тому, что Андрею рассказала Мария, расчет Тиши, вернее, командования, которое послало их на это задание, делался на то, что Тиша Луньков будет слать свои радиogramмы далеко от землянки, километрах в десяти-пятнадцати-двадцати от нее, и каждый раз с нового места. Для этого-то ему и полагались лыжи и вообще вся остальная лыжная экипировка. Тиша считался отличным лыжником, для него пробежать двадцать пять-тридцать километров в день не составляло труда.

- Но только в метель. Или только когда пойдет снег. В общем, так, чтобы следы не оставались, чтобы по ним не пришли к землянке, - объяснила Мария, когда они пробыли в землянке дня три. - У нас частота передач не планировалась. Главное - чтобы не выдали себя. На Земле, - она сказала это слово так, как сказала бы его, если бы находилась на острове, - на Земле на нашу волну настроены. Ждут в любое время суток. Групп-то...

Она замолкла, как бы спохватившись, что дальше говорить не следует.

- Можешь не говорить, - помог ей Андрей.

Она безразлично махнула ладонью!

- Я же поверила тебе.

- И все-таки, что считаешь не нужным, не говори.

Но она досказала:

- Групп-то готовили не одну. Конечно, каждая не знала, к кому и как пойдут другие, но на занятиях... В общем, ловили друг друга... Да ведь и жили все вместе. Свои же все. И потом, когда на одной волне не один радист, а несколько, да с разных точек - это сбивает перехват. Ведь так?

- Так. Видимо, так.

Все, что он должен был сделать, он сделал на следующий же день, перетащил и перепрятал груз - запасное питание к рации, лыжи, мешок с едой, мешок со штатской одеждой для Марии и Тиши.

По этой штатской одежде он догадался, что при нужде или по команде с «Земли» они могли, переодевшись, через Николая Никифоровича или с помощью кого-то еще уйти из леса на какую-то явку и работать оттуда.

Так как в землянку все это не вошло бы - и так в ней было не повернуться - весь тюк, изрезав грузовой парашют, Андрей разделал на три части. Одну затащил в землянку, а две спрятал в разных местах. В каждой из частей были еда и боеприпасы, так что в землянке запаса еды хватило бы дней на десять, а две части составляли как бы тайный резерв. Оба эти резерва он увязал и разместил так, что заметить их было трудно, но он бы мог в критическую минуту, предположим, если бы ему пришлось отступить с боем, он бы мог в считанные секунды добраться до любого из них. Больше того, он боеприпасы увязал отдельно, в особом узле, прикрепив его стропой к основному, а узел затянул на бант, так что стоило дернуть за хвост банта, узел развязывался и патроны и гранаты оказывались под

рукой.

Сбежав из плена, дойдя до этого леса, встретив Николая Никифоровича и Марию, оказавшись в этой земляночке, он не имел права по-глупому рисковать. Он понимал, что в подобной обстановке и мелочь может стоить жизни. И он старался продумать каждую мелочь, в том числе даже то, как увязать боеприпасы и где в тайнике их расположить.

Лыжи и все необходимое, чтобы ездить на них, он спрятал совсем неподалеку.

Да, лыжи и снаряжение хорошо вооруженного лыжника все меняли.

«Теперь я им... - подумал Андрей о фрицах в том блиндаже, где его били, хотя, конечно, именно этих фрицев ему было не достать.

Но все-таки он злорадно подумал: - Что, выкусили? Теперь посмотрим. Теперь, попадись вы мне на мушку, я вас разделаю... как того Гюнтера. И как второго Гюнтера»,

Да, лыжи меняли все! Даром, что ли, он перед войной входил в первую двадцатку биатлонистов республики? Даром, что ли, он был в рейде с РДГ?

- Посмотрим, посмотрим!.. - бормотал он себе. - Это, брат, как подарок, это, брат, как счастье, которого не ждешь. Ну, фрицы! Ну, вонючие фашисты! Маму родную вспомните!

Управившись с тюком, наевшись досыта колбасы, сухарей, сгущенки и предварительно хватанув спирта, от которого он чуть не задохнулся и который он судорожно заел двумя горстями снега, он залез на левые нары, поворочался, устраиваясь, и завалился спать.

Нары оказались ему коротки, ему приходилось лежать на них или на боку, согнув ноги, или же на спине, тоже согнув их. Но это его несколько не беспокоило: в землянке было тепло, пахло горящими дровами, землей, корнями, было очень покойно, почти безопасно, и он проспал сутки.

Мария его не будила, он ей, уже засыпая, пробормотал:

- Посторожи меня, ладно? Знаешь, я - выдохся. Но я отойду. День - и отойду. А пока посторожи. Последний раз я спал по-человечески, - он прикинул, сколько же дней прошло после госпитала, - месяца полтора назад. Или... или давай и ты спи. Нет? Ну хорошо, но, когда захочешь, разбуди...

Она его не будила, он проснулся сам, потому что хотелось пить.

В землянке горела плошка, тлели угли в печке, на которой стоял котелок. От котелка пахло гречневый супом с говядиной. Мария сидела, опустив ноги в проход, положив руки лодочкой между колен. На плечи у нее была наброшена телогрейка. Мария была без шали, без валенок, только в вязаных носках, валенки лежали у нее под ногами, служа вместо подстилки.

- Есть будешь? - спросила Мария, улыбнувшись, как другу или родственнику.

- погоди, - сказал он, протирая глаза. - Сначала - здравствуй. - От долгого сна он весь затек. Он встал, развел руки, потоптался под люком, сгибая шею, чтобы не задевать головой за ручки. - Пахнет вкусно. - Но тут у него мозг заработал: - Но ведь пахнет и там, - он тихо постучал в люк. - На сколько метров пахнет? На полсотни? На десять? На сотню? Запах - это тоже следы. Да еще какие!

Мария помешала ложкой в котелке.

- Не бойся. На улице метель. Только поэтому я и сварила горячего. Здравствуй, - запоздало добавила она.

- Метель? -- это слово как ударило его. - Метель, говоришь? А сколько времени? - Он повернул руку так, чтобы свет упал на часы. Ему пора было начинать свою пока одиночную войну. - Пять двадцать? Вечера? - По тому, сколько ему пришлось заводить пружину, он понял, что время «пять двадцать» утра! - Метель, значит!... - процедил он, соображая, что к чему. - «Для начала не очень далеко?.. Или подальше? Посмотрим.» - Он повернулся к Марии: - Ну, раз ты за хозяйку, накрывай на стол.

Мария сняла котелок, поставила его к нему на нары. Когда она сделала это, телогрейка соскользнула с ее плеч, и под еще нерастянувшимся свитером четко обозначилась сильная, высокая грудь. Мария, уловив, что он заметил это, стыдливо запахла в телогрейку, но он посмотрел ей в глаза, сказал без слов:

«Будь спокойна, милая. Не до этого. Жаль, что с тобой я, а не твой Тиша. И у меня есть Лена. И вообще я не сволочь».

Но Мария не поняла его взгляда, вернее, поняла по-иному.

Он сделал шаг к ней, сел рядом, обнял за плечи, она крикнув: «Не надо! Не надо! Прошу тебя! Прошу!» - сжалась под его рукой, но он сильнее прижал ее к себе, ее плечо и бок к своей груди, к своему боку.

- Ты мне сестра! Поняла? Сестра! Я для тебя - брат. Навсегда. Поняла? Мы брат и сестра. Поняла? У тебя есть братья?

Затихнув у него под рукой, но не разжимаясь из комочка, еще все-таки боясь его, еще не поверив его словам, она ответила:

- Два. Два брата. Один на фронте, другой допризывник. Скоро тоже пойдет.

Он сильнее прижал ее к себе и тут же снял руку.

- Ну, а я теперь для тебя третий брат. Навсегда. Навсегда. И кончится война - я все равно буду для тебя братом. Мы будем писать друг другу письма. Иногда приезжать в гости. Ты спасла меня. Ты это понимаешь? - он поднял, нежно прикоснувшись к ее подбородку, ее голову. Она смотрела на него настороженно, но в ее глазах уже была и вера. - Как же я... - продолжал он, - как же я могу быть сволочью? И потом... - он улыбнулся, откинулся к стене, зажмурился от нежности, пришедшей сейчас к нему, - и потом у меня есть девушка. Вернее, не просто девушка, а... как бы сказать тебе...

- Как бы жена? - помогла ему она.



- Вот-вот! - подтвердил он и уточнил: - Я считаю ее своей женой, а она считает меня своим мужем. Когда мы встретимся, мм поженимся по-настоящему. Так что ты...

Но Мария тут заплакала.

- Мы тоже хотели... Хотели после войны поехать сначала к моим родителям, потом... - она вот-вот могла опять разрыдаться, и следовало сменить разговор.

Он поцеловал ее в висок и пересел на свое место.

- Ну все! Все на эту тему! Отставить! Приказ ясен? - Мария, всхлипывая, сквозь слезы улыбнулась ему, показывая, что приказ ясен.

- Сухари! - потребовал он. - Два здоровых сухаря. И, раз метель, будем пить чай. Я его вечность как не пил. Дай-ка ведро, я наберу снега. Прибавь дровец, и котелок на печку! Понятно? Выполнять приказание!

- Хоть три! - согласилась Мария. Она поняла все, что он сказал ей, и, поверив, успокоилась и поддерживала его тон: - Пожалуйста - и четыре. Есть подкинуть дровец, есть поставить котелок для чая. Но что ты задумал? А, Андрюша?

- Сейчас, - сказал он и поднял творило.

Была и правда метель. Над темным лесом в темном же небе дул ветер, он гудел где-то вверху, шумел в кронах, бросал в лицо Андрею холодные колющие снежинки. Звезды не виднелись, их закрыли снежные тучи, не виднелись даже ближние деревья, и Андрей, отойдя по направлению к лыжам, шарил их на ощупь. Он сколько-то искал их, боясь вообще потеряться, боясь, что на обратном пути не найдет и землянку, но ему хотелось еще до свету все отладить, подогнать, примерить, и он все-таки нашел лыжи. Он оставил их у землянки, а все остальное втолкнул внутрь, набрал в ведро снега и спустил его за собой.

- Ешь! - Мария сидела в той же позе. - Ты куда собираешься?

- Я... я бы сделал глоток спирта, - уклонился он. - Для прочистки мозгов. Ты права, метель такая, что вряд ли кто сунется в лес. Но все-таки я ориентировался и по запаху, - он сел, взял из рук Марии флягу. - Дунет от землянки на меня - и гречка. А где гречка - там люди. Ясно? Если варить придется - значит, только глухой ночью. В такую же метель, но плюс глухой ночью. Ну, - он отвинтил пробку, - ну, за почин. - Он хлебнул спирта, черпнул из стоявшего на печке котелка, куда Мария подкладывала из ведра снег, запил ледяной еще до ломоты в зубах водой и начал есть суп, макая в него сухари, обсасывая эти сухари, откусывая от них помягшевые края. - Отличный суп, Маша. Собираюсь по делам.

- Далеко?

- М... м... м... километров, наверное, за двадцать. Но, может, и за три раза по двадцать. Обстановка покажет.

- Зачем? - Мария смотрела на него без подозрения, но выжидающе.

Он нажал на суп, соображая, как бы ей рассказать победительней.

- Ты не выпьешь? Ну хоть поешь. Конечно, не идет, но есть-то надо. Чаю попьешь? Со сгущенкой? Со сгущенкой хорошо... Как там котелочек? Ага... - Поставив на колени котелок, он выскреб остатки супа. - Как ты думаешь, мне что теперь, до конца войны тут спать? Я могу тебе чем-нибудь помочь? В твоей работе, по твоему заданию?

- Нет, - она взяла у него котелок, бросила в него немного снега, чтобы снег растаял и чтобы потом котелок можно было хоть немного помыть. - Нет. Рация испорчена. Новую же ты не принесешь?

- Нет, - он подтянул поближе то, что втолкнул в землянку, и стал разбирать: пьексы, носки, свитер, белье, маскхалат. Пьексы, главное пьексы, пришили ему впору, а вот белье и свитер оказались размером меньше, но он подумал, что при движении, отпотев, они растянутся на нем. - Нет. Но если я не могу помочь тебе ничем, значит, я что-то должен предпринять сам.

- Чтобы связаться с кем? - Мария зажгла, чтобы ему было светлее, вторую плошку. Теперь он мог разглядеть ее получше. У Марии был курносый с открытыми ноздрями нос, чуть толще, чем хотелось бы, губы, чуть больше, чем надо было бы для ее круглого лица, рот и не то темно-серые, не то зеленоватые в этом освещении глаза. Она была подстрижена коротко, но не как-то модно, под мальчика, а простенько, по-деревенски - до шеи, жиденькая челочка, разбиваясь на несколько полосок, прикрывала ее небольшой лоб, касаясь желтоватых, почти незаметных на лице, коротких прямых бровей.

Под свитером, сжимающим ее невысокую шею и заправленным в ватные брюки, обозначались неслабые плечи, да и руки, открытые почти до локтя, - Мария, взяв с печкой и котелками, не хотела измазаться и подтянула рукава, - да и руки у нее были не слабые: пальцы с широкими ногтями переходили в круглую ладонь, а ладонь в крепкое запястье. Руки даже в этом неярком свете имели красноватый цвет, который исчезал лишь у локтя. Видимо, этим рукам приходилось немало стирать и делать немало всякой другой хозяйской работы.

- Ни с кем я не собираюсь связываться. Ни с кем, - сказал он откровенно. - Да и с кем я могу связаться? Кому довериться? Разве только Николаю Никифоровичу? Но он не доверяет мне.

- Он не должен. Он не может, - объяснила она.

Он согласно кивнул.

- Понятно. Значит, и я не должен. И я не могу. К чему рисковать? Да и как? Как связаться? Пробираться в деревню, расспрашивать про партизан?

- Никто не скажет. Разве скажут?

- Никто. Не скажут. Значит, для меня остается пока одно...

- А я? - робко спросила она - Или ты меня...

Он о ней подумал уже и не дал ей досказать: - Я не имею права вмешиваться в твоё задание. Мы же уговорились, так? Но я считаю - как каждый бы на моем месте считал, - что та должна нажимать на Николая Никифоровича, чтобы он связался с твоим командованием и все сообщил. Есть же у этого Николая Никифоровича какой-нибудь запасной канал. Ведь должен же быть...

- Этого я не знаю, - сказала она, и он поверил, что она и вправду этого не знает: её задание было узким - передавать то, что принесут, а как собиралась информация, с кем был еще связан Николай Никифорович, она не должна была, для пользы дела, она не должна была знать. Мало ли что могло с ней приключиться? Мало ли как она могла попасть в руки немцев, но даже если бы немцы и заставили её говорить, каким-то образом, но заставили бы, она могла сказать им лишь то, что знала, - линию: Тиша и она - Николай Никифорович. И ни слова больше. В этих обстоятельствах, чем человек меньше знал, тем было лучше.

- Но канал есть! - вдруг сообразив, радостно и громко сказал Андрей. Он стукнул себя по голове, встал и снова сел. - Есть! Я знаю точно!

Мария, открыв рот, смотрела на него округлившимися глазами, в которых сейчас мелькнуло и выражение подозрительности.

- Откуда... Откуда ты знаешь? Разве он тебе это сказал? Он же ничего тебе не сказал!

Он наклонился, погладил её по челочке, но она отпрянула.

- Не надо!

- Это так просто! - он сдерживал улыбку, но он знал, что глаза его смеялись. «Что ж, это очень хорошо! Очень хорошо, - думал он. - Она приободрится!» - Николай Никифорович вышел с тобой на связь?..

- Ну, да... - нерешительно ответила она. - И что с того?

- С Земли вы послали ему об этом РД? Вы - это значит Тиша и ты?

**РД - радиограмма.**

- Нет. Н-е-е-е-т!

- Так как же он мог узнать, что вы летите, что развернетесь здесь, и что сводки он должен нести вам! Он что, бог, что видит через фронт, как вы готовитесь, грузитесь, летите, прыгаете, ищете его?

Она наклонилась к нему, соображая, захлопала глазами и вдруг, сообразив, радостно всплеснула руками:

- Ему сообщили! Ему кто-то должен был сообщить! Как ты догадался? Ты - умный! Или... - она медлила.

- Гад! - закончил он за неё, и она снова отпрянула.

Он разулся, поколебавшись, смотал портянки и снял носки. Уже столько дней его ноги не отдохали, не дышали, и он с наслаждением шевелил пальцами и крутил голеностолами. В том деле, которое он задумал, ноги играли первейшую роль, и он обязан был позаботиться о них - дать им подышать, а потом обуть их так, чтобы ноги и не мерзли, и нигде их не терло. По землянке пошел портяночный дух, он застеснялся и, шлепая босиком, приоткрыл творило.

- Я, - начал он, вновь укладываясь на нары и стряхивая с подошв землю, - я, Мария, зимой сорок первого под Москвой был зачислен в один хитрый отряд, в общем, в разведдиверсионный отряд. Мы прошли через какой-то стык - в такую же метель - в тыл фрицам, километров за двести от фронта. Нас было пятьдесят. Включая врача, фельдшера, радистов. Мы всю зиму действовали на коммуникациях. Конечно, на всю зиму мы не могли набрать продуктов и боеприпасов. И время от времени мы подходили к какой-нибудь деревеньке, и там нас ждали люди и продукты. Мы там оставляли и раненых. Потом вот так же, оставили и меня. Сначала двое суток таскали на волокуше - знаешь, такая лодочка, в ней по снегу возят тяжести. Пулемет, к примеру, боеприпасы, взрывчатку, другие грузы, раненых. Легче же, чем тащить на себе. Ты идешь на лыжах, поперец тебя лямки, а там шнур к волокуше. Тянут, конечно, по очереди. Так вот, меня таскали двое суток...

- Ты был ранен? - спросила она и вздохнула, пожалев его.

- Да, - он ткнул по очереди в обе ноги выше колен, - Сюда, - Наткнулись на фрицев, где не ожидали. Рванули склад, ушли уже километров восемь, только в одном месте сунулись через просеку, а у них там засада да пулеметы. Словом, было дело... Но я не к этому. Так вот, пока мы были там, в тылах, кое-что же видели, узнали о связи Земли с теми, кто оставлен или заброшен. Вот я и сообразил насчет вас. А ты говоришь...

Он шевелил пальцами ног, блаженствовал. Времени до рассвета оставалось еще много.

- В общем, нас вывезли - меня и еще четверых тяжелых. А всего нас из отряда осталось одиннадцать. Так-то, Мария, - Он повторил и более сердито: - А ты говоришь!

- Да! - вспомнил он. - Это тоже передашь. - Он достал из Тишиного шифровального блокнота заложенные туда чистые тетрадные листы и мелко написал в одном сведения о себе: фамилию, имя, отчество, место рождения, где призывался, где служил, где лежал в госпиталях, когда попал в плен. И указал даты: с - до. - Николай Никифорович, наверное, кое-что уже сообщил обо мне, - разъяснив он. - Если он честный дядька, а, кажется, он честный, он должен был сообщить, что один его почтовый ящик - та сосна - раскрыт. Так вот, это дополнение к его сообщению. Пусть запросят, перепроверят. И Николаю Никифоровичу, и тебе, и всем тем, кто связан как-то с вами, будет спокойней. Договорились?

Мария высыпала остатки снега в котелок, в котором не набралось воды и на три четверти его

объема.

- И ты пойдешь, как там, под Москвой?

- Да, - он нащупал бумагу, табак, скрутил папироску и достал горевшую щепочку из печки.

- Будешь рвать склады? - Мария взяла ведро и открыла творило. - Ты лежи. Я сама.

- Нет. Склады не получится. Одному это не под силу и, второе, нет ни взрывчатки, ни запалов, словом, ничего нет. Придется заняться другим. Тем, что под силу.

- Ты возьмешь меня? - она надела шапку поглубже. В творило залетал снег, сразу же в землянке похолодало, но зато уже не пахло портянками.

- Нет. Давай поживей. Ты меня заморозишь.

Она спустила ему ведро снега, он кидал его в оба котелка, снег сразу же таял в горячей уже воде, потом он передал ей ведро, она наполнила его еще раз и спустилась в землянку.

- Возьми, Андрюша, меня, - она, сняв котелки, поставила ведро на печку.

Для того дела, которое он задумал, он не мог взять ее с собой, и он сказал ей:

- С какой скоростью ты можешь идти на лыжах? Через сколько километров свалишься? Через двадцать? Тридцать? А если надо идти сорок, шестьдесят? Без остановки, иначе догонят или где-то перехватят? - «Из вас двоих, - подумал он, - хватит им и Тиши». - Я должен буду идти в твоём темпе, понятно? Скорость эскадры равна скорости самого тихоходного судна, - сказал он для вящей убедительности. - И потом, разве твоё задание кончилось? Раз есть канал, нажимай на Николая Никифоровича. Пусть связывается. Пусть бросят тебе кого-то на помощь. Пусть легализуют. Не жить же тебе одной всю зиму!

- Но ты же не уйдешь? Совсем не уйдешь? Или собираешься уйти? - Мария, надрезав финкой, оторвала от парашюта широкую полоску, разрежала ее пополам, смочила из котелка одну и подала ему обе: - Оботри ноги. А то когда еще. Хотя, погоди. - Найдя мыло, она чуть намылила влажную тряпку. - Оботри хорошенько. Еще natoпим воды.

- Не уйду. Не собираюсь, во всяком случае, сейчас не собираюсь, - уверил он ее. - «Но если не приду, что ты тогда будешь делать?» - подумал он, но не стал говорить ей об этом, а занялся ногами - тер их мыльной тряпкой, а Мария, осторожно наклоня котелок, тоненькой струйкой поливала на то место, которое он тер. Ноги блаженствовали, он с наслаждением поставил их так же, как это делала Мария, на голенища валенок, и не хотел даже надевать носки. - Чудо! Чудо из чудес! Много ли надо чело-веку для полного счастья! А, Мария? А? Что ты скажешь на этот счет?

Сев опять на свое место, заглянув в ведро, критически посмотрев на Андрея, как бы определяя что-то, она ответила и робко, краснея, улыбнулась:

- Для полного твоего счастья, Андрюша, тебе надо обтереться всему и сменить белье.

Теперь он открыл рот, так далеко развить мысль о мытье в этих условиях у него не хватило мозгов.

- Нда? Это было бы...

- Я отвернусь, - вся вновь покраснев, заявила Мария. Или вообще выйду. А ты оботрись хорошенько тряпочками. А что их жалеть? Возьмешь Тишину сменку. Я сама стирала да прожаривала под утюгом. Возьмешь, возьмешь. - Она заплакала: - Хоть чем-то Тиша нам поможет.

Что ж, он послушал ее - да и было бы глупо не послушаться. Когда воды согрелось достаточно, он, присев на корточки под творилом, ежась, сначала обтерся мокрой мыльной тряпкой, а потом, поливая через край на эту тряпку, обтерся горяченькой водой. Надев чистые кальсоны и брюки, надев чистые же шерстяные носки, он крикнул Марии, и она, спустившись в землянку, полила ему на голову.

Не бог весть, как он вымылся, но пот и грязь он почти стер. Во всяком случае, ощущение свежести пришло, и он, пока Мария грела чай, лежал на нарах в состоянии блаженства, изредка поглядывая на часы, прикидывая, через сколько времени ему следует выступить.

- Как новорожденный, - заявил он. Мария кивнула. - Или хотя бы как в санатории.

Это мытье дало ему не только ощущение чистоты. С потом и грязью он как бы смыл и то чувство униженности, которое пришло, когда он стал пленным. Смыл с себя пот и грязь, он как бы смыл и это чувство - он был чист, в тепле, сыт и хорошо вооружен. И он не был один. Мария, помогая ему, снаряжая его, значит, разделяя его планы, связала его и со всей армией, со своей Землей. Он теперь не чувствовал себя одиночкой, напроць оторванным в ту злосчастную ночь от армии. Нет, он снова ощущал себя с ней.

- Вот что, - сказал он после второй кружки сладкого и крепкого чая. - Ты все поняла?

Держа кружку на коленях, поднимая ее к губам, чтобы отпить, Мария промолчала.

Он сказал жестко:

- Первое: связь с Николаем Никифоровичем. Пусть даст знать о тебе. Второе: без крайней, без самой крайней нужды - из землянки ни на шаг! Наследишь. Ни на шаг, если хочешь жить! Понятно?

Мария закрыла глаза.

- А если я не хочу жить? Зачем жить? Тиша...

Он перебил, он считал, что эти мысли надо сразу вытравлять из ее головы:

- Глупости! Понятно, глупости? Что это значит - «не хочу жить»? Ты где находишься? Ты - в армии.

Твоя жизнь не принадлежит тебе.

- Задание провалилось... - не очень уверенно возразила она.

- Кто это тебе сказал? Это что, решение твоего командования? А если тебе бросят помощь? - Он

возмутился для пущей убедительности: - Ишь ты! - Он даже передразнил ее: - «Задание провалилось...» И Мария, - как твоя фамилия? Ах да, Лунькова, - и Мария Лунькова для себя окончила войну. Пусть, мол, другие воюют!

Она смотрела на него растерянно и сердито - ее рыжеватые короткие брови сошлись над переносицей.

- Но...

- Никаких «но»! Ты что, хочешь порадовать их, что сдалась уже? Что внутри себя сдалась?

- Я их ненавижу! - Мария сжала кружку. - Возьми меня с собой. Возьми, Андрюша!

- Нет, - сказал он мягче, но все-таки определенно. - Нет. Если тебе, если вам с Николаем Никифоровичем удастся связаться в командованием, то как бы командование ни решило, ты будешь стоять дорожке, чем простой диверсант. До конца войны еще далеко, и твои РД помогут нам больше, чем твоя стрельба.

- Ты, а ты... диверсант? - неожиданно спросила она. Этот вопрос тоже доказывал, что она поняла все верно, что чувство отчаяния, ненужности на земле, отчего она и сказала, что не хочет жить, что это чувство сейчас у нее погасло и что она будет поступать правильно.

Он зевнул, его все-таки еще клонило подремать.

- Нет. Я... Я просто человек, которому приходилось заниматься этим делом... - Он повернулся на бок. - Извини, я подремлю. Я уйду надолго. Дня на три. И вообще, ведь никогда не знаешь в таком деле, что с тобой будет через час. Так что, если есть возможность поспать, упускать ее нельзя. Так-то, Мария. Так-то, сестренка.

Он закрыл глаза, чувствуя, что спа накрывает его обоими полусубками, подтыкает их ему под бок.

Вольно или невольно, но Марию пришлось обмануть, он ушел не на три дня, он ушел на неделю. Ему было необходимо раздобыть винтовку. Конечно, ППШ является хорошим оружием, но оно годилось для ближнего боя в атаках, в контратаках, в лесу, в населенном пункте, то есть, когда ты с противником, как говорится, лицом к лицу, и скорострельность автомата и число патронов в магазине тут играют определяющую роль. Но ближний бой в этих обстоятельствах его совершенно не устраивал. В ближнем бою получить пулю - очень просто. Но если у тебя за спиной свой тыл, и если твоя рана не смертельна, то ты можешь или сам выйти, или можешь надеяться, что тебя выведут или вынесут. Конечно, если рана смертельна, тут разговор совсем другой, совсем другой. Но все-таки, когда у тебя за спиной свой тыл, когда ты наступаешь, то ППШ - автомат - отменное оружие.

Но сейчас, далеко от своих, находясь в глубоком окружении, не имея за спиной никакого тыла, если, конечно, не считать Марии в землянке, от которой он находился за многие километры, ближний бой для него был невыгоден. Не улыбался ему ближний бой! Никакой стороной не подходил он ему! Получи он пулю, предположим, даже в ногу, просто в икру, в бедренную мышцу, и берите его. На одной ноге далеко не уйдешь.

Нет, о ближнем бое даже думать не приходилось! Но вот бой с дистанции, с хорошей дистанции, ему подходил. Стрелял он отлично и мог потягаться с любым стрелком или любыми стрелками, тут у него было колоссальное преимущество. Он мог вывести из строя нескольких, стреляя внезапно, а потом уходить, уходить, уходить на лыжах хоть за сто километров, и поди догони его, поди перехвати! И так он мог повторять и раз, и два, и хоть пять раз! Но для боя в дистанции ему была нужна винтовка. Винтовка была крайне как необходима. Ее требовалось раздобыть.

Карта Тиши, карта-пятиверстка, давала ему ориентировку больше, чем на сто километров. Это был примерный радиус его действия. Радиус на три стороны света: на север и юг и на запад. Восточное направление он отбрасывал - чем восточнее бы он брал, тем плотнее там были немцы, а это его тоже не устраивало: в его одиночной войне бой с немцами должен был навязывать он, прикинув все выгоды для себя. Следовательно, он нуждался в маневре, высокая плотность немцев на востоке от него не давала этого маневра, и восточное направление отпадало. Но три остальных остались.

Уйдя от Марии на северо-запад, он на третий день занял позицию недалеко от довольно крупной деревеньки, полагая, что там-то полицейские есть. Именно у них он хотел добыть винтовку. Он прождал день, прождал второй и не напрасно: к полудню второго дня в деревне началось какое-то оживление - суетились люди, лаяли собаки, раздавался даже один выстрел.

В снаряжении Тиши был бинокль. Сейчас этот бинокль помогал Андрею наблюдать с безопасного расстояния, но и через бинокль просматривались только окраины и кусочки улиц, а что происходило в самой середине деревни, он не знал, хотя именно туда и торопились люди.

Наконец, примерно через час, люди - взрослые и детвора - потянулись к западной околице, и он различил среди них сани, вокруг которых все сгрудились. На околице сани вырвались вперед, и лошаденка рысью потянула их по дороге, а около околицы собралась толпа, которую мужики с винтовками - он различал это в бинокль хорошо - Старались удерживать. Но какие-то женщины и дети, обтекая вооруженных, все-таки прорвались к дороге и побежали за санями. Те, кто оттеснял толпу, дали несколько выстрелов в воздух, один из сидевших на санях тоже выстрелил, лошадь прибавила рыси, благо дорога шла под горку, сани оторвались от догонявших, и те, пробежав еще сколько-то, или остановились или, запыхавшись, перешли на шаг, и надежды у них догнать сани не осталось.

Все было ясно, кого-то увозили, кто-то пытался не дать это сделать, но безуспешно.

Андрей, держась далеко, так, чтобы его с саней не заметили, побежал параллельно им к леску, в которому вела дорога, и, так как лошадь скоро перешла с рыси на шаг, он сани опередил и выбрал позицию.

В санях сидело четверо: возница у передка, за его спиной еще кто-то, и двое по сторонам и сзади того, кто сидел за возницей. Возница и двое сзади были вооружены винтовками, а сидевший между ними держал за спиной связанные руки. Все было ясно: эти трое полицейских сопровождали арестованного в город, иначе куда бы они могли его везти?

Несколько мыслей вертелось в голове Андрея, пока он шел параллельно дороге. Во-первых, было заманчиво завладеть оружием в тихих полицейев. Во-вторых, ему хотелось освободить арестованного, которого в городе, конечно, ждали допросы, возможно, и пытки, возможно, смерть. В-третьих, ему не очень улыбалась эта операция, так как он не был уверен в ее удачном исходе - полицейские зорко посматривали по сторонам, двое сзади держали винтовки наготове, лишь у возницы винтовка висела за спиной. И, в-четвертых, он понимал, что если ему удастся освободить арестованного, то этот человек не сможет вернуться туда, откуда его взяли, следовательно, должен будет идти с ним. Хотя какое-то время, но идти с ним. А этого-то Андрей не очень хотел - человек был без лыж, значит, мог двигаться по заснеженному лесу лишь километров пять в час.

С другой же стороны, этот человек мог связать его с партизанами, или с каким-то иным подпольем, или просто с честными людьми, а это значило много. Конечно же, хотелось и захватить винтовку и боеприпасы к ней, что тоже сыграло немалую роль в его решении, и он, замаскировавшись в придорожном кустарнике, лег и ждал, когда сани подъедут.

Толстобокая рыжая лошаденка довольно резво бежала на своих коротких нескладных ногах, пуская пар изо рта, екая селезенкой, отбрасывая из-под копыт горстки снега.

Андрей перевел флажок ППШ на одиночный. Он не мог стрелять очередью - ППШ рассеивает пули, и он боялся попасть в арестованного.

Он выстрелил по вознице, когда сани почти поравнялись с ним и возницу круп лошаденки не закрывал. От хлопка автомата лошадь дернула, оба живых полицейских то ли свалились, то ли намеренно прыгнули с саней, сани не поехали дальше, так как убитый возница, упав на бок, потянул вожжи, и лошадь забрала с дороги.

Мгновенно переставив флажок на «автоматический», Андрей срезал очередь того полицейского, который был ближе к нему, но второй успел спрятаться в канаве и стал стрелять из нее.

Преимущество было на стороне Андрея - ему не приходилось перезаряжать, и короткими очередями он прижимал полицейского к земле, не давая ему сделать прицельный выстрел.

Тут арестованный сделал ошибку. Лошаденка, выдернув, наконец, задние ноги из канавы, перетащив через нее сани, от выстрелов бросилась было в поле, арестованному следовало бы сидеть в санях, но он выскочил из них, упал, так как связанные руки мешали равновесию, перевернулся, вывозившись в снегу, вскочил и, наклонив туловище вперед, побежал через дорогу в сторону Андрея. Полицейский ударил ему в бок, арестованный качнулся, упал на колени, подергал за спиной связанными руками и свалился назад, на спину. Высокая шапка пирожком слетела с его головы и черным пятном легла рядом.

Пока полицейский передергивал затвор, Андрей дал до нему длинную очередь и, прижав его к канаве, встал на колено, чтобы лучше прицелиться, и двумя короткими очередями расстрелял этого полицейского.

Он собрал все три винтовки, достал у полицейских все патроны, поймал лошадь, взял мешок с едой - там оказалось сало, хлеб, курица, соленые огурцы, луковицы, головка чеснока и три, по числу едоков, бутылки мутноватой свекольной самогонки, запечатанные кукурузными кочерыжками. От кочерыжек пахло сахаром.

Больше ему тут нечего было делать. Он перевернул убитого арестованного на живот, кое-как надел ему шапку, взяв о саней его жалкий узелок, положил его возле лица и накрыл голову дерюгой с сидения возницы. Он не хотел, чтобы воронье клевало лицо этого хилого, бедно одетого пожилого человека, похожего то ли на сельского учителя, то ли на фельдшера.

Одна из винтовок, винтовка возницы, оказалась мосинской. Хорошая это была винтовочка - довоенного выпуска, с ложем из темного дерева, с латунными наконечниками на ствольной накладке. Андрей, вешая ее на шею, вздохнул: она напомнила ему о своих, но пользоваться винтовкой он не мог - к ней тут патронов было не достать, а у возницы в под сумке лежала лишь пара обойм.

Навешав на себя винтовки, закинув мешок через плечо, взяв в одну руку обе палки, он быстро пересек кустарник, ушел в лес, шел по нему до темноты, почти всю ночь, подремал до рассвета, сделал тайник, спрятал там две винтовки, а третью, одну из двух немецких, оставил себе и набросал на обороте карты схему, чтобы при нужде тайник можно было отыскать.

Прошел целый месяц. Не прошел - пролетел, промелькнул.

Физически он жил не трудно, кто-то бы сказал: «Но и не легко». Но он плевал на все это - на многокилометровые переходы, на тяжелый груз на спине, на ночи, а часто и дни под елками, часто для страховки и без костра, на полусырую еду, которую, когда он не мог ее отогреть, приходилось есть в виде ледяшек.

Он оброс - наверное, от постоянного холода у него быстро отросли волосы, борода и усы - он трогал бороду и усы со странным ощущением, борода и усы чувствовались как наклеенные.

Про эту бороду Мария как-то сказала ему так:

- Знаешь, Андрюш, на кого ты похож?

Он сидел на нарах в нижней рубахе, распахнув ворот, потому что от печки, да и от чая, который он дул кружку за кружкой, его прошиб пот, и он стянул свитер.

- М-м-м? - промычал он вопросительно.

Улыбаясь, как если бы она нашла что-то хорошее, Мария сказала:

- На молоканина.

Он поперхнулся от неожиданности.

- На кого? На кого?

- На молоканина. Они тоже бородатые, всякие у них бороды - русые и черные, и с рыжиной. И клинышком, и окладистые, и лопатой. У кого какая задастся. Я глядела-глядела на тебя, думаю: «С кем же он схож?» - и надумала.

- А ты их видела?

- Да еще как! - Мария откинула голову, глядела в потолок, вспоминая.

- Они в широких белых или розовых рубахах, пошитых как-то очень по-древнему. Рубахи подпоясаны или шнурками или белыми полосками. Я хоть и девочкой была, а помню, хорошо видела.

- Где? - спросил он, хотя его это особенно не интересовало: черт их знает, этих молокан, где они живут и чего делают. Этого они в институте «не проходили».

- В Ереване.

- Ну? - вот это его удивило. - Не может быть, - «При чем тут Ереван? - подумал он. - При чем?»

Мария, зажав ладони коленями, наклонив плечи, втянув голову так, что шея у нее стала совсем коротенькая, сидела, как сидят девочки, и качалась.

- Да, да. В Ереване. Оказывается, они там живут. Или жили тогда. Я была маленькая, лет девять, кажется, мне было, да-да, лет девять, я только пошла в школу, ну, в общем, моя мама поехала к сестре туда, сестра была замужем за одним шофером, они познакомились, когда тот шофер служил в армии, а когда он отслужил, они поженились и поехали туда, в Ереван, то есть потому, что он был оттуда... Ну, может, тебе неинтересно?

«Осел, - подумал он теперь. - Осел и сивый, мерин! Тебе ведь не было все это интересно. Тебе ведь было интересно только дуть чай, да ощущать котелок каши в животе, да шевелить пальцами помытых ног. А какая была благодать! Дом - теперь и та крохотная земляночка ему виделась как дом, как пристанище, - теплынь, ты раздет и разут и, самое главное, с тобой рядом человек. «Свой» человек! И что из того, что этот человек щебечет про Ереван, про каких-то молокан, что из того? Ведь это был кусочек жизни того человека. А ведь ты с ним коротал дни. И вместе стоял перед смертью. Но Мария погибла, а ты жив... Пока жив, - поправил он себя. - Вот и говори сам с собой. Раз тебе было неинтересно».

Но он тогда сказал:

- С чего ты взяла? - а сам почти дремал. - Это я так, с усталости, ты говори, говори.

Он и правда был усталым, он всего какой-то десяток часов назад вернулся из одного из своих рейдов, поел, поспал, снова поел, пил чай, но усталость из него еще не вышла, он был сонным, вялым, равнодушным, ему зевалось, и он гонял чай, чтобы не только напиться после котелка каши с тушенкой, но и еще чтобы взбодрить себя.

Мария согласно качнулась, все так же держа ладони между колен.

- Ну вот, в том Ереване я подружилась с одной девочкой, а та девочка, ее звали Верунька, Вера, значит, была из этих самых молокан. Дети есть дети, и она мне как-то сказала: «Пойдем посмотреть, как молокане молятся...»

- И ты...

- И я пошла. Знаешь, зной, жара, духота, - Мария видела тот далекий день, ощущала зной, жару, духоту. Она полузакрывает глаза, перенеслась из этого времени в детство, из этой земляночки в Ереван. - Ну пришли, ну двор, обычный частный дом, но большой, а во дворе детвора, ну и мы зашли, а в доме поют, что-то народное поют или как бы народное - мотив народный, а слова церковные... - Мария перевела дух, открыла глаза, опустила голову, посмотрела на него и светло улыбнулась. Далеко она была сейчас я от землянки, и от войны, и даже от Тиши, и он, Андрей, ощутив это, перестал сопеть, ерзать на нарах, чесать ногу об ногу и дате отставил кружку с чаем.

- И потом?

- И потом, и потом поют все сильнее и сильнее, и вдруг... - Мария, как бы удивляясь тому, что она тогда видела, выдернула ладони из сжатых колен и всплеснула руками: - И вдруг один начинает скакать - молодой или не очень молодой, но и не старей, как начнет скакать...

- Как скакать? - удивился он,

Мария встала. Потолок землянки не позволил ей показать, как скакали молокане, поэтому она присела, а руки вытянула строго вверх.

- Вот так. И скажут, и скажут, скажут, все вверх, вверх, вверх, а другие руки держат так: - она опустила руки вдоль бедер, прижала их к ним. - А другие поют. И так долго-долго, пока не устанут, а устанут - тогда только поют. Я смотрела через окошко. - Так как на его лице, видимо, было удивление и даже сомнение, она стала заверять его: - Честное слово, Андрюш. Вот тебе самое честное комсомольское слово. Ты мне веришь?

Поверить в это было трудно. Нелепо было верить, что кто-то может молиться, подскакивая от пола вверх. Но он сказал: «Верю», считая, что врать Мария не станет, считая, что она и не перепутала ничего, потому что это так хорошо ей запомнилось.

Мария уселась поудобней, вздохнула раз и два, и три, наверное, вспоминая детство, но уже и сопрягая его с той жизнью, которой ей пришлось жить в армии и на фронте, подперла щеку ладонью, а локоть поставила на колено. Ее круглое, курносое, с маленькими серыми глазами лицо было задумчивым. Она смотрела на него и молчала. И он тоже молчал, взяв кружку и попивая из нее.

Потом она закончила свою мысль.

- Я глядела-глядела на тебя, думая, на кого же ты похож? Все никак не могла вспомнить. А потом вспомнила. Тут, - она протянула руку и провела у него посередине лба сверху вниз, - строгость. Тут, - она притронулась к концам его губ, - тоже строгость, - А тут, - она притронулась к его векам, - доброе. Как у них. Когда ты будешь старый, ты будешь красивый... Да, Андрюш.

«Доживешь тут до старости! - подумал он. - Черт те что... До завтра бы дожить...»

Когда подтаивало, и можно было найти лужицу, и посмотретья в нее, он, сняв шапку, опускался на колени и видел в лужице какого-то странного мужика с запавшими глазами, хмурым лбом и скорбным ртом, спрятанным в черно-рыжих усах и бороде.

Помолчав, он говорил этому мужику:

- Ну что, Андрей сын Васильев, пока еще все вмоготу? Аль ужо гнешьси? Ты этого дела не моги! Давай держись! Держись, паря!

Почему он говорил со своим отражением на каком-то диалекте, он и сам не знал, лишь полагая, что это в нем говорит какой-то прапредок, живший в тех местах, где люди так вот и говорили: «ужо», «гнешьси», «доржись», «паря».

Он давил в себе вздох.

- Так если бы я был не один! Если бы кто-то был со мной! Хоть кто-нибудь! Хоть кто!

- Тяжко оно, конечно, когда как одинокий Зверь...

- Как одинокий Человек! - поправлялся он.

- Ты теперь как этот, как Робинзон...

- Да, хорош Робинзон! - возражал он. - Ни тебе козы, ни тем более Пятницы. И никто не спрыгнул...

- Он не раз думал, почему же так получилось, что никто за ним не спрыгнул.

Он прикидывал возможность заметить с тамбура, как человек, выпрыгнув из вагона, летит под откос, и решил, что, конечно, если охрана не спит, то заметит, потому что было светло и потому что, падая, катясь по насыпи, ломая кусты под ней, человек неизбежно наделает шума, и шум этот привлечет внимание охраны. Кроме того, даже если бы охранники смотрели прямо назад, на убегающие от них рельсы и шпалы, все-таки боковым зрением они бы захватывали и откосы насыпи и неизбежно увидели бы катившегося о откоса человека.

Кто мог катиться в серой шинели? Конечно, пленный! Что должна была сделать охрана в этом случае? Дать по нему несколько очередей и сразу же повиснуть на тамбурных ручках, чтобы посмотреть вдоль поезда. В том варианте побега, который выбрал майор, не было нужды даже заглядывать на крышу - дырка-то в стене вагона со ступеньки тамбура виднелась хорошо! Конвоиры сразу же начали стрелять или вдоль вагонов, чтобы не дать прыгать, или в тех, кто только высовывался из дыры, или прямо в эту дыру, да и рядом с ней в стенку, чтобы отогнать от дыры тех, кто был рядом с ней, да и вообще, чтобы пленные забились по углам или легли на пол.

Но все-таки, решил он, прежде чем конвоиры заметили его, прыгнувшего первым, прежде чем они отстрелялись по нему, а потом рванулись к ступенькам тамбура, чтобы посмотреть вдоль состава и увидеть, что пленные прыгают через эту дыру, прошло сколько-то секунд. И если бы пленные прыгали бы, как сказал майор, «как горох», один за одним, без задержки: секунда - высунуться, секунда - глянуть под откос, секунда - оттолкнуться от вагона, если бы они так прыгали, пусть не все бы, но сколько-то их успело бы выпрыгнуть. Да если еще учесть, что со ступеньки, держась одной рукой на ходу поезда, конвоирам было не очень-то легко и стрелять по дыре, то у других пленных оставался шанс рискнуть, как только бы конвоиры перестали стрелять. А непрерывно стрелять они могли тоже секунды: их «шмайссеры» заряжались магазином всего на три десятка патронов! Словом, шансы на побег были, но что-то в вагоне произошло, что именно - он мог никогда и не узнать. Может, сапер струсил, может, кто-то хотел оттолкнуть его и прыгнуть раньше, может, кого-то застрелили прямо в дыре и он загородил ее своим телом, отчего и получилась задержка. Не драгоценные секунды были потеряны, и никто за ним не прыгнул, конвоиры, отстрелявшись по нему, взяли под прицел дырку, поезд ушел далеко, и он остался один.

- Где майор-артиллерист? Где сапер? Где остальные? - спрашивал он у мужика, глядевшего на него из лужи. - Где Стас? Где Веня, Коля Барышев, Ванятка, Пана Карло? Где? Нет их. Нет навсегда!..

Борода и усы чесались, особенно если он шел так быстро, что его пробивал нот. Тогда борода просто зудела, а под усами щипало, и все это раздражало, и он, если ему удавалось развести костерок, поев и чуть передохнув, брал головешечку и, водя ее вдоль щек, перед губами, под подбородком, опаливал волосы. Пахло не то жженой свиньей, не то загоревшейся шваброй, и от этого становилось как-то смешно и немного легче на душе.

Конечно, было бы хорошо побриться, но застрелившие Марию и архивариуса, прежде чем завалить земляночку, забрали из нее все дельное, в том числе и Тишину бритву.

Он опаливал бороду и чтобы в ней не завелись вши - их у него в голове и на теле было достаточно. Так как он чесался, а белье на нем было пропитано потом и грязью, на поясице, на боках, на животе у

него уже стали появляться фурункулы.

Присев у самого костерка, он, скрутив жгут из бересты, поджигал его и осторожнейшим образом опаливал волосы под мышками и в паху. Ему надо было избавиться от вшей и там, потому что от расчесов в этих местах тоже могли выскочить фурункулы, а это были самые рабочие и в то же время самые нежные места лыжника, и стоило там выскочить нескольким фурункулам, его скорость на сколько бы упала? И тогда, достав его, они бы всадили ему в спину очередь. И лег бы он, лицом в снег, сжав его в кулаках, а они бы его обшарили, наверное, и перевернули бы на спину - на простреленную спину - и взяли бы то, что им понравилось бы. А потом бросили бы, чтобы его обглодали волки и лисы, да и маленькие мышки тоже, и валялся бы он - нет, уже не он, а то, что от него осталось бы - голые косточки бы, - до весны, до тепла, до муравьев, которые бы, как самые сильные труженики на земле, убрали бы с него мельчайшие крошечки мяса. И ветер обдувал бы его косточки, сразу все вместе и каждую в отдельности, и по этим косточкам потом, летом, лазили бы всякие буахи, но не ради, наверное, еды, потому что еды для них от него уже ничего не осталось бы, а лазили бы так просто, как бы по сучкам, по камешкам.

- Нет! - сказал он. - Спину мою они не получат! Уж если что - лицом к лицу!

Главное, надо не давать себя окружить, а для этого нужны хорошие ноги, ноги без всяких там фурункулов в паху, и хорошие руки без фурункулов под мышками.

Когда удавалось, он, собрав на проталинах подорожники, раздевался догола у костерка и, накиннув на спину полушубок, жарил белье над костерком. Потом, облив чуть горячей водой подорожники, лепил их на фурункулы, приматывал полосками от парашюта и одевался. Подорожники отсасывали фурункулы, и несколько ночей после такой процедуры спалось спокойно.

Он завел календарь. Чтобы не сбиться с дней, он на прикладе винтовки каждый вечер делал зарубочку: ему надо было знать свои константы - время, географическую точку, количество боеприпасов, еды, состояние оружия, лыж, ног. Ему все это надо было знать, чтобы, прикинув обстановку и свои возможности, выйти на какую-нибудь хорошую - как, например, эта! - точку и делать свое дело - дело бойца, пропавшего без вести...

Дорога в полукилометре от его точки изламывалась и шла под косым углом, поэтому тот, нужный ему, участок дороги просматривался далеко, и можно было выбирать цель заранее. С такого расстояния все: машины, танки, тягачи с пушками на прицепе, - казалось игрушечным. Но и с такого расстояния тип их различался хорошо, и Андрей дождался своей цели. В колонне показалась длинная черная легковая машина, за которой шел почти вплотную бронетранспортер, а за бронетранспортером держался, тоже на предельно близком расстоянии, грузовичок.

«Вот тебя мне и надо! - мысленно сказал Андрей легковушке. - С тебя мы и начнем».

Было ясно, что передвигается какая-то часть, что темная длинная легковушка должна возить какой-то большой чин, и Андрей предполагал, что этот чин сейчас едет не в бронетранспортере, а сидит, отвалившись к спинке, на заднем сиденье машины. В бронетранспортере тесно, некуда вытянуть ноги, кругом ледяная броня, жесткие рессоры, воняет бензином, стоит грохот от мотора и железа. Ездить часами в таком бронетранспортере - наказание. То ли дело в легковушке - при низкой сплошной облачности, которая исключала бомбежку, - тепло, тихо, мягкие рессоры, мягкие сиденья, пахнет хорошей кожей. Тут тебе и пепельница, тут и адъютант, термос с кофе, бутылка с коньяком, откидной столик, тут тебе все сто сорок семь удовольствий. Андрей видел эти удобства в разбитых таких «оппель-адмиралах».

А позиция у Андрея была отличная - сужение дороги у моста через замерзшую речушку, один берег которой по обе стороны от моста был, видимо, еще в начале войны скрыт как **эскарп**<sup>1</sup>. Стоило взорвать мост тогда, в начале войны, и танки немцев на километры справа и слева от него, и бронетранспортеры двигаться не могли бы, если учесть, что эскарп как-то еще прикрывался, конечно, и огнем.

<sup>1</sup> **Эскарп - противотанковое препятствие в виде рва с отвесной стеной.**

Катили фрицевские машины и бронетранспортеры, катили себе, взбивая снежную пыль, катили эти машины.

Теперь, после дождей, паводков, крутость эскарпа оплыла, а пологий край заилился, так что как инженерное препятствие эскарп уже не мог служить. Но он напомнил Андрею контрэскарп. Тот контрэскарп на восточном берегу Днепра. Тот, который они - весь его взвод, все его товарищи - видели собственными глазами.

«Едете расстреливать кого-то? Карать? Устраивать новые контрэскарпы? - спросил он мысленно этих гитлеровцев. - Мало вам людской крови? С тридцать девятого вы убили миллионов десять!..»

Он смотрел на машины и бронетранспортеры, видел их всех, но видел и как бы через прозрачную картину с тем контрэскарпом, с тем контрэскарпом, с тем контрэскарпом...

И получилось в его зрении, как на киноэкране, когда на одни кадры наложены другие, и человек видит сразу два куска разной жизни, развертывающихся для него одновременно. И здесь было два таких куска: зимняя дорога с немецкой колонной, снежное поле за ней и - конец лета, сосновый лес, теплынь, отчего все, вся рота шла без шинелей, в пилоточках, налегке, переговариваясь, шутя, - и тот потом контрэскарп!..



После концерта, когда рота шла по своей просеке и была на полпути к месту, ее обогнала странная кавалькада машин: с полдюжины «виллисов» и легковых «доджей» и один громадный трофейный автобус, типа штабного, с маркой на капоте «Татра».

В машинах, кроме военных, сидели и штатские. Судя по их виду и одежде, это были образованные люди - очки, береты, шляпы, галстуки. Среди них было и несколько со всяческими фотоаппаратами, а один, в свободной какой-то не то рубашке, не то блузе, посасывая погасшую трубку, держал на коленях киноаппарат.

Так как просека была довольно узкой, да еще в колдобинах, машины, минув сдвинувшиеся по команде ротного «Принять вправо!» взводы, машины двигались медленно, и всех в них можно было рассмотреть, что рота и делала: люди в машинах были интересны хотя бы потому, что прибыли из тыла.

Но интересней всех оказались пассажиры на одном из «доджей три четверти». Рядом с сержантом-шофером сидел сухонький маленький поп. Он был одет во все черное, в черной же высокой круглой, расширяющейся кверху, как у бояр на старинных рисунках, шапке, спереди которой поблескивал крест. Хотя сам поповик был невзрачен - малый рост, реденькая, хотя и по размерам приличная борода, жидкие седые волосы, падающие на плечи и загибающиеся у них в полуколючки, - судя по величественности его шапки да по манере держаться, и в «додже» он был как-то далек от всего, судя по всему этому поп был птицей в своих, конечно, кругах важной - не меньше, чем генерал.

Сзади него сидел еще один в рясе и шапочке пониже - кулечком и без креста. Этот поп был молод - лет двадцати пяти, упитан и крепок. Спина у него была в две солдатские. Он держал на коленях хороший баул, и всем было ясно, что этот молодой - адъютант старичка.

Справа и слева от адъютанта старичка сидело по автоматчику. Еще один автоматчик, рыжий и большеротый, с медалью «За отвагу» на груди, примостился сзади, прямо на борту. Он сидел, свесив ноги, в полуоборот, уцепившись одной рукой за сиденье, а другой поддерживая висевший на шее автомат.

Ребята из охраны были молодыми, все трое с комсомольскими значками, поэтому солдаты из роты, пока «додж» медленно двигался вдоль нее, всячески подначивали их:

- Далеко вы, ребята?
- Где вы таких грибов насобирали?
- Охраняй лучше! Глаз не сомкни!

Солдаты яз охраны, сидевшие рядом с адъютантом попа, не считая возможным вступать в развеселые разговоры, делали вид, что ничего не слышат, но третий охранник, сидевший на борту за спинами, следовательно не замечаемый священнослужителями, подмигивал, надувал щеки, чтобы не прыснуть, то есть вел себя крайне несерьезно в этих экстраординарных, требующих особого такта и внимания обстоятельствах.

Больше того, когда «додж» проезжал мимо девушек-связисток, шедших куда-то к себе, но пока вместе с ротой, этот третий из охраны, отпустив ремень автомата, начал посылать связисткам воздушные поцелуи, но тут «додж» попал сразу на несколько колдобин, рыжего так трянуло, что он чуть не свалился, должен был уцепиться за борт второй рукой, и ему ничего не оставалось делать, как только улыбаться.

Тут произошла странная сцена.

Папа Карло, увидев в подъезжавшем «додже» священника, вдруг быстро сдернул пилотку, опустил ее к бедру и наклонил голову.

Священник заметил этот жест, кивнул Папе Карло и, как дело обычное, не торопясь, перекрестил его.

Веня захлопал глазами, растерянно посмотрел на всех, хотел было что-то сказать, но Ванятка оборвал его:

- Ну чо уставился-то? А еще городской!

Тут ротный дал было команду:

- Выходи строиться! - но на просеке показалась еще пара машин: командирский «виллис» и пустой «студебеккер». «Виллис» остановился возле ротного, политотдельский полковник, который был в нем, не слезая с сиденья, подозвал ротного, коротко что-то объяснил ему, Андрей услышал обрывки: «Чрезвычайная комиссия», «жители», «беспорядки», и ротный, вытянув палец к «студебеккеру», дал другую команду:

- Первый взвод, в машину! Лейтенант Лисичук, остаешься за меня. Роту - в расположение. На уезжающих оставить ужин. - Первый взвод полез с трех сторон в «студебеккер». В нем оставалось немного места, и ротный приказал Андрею: - На борт! Все отделение! - Ротный прыгнул в кабину, «виллис» тронулся, за ней, дернувшись, тронулся «студебеккер», в котором теперь, держась за борта и друг за друга, стоя, ехало человек тридцать.

Надав газу, «виллис» и «студебеккер» догнали кавалькаду и, пристроившись в ее хвосте, потянулись за ней.

Через полчаса, оставив за колесами два десятка километров проселка, машины проехали какое-то местечко и выехали на его восточную окраину. От нее к далекой и большой группе людей в километре тянулись две цепочки гражданских. Из города жители шли торопясь, как если бы спешили к чему-то; бежали, переходя для передышки на быстрый шаг, потом снова на бег, мальчишки и девчонки; торопились женщины, поправляя на головах косынки и платки; спешили, насколько это было в их

силах, старики и старухи.

Навстречу в город шла иная цепочка, она была жидкой, и каждое звено в ней - один ли человек или несколько идущих вместе, шло по-другому - медленней, и лица у этих возвращавшихся были иные - задумчивые, отсутствующие, растерянные, заплаканные. Им поपालось и несколько женщин и старух, которых вели, одна женщина лежала чуть поодаль от дороги, а другие женщины хлопотали около нее.

Они догнали нескольких подростков, которые несли, сменяясь, бак с водой и кружки. Подростки, став поперек дороги, постоянно махая, потребовали взять их.

«Студер» коротко остановился, ротный высунулся из кабины, крикнул в кузов: «Взять! На борт!», бак, подхваченный перегнувшимися через борта солдатами, взмыл, а подростки вспрыгнули на подножки.

С поля, навстречу машине, дохнул ветерок. Запахло тленно-приторным, запахло столярным клеем.

«Вот оно что! - понял Андрей. - Поэтому и штатские, и священник».

Еще с машины, еще подъезжая, они увидели, что возле старого, оплывшего от дождей и вешней воды контрэскарпа, на протяжении метров с полста грудятся жители. Они кричали, размахивали руками, кидали в контрэскарп комья земли и палки. Между горожанами виднелись солдаты с винтовками; солдаты, окружив этот участок контрэскарпа, не допускали к нему гражданских, но солдат было мало, сквозь слишком редкую их цепочку гражданские прорывались к откосу,

«Студер» сделал у контрэскарпа разворот, полковник с «доджа» крикнул ротному:

- Людей в цепь! Этих, - он показал на жителей, - оттеснить! На сто метров!

- В цепь по обе стороны! Бегом! - скомандовал ротный, - Быстро!

Взвод рассыпался, влился в цепочку охранения и вместе с ней стал теснить горожан.

На дне контрэскарпа, разбившись на две группы, десятка два пленных немцев раскапывали, идя навстречу друг другу, засыпанный участок, обнажая расстрелянных.

Андрей на бегу лишь покосился, смотреть он не хотел, он насмотрелся всего этого, но и короткого взгляда было достаточно, чтобы определить, что это не солдаты, а гражданские, - он увидел полуистлевшие трупы с длинными женскими волосами и маленькие трупы - трупы детей. Возле одного такого трупа, судя по остаткам платица, это была девочка, лежал сине-красный резиновый совершенно неиспортившийся мяч. Перелезая на ту сторону, Андрей увидел, как какой-то немец-пленный, чтобы копать дальше, переступил через девочку, слегка толкнул лопатой мяч, мяч покатился по дну рва, и другие пленные поднимали ноги или отодвигались, чтобы не мешать мячу катиться...

Между ним и человеческой жизнью - между ним и Леной - были вот эти все машины, бронетранспортеры и немцы, ехавшие в них, и каждый им убитый немец приближал его на шаг к человеческой жизни.

Он стоял в сотне метров от края леса, выбрав в нем себе точку, с которой хорошо для него просматривалась дорога.

Сейчас, когда ветер гнал поземку, когда подмерзший, сухой, легкий снег быстро плыл по насту, когда от сумерек этот снег уже отдавал синевой, сейчас, тут, с этой точки, можно было начинать, и Андрей не торопясь, так как колонне и конца не намечалось, сошел с лыж, развернул их носками от дороги, прикинул, как, между мягкими деревьями он надаст через несколько минут, воткнул поглубже палки в снег, потоптавшись у корней, получше встал за толстой осиной, снял винтовку, растянул маскхалат, растянул вод ним подсумок и пошевелил в нем обоймы.

Он мог бы стрелять по грузовикам с пехотой под прямым углом к ним, так было ближе всего. Он, пожалуй, мог бы дать десяток выстрелов и каждой пулей попал бы - в грузовиках немцы сидели плотно, это было видно, когда грузовики проезжали его точку и уезжали левее. На какое-то время он мог глянуть сзади на них под брезент, обтягивающий короб, внутри которого на двух боковых и одной средней лавке, нахохлившись, прижимаясь друг к другу, чтоб было потеплей, сидели, держа между колен автоматы или винтовки, немцы.

Из глубины леса по этим немцам было стрелять хорошо, следовало только бить прямо через брезент, прямо над бортом, и каждая пуля в кого-то из немцев, сидевших на скамейках в три ряда, попала бы.

Он раньше и стрелял так. Скольких он убил, он, конечно, не знал, да и не стремился знать, поэтому и не считал. Он лишь держал в памяти, сколько у него осталось выстрелов. Это для него было важным. Но так как выстрелов оставалось мало, он должен был их экономить, и теперь уже сначала пропускал грузовики, набитые солдатами, ожидая, когда появится цель поважнее, откладывая стрельбу по грузовикам на потом.

Пока он ждал такую цель, мимо него проезжали сотни и сотни немцев, а он был один, но сейчас это одиночество как раз и давало ему преимущество над немцами - в любую секунду, не завися ни от кого, он мог начать стрелять по ним, и в любую же секунду мог оторваться от них.

И хотя он был изрядно нагружен, они бы сейчас в лесу, по снегу, без лыж, не догнали бы его. Наверное, не догнала бы и собака, так как снег мешал бы и ей.

Его груз состоял из немецкой винтовки, тройного подсумка с последними девятью обоймами патронов к ней, ППШ подвешенного под вещмешок, этого вещмешка, в котором была одна-единственная противотанковая граната, три «лимонки», четыре немецких гранаты, три пустых магазина к ППШ, пара кругов копченой колбасы, килограмма три сухарей, две банки мясных

консервов, тоже две банки рыбных, две же плитки супа-пюре горохового, плоский котелок, чтобы варить этот суп, зимний подшлемник, пара шерстяных носков, пара байкового белья, хороший кусок парашютного шелка, и кое-какая мелочь, вроде обмылка, завернутого в тряпицу, пачки махорки, газеты на закрутки, полотенца, двухгорловой масленки со щелочью и маслом, баночки лыжной мази, бинтов.

Одет он был по-лыжному - в две пары белья, простые и ватные брюки, плотнейший и мягчайший свитер, меховой жилет, телогрейку и маскхалат, а обут в пьексы, в финские пьексы с надписью «Telemark. Made in Finland». Такая же надпись была и на его лыжах, в меру длинных и широких, - не прогулочных там, не спортивных, а армейских, надежных, годных для длинных переходов по любому снегу. Видимо, эти белые пьексы с как-то по-клоунски загнутыми носками, с теплыми стельками, с меховой изнанкой и эти отличные лыжи попали в нашу армию во время финской войны как трофей, а теперь пошли в ход.

На поясе у него висели подсумок, магазин к ППШ, правда, набитый лишь наполовину, гранатная сумка с тремя гранатами РГ-42, нож в резиновом чехле и фляга со спиртом. Чтобы эта снасть при движении не съезжала к животу, не мешала идти, он приспособил куски шнура от парашюта, пропустив их под ремень с плеч наподобие португеи, так что ремень хорошо поддерживался спереди и все, что было на нем, съезжало при ходьбе чуть назад, к бокам и пояснице. Но при нужде он мог быстро дотянуться рукой до любого предмета. Еще у него на запястьях были часы и компас.

В общем, он, если сравнивать его с тем, каким он бежал из вагона, в общем, он сейчас был богач. Он давно уже не голодал, хотя нельзя было сказать, что он был совсем сыт. Все-таки еду приходилось экономить, рассчитывать, чтобы не голодать потом, так же, как экономить, рассчитывать боеприпасы, чтобы потом не оказаться невооруженным, потому что оружие без патронов не оружие, а лишь груз.

«Катите? Едете? - сказал он мысленно всем немцам в колонне, окидывая ее взглядом от головы до теряющегося вдали хвоста. - Куда? Зачем? Жечь и убивать? Сколько же вас еще много!»

Он опять увидел, как к контрэскарпу подошли все те штатские, которые приехали, среди них оказалась и очень пожилая женщина, одетая в светлый костюм и белейшую блузку с узким бантиком на горле. Короткой стрижкой седых волос, очками в золотой оправе и одеждой женщина походила на учительницу.

Подошел и священник со своим адъютантом. Пока фотографии снимали контрэскарп с разных точек, священник и его адъютант молились, а женщина плакала, совсем не стесняясь слез, лишь изредка промокая глаза.

Все они - Веня, Папа Карло, Ванятка и Барышев - вместе с другими не пускали к откоосу горожан. Особенно приходилось возиться с подростками, парнями и девушками. Этот народ все пытался прорваться за оцепление и швырнуть хоть чем-то, хоть горстью земли в пленных немцев.

Перебегая вдоль оцепления, девушки и парни кричали солдатам:

- Кого защищаете! Убийц!

- Они брата моего повесили! Прямо на площади! - кричал один мальчишка лет тринадцати, одетый в штаны и рубаху, из которых давно вырос, так что ноги из штанин торчали от тощих мальчишеских икр, а руки из рукавов почти от локтей, но обутый в громадные опорки. Мальчишка носился вдоль оцепления, держа в руках заряженную рогатку. Оба кармана у него были набиты камешками. Мальчишка ловчил прицелиться между солдатами и пустить в пленных заряд. Он расстреливал свои боеприпасы так ожесточенно, что несколько камешков упало среди членов комиссия, и ротный пригрозил ему:

- Догоню, заберу рогатку и нарву уши!

Понимая, что в своих опорках ему от ротного не убежать, мальчишка засопел, не сдержался и заплакал:

- Да!.. Они Шурика повесили. И три дня не давали хоронить. Да... А вы... А вы...

- Иди домой! - приказал ротный. - Мать ищет. Иди, иди.

Но мальчишка домой не пошел, он перебрался на ту сторону контрэскарпа, подальше от ротного, и Андрей, изредка оглядываясь, видел, как его фигурка делала перебежки и останавливалась, замирая, чтобы лучше пустить заряд.

Две девушки, примчавшись из города с палками, шли, запыхавшись, вдоль цепи, уговаривая пропустить их к немцам.

- Мы при них даже слова сказать не могли. Мы днем прятались.

- Да! - тоже, как мальчишка, крикнула одна из них и, решив, что Веня - слабое место в цепи, рванулась мимо него, на бегу занося палку.

Андрей успел ее догнать, схватил за кисть, сжал, палка у девушки выпала, но девушка и без палки побежала ко рву, на ходу зачерпнув земли, тогда Андрей, обхватив девушку, поднял ее и понес за цепь. Девушка была легкой, худенькой.

Девушка царапалась и щипалась, била каблуками ему по сапогам и ужасно злилась:

- Как тебе не стыдно! Раз большой и сильный, так можно? Пусти! Пусти меня к ним!

Веня, растопырив руки, отгеснял вторую девушку грудью, а та толкала его кулаками в плечи.

- Нельзя! Нельзя! Нельзя, милая девушка! - уговаривал Веня. - Это же пленные! Их трогать нельзя. Ты же сознательная. Ты же комсомолка!

У девушки, как и у той, которую отволокло за цепь Андрей, и правда, был на стиральной-перестиральной блузке комсомольский значок, который она, наверно, прятала все эти два года оккупации, а теперь приколола. Но слушать она Веню не хотела.

- А как хватать им за все своими погаными руками можно? А как гнать в Германию? А это делать, - она показала на контрэскарп, - можно?

К ним быстро подошел ротный.

- Отставить! Отставить, сестренки.

Фуражка, сжатый рот, звездочки на погонах, ордена и медали ротного подействовали. Девушки отступили.

Ротный подошел к ним, обнял обеих за плечи, как обнял бы действительных своих сестренок, и, посмотрев по очереди им в лица, приказал:

- Не марать рук об эту погань!

Они обе затихли у него под руками, разглядывая его близкое сейчас к ним лицо, обожженное, обветренное, с вечной теперь складкой от крыльев носа к углам рта, и все-таки очень еще молодое лицо, с которого на них смотрели строгие, но братские глаза.

Та худенькая Андреева девушка даже коснулась плеча ротного. Покосившись на ее руку, ротный спросил:

- Все ясно? Неужели мы шли к вам... - шли через все! - чтобы вы нас не слушались?

- Мы слушаемся... Будем, - сказала Венина девушка. - Мы так вас ждали с надеждой. Мы так вам рады!

Ротный погладил их обеих по головам.

- Вот и хорошо.

- Только не надо было уходить, - вдруг добавила эта девушка.

- Да. Но мы в этом не виноваты.

- Тогда бы не было и этого, - девушка, не оборачиваясь, откинула голову, показывая затылком на контрэскарп.

- Да.

- А вы их жалеете! Защищаете! - вдруг, забывшись, упрекнула ротного другая девушка.

Ротный презрительно процедил:

- Не жалеем. Просто с этим дерьмом кончено. Они - эти фрицы - кончены. Они до конца своих дней запомнят этот ров!

Разбитые на два десятка немцы, как могли осторожно, потому что на них смотрели сверху и потому что дело, которым они занимались, даже они не были в силах делать неосторожно, эти немцы осторожно сгребали малыми саперными лопатами землю с полусгнивших, разваливающихся трупов, сносили эти трупы в стороны по ходу контрэскарпа, чтобы иметь доступ к другим, клали, как это было им приказано, рядом с трупами попадавшиеся вещи и вещицы - ридикюль с медной в виде двух заскакивающих друг за друга шариков застежкой; тот же резиновый сине-красный мяч; узелки с одеждой; каким-то образом попавшее полведерко, видимо, оно кому-то служило и для воды и вместо сумки; будильник с разбитым стеклом и простреленным циферблатом; всякие другие вещи, которые принесли с собой эти люди сюда и которыми побрезговали, не взяв, не отняв эти вещи, те, кто расстреливал.

Немцы-пленные занимались этим тяжким - труднее, наверно, на земле нет - делом, меняясь: одни работали, другие отходили подальше, до часового с карабином на изготовку, садились там, опираясь спинами об откос, смотрели прямо перед собой или в землю, лишь изредка роняя какие-то свои, немецкие, слова.

Один из них лежал на дне головой к сапогам часового. Этого немца, наверно, мучило, рвало от трупного запаха, а может быть, и от ужаса той работы, которую его заставили делать.

Ну а кто должен был делать ее? Те, кто расстреливал? Но они сейчас оставались неизвестными, не были пойманы, они тем самым переложили часть расплаты за свое зверство на этих немцев-пленных, которые сейчас - бледные, с трясущимися руками, откапывая и освобождая от земли убитых женщин, стариков, детвору как бы своими же, немецкими, руками, обнажали кровавую суть фашизма.

Все немцы-пленные были одеты в обычную полевую форму, на вид среди них не было эсэсовцев или полевых жандармов, да и офицеров не было, были только солдаты да унтер-офицеры. Возможно, никто из них не принимал участия в таких вот расстрелах, но все-таки все они были повинны в них, потому что служила в гитлеровской армии, пришли к нам с оружием в руках, воевали против тех, кто защищал свою землю, и своей солдатской службой обеспечивали цели немецкого фашизма.

Что ж, откапывая расстрелянных, эти пленные немцы сотряслись от ужаса, - а ведь кого из людей не содрогнет такая работа...

Так как та часть оцепления, в которой находились Андрей и его ребята, была повернута лицом к городку, все движение из него и к нему просматривалось. Было видно, как туда уходят редкие одиночки и группы, было видно, как не иссякает, не редет цепочка тех, кто шел из города. Было видно, как подходившие старухи и старики, почтительно склонившись, медленно приближались в священнику, останавливались около него смиренно, и как священник давал им благословение, как они ловили его руку и целовали ее.

Одна из таких старух, маленькая, в черном платке, черной кацавейке и в черной же длинной до пят юбке, из-под которой лишь изредка высывались носки запыленных ботинок, мелко и часто семена,

останавливаясь время от времени для передышки, наконец, добралась до толпы, дождалась своей очереди к священнику, получила благословение и тотчас же двинулась вдоль оцепления.

Так как солдаты были заняты с другими гражданскими, старухе удалось шмыгнуть за цепь, здесь она из последних сил прибавила ходу, и ее остановили почти у края контрэскарпа и отвели за цепь. Но она все увидела.

Опустившись на землю спиной к цепи, она затихла, как бы сомкнувшись с землей.

Откинув на спину платок так, что обнажилась ее совершенно седая, с просвечивающейся через редкие волосы серой кожей голова, завернув рукава кацавейки, старуха, еще сидя, повернулась к цепи.

С совершенно изношенного бескровного лица с глубоко запавшим ртом, отчего нос и острый подбородок как бы выпятились, ее глаза смотрели гневно и безумно. Подбираясь к цепи, пересаживаясь, помогая себе руками, старуха не спускала этих глаз со стоявшего слева солдата из охраны.

- Внимание! - сказал солдату Андрей, потому что старушка была уже шагах в трех. Вдруг, вскочив, старуха метнулась к этому солдату и, схватившись за карабин, дернула его к себе, отваливаясь, чтобы придать больше силы, назад, на спину.

- Дай! Дай! Дай, сынок! Дай! - Секунды солдат боролся с ней, но сразу выдернуть карабин ему не удалось, потому что старуха, изловчившись, подтянулась карабину и повисла на нем животом, повторяя: - Дай! Я сама!

- Что ты, что ты, бабуля! Опомнись, - бормотал солдат, дергая карабин. Солдат был растерян: он головой отвечал за оружие, и в то же время рвануть со всей силы, стряхнуть с карабина старуху у него не хватало жестокости.

Старуха, упав на колени, уронила голову на грудь, а руки на землю. Казалось, она не смотрела, как к ней подходит ротный, но когда он наклонился к ней, она вдруг выбросила вверх руки и вцепилась ему в кобуру.

- Дай! Дай!

Когда этот «оппель» вышел под прицел, Андрей, пробормотав: «Это за тех, кто во рву!» - сначала убил шофера - он не мог знать, где именно сидит, если сидит там, тот важный чин, то ли за спиной шофера, то ли правее, а со своей дистанции он различал за передним стеклом лишь два лица, шоферское и еще чье-то. Считая, что немецкие высокие чины не любят ездить рядом с шофером, он этого второго за стеклом оставил на потом.

В шофера он попал - «оппель» вильнул к обочине, ткнулся носом в канаву, отчего его зад занесло, развернуло поперек дороги, а потом «оппель», скользя юзом, стал задом к Андрею. Вот этого-то только и надо было.

Андрей успел всадить оставшиеся четыре пули через заднюю стенку «оппеля», целясь так, чтобы попасть в тех, кто сидел на заднем сиденье, прежде чем бронетранспортер открыл огонь. Палил бронетранспортер из крупнокалиберного, палил напропалую, но центром его огня была точка в лесу на линии, перпендикулярной наводчику, потому что она была ближней, значит, и мыслилась самой опасной. Палил наводчик вслепую, потому что не увидел ни вспышек выстрелов Андрея, не услышал точно, откуда он стрелял, а Андрей, спрятавшись за сосну, перезарядил винтовку.

Колонна дернулась, закрипели тормоза, некоторые машины от резкой остановки повело поперек или наискось дороги, словом, колонна дернулась, сломалась, потеряла строй и остановилась.

И началось все то, что уже не раз было и там, в калининских лесах два года назад, когда он воевал вместе с товарищами из разведдиверсионного отряда, и здесь, на правобережной Украине, пока он вот уже месяц вел свою войну.

Из грузовиков, из остальных машин посыпались немцы. Разбегаясь, падая к обочинам, они вели бесприцельный огонь по опушке, надеясь за счет плотности огня попасть в цель, которую они в первые секунды не видели.

Тут следовало чуть переждать, дать возможность немцам высадить по магазину или обойме, и он стоял за деревом, ожидая, когда немцы уgomонятся, так как по ним больше никто не стрелял, так как целей они не видели. Высунув лишь часть головы, он следил, не полезут ли из легковушки, к которой уже подбежало несколько офицеров.

Андрей ждал, не начнут ли они вытаскивать тех, кто находился в легковушке, зная, что фрицы-солдаты в лес не побегут, а если и побегут, то это не очень страшно - без лыж, по снегу до колена, а кое-где и глубже, через кустарник, путаясь в полах шинели, они быстро не побегут, и сколько-то их можно будет убить, а после этого можно будет и ударить.

Нет, солдаты его не интересовали. Он знал, что никакой серьезной погони за ним не будет, не на чем было его догонять, да и движущаяся к фронту часть не должна заниматься какой-то прочисткой лесов. У части есть график движения, задача выйти к такому-то пункту к такому-то времени, чтобы делать то, что отдано ей в боевом приказе. Прочисткой лесов должны были заниматься специальные подразделения, а их тут не было, и бояться особенно не было и смысла. Конечно, этим подразделениям будет сообщено, что во время обстрела колонны там-то было убито и ранено столько-то. Но и на это сообщение, и на то, чтобы кто-то принял меры, требовалось время, а за это время он отсюда будет далеко.

Какой-то офицер, быть может, медик, залез в машину, оставив дверку открытой. Что уж там он

делал, перевязывал ли кого-то или делал что-то другое, Андрей не знал, но когда из дверки стал кто-то протискиваться, Андрей ударил по нему, а потом, быстро перезаряжая, расстрелял оставшиеся четыре заряда в офицеров. Он успел заметить, что двое из них упали, тут немцы-солдаты стали вновь палить по лесу, и Андрей, перебежав к лыжам, надев на ходу ремень винтовки на шею, сунул пьексы в ляжки, схватил палки и нагнал в глубь леса.

Сзади него все глуше трещали выстрелы, иногда пущенная слишком высоко пуля сбивала веточку, иголки, засохшие листья, но он не обращал на это внимание: все шло, как и должно было идти. Он сделал рывок метров на четыреста, а потом повернул под прямым углом так, чтобы двигаться параллельно опушке навстречу колонне, бежал еще километр, и стал осторожно забирать к опушке, прислушиваясь. Он дождался, когда таи, на дороге, опять загудели моторы, скользнул поближе так, чтобы дорога просматривалась, расстрелял обойму, целясь по шоферам и тем, кто сидел рядом с ними, полагая, что сидят рядом с шоферами офицеры или унтер-офицеры, и, не дожидаясь новой паники, махнул в глубь леса, считая, что на этот раз хватит искушать судьбу, считая, что следует беречь оставшиеся патроны для новой, более подходящей, более стоящей цели.

Прикидывая, что из колонны о нем могут сообщить по рации местным властям, он нажал всю, чтобы за какой-то час уйти километров за десять. В этом случае спасали только ноги.

Уже был один случай, когда на его лыжню вышли. Две недели назад его лыжню перехватили, и он понял, что кто-то следит за ним. Следят по карте, отмечая, где он появляется, с тем, чтобы в удобных для них обстоятельствах зажать его в какой-нибудь роще и там с ним и разделаться.

Сложилось все так, что его подвела погода. Вначале пошел как будто бы хороший снег, и это давало ему возможность действовать. Он добрался почти до большой, тянувшейся вдоль дороги на километры деревни, выбрал позицию и пропустил, не тронув, два коротеньких немецких обоза, которые везли какие-то мешки, с пшеницей, что ли. Возницы на санях сидели сгорбившись, потому что было все-таки морозно, накрытые попонами, облепленные снегом ломовики казались похожими на белых слонов, и он мог бы многих возниц убить, так как позиция его была отличная, ветер дул на него, возницы сидели в завязанных шапках, воротники их тулупов были подняты, и если бы он начал с последнего возницы, то успел бы расстрелять обойму, пока в обозе хватились бы что к чему.

Возниц он все-таки пропустил и дождался пары грузовиков, здоровенных, почти в вагон, «татр», ерзал шофера с заднего и стал стрелять по выпрыгивающим из дверей кузова-домика немцам. Первый грузовик - немцы в нем, наверно, сразу не услышали стрельбы - ушел вперед, потом начал разворачиваться, съехав с дороги прямо на целину, и он, скользнув назад, в поде, в метель, уйдя из-под огня забившихся под колеса заднего грузовика немцев, встретил первый, тоже сняв сначала шофера, потом его попутчика в кабине и еще нескольких немцев, также посыпавшихся из дверей кузова-домика.

Конечно, эти грузовики были удобны для перевозки солдат: в них было тепло, в них даже горела печечка, потому что из трубы на крыше шел дым. Но выскакать из такого грузовика немцы могли лишь только из двери, распахнув ее, прыгая сзади грузовика, и в этот-то момент по ним трудно было промахнуться, потому что если пуля не успевала попасть в прыгнувшего, то попадала в тех, кто был за ним.

Ветер кружил довольно густой снег, и Андрей, сближаясь, держась на таком расстоянии, что немцы не различали его в этой снежной двигающейся пелене, несколько раз сменив позицию, стрелял из разных точек по вспыхивающим из-под машин очередям автоматов тех немцев, которые все-таки успели спрыгнуть. Он ушел, когда решил, что смысла вести бой дальше нет, потому что наверняка он уже стрелять не мог, а надо было беречь патроны.

Вообще с патронами у него было худо. Он искал их в разбитых нашими самолетами немецких машинах, которые изредка попадались ему на дорогах. Выйдя на такую машину, он обшаривал ее самым тщательным образом, рассчитывая, что под бомбежкой кто-то рассыплет или обронит патроны, и он почти всегда сколько-то находил - или несколько штук, или пачку. Однажды он нашел коробку к пулемету с набитой лентой. Этот день у него был как праздник - он повыдергивал патроны из гнезд, а черную, звенящую стальную ленту закинул в овраг.

Он мечтал, что когда-нибудь ему попадетесь целый ящик патронов, отброшенный при бомбежке взрывной волной подальше, так, что немцы его не заметили. Тогда бы он уволок этот ящик в лес, сделал бы тайники в разных местах с тем, чтобы по мере надобности приходиться к ним и запасаться. Он зрительно даже видел этот ящик - зеленый, с черными уголками, с металлическими ручками, с петлями, пристегивающими крышку, под которой в цинках, в промасленных пачках лежали сотни, сотни патронов.

Он, конечно, рисковал, собирая такие - то ли брошенные, то ли забытые патроны. Он знал, что немцы, борясь с партизанами, у которых было много немецкого оружия, подбрасывали партизанам специальные патроны. Эти патроны были начинены какой-то взрывчаткой, при выстреле она рвала винтовку или пулемет и калечила или убивала того, кто стрелял. Поэтому Андрей, забравшись в глушь, привязывал винтовку к дереву, заряжал ее взятыми на выборку патронами из тех, которые он находил в машинах, и, спрятавшись за другое дерево, дергал за стропу, привязанную к спусковому крючку. Пока у него все обходилось нормально, пока патроны ему попадались обычные, но он бы предпочитал брать их у убитых, из подсумков или ранцев убитых немцев, чтобы быть спокойным. Но такой возможности у него не было, и приходилось довольствоваться тем, что попадалось.

Что же касается патронов к ППШ, так их вообще нельзя было раздобыть у немцев, поэтому

оставшиеся полтора диска он берег на крайний случай - на ближний бой, он уже подумывал, что ППШ, видимо, придется бросить, что пора искать способ раздобыть «шмайссер», чтобы стать на довольствие к немцам насчет патронов к нему.

После дела с «татрами» его перехватили. Он успел уйти на какой-то десяток километров, когда снег перестал падать. Наверное, тот ветер, что поднимал метель, отогнал и тучи куда-то. Был еще день, из-за края туч вышло солнце, оно потом и светило до вечера. Снег под ним слегка подтаивал, но нужен был хороший мороз, чтобы снег превратился в наст. И так вот днем, при солнышке, он жал от «татр», оставляя после себя на свежем снежке многокилометровый личный хвост - лыжню, которую спутать с чьей-то было невозможно: его финские лыжи имели квадратный желобок и оставляли квадратный валик посередине каждого следа, в то время как у наших лыж желобок был полукруглым. Поэтому он смело мог бы к своему следу еще и приписывать палкой на снегу: «Андрей Новгородцев», дату, место рождения.

Ротный, отцепляя сухие, коричневые, узловатые в суставах и, наверное, шершавые, как клешни, пальцы старухи, забормотал растерянно:

- Да что ты, мать! Да что ты! Отставить! Да ты подумай сама...

Все израсходовав, истратив последнюю капельку силы, старуха сползла, цепляясь за ремень, за брюки, за сапоги ротного, и, как осыпавшись внутри, упала лицом в землю, бормоча:

- Так детки ж там! Невинные... Ну что еврейские? Ну что цыганята... Ну что? А они их туда же! С матерями да бабками... Да разве же так можно? Ведь люди же. Рождаются и умирают. Как все... Так нет же, в ров их...

Она закрыла вдруг глаза, сцепила пальцы, захватив в них землю и пересохшую траву и задрожала:

- Ой, сыночки... Ой, ой, ой... До чего же люди на земле дошли!..

Ротный остановил девушек:

- Сестренки! Ко мне! Быстро! - он показал им, схватив одной рукой кисть другой: - Делай так! - Из четырех, сцепленных таким образом рук, получалось сиденье. Когда девушки сделали его, ротный, присев на колени, поднял старуху, сокрушенно удивившись: - Да что ж ты, мать, так отошала? В тебе и пуда нет!

Старушка, сидя на руках девушек, обнимая их за шеи, медленно, словно и на эти движения у нее уже не осталось сил - открывая и закрывая глаза, не сказала, а как бы выдохнула слова, как бы прошелестела словами:

- Два года милостыню жила. Деда убили в облаве, а какая милостыня, когда люди сами голодуют...

Ротный приказал:

- Степанчик! ДП! - Степанчик, подскочив, на ходу открыл полевую сумку ротного, которую всегда таскал при себе. - На, мать. Подкормись, - ротный сунул старушке пачку печенья и баночку рыбных консервов, ротный недавно получил офицерский ДП.

<sup>1</sup>ДП - дополнительный паек.

Но старушка совсем затихла.

- Воды! - крикнул ротный. - У кого фляга?

Папа Карло сдернул с ремня флягу и приложил ее к губам старушки.

- Пей, бабуля, пей. Чаек сладкий. Сразу окрепнешь.

Бабуля пила взахлеб, тонкое ее морщинистое горло судорожно дергалось. Бабуля выпила всю фляжку.

- Живо к медикам, - приказал ротный. - Туда! - он кивнул в сторону комиссии; она, сгрузив из автобуса столики, стулья, пишущую машинку, уже писала акт, который потом подписывали не только члены комиссии, но и многие горожане, тем самым удостоверяя, что все, что было связано с контрэскарпом, подлинно.

Там, между военными и гражданскими, четко был виден халат врача. Он отпаивал у бачка тех, кому становилось дурно, давал нюхать нашатырь, а самым слабым делал и нужный укол.

Девушки пошли, неся старушку, которая держалась одной рукой за них, а второй оберегала у себя на подоле пачку печенья и консервы.

Уже на ходу Венина девушка обернулась:

- А вы их не жалеете, - она показала на немцев, - там, на фронте. Не щадите их! - Вторая девушка тоже обернулась.

- Это наше дело! - обрезал ротный.

- И наше! - дерзко возразила вторая девушка.

- Нет! Глупость! - опять обрезал ротный. - Ты кто? Твое дело жить! Поняла? Жить по-человечески. Жить, любить, рожать. Топайте, сестренки, топайте!

Девушки сразу же застеснялись, отвернулись и быстро пошли.

Андрей крикнул им вдогонку:

- Бабулю не бросать! За бабулю отвечаете! Поддержите ее, чем можете!

- Да! - крикнул тоже Веня. - Вы же комсомолки! Обещаете?

- Чтоб дожила до победы! - крикнул вдруг тонко Пана Карло. Ротный удивленно повел на него бровью. Папа Карло смутился и стал рассматривать свои ботинки.

Коротко обернувшись еще раз, девушки кивнули, улыбнулись.

- Степанчик! - уже совсем издали крикнула Венина девушка. - Степанчик! Ты подрастай! Такие маленькие солдаты не бывают. Приезжай к нам опять. Только подрасти!

Степанчик и правда был очень мал, хотя и ладен. Степанчик до войны учился портновскому делу, поэтому еще на формировке вручную ушил брюки и гимнастерку, они сидели на нем хорошо, но, несмотря на свои восемнадцать полных лет, он походил на подростка.

Но Вениной девушке Степанчик понравился. Андрей видел, как она посмотрела на Степанчика, когда он подбежал, на ходу раскрывая сумку. Венина девушка была рослой, даже кряжистой, наверное, таким девушкам нравятся щупленькие ребята - девушка как-то особо оглядела Степанчика, его наклоненное к сумке лицо, затылок, на котором из-под сдвинувшейся пилотки торчал вихор, всю его фигуру, медаль «За боевые заслуги», гвардейский значок.

- Дуреха! - крикнул ей Степанчик. - Вот я тебя сейчас догоню!..

- Отставить! - буркнул ротный. - Я тебе догоню...

Степанчик засопел, обиженно надул губы, сердито посмотрел на ротного и пошел ему за спину.

- А чего дразнишься? Дать бы ей по шее, знала бы, чего говорить, - бурчал он про себя, не глядя ни на кого, ожидая, когда у него перестанут гореть от стыда щеки. - Подумаешь какие... Дурехи стоеросовые...

Когда совсем свечерело, прибыла полуторка с дополнительной охраной для пленных, их надлежало препроводить туда, где их содержали.

Комиссия, на этот день закончив свои дела, уехала. Оцепление сняла, вместо него осталась небольшая охрана из числа прибывших на полуторке.

Случилось так, что для остановки полуторка подрулила к «студеру», и, когда Андрей и все остальные грузились на него, подвели к полуторке и пленных. Они шли, глядя в землю, того, кто валялся у ног часового во рву, вели под руки - он, видимо, все никак не мог отойти. Но в первых двойках, а немцев подводили к полуторке в колонне по два, но в первых двойках, Андрей хорошо рассмотрел это, шли немцы, на лицах которых он увидел затаенную злобу, даже ненависть. Особенно зло смотрели белообрый верзила спортивного сложения, с узким лицом и шагавший рядом с ним, прихрамывающий, среднего роста, круглолицый, короткошей немец. Хоть они и вылезли из контрэскарпа с расстрелянными, хоть и шли медленно, чтобы не отставали задние, ослабевшие там, но смотрели по сторонам, вперед, как бы разглядывая все, чтобы запомнить, что ли, и по их ромам было видно, что контрэскарп с расстрелянными не всех их сломил, что закаменевшие души их не треснули.

Ротный в разговоре сказал девушкам, что все эти фрицы - конченые. Нет, ротный ошибся. Не все они стали конченными, нет, не все.

Залезая в «студер», солдаты, оборачиваясь к пленным, бормотали:

- Фрицы поганые.

- Ироды, - сказал, как подвел итог, Коля Барышев.

Веня, стоя рядом с Андреем, уцепившись за его ремень, несколько раз, не сдержавшись, пробормотал в ухо Андрею:

- Ужас! Ужас, Андрюша. Одно дело это в кинохронике, но и там страшно! А здесь, а здесь...

Ужинали они поздно, около полуночи: пока добрались, пока умывались, намыливаясь погуще, долго обмывая лица, головы, шеи, плечи, руки.

Веня есть отказался.

- Не могу. Не могу. Андрюша.

- Надо! - сказал Ванятка. - Ешь через силу. Ослабнешь, и они тебя одолеют. Эти... Эта погань.

Но Веня, глотнув остывшего чая, махнул лишь рукой, уткнулся лицом в шинель и затих до утра.

Теперь же, теперь, в этом зимнем лесу, полицейские - или кто там еще?! - власовцы, другие какие-то каратели или жандармы гонялись за ним, за его жизнью. О, они, конечно, хотели, всей своей душой хотели, чтобы он лежал на дне контрэскарпа, но это им пока не удалось, вот они гонялись за ним, как гонялись бы за любым другим, кто не сложил оружия, кто не склонил перед ними головы.

Ему надо было, двигаясь по кончавшейся роще, пересечь довольно большое - километра в три - поле между несколькими деревьями. Но еще с опушки, разглядев на дорогах к этим деревьям парные дозоры, он понял, что его след взяли, что кто-то уже идет по следу, а дозоры выставлены, чтобы не дать ему уйти из этой рощи. Если бы он сейчас рванулся из нее, прошел бы на виду у дозоров, которые, конечно, не смогли бы взять его, - дозоры были пешие, и им за ним невозможно было угнаться, - если бы он сейчас рванулся из этой рощи, сработал бы телефон. Его взяли бы в широкий на несколько километров круг, сжимая этот круг, сблизившись на расстояние выстрела, рано или поздно они убили бы его. Времени для этого у них хватило бы: поднять полицейских с окрестных деревень, которые виднелись и с опушки рощи, труда, наверное, особого не составляло. Им, конечно, тем, кто занимался его розыском, им, конечно, он давно плешь переел, и такую удачу, когда его подвела погода, они, несомненно, упускать не могли.

- Ну влип, - сказал он себе, уйдя с опушки и прислушиваясь, не идут ли уже по его следу. - Ну влип, Андрей. Тут брат, надо...

От одиночества он незаметно для себя стал думать вслух, а порой и говорить сам с собой.

Он мог сказать сороке:

- При всем твоим великолепии ты для меня сейчас сволочь! Ну чего ты трещишь? Чего продаешь



меня?

Стайке полевых воробьев, прилетевших в березняк, чтобы кормиться семенами, опавшими под деревья наподобие опилок, он мог сказать:

- Ну что, птичья пехота? Зимует? Держитесь, держитесь, ребята! Немного осталось. Вот придет весна, то-то вам будет сытно да радостно...

А винтовке он говорил:

- Ты хорошо поработала, поэтому мы тебя сейчас почистим, смажем да зарядим! Чтоб ты была как огурчик! Хотя ты и сделана фрицами, но работаешь против них. То-то!

- Ну влип! Ну и влип! - бормотал он, наддавая. - Но еще посмотрим! Еще посмотрим! - Ему надо было выиграть время до темна. А там - лови ветра в поле. Началось лишь новолуние узенький ломтик месяца светил чуть-чуть, да и тучки его могли затягивать, так что ночью легко было прорваться. Но до ночи надо было выиграть время.

Он развернулся на лыжне и, не толкаясь палками, прошел по ней назад с полкилометра, развернулся снова и свернул с лыжни, и пошел, толкаясь палками, в сторону от нее. Те, кто гнался за ним, должны были тут остановиться, или, во всяком случае, задержаться, чтобы решить, то ли им делиться на две группы, то ли всем идти по какой-то одной лыжне.

Его бы такая развилка не обманула: пока была одна лыжня, легко определялось - по следам от палок, по следам от носков и пяток лыж, что по ней шел один человек. Как бы второй ни старался, пусть даже он шел бы без палок, он где-то - то в одном, то в другом месте все-таки ломал бы след.

Еще не смерклось, еще можно было, приглядевшись, определить, куда ушел лыжник: следовало только различить, сколько раз он шел по каждой лыжне, если два по одной, значит, он ушел на ответвление, если три, то ответвление ложное.

Андрей не знал, кто идет за ним, сколько эх идет, смогут ли эти люди прочесть его следы. Ему важно было, чтобы они задержались у этого места, он выигрывал время.

Нажимая вовсю, он сделал еще несколько таких ложных следов, он пересекал свои следы в разных направлениях, ему все равно нельзя было высовываться из леса, он здесь должен был ждать, и путал, и путал лыжню так, чтобы у тех, кто шел за ним, когда они наткнутся на его разные следы, голова пошла кругом.

Потом, считая, что все сделано, он, держась параллельно первой своей лыжне, метрах в ста от нее, прошел им навстречу метров триста.

Выбрав позицию так, что его лыжня просматривалась сравнительно далеко, он, сдернув винтовку, зарядив ее шестым патроном в ствол - пять патронов в магазине он придержал пальцем, - затаился.

- Так сколько же вас? - спросил он, глядя туда, откуда они должны были появиться.

Он порядочно устал, хотел есть, хотел хлебнуть и спирта, а потом зажевать куском колбасы с сухарем, с зубком чеснока, с половиночкой замерзшей, как камешек, луковицы. Такая мороженная луковица, расколотая финкой, таяла во рту, одновременно была и горькой, и сладкой. Он бы и подремал после еды, переобувшись в валенки, закутавшись в полушубок, шеvelя в валенках усталыми, горячими ногами.

Но ни спать, ни есть ему было нельзя: он не хотел, чтобы, когда он их встретит, у него был полный желудок. Не хотел не потому, что получить пулю в полный желудок означало бы для него конец. И в тощий желудок пуля в этих обстоятельствах тоже означала для него конец. Он не хотел иметь полный желудок, потому что было бы тяжелее действовать, и он отложил еду на потом и лишь закурил, чутко прислушиваясь, а когда услышал, как скрипят их лыжи, вдохнув пару больших затяжек, бросил окурочек в снег. Что ж, и за Луньковых он должен был разделаться с теми, кто гонялся сейчас за ним по этой длинной роще. За Луньковых, за Папу Карло, за Стаса, за себя, за Веню, за тех, кого прибило волной к обрыву под Букрином... Да, за всех, кого он знал и не знал, но кто относился к «своим» и погиб или был искалечен, как, например, акробат.

Первые двое из гнавшихся за ним были, конечно, самыми сильными, самыми выносливыми, и их надо было сразу же срезать. Они шли почти вплотную - оба молодые, рослые, румяные от движения на морозе, они хорошо выставляли лыжу вперед, хорошо отгалкивались палками. Оба они были без шинелей, лишь в телогрейках, и у обоих висели на шеях, качаясь в ритм движению, «шмайссеры». Но одеждой на немцев они не походили, они были или из местной полиции, или присланы откуда-то, из какой-нибудь власовской школы, может, из какого-то другого подразделения власовцев.

Первого он свалил, попав ему в грудь, второго, когда второй, пока он передергивал затвор, метнулся, бросив палки в сторону, и, падая, сдергивал «шмайссер», он подстрелил с третьего выстрела, а застрелил с четвертого. Но даже раненый, этот второй высадил весь магазин «шмайссера», хотя точно прицелился, наверное, и не мог.

Андрей сразу же надал в сторону вперед, чтобы не обнаружиться для тех, кто шел за этой парой. Он не должен был принимать такой вот встречный бой. Он бы обязательно проиграл его, так как на каждый его выстрел они бы ответили многими.

- Заднего! Задних! - сказал он себе.

Сделав дугу, он вышел к лыжне километрах в трех от места перекура и стрельбы по первой паре. Он считал, что вряд ли они растянутся так далеко, но ему надо было подстраховаться. Он посмотрел на разъезженную, разбитую лыжню, на дырки от палок и пришел к выводу, что за ним гонится больше, чем десяток человек; было их пятнадцать, двадцать или еще больше, он определить не мог, пока не нашел слева от лыжни след от палки, у которой кольцо держалось на двух ремешках, а не на четырех,

как у остальных. Два порвавшихся ремешка лишь мазали снег внутри кружка, а два целых отпечатывались ясно. Тогда, пройдя по лыжне, он от такого следа пересчитал все следы от палок до нового следа кольца с оборванными ремешками. Следов оказалось четырнадцать.

- Ого! - сказал он. - Но посмотрим. Теперь-то их двенадцать!

Очень осторожно, стараясь скрипеть поменьше, легко, как на прогулке, бежал по лыжне еще один из них, чем-то напомилавший того штангиста, который бил Андрея в блиндаже; он тоже был крепок, ладен, уверен в себе. Он бежал, все время поглядывая ко сторонам, вертя для этого головой, он и оглядывался, быстро поворачивая корпус назад. Раз он даже остановился и, держа палки на весу, прислушался.

«Больше не будет! - догадался Андрей и взял его на мушку. - Этот последний, подстраховочный. - Ишь, продумали...»

Он выстрелил, целясь в грудь, и подстраховочный, вскинув палки, потом уронив их, упал на «шмайссер», неловко расставив ноги с лыжами. Андрей метнулся к нему, сдернул «шмайссер» с его шеи, выдернул у него из-за пояса сумки с запасными магазинами, а с бедра из кобуры «вальтер» и, прижав все это, как охапку, к груди, без палок промчался вбок и навстречу тем, кого прикрывал этот последний. «Шмайссер» для него значил двести десять выстрелов сейчас и значительное число их потом, по мере того, как он будет добывать патроны к нему. «Шмайссер» был очень кстати. Ему пришлось расстаться с ППШ; для ППШ не осталось патронов, добыть же их к нему в тылу у фрицев было делом немыслимым, и он повесил его в лесу на сучок, считая, что так глубоко в лес фрицы ни с того, ни с сего не пойдут, и ППШ, скорее всего, попадет в руки наших. И теперь этот «шмайссер» был очень даже кстати!

Остановившись, у него на это было время, он повесил «шмайссер» на шею, к винтовке, сумки с магазинами на нее, а «вальтер» затолкал в карман. Теперь ему было тяжелее, но он не очень чувствовал эту тяжесть, потому что в нем было много сил, и какие-то семь-восемь килограммов не слишком стесняли его движений.

После того, как не стало Марии, не стало землянки и он жил почти дикой жизнью в лесу, он здорово окреп, потому что в целом неплохо ел, помногу двигался, делая иногда и до сотни километров за сутки, и много спал, иногда часов по двадцать, просыпаясь лишь ненадолго, чтобы поесть, посмотреть на погоду, а затем снова впадал то в глубокий сон, то в полудрему. Он спал помногу, чтобы, таясь, сбить тех, кто ловил его, со следу и потому что в погожие дни действовать он опасался. Он хотел жить, а для этого глупо рисковать не следовало.

Да, Марии не было. Не было и землянки. Землянка теперь служила им могилой, могилой для Марии и Тиши, и те, кто шел сейчас за ним, те двенадцать, имели, конечно, к этому прямое отношение, а если не имели такого прямого отношения к Марии и Тише, то, конечно же, имели прямое отношение к другим Мариям, Зинам, Олям, к другим радистам, разведчикам, партизанам, за которыми они, эти двенадцать, охотились, и которых им удалось найти, поймать или убить.

И они имели, конечно же, прямое отношение к нему. Вернее, хотели иметь.

Но он сказал:

- Еще посмотрим. Еще посмотрим.

Те, кто, как на охоте, гонялись за ним, повторяли одну и ту же ошибку: двигаясь на него, но не видя его, они, сближаясь с ним, подставляли себя под выстрел. Они не знали, откуда и в какую секунду последует этот выстрел, а он, сохраняя это свое преимущество, дождавшись, когда кто-то из гонящихся за ним будет хорошо виден, делал один прицельный выстрел и сразу же отходил. Так он убил или тяжело ранил еще четверых. Тогда остальные, сообразив, что он их так всех перестреляет, сгрудились, ожидая, не начнет ли он, выйдя к ним, стрелять. Тогда бы, потеряв еще кого-то, общим огнем они бы могли подстрелить его. Он дождался, когда совсем свечерело, выскользнул из этого леса и начал марафон, призом в котором для него была его собственная жизнь.

Всю ночь он шел так, как никогда не шел, подхлестывая себя:

- Давай, давай! Давай, Андрей! Кенгуру бежали быстро. Ты беги быстрее...

За двенадцать часов темноты он ушел, стараясь держаться на запад, километров на семьдесят, затаился на день, в следующую ночь сделал еще километров шестьдесят, потом началась поземка, он ушел на север еще километров на сорок, и следы его потерялись.

Месяц назад, еще до Нового года, после обычной своей вылазки, возвращаясь к землянке, он нашел ее разрушенной. Потолок ее был поломан, стены, насколько это было возможно, обрушены, печечка вообще исчезла, исчезли и труба от нее, вещи из землянки - плоски-свечки, куски парашюта, одежда, ведро были унесены, котелки исковерканы, измяты, потоптаны. Все еще падавший снег заносил яму, то, что было у него и Марии по-своему хорошим жильем, заносил и многие следы у землянки и вообще вокруг нее.

Когда он возвращался после вылазок, он осторожно стучал в творило, приподнимал его и спрашивал:

- Кто в тереме живет? Кто в теплом живет?

Мария встречала его как брата или как какого-то другого родственника. В одиночестве ей было тоскливо, и она радостно суежилась, помогая ему снять оружие, мешок, раздеться. У нее всегда было целое ведро снеговой воды, какая-то сваренная еда, которую следовало лишь разогреть, целый котелок

остуженного несладкого - какой он любил, - но хорошо заваренного чая. Он выпивал этот котелок, сидя на нарах, отдувался, чувствуя, как, получив возможность, начинают отдыхать все его мускулы, сухожилия, легкие, сердце, которые он не щадил, заставляя под нагрузкой работать по восемнадцать - двадцать часов, соловел от ощущения легкости на плечах и спине, на которые теперь не давили оружие и одежда, млея от тепла, приходившего от печечки, проходившего через свитер до тела.

Потом, глотнув спирта, закусывая хлебом, горячайшим супом с тушенкой, он коротко рассказывал ей о том, куда добирался и что ему удалось сделать. Он не называл ей, сколько убил немцев и полицеев, он говорил:

- Было дело. Кое-кто уже против нас не повоюет.

Мария особенно не расспрашивала, но догадывалась, сколько ему пришлось стрелять, по оружию - оружие чистила она.

- Ты поспи, поспи, Андрюша, - говорила она, когда он, наевшись, валился на спину. - У тебя, поди, все косточки ломит. Я и почищу, и смажу, и сделаю все-все.

Он следил лишь за тем, чтобы она правильно разряжала, держа автомат или винтовку под творилом, он рассказал ей даже про случай в вагоне с Васильевым, про то, как он ранил Веню и чуть не поубивал других. Мария, услышав эту историю, всплеснула руками:

- Да что ж он, ирод-то! Да ему за такое руки отбить мало! Это же прямо судьба сохранила вас!

Но он не стал ей рассказывать дальше ни про Веню, ни про Барышева, ни про Папу Карло, ни про других, которых за Днепром, на Букрине, судьба уже не сохранила.

Когда он возвращался, день для Марии был как праздник - она зажигала дополнительную плошку, робко улыбалась ему, преданно смотрела в глаза, ловя каждое его желание - то ли подрезать еще колбасы, то ли долить что в кружку, то ли смочить тряпицу, чтобы дать ему обтереть усталые, гудевшие ноги.

Но, возвращаясь, каждый раз он хотел бы на свой стук, на вопрос о теремке, не услышать ответа, а найти лишь знак на стене: вбитую щепку у нее над нарами. Это означало бы, что она ушла к Николаю Никифоровичу, что все с ней в порядке.

Опасаясь за нее, он ни разу не стрелял ближе от землянки, чем километров за двадцать. Еще с того похода, похода по калининским лесам, он знал, как беречь базу, и осторожничал крайне.

От разоренной землянки он бесшумно скользнул к опушке, но не сразу к той, заветной для Марии, сосне, а чуть в сторону, чтобы понаблюдать. Но и наблюдать-то оказалось ненужным. На полянке возле сосны снег был истоптан, в кровавых пятнах, в кровавых строчках, а неподалеку от сосны лежала Мария.

Она была раздета - без шапки, без полубубка, без гимнастерки, без свитера, без ватных брюк, без валенок и даже без носков. Они все сняли с нее, с убитой, позарившись на новую, хотя и окровавленную одежду.

Он постоял над ней, взглядываясь в побелевшее, оттого что из нее вытекло много крови, лицо; губы Марии были плотно сжаты, брови сдвинуты к переносице, а в открытых глазах застыло выражение отчаяния.

Живот, бедро подогнутой ноги и затылок у Марии были прострелены, и снег, на котором она лежала, был под ней густо красен, а снег по бокам от нее, по которому полицейские топтались, раздевая ее, перемешанный с кровью снег был розов. И в этом розовом снегу, как золотинки, поблескивали затоптанные гильзы.

Еще в трех местах на поляне снег был кровав - напротив Марии, сразу перед деревьями и слева от Марии, шагах в десяти. Здесь кто-то лежал, это было видно по отпечатку на снегу, здесь, возле этого отпечатка, сохранились следы многих валенок. Здесь, наверное, лежал убитый Марией тот, который хотел взять ее живой, и в которого она, заметив, дала длинную очередь - на ближних кустах были отстреленные или перебитые ветки. Сразу же за этими кустами снег тоже был с кровью, там потоптано было меньше, там от кого-то отпечатался след, как будто этот кто-то лежал на боку, в кровь у него текла из головы.

Убили Марию, стреляя с другой стороны и попав в затылок, бок и бедро. Но, видимо, не желая даваться живой, она убила двоих, а одного ранила. Судя по гильзам вокруг нее, она, наверное, успела расстрелять лишь один магазин, потом упала, и ее, уже лежащую, добились.

Скользя по полянке, скорбя, думая, как все это могло получиться, думая, что делать дальше, он остановился над сломанными грабельками и понял, что они выследили Николая Никифоровича, а потом выследили и Марию. Конечно, Николая Никифоровича было нетрудно выследить - понаблюдать за ним в бинокль, когда он отправлялся за дровами, определить примерное место, куда он ходит, посадить засаду, дожидаясь его очередного прихода, увидеть, что надо увидеть, потом тихо взять. Николай Никифорович не был вооружен, а что может сделать человек с топором против нескольких с винтовками? Они, наверное, и не стреляли, чтобы не спугнуть других, выбили у него из рук топор и уволокли. А грабельки остались тут поломанными. Потом они посадили новую засаду, на которую Мария и наткнулась.

«Ида! - подумал он, шевеля палкой грабельки. - Не зря он ее не брал к себе. Не зря не мог ни взять, ни отправить куда. Что-то у него не получалось. А может, кто-то продал его? Такое тоже не исключается...»

Тут следующая мысль как обожгла его: «А если, а если... - подумал он, - а если и Николай Никифорович и Мария посчитали, что это я их продал? Да нет, не может этого быть», - попытался он

отогнать эту мысль.

Он подъехал к Марии, наклонился, поправил рубашку, чтобы грудь закрылась, подsunул под Марию руки, поднял ее, положил на плечо, как кладут маленькую девочку, и понес к землянке.

Он съездил за Тишей и, распеленав его, положил к нему Марию, запеленал опять их в парашют, затянул стропами и, расчистив на дне землянки место, на стропе же осторожно спустил их туда, потом спустился к ним сам, поправил их и сказал им:

- Ну, ребята, простите и прощайте.

Он осторожно заложил их обломками потолка и засыпал землей.

Могила Тиши и Марии была невесть какой, но лучшего тут было не придумать. У него не было большой лопаты, а малой саперной он бы многое не сделал. Он осторожно обсыпая на жерди края стен, стараясь, чтобы слой земли был потолще, чтобы к трупам не добрались лисы, а потом сбросил на них так много снега, что землянка сравнялась, и хороший снегопад должен был потом скрыть вообще все следы. Он знал, что весной талые воды, конечно, размоют края еще больше, земля осядет, уплотнится и Луньковы со временем растворятся в ней.

Так вот, он завел календарь, чтобы не сбиться с дней, и делал на прикладе зарубочки, отсчитывая эти дни. Но время для него стало каким-то иным, потому что жизнь расслоилась. В ней оказалось несколько времен, сейчас совершенно, как ему казалось, не связанных между собой.

Самый дальний слой представлял довоенную жизнь: детство, дом, родители, школа, институт. Эта жизнь виделась совершенно нереальной, не его жизнью, а чьей-то: какого-то мальчика, подростка, парня, как если бы он подсмотрел ее или увидел в кино.

Чуть ближе к теперешнему его бытию оказывалась жизнь в армии до последнего ранения, до последнего госпиталя, до Лены: разведдиверсионный отряд, потом то, что было до Днепра.

Днепр, ротный, Веня и остальные ребята, Зазор - это все было как будто бы совсем уже рядом, совсем близко. Казалось, протяни руку, и можно до чего-то из тех дней дотянуться.

Госпиталь 3792, Лена, Стас, ротный, Степанчик - это все было как бы только вчера и почти сопрягалось с настоящим.

Теперешнее настоящее включало не только каждый его день. Оно состояло из блиндажа, в котором фрицы его били, пути до поезда, побега, встречи с Марией и Николаем Никифоровичем, потери их и из его одиночной борьбы. Блиндаж, где его били, стал вехой его совсем новой жизни, в которой прошлого не существовало. Прошлое было в жизни до блиндажа - прошлое осталось в его советской жизни, а нынешняя составляла как бы затянувшееся настоящее солдата, пропавшего без вести. И в это настоящее влезали воспоминания. Они приходили из тех разных слоев времени до блиндажа, путались, отодвигали друг друга, сталкивались, проникали друг в друга, так что получался какой-то хаос лиц, дел, событий. Приходили эти воспоминания из времени до фрицевского блиндажа, и на душе становилось горько, и сердце сжималось.

В конце февраля, когда он ушел еще дальше на север, в глухие совершенно места, так как после дела с теми четырнадцатью из облавы на него он считал, что ему надо как следует затаиться, а для этого следовало сначала подальше уйти, а потом прекратить на недельку активность, - так вот в конце февраля у него была стычка с другим противником.

Собственно, он не хотел этой стычки и уклонялся от нее, как мог, на этого «противника» жалко было тратить патроны, да и убивать этого «противника» тоже было крайне жалко. Но пришлось.

В поздний, все еще новолунный, морозный вечер, когда чуть подтаявший днем от солнышка снег наверху схватился в наст, он услышал волчий вой.

- Так! - сказал он, останавливаясь. - Вы, ребята, держитесь лучше подальше. - Я, конечно, еда. Я для вас даже очень много еды. Но эта еда вам но по зубам. Предупреждаю на полном серьезе.

То ли волки гнались за ним, идя по лыжне - лыжня ведь тоже пахла человеком, - то ли он сам вышел в них, и они учуяли его запах, но скоро, примерно через час, часто оглядываясь, он заметил огоньки их глаз.

Он надал, волки тоже надали, держась от него на довольно почтительном расстоянии, он не знал, сколько их; когда он оглядывался, судя по огонькам, он полагал, что их штук пяток, но ведь их могло быть и больше: не все же волки смотрели на него, когда он оглядывался, дескать, пожалуйста, считай нас!

Что он мог, что он должен был делать в этих обстоятельствах?

После боя в роще прошло часов тридцать, он, поспав за эти сутки всего ничего, сделал уже километров полтора, но все равно следовало уходить, уходить, уходить, через каждые десять-пятнадцать-двадцать километров меняя направление, чтобы сбить тех, кто за ним охотился, с толку, чтобы не напороться на засаду, не попасть в ловушку, которую ему могли подготовить. Поэтому уйти в лес, возле кромки которого он сейчас двигался, залезть на дерево и переждать до рассвета, рассчитывая, что волки бросят его, он не мог.

- Не могу! Не могу я это сделать, ребята, - сказал он волкам - Обстановка такова, что никак, совершенно никак не могу.

Патронов у него было мало, да и стрелять вверх, чтобы попытаться просто напугать волков, означало рисковать, излишне рисковать: ночью выстрелы слышны далеко, и, откуда ты знаешь, кто

может их услышать, что из этого потом выйдет? А может, где-то недалеко дорога, а может, по этой дороге кто-то едет - те же полицаи по каким-то своим сволочным делам? А тут выстрелы! А кто это стреляет? А почему стреляет? А вот одиночный выстрел - это не стрельба: человек подумает, что ему могло и показаться.

Волки же между тем пока не бросали его, а под утро стали приближаться. И их прибавилось. Наверно, останавливаясь и воя, а может, и воя на ходу, они давали сигналы тем, кто был от них недалеко, собирая других для такой трудной охоты.

Ему же под утро следовало сделать хорошую передышку, чтобы и поесть, и отдохнуть, так как впереди был день, который нес неизвестно что, может, такой же новый бой, как в роще, а может, что-то и похуже. И он должен был быть готов к такому дню.

- Вот что, ребята, вот что, - сказал он, подойдя к лесу и вы-  
305

сатривал дерево потолще, возле которого он хотел поесть и, стоя, опершись об него, подремать часок-полтора. - Охота у вас не получится. Если бы среди вас был Акела, он бы это понял и увел вас добром, а так... Так придется кем-то из вас пожертвовать, и никуда от этого не денешься! Никуда!

Можно было, конечно, забраться на дерево и втащить туда мешок с едой, чтобы она не досталась волкам, поесть и подремать там, держась за какой-то сук, ну а потом? Потом опять уходить от волков? Пока бы он дремал, они бы сидели недалеко, да подвывали, да созывали новых, и он потом должен был бы слезать у них на виду, и кто мог сказать, что они именно в этот момент не бросились бы на него - сразу всей стаей.

Нет, этот вариант его не устраивал. Был, на его взгляд, один-единственный вариант, дельный вариант - напугать и накормить их так, чтобы они от него отвязались.

- Что ж, что ж, жаль, но никуда не денешься, - сказал он, останавливаясь и снимая винтовку.

Волки между тем - он это видел по их глазам - из цепочки перестраивались в дугу, которой охватывали его с обеих сторон, это было их боевое развертывание.

- Так-так! - сказал он, насчитав девять пар глаз и становясь на колено. Прицел и мушка в темноте лишь только угадывались, он, конечно, не мог прицелиться точно и ждал и дождался, когда волки подтянулись так близко, что хоть и смутив, но стали различаться их тени. Тогда, выбрав одну, он примерно - лишь мысленно видя прицел и мушку - поймав эту тень на конец чуть отблескивающего ствола, нажал на спусковой крючок.

Вслед за выстрелом раздался визг, а когда визг затих и вместо него лишь слышалось злое, жадное рычанье тех волков, которые рвали застреленного, он встал, повесил винтовку на шею и побежал к лесу.

Начинался март. С каждым днем теплело, дни становились длиннее, и хотя ночью еще прихватывало хорошим морозцем, к полудню солнце пригревало так, что снег на елях намокал, с веток свисали сосульки, роняя сияющие на солнышке капли. Капли пробивали снег до земли. Снега везде было меньше, сугробы в лесу осели, уплотнились, покрылись синеватой коркой, а в полях, особенно на припеках, снег обтаял настолько, что показались черные влажные днем бугры пахоты.

Весна и облегчила, и усложнила все. Легче было коротать ночи, меньше расходовалось энергии на то, чтобы не мерзнуть, значит, можно было продержаться на меньшей порции еды, можно было натягивать на себя меньше одежды, а это позволяло легче двигаться, да и вообще дышалось как-то свободнее, веселей; от влажного, сочного воздуха днем чуть хмельно шумело в голове. Ночью этот воздух вымерзал, из него выпадал иней, и с неба смотрели блестящие игольчатые звезды.

Весна означала еще, что приближалось и время нашего наступления. Что наши будут наступать, Андрей был совершенно убежден. Он и рассчитывал именно на это - что наши месяцем раньше, месяцем позже пойдут в наступление, выбьют немцев и с этой территории, и он встретится с нашими, и все как-то станет на свои места.

У него был еще вариант, который он тоже не раз обдумывал. Теперь, когда он стал независим от Марии, когда решал, исходя только из мыслей о себе, он мог бы, держась все на север, выйти к таким местам, где действовали партизаны, - к Полесью. Там, в больших лесах, они должны были быть, там было где скрываться их отрядам, не то что здесь, где леса были куцые, где они вроде островков стояли в полях. Однако продвижение на север отдаляло его от того участка фронта, где стояла его бригада, где были рота и ротный, а он от них отдаляться не хотел.

- Только бы добраться до роты, - вздыхал он.

Начинался март. Весна и облегчила и усложнила все. Усложнила тем, что, чем длиннее становились дни, тем дольше он должен был прятаться, а на ночные переходы оставалось меньше времени. Тяжелее стало и идти на лыжах, влажный снег лип, и он, натирая лыжи мазью, со страхом смотрел, как убывает мазь.

Лыжи терпели - в них не было трещин, а небольшие забоинки по кромкам он, осматривая лыжи, каждый раз осторожнейшим образом срезал финкой и зачищал, шлифуя срезанное место ручкой финки.

Терпели и палки, лишь от тысяч и тысяч ударов о снег истрепались ремешки, которые крепили кольца. Но он кусками все тех же парашютных строп заменял оборвавшиеся ремешки.

Терпели пока и пьексы. Он берет их, стараясь не очень мочить, но от влажного снега они все-таки

намокали. Он сушил их, переобуваясь в валенки, а чтобы пьексы при сушке не коробились, набивал в них запасные портянки. Кое-где у пьексов начали расходиться швы, но он после просушки, натерев из обрывка стропы ниток, ссучив их, натерев получившуюся толстую нитку лыжной мазью, зашивал каждую дырочку на швах.

Все остальное у него было в порядке, оружие исправно, одежда цела, сам он был здоров. Вот только кончались продукты.

Запасы Тиши и Марии - запасы из тайников он съел, от них остались лишь НЗ - банка мясных консервов, банка сгущенки, три пачки концентрата да соль, начатая плитка прессованного чая, горсть сахарного песка да несколько щепоток табака «Флотский». На пачке этого табака была нарисована прямая английская трубка с граненой чашечкой. Табак он добавлял в махорку, отчего она получалась ароматной, не становясь слабей.

Его «носимый» запас продуктов, то есть теперь весь их запас, составлял кусок килограмма в четыре сырой свинины и приличного - килограммов еще на пять - количества муки. Мука была завязана в узле из куска парашюта.

Эту еду он добыл, выследив еще одни сани с полицейскими, возвращавшимися из какой-то, наверно, большой деревни с базара. Полицейских было двое, он легко с ними разделался, уволок с саней полтуши подсвинка, муку, и еще кое-что по мелочи. У одного полицейского оказался сверточек с петухами - леденцами на палочках. Петухи, сваренные из сахара, были ярко-малиновые, почти не прозрачные. Полицейский, смуглый парень лет двадцати, видимо, купил этих петухов для каких-то ребятишек. Андрей, подумав о них, высыпал петухов на солому, взяв лишь от них бумагу на закурки. Ему стало жалко неизвестных ребятишек. Скользнув взглядом по еще не остывшему до конца лицу полицейского, он было пожалел и его, но к шапке этого смуглого парня была прицеплена такая же бляха, как у полицейского на станции Ракитная, который нес караул у повешенных железнодорожника и его дочери-подростка.

- А ты не стоял под такими? - спросил он. - Сам не вешал? Не жег деревни? Не расстреливал? Больше тебе не придется делать это. - Забирая из подсумков патроны, Андрей добавил:

- Кому пошел служить? Фрицам? Эсэсовцам? За свинину, за самогон. Эх ты, дерьмо собачье!

Теперь, когда ему надо было поесть, он, забившись куда-нибудь подальше, строгал в котелок свинину, набивал котелок сосульками и, покипятив, посолив, сыпал, помешивая палочкой, муку. Получался не то густоватый суп, не то какая-то жидковатая мучная каша, вроде мамалыги с мясом. Котелка этой мамалыги ему хватало на ужин, но он, экономя, оставлял немного еще и на утро. В хорошую метель, в сильный снегопад он мог съесть на ночь и целый котелок, рассчитывая, что, проснувшись, сварит еще.

На всякий случай в такую вот хорошую метель он, поев, наварил два таких котелка про запас. Он дожидался, когда мамалыга замерзала, выбивал ее на снег, мороз схватывал ее в твердую, некрошащую массу, и мамалыгу можно было, завернув в тряпку, носить в вещмешке. Два таких плоских цилиндра этой мамалыги у него были тоже как «НЗ». Если бы ему пришлось долго уходить от погони, он мог бы, кусая на ходу, поесть, и калорий от этой мамалыги ему хватило бы на неделю гонки, а за неделю он мог пройти километров триста.

Он ощущал себя очень сильным. Наверное, в нем не осталось ни грамма жира. Он состоял как бы из одних мускулов и жил, обтянутых кожей. От постоянных - от многих-многих тысяч - ударов палками в снег его руки стали как железные, ладони огрубели, и он без труда мог переломить сухую березку толщиной в кружку. Без лыж он вообще не чувствовал ног, так легко было им ходить, сгибаться, когда он приседал к костру. Тяжелый мешок - а мешок с тем, что было привязано к нему и поверх него, тянул килограммов на двадцать, не давил ему плечи своими ляжками. Мешок как бы служил лишь для того, чтобы удерживать на его спине тепло и только; если он шел сутки подряд, то лишь через эти сутки начинал ощущаться как тяжесть.

Он мог уснуть в любое время, в любой позе, хоть стоя. Он часто так и спал - прислонившись мешком к дереву, не снимая лыж, выставив перед собой автомат, держа палец на спусковом крючке. Отогнув наушники, он спал, охраняя себя слухом, он слышал, как шумят кроны, когда их трогает ветер, как шуршит, падая с веток снег, как капля, падая с сосульки, цокает об корочку льда под деревом, где тень, куда солнце не добирается и где даже днем остается крепкий, синеватый, как колотый сахар, наст.

Сколько он прошел за это время километров, он, конечно, не знал. Но, понимая, что его безопасность в движении, он, после каждой своей вылазки, уходил, уходил, уходил, сбивая следы, пробегая иногда и по пустынной дороге километры, чтобы сани, грузовики, другие машины затерли его лыжню.

Но начинался март, с лыжами вот-вот он должен был расстаться, и он, прикидывая, где была его бригада, куда она может, в случае наступления, продвигаться, пошел к югу с тем, чтобы быть при всех обстоятельствах в тех местах, где шансов найти бригаду, найти ротного будет больше.

По разъезженной, особенно черной поэтому на фоне еще белых полей дороге шли войска. Катились тяжелые кургузые самоходки, их было даже больше, чем танков. Пушки у самоходов были разные - и семидесятишестимиллиметрового калибра, и восьмидесятипятимиллиметрового, и даже больше, наверно, «сотки» - стомиллиметровые. Под этими пушками дрожала земля, даже там, где он стоял, метрах в двухстах от дороги, эта дрожь ощущалась.

Катились танки: тридцатьчетверки, КВ; осторожно тянули длинные толстые пушки гусеничные тягачи; под белыми, еще зимними чехлами ехали на «студебеккерах» катюши; трудяги «доджи-три четверти» тянули противотанковые «Зис-3»; норovia проскочить вперед через любую щелочку в этом потоке, сновали квадратные юркие «виллисы»; и самые разномастные грузовики везли пехоту и, на прицепах, кухни. На выбоинах кухни покачивались и словно кланялись своими трубами.

И, конечно же, топала пехота. По обеим сторонам дороги, на обочинах, выбив там уже торные тропки, шагали бесчисленные пехотинцы в таких знакомых, таких родных шинелишках, полушубках, ватниках, бушлатах, в валенках, сапогах, ботинках с обмотками. Сколько можно было окинуть взглядом в оба конца дороги, по ней бесконечно ползла эта лента техники и людей, и трудно было представить, чего же больше на этой дороге: всякого рода боевых и подсобных машин, всякого оружия или человеческой массы, хотя, конечно, людей было больше - они сидели или стояли в этих машинах, цеплялись за лафеты пушек, облепляли корпуса танков и самоходок, висели на кухнях, стараясь хоть немного проехать, дать хоть немного отдохнуть гудевшим ногам.

С серого, плотно закрытого, совсем низкого - хоть доставай рукой - неба на все это сыпался не то снежок, не то какой-то иней, и все эти тучи, отрезавшие землю от солнца, сейчас прятали двигавшиеся войска и от наблюдения с воздуха, и от бомбежек.

Андрей стоял, воткнув палки попрочней, держа в лямках кисти, скрестив кисти, положив на них подбородок, наклонившись вперед, чтобы быть еще ближе к дороге, перед последними к ней кустами, скрывавшими его.

Он смотрел на своих и все не мог насмотреться, все не мог уверовать, что страшный кусок его жизни - блиндаж, где его допрашивали и били немцы, немецкий штаб, где тоже допрашивали, хотя и не били, а только угрожали расстрелять, дорога на Ракитную, вагон с пленными, побег, скитания в одиночку, без оружия и еды, Мария, Тихон, Николай Никифорович, а потом длинная одиночная война, - все не мог уверовать, что теперь этот кусок его жизни позади.

Из-за кустов, приподнимая бинокль, он вглядывался в лица пехотинцев, танкистов, артиллеристов.

«В роту! Только к ротному! - вбивал себе в голову Андрей, - Черт с ним, если меня посадят под следствие. Хоть кто-то будет теревить это следствие. Тот же ротный время от времени будет же справляться, что и как, и когда, мол, Новгородцева выпустят! Все-таки я буду взят из своей части, и часть будет как-то же отвечать за меня. Да и я буду напоминать о себе, мол, ребята, подсобите».

Он вспомнил, как ротный говорил:

- У нас еще, у нас, ребята, еще такие незапланированные семестры!

Еще неделю назад перед рассветом он услышал далекий грохот. Потом днем в тыл немцам потянулись обозы раненых, а навстречу им торопливо подбрасываемые подкрепления. Он уже израсходовал почти все боеприпасы. Патронов к винтовке у него была лишь обойма. Он берег ее на тот случай, если удастся сблизиться снова с какими-нибудь «мерседесом» или «опшелем». К «шмайссеру» же у него осталась лишь пара магазинов, он не мог их расходовать, потому что без боеприпасов его можно было взять голыми руками.

Три дня грохот не умолкал, то начинался снова, потом начал приближаться, и он понял, что наши идут. Это доказывало и то, как торопливо вдруг начали отходить тылы немцев: полевые госпитали, медсанбаты, жандармские роты, машины со всяким складским имуществом, рациями, бензиновыми бочками, солдатскими ларьками, построенными на «татрах», подбитой и не отремонтированной техникой на автоплатформах и всем остальным, что идет вслед за наступающими частями, а при отступлении отходит первым.

Он метался от перелеска к перелеску, стараясь и добыть патронов, и расстрелять их получше. По отходившим тылам наши самолеты почти не били, они были заняты резервами немцев и, главное, действовали там, откуда шел грохот. Ночью, выскальзывая к дороге, он искал патроны, а днем, все эти три дня, расходовал, стреляя с предельно возможной дистанции по тем, кто двигался на восток.

Через три дня движение на восток вообще прекратилось, гул приблизился, потом с востока вдруг длинными колоннами пошли боевые немецкие части, и тут он расстрелял все, кроме последней обоймы к винтовке и двух магазинов к «шмайссеру».

Немцы не обращали на него никакого внимания - им было не до него. Ну и что, что кто-то в одиночку их обстреливал? Им было не до этого - они сматывались, они торопились уйти на какой-то другой рубеж обороны. Когда он стрелял, машины даже не останавливались, если он не убивал шофера. Если же он убивал шофера и машина мешала движению, немцы, паля по лесу, или заменяли шофера, или сталкивали машину с дороги и, попрыгав в другие, ехали дальше. Один раз, убив шофера, он пробил колеса большому тяжелому грузовику с какими-то ящиками, нагруженными вровень с кабиной. Так как ехать этот грузовик дальше не мог, а мешал остальным, то немецкий тягач, толкая грузовик в бок, оттер его к обочине. Машины так и шли, огибая этот грузовик, пока какой-то танк не ударил по грузовику гусеницей. Грузовик опрокинулся, ящики с него посыпались, но никто из немцев не думал их собирать.

Полицейским он тоже был не нужен. Служба полицейских здесь кончилась. Наверное, некоторые полицейские остались, ожидая решения своей участи, но многие и уходили с немцами. Их деревенские сани, нагруженные узлами, мешками, всяким иным скарбом, выглядели среди немецких машин жалкими. На санях ехали и женщины и дети, а к некоторым саням были привязаны коровы. Коровы не попевали, потому что возницы то и дело подхлестывали лошадей, коровы, натягивая веревку,

запрокидывая голову, бежали за санями неумелой, жалкой рысью.

В полицейских эти дни он не стрелял. Он не стрелял в них не потому, что щадил, а только оттого, что считал разумней стрелять в немцев. Они породили полицейских, они породили зло, творимое полицейскими, и за это все в первую очередь должны были расплачиваться они.

Между последними отходившими немцами - батальоном тяжелых танков, «Фердинандов», бронетранспортеров, набитых пехотой, - и нашими разрыв был с километр, а по времени - полчаса, не больше. Через эти полчаса, когда тыльный «тигр», держа пушку повернутой назад, прогрохотал, пролязгал на запад, с востока показались сначала тоже танки - шесть КВ и тридцатьчетверки, между которыми шли еще две тяжелые самоходки. Это был, наверное, тот авангард, который должен был не давать немцам на этом участке оторваться от боевого соприкосновения.

Люки у тридцатьчетверок были закрыты, не высывались из-за броневых бортов, как это всегда бывает на маршах, и самоходчики; но Андрей с заколотившимся сердцем помчался к дороге.

Горло у него пересохло, он несколько раз сглотнул, потому что сначала не мог и кричать, а потом, швырнув лыжные палки вверх, как бы салютуя, заорал, махая на запад:

- Давай! Ребята, давай! Спасибо! Спасибо, что пришли!

Некто из башен или из-за бортов не высунулся, из-за грохота моторов и лязга гусениц его, видимо, даже и не слышали, но он об этом не думал. Даже когда авангард прошел, он все еще, через какие-то паузы, шептал, провожая взглядом последнюю самоходку:

- Давай, ребята... Давай!..

Потом, за авангардом, прокатилась мотопехота, пушки, все остальное, готовое в любую минуту, если немцы останутся, если сядут в оборону, принять боевое развертывание.

Он стоял, не в силах стронуться с места, как бы боясь, что все свои исчезнут, и он опять останется в одиночестве.

Как отступали немцы южнее и севернее этого места, как преследовали их наши, он не знал, там могло быть и по-другому - через заснеженные еще поля, с боем за каждый километр, но здесь немцы поспешно отходили, видимо, к какому-то новому рубежу обороны.

Когда стемнело, он, то и дело оглядываясь на дорогу, прислушиваясь ко всем звукам, которые долетали до него, радуясь от каждого звука оттуда, вошел в лес, разжег, не таясь, костер, наварил еды, выпил весь спирт, наелся вволю, вволю же напился чаю и завалился спать. В первый раз после того сарая, где ротный разбудил его словами: «Вставай! Подъем, Новгородцев! Так можно проспять всю войну!» - в первый раз после той ночи он заснул спокойно. Ему, правда, пришла в голову мысль, что нельзя отказываться от осторожности, что в лесу могут шататься отставшие фрицы, но он от этой мысли отмахнулся. Все, что он сделал, это только затоптал угасавший костер, чтобы огонь не привлек ничье внимание. Он спал до света, просыпаясь с радостной мыслью, что он среди своих, что все, все, все кончилось! Сонно улыбаясь, шалея от этой мысли, он переворачивался на другой бок и засыпал снова.

- Ну что ж... Ну что ж... Сейчас выходим! - сказал он вслух, поворачивая к дороге, наблюдая, как навстречу войскам движется санитарная машина, как, пропуская ее, встречный поток отжимался вправо. В кузове, упершись одной рукой в кабину, отмахивая другой, стояла не то сестра, не то врач. Она то грозила кулаком шоферам, то показывала рукой: «Правей! Правей!» Андрей даже услышал, как она кричала:

- Сворачивай! Сворачивай! У меня тяжелые!

И ее жестам, и ее крику шоферы, водители танков, самоходок, видимо, не могли не подчиниться, брали правей, думая, наверно, что хорошо, что эта медичка такая решительная, что если ты сам будешь тяжело ранен, а около тебя будет такая же, как она, то с ней не пропадешь.

Он закурил, успел сделать только несколько затяжек, когда слева от него, в какой-то неполной сотне метров одновременно ударило несколько винтовочных выстрелов, резанула длинная автоматная очередь и коротко - видимо, наводчик был опытный - он то и дело поправлялся в прицеливании - затарахтел ручной пулемет.

Вздвогнув от неожиданности - ночью он не слышал выстрелов из стрелкового оружия, а в этот день и взрывы бомб и снарядов едва доносились, так далеко ушел фронт, - вздрогнув, он выплюнул папиросу, ударил по предохранителю «шмайссера» и выхватил из снега палки. От первых же выстрелов на дороге все смешалось, потому что «виллис» с аккуратной самодельной кабиной из фанеры, покрашенной в белый цвет, потому что этот «виллис», в котором явно ехало какое-то начальство, вдрут взял поперек дороги и ударился об грузовик, из «виллиса» выскочило несколько человек и резкими, длинными очередями из ППШ стали бить в ответ, ударил туда же, по лесу, и бронетранспортер, который шел за «виллисом», и вообще из разных машин тоже открыли огонь, а пехотинцы, упав на обочину, тоже палили по лесу, хотя, наверно, и не видели куда стрелять.

«Гады!» - мелькнуло у него в голове, когда он прыжком развернулся и помчался в лес. С дороги его заметили и ударили по нему - пули свистели над ним или взбивали по сторонам снег, но он, сумасшедше отталкиваясь палками и делая громадные шаги, наклонив низко голову, влетел в лес до того еще, как по нему хорошенько пристрелялись.

- Гады, - повторил он, летя по дуге в тыл стреляющим. - Я сейчас вам!..

Все было точно - под вечер, чтобы впереди была ночь на отход, у дороги, подходившей близко к



лесу, кто-то, какая-то группа сделала засаду, и - вот тебе на! - дала несколько точных очередей по командирской, а может, и генеральской машине. И вот тебе на!

Он вышел в тыл стрелявшим еще до того, как замолк пулемет, он перехватил их как раз тогда, когда они отходили, они - их было четверо - тяжело бежали, проваливаясь в снег. Трое из них бежали не кучкой, но близко друг к другу, а четвертый левей, в стороне. Он срезал сначала пулеметчика, потом того, у которого был автомат, но тут слева по нему выстрелил тот, кто бежал в одиночку, и его словно кто-то со страшной силой ударил по руке - чуть ниже локтя. Рука упала, его «шмайссер» качнулся, он промазал по третьему, третий побежал от него в сторону, и тогда он, стиснув зубы, все-таки схватил «шмайссер» снизу за магазин и, целясь в мелькавшую за деревьями фигуру, догоняя ее, всадил очередь ей в спину.

Так как он шел без палок, палки он бросил, он не мог теперь особенно быстро двигаться. Толку от палок было бы чуть - левый рукав у него намок от крови, рука лежала бессильно за бортом шинели. Другой рукой он сжимал ее выше раны, стараясь, чтобы крови вытекло поменьше, и все говорил себе:

- Чем ты докажешь, что ты не стрелял по машине? Что ты не был с ними? Тем, что убил троих?

Он бежал, чувствуя, как горячо его раненой руке, понимая, что горячо от текущей из нее крови, но так как надо было отбежать подальше, и лишь потом можно было перевязаться, он бормотал те слова, которые говорила бабушка в детстве, когда он приходил к ней с разбитым коленом или какой-то иной кровоточащей ссадиной:

- На море, на океане... На острове на Буяне... Стоит светлица, во светлице три девицы... Первая иглу держит, вторая нитку продевает... А третья девица кровавую рану зашивает... Ты конь рыж, а ты, кровь, не брызжь!.. Ты, конь, карь, а ты, кровь, не капь!..

Он перевязался, лишь отбежав несколько километров, лишь проскочив поле за лесом, лишь войдя глубоко в другой лес, а когда вышли первые звезды, он, сориентировавшись, взял строго на восток и шел почти до утра. Под утро он лишь вскипятил себе чаю, есть ему теперь не хотелось, его, как всякого раненого, мучила жажда, и он выпил два котелка, заваривая чай покрепче. Он пил его, перекуривая, раздумывая, что же делать дальше.

При костре он сменил повязку и осмотрел рану. Рана была плохой, хотя пуля вышла навывлет. Обе дырочки от нее - входная и выходная - болели не так сильно, как болело внутри руки. И он мог в пальцах держать лишь что-то невесомое - папироску, палочку, но тяжесть финки, например, уже вызывала боль, а котелок вообще был неподъемным. Это означало, что кость, или обе кости или пробиты, или задеты.

- Неважно твое дело, Андрей. Неважно! - бормотал, он себе. - Видишь, как вышло. Под самый занавес... И еще хорошо, что так, а ведь мог валяться там сейчас вместе с той парочкой. Возьми та сволоочь чуть точней, и...

Но так как кровь текла спокойно, ее не выбивало из обеих дырочек толчками, это означало, что крупная вена или артерия не задеты, так что тут ему повезло. На всякий случай, чтобы помочь крови хорошенько свернуться, он перетянул руку выше сгиба локтя куском стропы, как жгутом.

Он выпил чай, подремал, но недолго, потому что, хотя руку и терпимо, но все-таки ломило, и еще потому, что он нашел, как ему казалось, правильное решение. И знал, как это решение выполнить.

- Разоружаться! - бормотал он, шагая все еще на лыжах и волоча все на себе. - До первой хорошей дороги!..

Переезжая широкую просеку, которая служила, видимо, и лесной дорогой, он свернул по ней, прошел немного и догнал странный обоз.

Мальчик лет пятнадцати и девушка лет шестнадцати, а может, и семнадцати, двигаясь в затылок друг другу, тащили сани. Первым шел мальчонка. Широкая ляжка, сшитая из мешковины, надетая на грудь наподобие бурлацкой, была связана с санями скрученной в жгут бельевой веревкой. На необычно больших, самодельных, склепанных из углового железа санях лежала целая гора груза, увязанного в виде тюков и узлов в рогожи и ту же мешковину. Судя по контурам, главным грузом на санях были книги.

Санки девушки были поменьше - обычные детские парные санки. Спереди на них, как защита от ветра, тоже был привязан груз из каких-то мягких узлов, а за узлами на толстом слое тряпья, сидела укутанная, повязанная до глаз стареньким байковым одеялом, девочка лет пяти.

И мальчик, и девушка были одеты в обтрепанные пальтишки, из которых они выросли, - пальтишки были короткие, руки из их рукавов торчали.

Когда он поравнялся с ними и стал, загородив дорогу, они испуганно остановились.

- Привал? Привал? Оля, привал? - прошептала девочка на санках из-под одеяла.

- Да. Привал, - наверное, чтобы успокоить ее, ответила сестра. - Сейчас поедем. Не слезай.

Но девочка, подвигав под одеялом плечиками, немного освободилась от него, обернулась и посмотрела на Андрея с любопытством и доверчивостью. Глаза у девочки были совсем голубые - как василечки. Повозившись, девочка высвободила руку, оттянула одеяло, высунула над его краем нос, рот, сложенный от любопытства в букву «о», и подбородок. Удерживая подбородком край одеяла, она мигнула несколько раз и прошептала ему:

- Здравствуйте.

- Здравствуйте, - ответил он и улыбнулся ей.

- Здравствуйте! - сказал он всем. - И далеко вы? Или это военная тайна?  
- Здравствуйте, - ответил настороженно мальчик.  
- Здравствуйте, - тихо ответила Оля, переглянувшись с братом. Что вся эта троица была родней, увидел бы каждый - у всех васильковые глаза, один овал лица, один у всех тонкий, с крошечной горбинкой нос.

- Так все-таки куда, ребята? - Ему было по пути, и он здоровой рукой тоже взялся за веревку от саней мальчика.

- В Пятихатку, - ответил мальчик. - Не беспокойтесь, мне не тяжело. Я втянулся. Вы ранены?

- Конец привала! - скомандовала девочка на санях, когда они тронулись.

Солнце еще не обогрело, снег не подтаял, и по смерзшейся за ночь корочке сани скользили и правда легко, но Андрей все-таки не отпуская веревку. Эта троица была первыми советскими людьми, с которыми он встретился за эти месяцы, и он был рад им, и он не хотел с ними расставаться.

- И откуда?

- Из Харькова.

- Из Харькова? - переспросил он. - Из Харькова... Я лежал там в госпитале. И я опять буду там лежать. - Это было то решение, которое он принял. Он должен был найти роту и ротного, но они теперь для него стали лишь промежуточной, хотя и обязательной, точкой. Конечной точкой был госпиталь 3792 на Белгородском шоссе в двенадцати километрах от Харькова. - Как тебя зовут? Вы там жили, в Харькове? Все время?

316

- Женя, - ответил мальчик. - Да, все время.

- А зачем в Пятихатку?

Женя, навалившись грудью на ляжку, дернув веревку, немного опередил сестру, чтобы, наверное, не слышала девочка.

- Там у нас тетя. Мы ведь одни.

- Вот как! - Он помолчал, и Женя сказал:

- Год мы были с мамой, - он прикусил губу, посопел, но продолжал с большей, чтобы подбадривать себя, твердостью. - Мама умерла. Год мы были сами.

- Вот как! Вы молодцы, что продержались.

- Мы меняли вещи и катали пары.

- Что это значит?

- Мы катали пары колес. На станции. Их много на станциях, и когда-то надо их перекачивать с одного места на другое, или с одного пути через стрелку на другой путь, или в депо, или туда, где ремонтируют вагоны. Надо наклониться, опереться руками в ось, и сначала тяжело будет, а потом, когда раскатятся, тогда легче. Нам за это платили.

- Когда будем кушать? Я хочу кушать! - звонко и требовательно прошептала девочка.

Женя сердито обернулся.

- Еще рано! Мы мало прошли. Попозже. Через час! Ох уж эта Зойка! - все также сердито сказал он ему. - Из-за нее мы и идем. Тетя прислала записку, чтобы мы отвезли Зойку к ней. Мы, наверное, там останемся.

- А я хочу! - крикнула Зойка. - Я хочу сейчас!

Андрей обернулся. Оля, чуть наклонившись, легко шла в потертых, проеденных молью фетровых ботинках на каблучке. Видимо, эти материнские ботинки валялись где-то в кладовке как уже негодные, но война заставила их разыскать и обуть. На ее худом сейчас лице чуть розовел румянец, рот, чтобы легче было дышать, приоткрылся, она с каким-то мечтательным выражением смотрела не под ноги, а куда-то вперед, вверх, забыв про ляжку.

- Почему у вас столько оружия? И все - немецкое? - спросил, взглянув на него сбоку, Женя.

- Так сложились обстоятельства.

- Вы - партизан?

- Пожалуй, не совсем... В определенной степени, так сказать, приближенно.

- Вы были на каком-то задании?

- Считаю, так... Не это сейчас важно...

- А что важно?

Он не ответил, он спросил сам:

- Что с отцом?

Женя наклонил голову пониже, вздохнул, помедлил, снова посмотрел на него сбоку.

- Он ушел в сорок первом. Осенью. Мы получили всего одну открытку. С дороги. Он ушел в ополчение. Он не был военным.

- Понимаю.

- Он был археолог. Он был ученый. Он ходил в экспедиции. Он был настоящий человек. Так говорила о нем мама...

Они прошли еще немного.

- Что в Пятихатке? Вы продержитесь там?

- Продержимся, - Женя решительно тряхнул головой. - Главное - Зойку отдадим. И будем работать. Мы работы не боимся.

«Да, после того как вы катали пары, теперь вы ее не испугаетесь», - подумал он.

- У тети домик. На окраине. В Харькове как мы вдвоем могли работать? Опасно же бросать Зойку. А один троих не прокормит.

- Сколько вы уже идете?

- Третью неделю. Точнее - семнадцатый день.

«Нда, - подумал он. - От деревни к деревне. Вечером просят переночевать. В уголочке, на полу, стараясь пристроить Зойку поближе к печке, чтоб не простыла. И так им еще дней десять? А что там, у тети? В домике на окраине Пятихатки? Что-то их ждет там?»

- Привал! - крикнул он, подражая Зойке. - Привал вправо! На час!

- Ура! - крикнула Зойка! - Обед! Оля, обед! Будем варить кукурузу!

Под книгами у Жени нашелся топор, и он показал Жене, как надо разводить хороший костер - жаркий, но горящий спокойно и долго: срубить деревце побольше, перерубить его пополам, положить бревнышки так, чтобы между ними и жечь костер, а потом, по мере того, как бревнышки будут стогать, подвигать их, толкая в торцы.

Они вырубали и рогульки, Оля по его команде наломала в кастрюлю сосулек, он достал остатки свинины, муку, соль, сахар, чай, обломок сухаря. В мешке у него оставались банка консервов, несколько пачек концентрата, баночка сгущенки. Он подумал: «Это для Зойки будет хорошо!», полплиточки шоколада, о нем он тоже подумал: «Это тоже будет отлично!» Но в целом на четверых еды все-таки оказалось мало. «Ага! Вот именно!» - нашел он решение.

Сначала Женя было гордо возразил ему:

- Спасибо. У нас есть продукты.

Продукты у них состояли из мешочка кукурузных зерен и небольшого ломтя сала. Конечно, когда они ночевали в деревнях, крестьянки подкармливали их, давали им, наверное, картошку, простоквашу-варенец, иногда и хлеба, но он хотел, чтобы эта публика конец пути чувствовала себя уверенней. И чтобы там, в заветной для них Пятихатке, у них, пока они пристроятся куда-то работать, что-то было продать или сменить.

- Слушайся старших! - приказал он.

Они поели того мучного супа - затирухи со свиной, который Оля варила под его руководством. Так как Зойка, осоловев от еды, клевала носом и всю зевала, ей на больших санках было сооружено нечто наподобие постели. Когда она уснула, он осторожно накрыл ее полшубком.

Он почти не ел, так, делая вид, что ест, чтобы не стеснять их всех. Ему теперь было не до еды - руку дергало, в руке, где-то в глубине раны, что-то нарывало, и пульс отдавался там каждым ударом. С рукой было скверно, худо получалось с рукой - она отекала, мерзла, потемнела. Он должен был торопиться, он должен был торопиться.

- Вот что, ребята, - сказал он им тихо, чтобы не будить Зойку. - Слушать и не перебивать.

Он встал и они тоже встали.

- Первое. Зойку довести в целости и сохранности. Второе. Все, что я вам оставлю, - для нее. Используйте, исходя из обстановки. Можете продать, но чтобы она не была голодной. Ясно?

Оля смотрела на него непонимающе, а у Жени было начали сходиться к переносице брови, но он не дал ему ничего возразить.

- Я иду в госпиталь. Мне там все будут давать. Мне поэтому ничего не нужно. Ясно?

Прямо на снег он вытряхнул из мешка все свое хозяйство - валенки, сменное обмундирование, запасные носки, портянки, куски парашюта, подшлемник, сапоги. Присев на маленькие саночки, он сбросил пьексы, чтобы обуть сапоги. Одной рукой держать разворачивающуюся портянку и натягивать сапог было невозможно, он попробовал удержать портянку раненой рукой и сразу же поморщился - в руке сильно дернуло.

- Вот видите, - улыбнулся он им. - Я почти не боеспособен. Так человек и выходит из строя. Осталось - только в госпиталь.

Оля и Женя переглянулись, и Оля тотчас же перебежала к нему и, став на колени, сказав: «Мы вам поможем! Как же не помочь? Хорошо? Вы не стесняйтесь», - осторожно нагнула ему портянку, а Женя уцепился за голенище.

- Берите за ту сторону. Раз-два! - командовал Женя, и они натянули сапог.

- Второй! - потребовала Оля, и они втроем справились и с этим сапогом.

Что же, у этой публики, как называл он про себя эту детвору, была закалка на человечность: два года оккупации, тяжеленные пары колес, которые надо катать и в холод, и в жару.

- Спасибо, ребята.

Он потопал сапогами. После мягких пьекс и валенок ноги в сапогах чувствовали себя твердо, каблочки врезались в снег, сапоги не скользили, и в них можно было идти и идти, и по морозцу, и по лужицам, когда днем пригревало солнце, растопляя хрустящие сине-белые льдинки на них.

А он и должен был так идти.

Перетряхнув свое хозяйство, Андрей выбрал все патроны и запалы.

Потом он обшарил карманы и оставил лишь кисет Зины, зажигалку и клочок газеты на завертки.

Подумав, взяв из кучки оружия бинокль, сняв с руки компас, он отдал их Жене.

- Будешь археологом, пригодится. Бери, бери. Слушаться старших!

Тут Зойка проснулась, села, откинула с себя полшубок и, глядя его мех, как глядят какого-нибудь зверька спросила:

- Привал продолжается?

Он погладил ее по щеке, стараясь не поцарапать огрубевшими от морозов и костров пальцами.  
- Вот и это. На всякий случай! - он протянул Жене Тишины часы. - В случае, если не будет продуктов, можете продать. Или обменять на них. Лучше, если это сделает ваша тетя.

Женя отступил, качая головой.

- Нет. Нет. Пожалуйста, нет. Мы не можем принять такого подарка, - он опять переглянулся с Олей.  
- Это несправедливо.

Оля, конечно, сразу же поддержала:

- Вы и так все отдали нам! Это несправедливо.

- Каждое утро мне будут приносить рисовую кашу, хлеб с маслом, сладкий чай. Раненому положен такой паек. Каждый обед - из трех блюд. С мясом. Каждый ужин - опять каша, какая-нибудь гречневая, манная, овсяная, может, картошка, хлеб, чай. И так - пока не выздоровлю. Буду все это есть, поглядывать на часы, а в это время Зойка, может, будет голодать. Это справедливо?

Женя наконец протянул руку.

- Хорошо. Мы примем этот подарок. Спасибо. Кто вы? Как вас найти после войны?

- Это неважно, - ответил он. - Просто человек. Сержант Советской Армии.

Потихоньку шлепая на лыжах, он проводил детвору до опушки, постоял, посмотрел, как их саночки покатались по дороге, помахал в ответ, когда они, оборачиваясь, махали ему. Потом саночки и детвора, все уменьшаясь, поднимались к вершине длинной и пологой высоты и, скатившись за вершину, скрылись.

Андрей дождался, когда покажутся вдалеке машины, скользнул к дороге и на обочине сложил в кучу «шмайссер», магазины и обе оставшиеся гранаты. Не заметить это оружие из кабины было невозможно, и он, довольно ухмыльнувшись, вернулся в лес и даже не стал смотреть, как подберут сейчас ненужный ему его арсенал.

Без мешка, лишь с винтовкой, ему было легко, но и непривычно, и он, шагая, все поводил плечами и спиной, которые ощущались как-то странно, как будто они были голые, хотя и не мерзли.

Лыжи он подвесил на сучок, когда из леса показалась деревенька. Лыжи он повесил так, чтобы они не очень бросались в глаза. Он рассчитывал, что они могут достаться какому-нибудь пареньку из деревни, полагая, что из деревни люди ходят в этот лес, и рано или поздно кто-то наткнется на лыжи, но кататься на них будут все-таки мальчишки.

День выдался солнечный, чистый и с морозцем, его сочило бледно-синее небо без единого облачка. Оно уже начало густеть перед сумерками, все сильнее скрипел снег под ногами.

- Так! - сказал он себе, - так! - вглядываясь в подхотившую небольшую колонну, в которой не чувствовалось особого порядка. - Что ж, Андрей, выходим?

Колонна была какая-то разномастная - во главе ее катил «виллис», обитый фанерой под будочку. Ясно, что в нем ехало какое-то начальство. Но левого заднего куса будочки не было, и из дыры, свешиваясь над колесом, торчали две пары ног в валенках. Не хватало у «виллиса» левого крыла и части облицовки с этой стороны, отчего мотор был как бы снаружи. Зато на крыше лежал громадный брезентовый тюк, к которому сзади были привязаны поставленные на дно вплотную друг к другу канистры.

К «виллису» на крюке была прицеплена семидесятишестимиллиметровая пушка. На станинах пушки сидели, сколько могло уместиться, солдаты, а пушка была обвешана вещмешками, карабинами и автоматами. Вещмешки висели и на стволе и болтались на нем оттого, что пушка на выбоинах и буграх подскакивала.

«Виллис» парил радиатором и катился потихоньку, так, чтобы за ним все в колонне поспевало.

За этим расхристанным «виллисом» довольно бодро урчала полуторка, везшая в кузове разбитую сорокапятку и на буксире, жестко сцепленные - ствол к станине, - друг за другом еще три сорокапятки. Было видно, что этим пушкам тоже досталось - щиты у всех трех были пробиты в разных местах, у средней в сцепке пушки кусок одной шины был отстрелен, и она двигалась кособоко, как хромя утка.

Конечно, и на полуторке, даже на ее подножках, и на станинах пушек ехали солдаты, а их вещмешки и оружие тоже были нацеплены где возможно.

За полуторкой ехали еще пушки, но их везли лошади, причем не было ни одной упряжки, в которой бы лошади оказались одной масти, на стволах у всех пушек краска совершенно обгорела, а на казенниках облупилась, отчего пушки имели очень неряшливый вид и казались усталыми.

После пушек, держа большие дистанции, ехали армейские повозки и деревенские сани, в них тоже были впряжены разномастные лошади. На повозках лежало много всякого имущества и сидели битком солдаты, причем некоторые из них с повязками на головах или с перевязанными руками.

Предпоследней в колонне двигалась однооконная кухня, из ее трубы тянулся дымок, показывая, что повар начал готовить ужин, - он подбрасывал на ходу в топку заготовленные дровишки. Замыкала колонну деревенская огромная арба, ее волокла пара верблюдов. Арба тоже была набита всяким армейским добром и солдатами, как и розвальни, подвязанные к арбе тракторной цепью.

Между машинами, повозками, санями топали те, кому или не досталось в них места, или кто замерз и шагал чтобы разогреться. И так хотелось быть среди них, так хотелось лежать или сидеть в повозке или машине, или идти рядом, останавливаясь для закурки или чтобы перемотать сбившуюся портянку, или подтянуть обмотку, идти с ними и разговаривать о чем-то, подпевать, когда кто-то запоет, чтобы

было веселей, в общем, быть с ними, с этими счастливыми - остатками какого-то артполка, ухившимися на переформировку, увозившими то, что осталось от пушек, лошадей, машин, знающими, что всех их ждет какое-то пристанище на месяц, полтора, два: землянки ли, бараки ли, сараи ли, крестьянские домишки ли, в которых они будут жить, не опасаясь арминобстрелов, бомбежек, жить, отмывшись, получив чистое белье, спать вдосталь в тепле, жить и опоминаться от того, через что каждый из них и весь этот артполк прошел.

Начало колонны уже минуло его, уже пахло к нему от кухни дымком, перловкой с мясом, и он, скомандовав себе: «Вперед!», дернув брючный ремень, так и вышел, делая вид, что застегивает брюки, что был за елкой по большой нужде.

Никто на него не обратил особого внимания, его одежда, Тишины погоны и звездочка на шапке, подвешенная в ляжке ремня раненая рука, конечно же, не вызвали никаких подозрений у обычных солдат, сержантов и офицеров – ну, вышел раненый из-за елок, ну и вышел, что тут такого!

К тому же, как он сразу же определил, многие из этих, отходивших на формировку, были навеселе.

Что ж, никто бы их и не осудил за такое: свое они сделали, им посчастливилось остаться живыми (до следующего круга), почти у всех у них были новенькие ордена и медали, фронтовая водка им еще полагалась, продукты имелись - чего же им было не выпить, с утра до утра находясь на морозе, да еще после такого ада, из которого они выскочили?

Он пошел по дороге, держась так, чтобы быть чуть сзади одной повозки, но впереди другой.

С этими остатками отходящего артполка, конечно же, шли и прибившиеся к нему чужие раненые - во-первых, им время от времени давали подъехать - а это тоже что-то значило, во-вторых, им перепадало и около кухни - во всяком случае, чаем или хотя бы кипятком они могли разжиться, это тоже что-то прибавляло к их сухому пайку, в-третьих, с полком идти было и безопасней, и веселей. Поэтому сразу на него и не обратили внимания. Но когда полк остановился, то есть когда командирский «виллис» стал, так как шоферу надо было долить воды в радиатор и покопаться в моторе, и полк, подтягиваясь, уплотнял дистанцию между повозками и машинами, когда его обогнало несколько повозок и несколько пушек, его окликнули:

- Эй, солдат! Эй, борода!

Он хотел сделать вид, что окрик относится не к нему, прибавил шагу, но тот, кто кричал ему, предложил:

- Садись. Чай, ноги гудят?

- Спасибо, - он полез на передок. - Еще не гудят, но передохнуть надо.

Ездовой дернул вожжами, потому что колонна тронулась. - Как звать-величать тебя? - Андрей назвал. - А меня Степан Ерофеич. А вообще - Ерофеич. И куда ты? До дому далеко? Далеко! - согласился Ерофеич, когда Андрей сказал про Москву. - Не дойдешь. Перехватят и - в госпиталь. В первый ближний же. Документы заберут, сапоги, штаны снимут, куда тогда пойдешь? До сортира и обратно. - Ерофеич засмеялся и локтем ткнул Андрея в бок. Ерофеич, кажется, всему радовался, а кто не радовался, возвращаясь из боев на формировку.

- Ну-кась, привстать! - приказал Ерофеич и, когда они оба привстали, Ерофеич, не бросая вожжей, добыл из передка немецкую флягу в суконном чехле. Передок, заметил Андрей, был набит консервами, замерзшими буханками хлеба, пачками концентрата, в нем лежало и несколько таких фляжек, а снарядов было только два.

Ерофеич изрядно хлебнул и передал ему фляжку.

- Ты особо не горюй. Добраться бы до дому да в этой, в твоей Москве завалиться в госпиталь было бы оно, конечно, славно, но коль нельзя - чего уж тут! Чего уж тут печалиться? Заваливайся в первый попавшийся госпиталь, что получше, и полеживай себе!

Хлебнув, Ерофеич еще больше покраснел, а его светло-серые небольшие глазки под кустистыми соломенными бровями так и засияли, отчего обветренные, кирпичные лоб, щеки и подбородок под рыжей щетиной как бы даже посветлели.

Андрей тоже изрядно хлебнул.

- Мне не надо в госпиталь, - и так как Ерофеич, удивленно вздернув брови, замигал, он пояснил: - Не надо в госпиталь сейчас. Сейчас мне надо найти бригаду. - Он провел ладонью по горлу: - Вот так надо! Бригаду, в которой я раньше воевал. А в госпиталь потом...

Ерофеич, пошарив в кармане, достал сухарь, стукнул его об колено, сухарь переломился, и сунул кусок Андрею:

- Зажуй. У тебя там что, родич?

- Да нет... - Он жевал сухарь - сухарь пах вкусно!

- Значит, девах! - решил Ерофеич. - Ну, смотри! А найти - найдем. Будем ехать да спрашивать, ехать да спрашивать. Чего нам - язык не оторвут!

Его устраивал, его как нельзя лучше устраивал этот вариант - ехать с артполком да спрашивать: так можно было узнать, что надо.

Ерофеич поболтал полупустой фляжкой и предложил:

- Добьем-ка?

Шумно сморкаясь набок с передка, вскидывая в патетических местах своего рассказа то одну руку, то сразу обе с вожжами, отчего лошадь косилась и делала вид, что переходит на рысь, оборачиваясь к Андрею и приближая свое обветренное, пьяненькое сейчас лицо к его лицу, Ерофеич поведывал:

- Мы в прорыв шли! А ты знаешь, что такое итить в прорыв? Знаешь? Спереди, правда, наши -

долбят фрица, клюют, гонют, а он сбоку, значит, как бы под дых норовит, да как вдарит, да как вдарит! «Тигры» эти всякие, мать их так... «Фердинанды!» И каждая такая «тигра» - как дом! Да еще не у всех в деревнях такие дома. Особенно, где с лесом плохо. Значит, как вдарит, так, куда угодит, - там щеп! Щеп! и щеп тебе! Вот и удержи его!

- Я понимаю, - соглашался Андрей. Да и как тут было не соглашаться - пушка у «тигра» была 88 миллиметров в диаметре, да длиной шесть метров, а у «Фердинанда» еще мощнее. Конечно, когда снаряд из таких пушек куда-то попадал - в деревенский дом, в грузовик, в противотанковую пушку - он все крушил.

- То-то! - смягчался Ерофеич. - Но ничего, держали, да еще как держали. Выйдут, значит, эти «тигры»-«фердинанды», мы их подпустим, да потом как вдарим, как вдарим, да по боку, да по гусеницам, да еще куда, где помягче! Глядишь, и задымили, закоптили гады!

Ерофеич засопел, вновь высморкался набок, побряхтел, вспоминая и наново переживая бои, и, в который раз привстав, оглядел остатки полка.

- Ниче! Были б кости, а мясо нарстет. А кости вот они, - Ерофеич показал на командирскую машину, где ехали усталые, сорвавшие голоса офицеры, с провалившимися глазами и запекшимися, черными ртами. - И тебе знамя, и тебе денежный ящик. Все цело! Как у людей. Сам видел, сам в карауле был: глаз - не дреми! Да-аа-а! - протянул он. - Знамя это ведь что? Это сердце. Ниче, оклемаемся!

Убегали за спину метры, под эти вот рассуждения Ерофеича, отходили назад телеграфные столбы, на которых сидели, надувшись, жирные, важные вороны, через двадцать таких столбов появлялся верстовой столбик, означавший для Андрея, что он еще на целый километр приблизился к той цели, к которой шел.

- Вот бы на побывочку еще пустили, - после паузы помечтал Ерофеич, закрыв свои маленькие глазки, от восторга даже качаясь на передке. - Хуч на недельку, хуч на пяток ден!

- А далеко? - Андрей должен был хоть как-то поддержать этот совершенно нереальный разговор. - Если бы было где-то близко...

Ерофеич заерзал, засуетился - расстояние до его дому было самым уязвимым местом. Но он не раз уж обдумывал предполагаемый разговор с каким-то очень высоким начальством, которое только и имело право давать отпуска.

- И вроде бы далеко, а по сути нет! - заявил он. - Ведь поездом же! Для поезда что лишняя сотня верст? Ничто...

- А все-таки, куда?

- Да... Арзамас город, значит. Это, значит, по железке и тридцать верст до деревни на попутных. А я бы что... Я б за неделю управился - и посмотрел всех, и себя показал, и по хозяйству. Эхма... - Ерофеич постучал себе пальцем в левую грудь. - Шило у меня тут, шило и шило - колет все время по детям.

- Попробуй все-таки. Попытка не пытка. Важно у кого проситься будешь, вот что важно. Но не меньше, чем в командиру корпуса, - предложил Андрей. Он подумал. - И заслуги тут, брат, тоже играют роль.

Ерофеич бросил вожжи между колея и распахнул руки, как бы распахивая и всю грудь, до самого сердца. - Какие уж у меня тут заслуги. Ну какие? Ну что я? Кто? Так, ездовой. Он же в бою подносчик снарядов. То есть тут же, со всеми, за пушкой. За щитом, за ейным. Как все, значит, жмешься за него. Я не наводчик. Наводчики, конечно, они все заслуженные. Мимо бьет, мимо по той же самой по «Фердинанде», значит, она в тебя, значит, во всех, кто за щитом, влупит. Только щепки, а от людей - ошметки. А попал в нее подкалиберным - «Фердинанда» встала, и люди, значит, расчеты целы, и пехота на месте, не давит фриц ее, не гонит - вот что значит наводчик. У нас герой есть наводчик. По фамилии Сапырин. Калистрат Сапырин. Про него и в газете писали. Тот их бьет, колотит! Глаз у него что ватерпас: ему только чтоб снаряды были. Такому, конечно, и побывку дадут. А я - ездовой. Какие мои заслуги? - Он пожал плечами, надул губы, оттер капли с носа, перебирая свои невеликие заслуги. - Всего по два: два года воюю, два ранения, два ордена да две медальки... Пойди с такими заслугами к генералу, он тебе, знаешь, такой поворот от ворот сделает, что небо с овчинку глянется.

Ерофеич встал, скомандовал:

- Ну-ка, и ты вставай! - открыл крышку передка, нашарил там еще флягу. Он опять постучал себя в грудь. - Кабы не шило тут по детям, да разве я пошел бы кланяться?

- У кого этого шила нет? У каждого. Свое, но у каждого, - обронил Андрей.

- Это ты верно, верно, друг, сказал, - Ерофеич протянул фляжку ему. - Верно, - он помигал, покивал головой. - Верней и не скажешь: свое, но у каждого. Эхма!.. Ну-ка почни ее! - это относилось к фляге, и Андрей почал.

Ночевали остатки этого полка в большом сарае, к которому пришлось съехать с дороги: сарай стоял в полукилометре от нее.

Поставив машины, сани, телеги под стены, выпрягнув лошадей, задав им овса в подвешенных под головами торбах, артиллеристы вваливались в сарай, разводили в нем небольшие костерки и располагались вокруг них, довольно отогревая задубевшие лица и руки.

- Его надо прооперировать! И - немедленно. Сейчас я созвонюсь и... Сегодня что, вторник? Очень хорошо. По вторникам дежурит Милочка. Осминог Милочка.

- Но... - попытался возразить Андрей, считая, что никакая Милочка, тем более Осьминог, ему сейчас совершенно не нужна. Все, что ему требовалось, это шагать, шагать, шагать дальше, держа азимут на Харьков.

Но фельдшер, та же самая женщина-лейтенант, от которой они со Стасом ушли в тот злосчастный вечер, больше и рта не дала ему раскрыть.

- Никаких «но»! Тебя не спрашивают. Тебя могут спросить только одно: где ты шатался, что довел руку до гангрены:

Она держала его за эту - гангреновую теперь - руку. Рука лежала на столе, на марлевой салфетке, фельдшер то гладила ему пальцы, то, макая пинцетом тампон в перекись водорода, смывала с руки корки крови и гноя, которые были вокруг обеих дырок от нули.

- Вот запишу тебе преднамеренное членовредительство, и после госпиталя загремишь под трибунал, в штрафную. Это ты знаешь?

Это он знал: уклонение от медицинской помощи, иные действия, препятствующие заживлению ран, как-то: растравление их чем-либо, могли быть квалифицированы как членовредительство с целью уклонения от отправки на фронт, попадали под какую-то статью законов военного времени, влекли за собой судебное разбирательство, и такого рода симуляция могла караться приговором.

Возмущенная и взволнованная фельдшерница не давала им сказать ни слова, но все-таки ротный вставил:

- Он не такой... Он... Он, Верочка...

- Не такой, не такой! - передразнила она, все макая тампоны, обтирая руку, осторожно прижимая тампоны возле раны. Из раны уже начала сочиться черная, вонючая кровь. - Вот он какой. - Она ткнула посильней в руку над кистью и повыше раны, у локтя. - Синий уже! Велик, действительно, пень, да дурень. А если отхватим? Вот здесь. - Она показала, где «здесь», проведя черту под бицепсом. - Бороду отстрил, а ума не нашлось?

- Он был в такой обстановке... - начал ротный, но она снова перебила его:

- Он был! В обстановке! Мне нет дела ни до «был», ни до «обстановки». Я вижу, с чем он пришел! Ты тут не адвокатствуй. Живо машину! Не идти же ему эти восемь километров до ППП! Хотя я бы, будь моя воля, кнутом бы гнала его. Ну, чего стоишь? Сказано - машину. Пулей! Пулей! - прикрикнула она на ротного, и ротный выскочил на улицу.

Дверь, хлопнув, втокнула в комнату холодный воздух, Андрей вдохнул его и сдержался, чтобы не застонать - фельдшер нажала около раны, и в глубине руки в кость как будто вонзился нож. Он уже ночи три не спал, так как руку с каждым днем дергало все сильнее и сильнее, и спать она ему не давала. Иногда, правда, ему удавалось немного забыться, впасть в какую-то полудрему, но ненадолго - на какие-то, наверно, минуты. Эти три дня он почти и ничего не ел, не хотелось.

У него был жар - горели и лоб и лицо, жарко было и в груди под горлом, а спина мерзла, и даже в этой натопленной комнате, где от русской печки несло сухим теплом, он ежился под телогрейкой, которую сестра, помогавшая фельдшеру, набросила ему на плечи после того, как содрала с него гимнастерку и рубаху, помянув:

- Ну и грязен же ты. Век, что ль, не мылся?

Но когда дверь втокнула холодный воздух, он с удовольствием подышал им.

- А нельзя, чтобы... - он повторил жест лейтенанта, проведя под бицепсом черту, - нельзя, чтобы не делать? Я лыжник. Я был у них в тылу. Я прошел на лыжах тысячу, наверно, километров. Я не мог раньше...

- Я, я, я! - сказала лейтенант. - Надо было думать!

- Но руку же жаль!

Разве мог он ей рассказать все? Да, конечно же, не мог. И пожалела бы она его больше, чем жалела сейчас? Да и что этот фельдшер-лейтенант могла сделать, чтобы у него руку не отрезали?

Но ротному-то он рассказал все. Так, коротко, но рассказал. Ротный даже ахнул, закрутил головой, зажмурился, понимая, в какой он попал переплет.

- Ну и заварил ты кашу! - подвел итог ротный. - Тут, брат, не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

- Это не я, это фрицы заварили кашу. Мы со Стасом просто попали в нее, и все, - возразил он. - Ты мне веришь?

Ротный вздохнул, но сказал твердо:

- Верю до последнего слова. Не могу не верить. И буду защищать!

- Как защищать? Как будешь защищать? - спросил он.

Ротный сделал такой жест рукой, как будто что-то отталкивал, отводил от себя:

- Любую характеристику! Любые показания. Мы же были на Букрине! Эх, черт! И угораздило именно тебя!

Андрей пожал плечами:

- При чем тут я? Ну при чем? Что я, знал, что фрицам нужен «язык»?

Ротный наклонился, приблизился к нему:

- И ты говорил? Говорил? Или... - ротный показал шиш. - Вот им? Так, Андрей?

Андрей подтвердил:

- Только так. Ты мне веришь?

Ротный кивнул:

- Как себе. Но что-то же пришлось говорить?

- Пришлось, - признался Андрей.

- Втирать им очки?

- Вот именно.

- Они тебя били?

Андрей передразнил его:

- Били? Нет, что ты! Мы там занимались чайными церемониями.

- Вот с-с-суки! - заключил ротный. - Вот с-суки. Да-а-а-а! - протянул ротный. - Да-а-а-а! Это тебе повезло, что ты нашел костыль. И вообще... А все остальные, говоришь, того?

- Не знаю. Но когда я бежал к лесу, я все оглядывался, - ответил Андрей. - Не бежит ли кто.

- И никто не бежал?

- Нет. Я никого не увидел.

- Да-а-а-а! - опять потянул ротный. - Может, еще выпьешь? Или поешь?

Разговор этот происходил в сельсовете, вернее, в бывшем сельсовете, так как гражданская власть тут еще не работала, в деревне, километрах в десяти от фронта - бригаду вывели туда во второй эшелон, - и он как раз и нашел ее там. Ему в этом на пятый день поисков, когда он попал уже в полосу своей армии, хорошо помог шофер с побитой, то и дело глохнувшей от старости, что ли, полуторки. Шофер возил военную почту, беря ее на армейском почтовом узле. Шофер был из другого корпуса, но он знал того шофера, который возил почту в его, Андрея, корпус. Найдя свой корпус, Андрей скоро нашел и бригаду, а там уж, в бригаде-то, найти батальон, а в нем роту не составляло труда. Поглядывая на лица солдат и офицеров, добираясь до ротного, он встретил тех, кого хотя и не знал по имени-фамилии, но кого встречал, чьи лица были знакомы. Глядя в эти лица, сдерживая улыбку, чтобы не показаться идиотом, скалящимся ни с того ни с сего, он вздыхал облегченно. С того самого злосчастного вечера, когда его взяли фрицы, у него не было так покойно на душе, как сейчас. Ему даже начало казаться, что ничего ему теперь не грозит, что все мытарства кончились, что и допросов-то никаких не будет. Но ротный все поставил на свои места.

Разговор этот происходил еще до того, как они пришли на ПМП к фельдшеру-лейтенанту.

- Значит, ты говоришь, что сказал радистке свое имя, фамилию и все остальное? - спросил ротный, когда они уже и выпили, и поели, и когда Андрей коротко изложил-доложил, где и как он пропадал эти два месяца с лишним.

- Конечно, - подтвердил он и пояснил: - Я хотел, во-первых, чтобы им, то есть Николаю Никифоровичу и Марии, подтвердили, кто я. Это раз...

- Что ты был не сволочь, когда тебя брали фрицы. Что на ту дату ты был не сволочь, - поправился ротный. Ротный совсем не изменился, да и в чем он мог за это время измениться? Все в ротном осталось таким же: большая круглая голова, шишковатый лоб, карие холодные глаза, в которых быстро гасло, вдруг загоревшись от чего-то, тепло, большой рот, тяжелый раздвоенный подбородок. Ротный только как будто чуть сильнее поседел, да отмытые волосы казались реже, надо лбом они даже как-то пушились, как у младенца. Нет, в ротном особых перемен не было. Несколько раз к ротному по делам входили люди, он коротко решал, что и как, не растягивая, он не любил всяческих длинных рассуждений. Он был уверен в том, что делает, так же, как был уверен сейчас, что ему перед длинным дном, в котором будет куча забот, следует хорошо позавтракать. Нет, особых изменений с ротным не произошло, разве только к его наградам прибавился орден Отечественной войны. Не утративший еще заводской полировки, орден, когда ротный наклонялся или делал еще какое-то движение, орден отблескивал.

- И, во-вторых, я хотел, чтобы сообщили, если у них была такая возможность, что я жив, что не пропал без вести.

Ротный дожеввал огурец.

- Выпьешь еще? И ешь плотней. Что-то там впереди у тебя? И что ты сам думаешь?

Он колебался, не зная, сказать ротному или не сказать, что сейчас он отсюда рванет в Харьков, что делать тут ему нечего. Но ротный, как бы опережая его решение, вдруг обронил:

- Меня вызывали.

- Куда? - глупо спросил он, но ротный, чтобы иметь право сказать, зачем вызывали, не открыл куда, дескать, и в штаб батальона бригады могли вызвать.

- Интересовались тобой. Я понял, что ты жив, хотя мне, конечно, они ни черта не сказали. Теперь ясно, что канал Николая Никифоровича сработал?

- Ясно! - это была хорошая новость. - Что ты им говорил?

Ротный, откинувшись, поднял обе руки, как бы сдаваясь ему:

- Только положительное. Только отличное. Говорил, что это может подтвердить каждый. Я думаю, - ротный сделал ударение на «думая», - что и другие говорили так же. Дня через два после того, как меня вызывали, тебя помянул старшина, потом взводный, а Степанчик... - ротный покачал головой, смеясь: - Вот детская душа, доложил мне, о чем его спрашивали и что он отвечал. Правда, докладывал шепотом, хотя на километр никого не было.

- Так! - сказал Андрей.

- Так! - поддержал его ротный и предложил: - Ты пропусти еще одну, я бы тоже по такому случаю, но нельзя, день только начался, не знаешь, куда вызовут, негоже с утра являться перед начальством выпившим, а ты тяпни. И главное, ешь. Ешь! Рубай!



- Нет, чаю бы я выпил, - Андрей обдумывал, но тут ротный подбросил ему еще одну мысль.

- Степанчик! - грохнул он сначала так, что Степанчик услышал его и на дворе и тот же час примчался. - Чаю! Живо! Покрепче и погорячей. - Степанчик смотрел на Андрея и радостно и сочувственно. Было видно, что Степанчик, останься они наедине, скажет Андрею, куда и зачем Степанчика вызывали. Это понимал, конечно, и ротный. - Топай! - Степанчик умчался, звякнув котелками, и ротный выдал ему! - Тебя могут обвинить, что из-за тебя погибли и Николай Никифорович, и радистка.

- Ну, знаешь! - выдохнул он, не найдясь сразу. Ротный смотрел на него пристально и холодно, как бы помогая ему лучше понять эту мысль, отбросить все чувства и подумать, а как ее опровергнуть.

- Факты есть факты. Слова есть слова. Подумай.

- Я ни при чем! Ты понял, я ни при чем. Я уходил за сотню километров! Я сам боялся за нее. Ты что, мне не веришь?

- Не ори! - оборвал его ротный. - Я верю. Но ведь это я! - ротный сердито постучал себе пальцем в грудь: - Если бы я не верил, я бы пил с тобой? Ел?

- Извини, - сказал он. - Я не подумал. Вообще башка не того, - он потрогал лоб. - Горит. Да и рука... Извини, я плохо соображаю.

Когда Степанчик пришел с кухни, Андрей взял котелок и начал пить через край. Чай был еще горяч, но не так уж, он остыл и в котелке, и пока его переливали, и пока несли с кухни. Повар щедро подсыпал заварочки, часть ее уже села на дно, но много чайнок плавало поверху, и Андрей сдувал их, прежде чем сделать следующий глоток.

- Три, четыре, пять, - считал вслух ротный, загибая пальцы. - Шесть, семь. Да, кажется, все.

- Кто все?

- Кто был на Букрине. Включая тебя и меня. Что еще я могу сделать для тебя?

Андрей неопределенно протянул:

- Н-е знаю... Хотя, вот что. Свози меня в ПМП.

- Это можно. Степанчик!

Степанчик сунул голову в дверь. Степанчик входил в число семи.

- Слушаю, та-а-аш старший лейтенант.

- Да! - воскликнул ротный. - Чуть не забыл. Тут тебе письма. - Он кивнул Степанчику. - Ну-ка! И ты тоже! Молчишь как рыба. И чем у тебя голова забита?

Степанчик, выдвинув из-под кровати чемодан ротного, открыл его и достал письма. Их была целая пачка.

- Орденами, - буркнул он, - Только и думаю о них. Ночи не сплю. Все позабыл.

Ротный, усмехнувшись, наклонил голову набок и смотрел на Степанчика тепло.

- Даже не медалями?

- Даже!

Хорошо было с ними. Ах, как хорошо! Что ж, ротный и Степанчик прилепились друг к другу и, наверное, друг без друга не могли. Степанчик по должности ординарца обязан был быть тенью ротного, куда ротный, туда и он. Так оно и было.

В роте его звали по фамилии - Степанчик - и она очень подходила ему как уменьшительная форма от его имени Степан и еще потому, что он был маленьким. Маленького роста, с девичьей талией, некрасивым лицом - нос картошкой, безбровый, большеротый, с невыразительным подбородком и с маленькими же какими-то рыжеватыми глазками и как бы трахомными - красноватыми веками, Степанчик к тому же еще слегка и гундосил: в его расшлепанном носу, наверное, были полипы, и поэтому если он что-то начинал говорить, то его слова звучали как бы то ли жалоба, то ли как выражение недовольства. Но вместе с тем Степанчик был подвижен, как ртуть, быстр и совершенно неутомим.

В атаках, держась у ротного за плечом, он бил из своего ППШ не в тех, кто стрелял в него, этих он не видел, этих ему некогда было видеть. Он бил в тех, кто стрелял в ротного. Именно этих, а не кого-либо еще, он должен был видеть.

Если немцы укладывали роту своими МГ, а потом начинали долбить ее минометами и снарядами, так что было и голову не поднять, Степанчик, упав около сапог ротного, начинал, перевернувшись на бок быстро рыть окопчик, а потом, когда окопчик был более менее готов так, что в нем можно было спрятать голову и спину, тянул ротного за сапоги, и ротный сползал в этот окопчик, и Степанчик начинал рыть окопчик рядом для себя, или, если рота наступала по пробомбленному участку или по участку, по которому была до этого артиллерия, Степанчик ползал вокруг ротного по кругу, искал воронку, найдя, кричал: «Сюда! Сюда, тааш старший лейтенант!» - и ротный переползал или перебежал в эту воронку.

Степанчик получал на ротного еду, чинил и сушил, когда ротный промокал, его обмундирование, готовил место, где ротный мог бы поспать...

И хорошо было то, что письма взял ротный - не оставил их у писаря, а брал, когда они приходили, и складывал себе в чемодан. Вернее, приказал Степанчику брать и складывать в чемодан, и Степанчик так и делал. Словом, ротный позаботился по-настоящему.

- Спасибо. Спасибо, Георгий, - сказал он ротному.

Писем было одиннадцать. Поровну - по пять - от Лены и от матери и одно от какого-то немца Хеммериха. Он подумал, что это письмо не ему, тем более, что на конверте адресатом значился

Шивардин Георгий Николаевич - то есть ротный.

- Читай-читай! - сказал ротный.

«Товарищ гвардии старший лейтенант Шивардин Г.Н.! Прошу передать мою глубокую благодарность военнослужащим вверенного вам подразделения за неотложную помощь во время моего ранения, как факт, спасший меня от смерти от кровотечения. Не знаю их фамилий, поэтому обращаюсь к вам. Нахожусь на излечении. Здоровье поправляется. Прошу указанных военнослужащих поощрить. Да здравствует наша общая победа! Да здравствует Свободная Германия! С товарищеским приветом и воинским рукопожатием Фриц Хеммерих, уполномоченный Национального Комитета «Свободная Германия».

Степанчик заглядывая ему через плечо, сопел над ухом, тоже прочел все это.

- Не фига себе, Андрюха! Не фига! Теперь ты пойдешь в гору. Раз за тебя хлопчет настоящий уполномоченный такого комитета!

«Здорово, - подумал Андрей. - Ни одной ошибки. Хотя кто-то мог ему написать, а он переписал. Буквы-то корявые, не русские. Бедный Стас!»

- Ну и что?

- Ты береги это! - ротный ткнул в письмо. - Не выкидывай. Мало ли что... Тоже, знаешь, гирька на твою чашку. И - немалая.

Как ни хотелось ему хоть глянуть всего в одно письмо от Лены, но он сдержался, считая что лучше он потом прочтет их, прочтет, когда никого не будет рядом. Даже написанные ее слова ему хотелось услышать одному. Он только коротко взглянул на адреса и закусил губу.

- Что, больно? - спросил озабоченно ротный. - Сейчас мы...

- Ничего, ничего! - поторопился он. - Неловко пошевелил, и как кольнуло.

- Ну чего ты, Андрюша, чего? - озабоченно смотрел ему в глаза Степанчик. Может, тебе чего надо? Может, чего хочешь? Ты скажи, скажи, и все. Свой мы или не свой? А?

Нет, все-таки ему было хорошо с ними, потому что на свете не было лучше людей, для него, конечно, чем ротный, Георгий Шивардин, и Степан Степанович Степанчик, и они для него были как бы братья и, наверное, ближе них для него на всей земле, из всех людей были только Лена и мать, и он хотел, чтобы и Лена, и мать сидели тут сейчас с ними, и еще, чтобы сидели тут с ними Стас, Веня, Мария, Папа Карло, Коля Барышев и Ванятка, и ребята из РДГ, и Николай Никифорович, и акробат, и тот парень - москвич, который в госпитале все учился писать левой рукой, и лейтенант Лисичук, и ездовой Ерофеич, и чтобы Зазор стоял за окном, отдыхая, так стоял, что на него можно было бы посмотреть. Он бы, уловив минутку, оставив всех этих дорогих ему людей, вышел бы к Зазору и дал бы ему хорошую горбушку, предварительно хорошо посолив, и Зазор бы схрумкал ее, и он бы, сунув ладонь ему под гриву, гладил бы теплую шею Зазора, а Зазор бы смотрел на него своими прекрасными умными и преданными глазами, дышал бы ему в щеку, мягко брал губами его за плечо. Он потом бы вернулся в эту комнатку в этом деревенском доме, к дорогим для него людям, и был бы снова с ними, и снова любил бы их, и пусть только бы так не ломило эту проклятую руку.

- Музыкальная тут?

- Тут, тааш старший лейтенант.

- Заводи. Свозим его в ПМП.

- Оттуда он в госпиталь? - уточнил Степанчик и внес предложение: - Ему бы продуктишек маленько, а, та-а-а-аш старший лейтенант? Я мигом к старшине и назад. Через три минуты выезжаем. - Ротный сделал вид, что не слышал предложение Степанчика, но и не возразил. Степанчик испарился, а минут через пять пегая с огромным животом кобылешка везла их в санях-кошевке на ПМП.

Ротному, конечно, не полагался этот личный транспорт, но хороший старшина на фронте всегда старался иметь тягло: на такой Музыкальной возилось имущество роты, боеприпасы, да и можно было при нужде подкочить куда-то по делу - к складам или в штаб, сойдя от него невядалеке, чтобы не демаскировать незаконные лошади и тарантас или санки, отвезти заболевшего или воспользоваться Музыкальной для какого-то иного случая.

Ротный, сидя с ним бок о бок, держал его за карман шинели, как будто он мог или выпрыгнуть, или улететь в небо.

- Да, Андрюха. Да! Затянулись наши незапланированные семестры. И конца не видно. Что-то принесет нам сорок четвертый?

- Будете наступать. Куда-то выйдете. Может, и до границы. Год - длинное время.

Ротный покосился на него.

- «Будете». А ты что, отвоевал?

- Не знаю.

- Не знаешь?

- Я теперь не твой.

- Выбрось это из головы. Ты мне нужен.

- Я бы выбросил, не получается, - он посмотрел на свою опухшую руку.

- Ты мне нужен! - снова сказал ротный. - Впереди лето, впереди топтать и топтать, а пополнение... -

Он махнул рукой. На десяток - один-два ветерана. Как же ты мне не нужен? И вообще, я верю, что нам пока светит звезда. Мы дойдем до этого проклятого Берлина. Мы еще им всыпьем! Видел, сколько техники? Мы им всыпьем.

И такие, как ты, мне нужны вот так! - ротный провел ребром ладони по горлу.

Степанчик сидел на облучке, держа вожжи в обеих руках, вроде бы занятый только ими, но ухо повернул назад, к кошевке. Иногда он переключал вожжи в одну руку, а второй поднимал веревочный кнут и подстегивал Музыкальную, чтобы она прибавила ходу, командуя:

- Ну, родимая! Ну, залетная! Ну-ка, покажи, что ты умеешь!

Екая селезенкой, наверное, потому-то она и получила свою кличку, Музыкальная делала вид, что переходит в галоп - она взбрыкивала задними ногами, норовя ударить ими по оглоблям, загибала шею, косилась на Степанчика, как будто прицеливалась, как ей лучше бросать копытами снег так, чтобы он попадал Степанчику в физиономию. Степанчик уклонялся от снега, и снег летел в кошевку. Тогда ротный командовал:

- Сбавь. Сбавь газ! А то разнесет машину!

- Не разнесет, - возражал Степанчик и, говоря Музыкальной: - Ах, ты так? Ты так? - наклонившись, кнутовищем щекотал ей живот. - Будешь еще безобразничать?

Музыкальная изгибалась, переходила на рысь, шла вбок, норовя съехать с дороги и вывалить седоков из саней. Она была старой и умной крестьянской лошадей, с толстой шкурой, изъеденной оводами, с хвостом, забитым репьями, с мозолями на холке от хомута и спине от чересседельника. Людей она понимала, и, когда Степанчик начинал с ней разговаривать, упрекать в безобразиях, она косилась на него грустным глазом, трясла головой и сердито фыркала.

Ротный как бы вспомнил, что забыл сказать ему там, когда они ели:

- Потом, после того вызова, приезжал дознаватель. При всех полномочиях. Взял меня, его, - подбородком он показал на Степанчика, - еще парочку солдат из тех, кто знал Звездочета. Поехали - мы ушли вперед уже километров на десять, - приехали, нашли место, откопали Звездочета. Составили акт опознания, дознаватель собрал сколько-то земли с осколками от немецкой гранаты... Конечно, все следы оказались уже затоптаны, но я-то помнил, какими они были в то утро. Я повел дознавателя по фрицевским гильзам. Они, когда, отходили, подняли такую стрельбу, что гильз было тьма.

- Я не слышал, - сказал Андрей. - Я ни черта не слышал. Я только в блиндаже....

- Нда-а, - протянул ротный и замолк до самого ПМП. Лишь когда Степанчик стал сворачивать с дороги к ПМП, ротный постучал кулаком Андрею по плечу:

- В общем, держи хвост пистолетом. Ясно?

- Ясно.

- Позицию не сдавать. Ясно?

- Ясно.

- Как в круговой обороне!

- Это в одиночном-то окопе?

- И в одиночном держись. Ясно? Но ты сейчас не в одиночном.

Музыкальная с готовностью остановилась, они слезли, ротный, обняв его, подтолкнул к дверям ПМП, а Степанчик, привязав лошадь, поволок за ними вещмешок, до половины набитый чем-то. Так вот он и оказался на этом ПМП. Но прежде чем войти в него, он с минуту постоял на крыльце.

День выдался ясный, всюду звенела, падая с крыш, капель, снег, тая, покрываясь капельками, и они блестели, как миллионы прозрачных шариков, от этого света резало глаза, и он щурился, разглядывая проснувшиеся деревья, ветки которых четко выделялись на густом синем небе. Он подышал влажным, густым воздухом, послушал, как совсем по-весеннему сердито-радостно о чем-то - «Чивирк! Чивирк! Чив! Чив-Чивирк!» - спорят воробьи, усевшиеся на голенькой еще вишне в палисаднике ПМП, сказал Степанчику:

- Перезимовали! Ай да молодцы!

Степанчик, закрутив от восторга головой, ответил ему:

- Что ты! Что ты, Андрюха! Отличнейший же народец!

Он переглянулся с ротным. Ротный стоял задумчиво, тоже как-то просветлев лицом от всей этой благодати.

В полевом госпитале дежурила и правда Милочка-осьминог. Она быстро глянула на ротного, бросила ему:

- А, рыцарь! Рыцарь нежный, постоянный. Как там Верочка? Все в порядке? Ну-ну. Смотри, не обижай ее! - быстро же глянула на Андрея, подплыла к нему, тронула пальцем его кисть, отчего на кисти оказалась синяя ямка, в которую мог бы поместиться лесной орех, сузила глаза, упрекнула: - Что ж ты, вьюноша! Так ведь можно и в инвалидную команду загреметь! - громко скомандовала: - Всех ко мне! Воду! Халат! - отплыла к двери, где был умывальник, закатывая на ходу рукава гимнастерки, и обронила Степанчику: - Сделай фокус - скройся с глаз.

Тут дверь распахнулась, вошли две сестры и два пожилых санитаря, один из них был с ведром горячей воды, которую тотчас же вылили в умывальник, и Милочка, ополоснув руки, принялась густо их мылить.

Степанчик, стоя у порога, держась за ручку двери, начал было:

- Товарищ хирург! Товарищ хирург, вы не режьте ему руку. Куда ж ему без руки, а... Он с сорок первого воюет... - но Милочка, снова сузив глаза, тихо рявкнула:

- Марш!!! - Степанчика сдуло из комнаты, Милочка, предупредив ротного: - Обидишь Верочку, не попадайся ко мне, - отпустила и его: - Свободен, Рыцарь. Передай - все будет сделано, что в

человеческих силах. Свободен.

Намыливая руки в третий раз так, что полтазика под умывальником было уже в пузырях, Милочка скомандовала:

- Раздеть! Разуть! Развязать! - и тотчас же оба санитаря облепили его, ловко стягивая с него шинель, гимнастерку, нижнюю рубаху, а потом, усадив на табуретку, и брюки, сапоги, и портянки.

В одних грязнейших подштанниках, в гигантских расшлепаннейших тапках, которые ему подsunул, шепнув: «Усе будеть, паря, у порядке! Не бойсь! Докторица - что сам господь бог!» - безбровый, розовенький, как ребеночек, маленький санитар, Андрей вздрагивая, жалко сидел, сжав колени, поддерживая здоровой раненую руку, с которой сестра сматывала бинт.

Другая сестра, приткнувшись к столику, заполняла на него историю болезни, спрашивала имя, фамилию и прочее. Дойдя до карточки передового района и получив от него ответ «Нет...», она, помигав, как бы между прочим, спросила и про остальное:

- И солдатской книжки нет? И комсомольского?

- Нет. Ничего нет. - Вторая сестра смотала весь бинт, и Андрей подумал, что она сейчас сдернет тампоны, но так как они еще не успели присохнуть, особой боли он не ожидал, но все-таки сжался, чувствуя, как по спине между лопатками побежала дрожь и как из-под мышек потек холодный пот.

- А что у тебя есть?

Он нащупал в кармане кисет, достал его и развернул так, чтобы она могла прочесть вышивку **«Дорогому защитнику Родины от Зины Светаевой. НСШ № 2. 7 кл.»**.

Она прочла.

- Не так много. Особенно в этих обстоятельствах.

Милочка-осьминог тоже прочла.

- И не так мало! В любых обстоятельствах!

Сестра у стола перевела взгляд на маленького санитаря, и тот ловко обмял карманы брюк и гимнастерки Андрея, а потом и карманы шинели. Из внутреннего кармана ее он осторожно достал «вальтер» и, опустив его стволом к полу, держал так, оттопырив указательный палец подальше от спускового крючка.

Сестра у столика опять помигала.

- Товарищ капитан, все документы отсутствуют. Оружие.

- Не играет роли! Формальности потом! Проверить инструментарий! - как отрезала Милочка. - Пульс? Температура?

Пульс у него оказался сто десять, а температура тридцать девять и одна десятая.

- Вот-вот! - комментировала эту цифру Милочка-осьминог. Довоевался.

Сестра, которая сматывала бинт, дернув слегка, сняла и тампоны, Милочка, кончив мыть руки, держа их на отлете, подошла, скомандовала: «Встать!». Он встал, и Милочка наклонилась над раной, а сестра, обтерев вокруг раны, стала осторожно нажимать у ее краев. Из раны пошла пузырьки.

- Ясно! Обтереть его всего, сменить белье и - на стол! - приказала Милочка. - Халат! Перчатки! - Розовенький санитар, слетав в соседнюю комнату, приволок пару белья, второй санитар, подsunув тазик ему под ноги, макая мочалку в ведро с тепловатой водой, обтер его, тазик потом был поставлен на табуретку, он, наклонившись над ним, постоял так минуты две-три, нужные для того, чтобы сестра вымыла ему голову, санитары помогли ему натянуть кальсоны, и через какие-то минуты он был чист, конечно, относительно, свеж и готов топтать к столу.

- Папиросу! - скомандовала Милочка. - Куришь? - спросила она его, он кивнул, и сестра-регистраторша, слегка помяв, сунула Милочке папироску в рот, так как Милочка все держала руки на отлете, ожидая, когда они обсохнут, сестра чиркнула зажигалкой, Милочка сладко затянулась, сжав папироску зубами, выпустила дым, сестра дала папироску ему, и так они перекуривали перед тем, как идти к столу, а операционная сестра мыла руки.

- Что за хабитус! - Милочка-осьминог наклонила голову к одному плечу. - Тебе бы тоже, знаешь, на голову венки, из колосьев, а вокруг бедер кусок медвежьей шкуры, - заявила Милочка, усмехнувшись. Она разглядывала его бесцеремонно, только шурясь и закидывая голову, чтобы выпускаемый дым не попал ей в глаза. - Но там, под портиком, онежский мрамор, а здесь - живой атлант. Но нет Терebeneва... чтобы посмотрел. Он, наверное, с такого и рубил своих. - «Портик, атлант, Терebeneв», - прокрутилось у него в голове.

- У них по две руки. Иначе как бы они держали? А нам не потолок держать.

- У тебя пока тоже, - Милочка пыхнула раз, другой, докуривая.

- А нам не потолок держать, - досказал он свою мысль. - Сколько еще фрицев?

Санитары между тем быстро и аккуратно помыли полы, сестра в операционной принесла свежайший халат, Милочка всунула в него руки, сестра плотно завязала завязки сзади и на запястьях, надела на Милочку глубокую шапочку, подоткнула под ее края волосы Милочка и держала наготове маску, ожидая, когда Милочка докурит.

Милочка выплюнула окурок в тазик под рукомойником и обернулась.

- Они тебя не получают. Во всяком случае, на этом этапе. Но здесь дилемма: слишком ранняя ампутация - инвалид. Слишком поздняя - мертвец. Это - для ясности. Ты, кажется, парень неглупый.

- Я понял. «Слишком ранняя - инвалид, - повторил он про себя. - Слишком поздняя - мертвец». И все-таки давайте рискнем. - Он посмотрел на рану и сморщился: от нее уже воняло. Он отвел руку за бедро. - Я готов.

- Я тоже, - Милочка чуть наклонилась, чтобы сестре было удобнее схватить резинкой дужки ее очков, резинка подтянула очки к самому лбу Милочки, выпуклые стекла увеличили глаза, сестра закрепила маску, и теперь Милочка - в глухом халате, который высокой стойкой закрывал ей горло, со спрятанными под шапочку лбом, а под маску ртом, действительно напоминала осьминога: очки в темной оправе, за очками темные увеличенные глаза, а под очками крючковатый нос.

- Они тебя не получают! Не должны получить. И потом, жаль вообще такой экземпляр. Таких не часто и увидишь. Рискнем.

Санитар толкнул перед ними дверь, забежав вперед, открыл, успев шепнуть ему: «Ну, господи, благослови!», дверь в операционную, они вошли в нее, операционная сестра подала Милочке и помогла надеть перчатки, приоткрыла, как бы еще раз проверяя, все ли на месте, потемневшую от частого кипячения простыню, под которой блеснули всякие никелированные инструменты.

- Не трусить! - приказала Милочка через маску. - Обувь!

Он сбросил тапки.

- Ясно.

- На стол!

Стол был высокий, жесткий, а клеенка на нем холодная, с левой стороны стола был еще маленький столик.

Он взобрался и лег, положив руку на маленький столик.

- Мне ничего не остается, трусь тут или не трусь.

- Именно, - подтвердила операционная сестра.

Она густо обмазала йодом кожу вокруг раны, захватывая тампоном почти до кисти и до локтя, запеленала руку в простыню так, что открытой осталась лишь часть ее с черными дырами от пули, розовенький санитар, скользнув от двери, пристегнул ему правую руку и лодыжки ремнями в столу, Милочка скомандовала: «Маску!», операционная сестра наложила ему на лицо маску, и Милочка скомандовала: «Эфир!», а ему: «Считать!»

- Я верю вам, - сказал он им всем, чувствуя, как сладко-горький запах заполняет его рот и нос, отчего его тело становится все легче и легче, а в голове начинает звенеть, и начал:

- Раз, два, три, четыре, пять... Я верю вам, - повторил он и сразу же услышал, но уже как будто через какую-то дверь, что ли, в общем, через какую-то перегородку резко отданные команды Милочки сестре: «Прибавить!», а ему: «Считать!», горько-сладкий эфир заполнил его всего, он, дойдя до счета «семнадцать», хотел было еще раз сказать им, что он верит, но язык у него онемел, и он только успел подумать: «Лена... Бедный Стас...»

- Зень! Зень! Зень! - звенело у него в голове, звенело тонко, то ли как будто там пела синица, то ли кто-то стучал крохотнейшим серебряным молоточком по серебряной же наковаленке.

Он открыл глаза, в лицо ему ударил желто-соломенный ослепительный свет от окна, перечерченный фиолетовыми линиями рамы. Он тотчас же зажмурился, но тут же, вспомнив, быстро повернул голову налево, сердце его заколотилось, сжалось от страха, но он все равно должен был увидеть. Рано или поздно, но он должен был все увидеть.

Рука лежала на ладонях операционной сестры, приподнятая от столика так, чтобы Милочке было удобно бинтовать. И Милочка это и делала - ловко, в меру туго скатывая бинт вокруг ран, движения Милочки были быстры, но все-таки бинт успевал промокать там, где была кровь, и на бинте все время оставались розовые пятна - одно внизу, другое сверху. Но и с каждым витком бинта они уменьшались, наконец они съезжились до пятака, потом до трехкопеечной монетки, потом до копейки, потом до точки, потом их не стало. Милочка сделала еще несколько оборотов и ловко, разрезав бинт, завязала концы на бантик.

- Ух! - сказал он. - Спасибо.

- Ух! - передразнила его Милочка. - Спасибом не отделаешься. - Она отошла к форточке, дернула маску под подбородок, а шапочку столкнула к затылку. Лоб и все ее лицо были в мелких капельках пота. - С тебя вено. Выкуп. Папиросу.

- Готов, - ответил он, отворачиваясь от руки. Только сейчас он почувствовал, как нарастает боль. Он отвернулся еще и потому, что ему было противно видеть две бобовидные металлические чашки с его кровью. Одна из чашек была полна совсем черной кровью, в другой крови - более светлой, той, что, наверное, натекла позже, было на три четверти.

- Пошевели пальцами! - приказала Милочка. Он пошевелил. - Теперь каждым отдельно! - Он пошевелил, хотя от этого боль усилилась. - Норма! - определила Милочка. С тебя пять - это за каждый палец. - Он не понял. - Фрицев. Пять фрицев, - пояснила Милочка.

Ну это можно было обещать, это он был готов обещать каждому, только бы обошлось все с рукой. Пока обходилось.

- Шесть, одного и за руку.

- Курить будешь? - Милочка, сдернув перчатки, взяла у сестры-регистратора коробку.

Его поташнивало, и курить не хотелось.

- Нет. Спасибо.

- Рюмку коньяку?

С этим можно было согласиться, тем более что он начал зябнуть - одет-то он был только в

подштанники, да и они, влажные сейчас от пота, не грели, а охладили.

- И рубаху.

Рюмка оказалась хорошим полстаканом, но хороший глоток сделала сначала Милочка.

- Ишь ты какой! - заявила Милочка. - Уже влюбил в себя! Без любви разве сестра налила бы тебе такую порцию?

Коньяк пах так, как, наверное, пахнут ульи, если их поставить в розарии. Но коньяк его согрел, и в голове перестало звенеть. Он сел, и сестра набросила рубаху ему на спину.

- Спасибо, - сказал он сестре. - Хорошо быть среди своих.

Милочка, удостоверившись, что кровотечения через повязку нет, скомандовала:

- Лангету! - приняла участие в ее сооружении. В лангете - глубокой гипсовой лодочке, захватывающей и половину кисти - руке стало как-то сразу покойно: она не шевелилась, и боль от этого затухала. А может быть, она затухала и от коньяка.

- Идти можешь?

- Попробую, - он слез со стола сам, хотя санитар был готов его поддержать.

- Одеть! В палату! Операционную в готовность! - распорядилась Милочка, и все засуетились, и в той комнате, где его готовили к операции, его и одели, а сестра-регистраторша записала под диктовку Милочки:

«Сквозное пулевое ранение левого предплечья с переломом лучевой кости, осколочным. Отек. Гангрена. Операция - разрез 7 см до кости и 9 см. Удалены костные осколки. Повязка с хлорамином. Лангета. Лечение стационарное. Глубокий тыл. Эвакуация сидя. Назначения: вливание крови, дренаж, орошение хлорамином. Состояние удовлетворительное».

Его устраивал весь этот текст, кроме формулы «глубокий тыл».

«Посмотрим. Поглядим, - сказал он себе, - Мы знаем, какой нам нужен тыл». - Он пошатывался, пока одевался, но на душе у него было веселее: операцию он прошел, рука осталась цела, черной крови в ней теперь не было, впереди его ждали госпиталь и все, что прилагалось к нему.

Без халата, шапочки, без очков Милочка утратила сходство с осьминогом. Она была просто полной, сидящей женщиной, одетой в армейскую форму с погонами капитана медслужбы.

Несколько минут они постояли на крыльце. Их там встретил Степанчик. Степанчик сиял, он все уже знал до того, как они вышли, и сразу же выпалил:

- Спасибо вам, тетенька, то есть, виноват, тааш капитан. От всей роты, так сказать, спасибо. Андрюха парень - во! - Степанчик ткнул вверх большой палец.

- А ты! Ты не «во»? - усмехнулась Милочка. - Я тебе что сказала?

Но Степанчик был не из пугливых. Он щелкнул каблуками и опять засиял:

- Сделать фокус - скрыться с глаз. Но я выполняю приказание своего командира роты - доставить сержанта Новгородцева до койки. Или куда уж вы его положите. Так что, тааш капитан, как скажете.

- Лежать спокойно, после вливания - спать. Не ходить. Поменьше шевелиться. Ясно? - приказала Милочка Андрею.

- Ясно.

- Вечером приду. Я не совсем поняла, что ты хотел сказать, говоря «хорошо у своих». Ты что, был у чужих? По хабитусу не похоже, даром, что ли, я поминала Терebeneва. Нет, ты не из плена. А?

Воздух на крыльце просто пьянил - чистейший, влажный от таявшего снега, пахнувший отогреваемой землей, да еще после запахов операционной, да еще после эфира, да еще после даже ульев в розарии этот воздух просто шатал его, и все перед ним - домишки поселка с капелью от крыш, с голыми еще, но уже проснувшимися, как-то распрямившими ветки деревьями, небом, ярким солнцем на нем, лежащими за поселком огородами, а за огородами полями - все это то и дело срывалось перед Андреем куда-то вбок, как будто он стоял на карусели, которая делала короткое движение и останавливалась. Даже физиономия Степанчика - а Степанчик стоял прямо перед ним, но ниже, у крыльца, и смотрел на него радостно, открыв слегка рот, - даже рожица Степанчика срывалась влево - сорвется и остановится, сорвется и остановится.

- Нет, коротко сказал он. Ему надо было лечь поскорее. - Но я был без своих. А это тоже, знаете... Ну, я пойду?

Санитар провел его до палаты - комнаты в домике, который был раньше конторой МТС. В палате лежало на носилках семеро, одни носилки были свободны, и он завалился на них, а Степанчик, как подушку, подsunул ему под голову вещмешок. Такая подушка была ужасно жесткой и неудобной, но он, кое-как устроив голову между ребер консервных банок, вздохнув глубоко и облегченно, сразу же задремал.

Первым к нему заявился ротный. В палате уже горела керосиновая лампа, окна были задрапированы светомаскировкой, и он понял, что проспал несколько часов. Руку ломило, но терпимо. Он пошевелил пальцами, пальцы двигались. Ротный, глядя на них, одобрительно покивал головой.

- Все будет в норме. Хороший ремонт, а медицина это умеет, и - ко мне. Но вообще-то они могут еще разик пройти - вдруг все не вычистили? Но это все так - семечки.

У ротного на лбу была вертикальная складка, подбородок как будто еще больше отяжелел, и даже при свете лампы можно было заметить, что глаза его озабочены, что в глазах у него нет спокойствия.

- Какие новости? И ты не крути. За помощь, - Андрей еще пошевелил пальцами, - за помощь

спасибо. Но говори все. Какие новости?

Ротный подцепил - это у него получилось легко и ловко, ротный был хотя и приземист, но длиннорук, - ротный подцепил табуретку, положил ее на бок, чтобы быть пониже у носилок, сел и прищурился.

- В целом - положительные. Я бы сказал - хорошие.

- То есть?

- То есть по бригаде будет отдан приказ о тебе.

- Какой?

- М-м-м... Какой? Простой. Когда ты исчез, я должен был доложить.

- Как?

- Как было, - ротный нахмурился. - А было так: ты выполнял боевое задание? Мое задание - доставить в роту пулемет, боеприпасы, подготовить ОП?

Это было ясно, тут нечего было рассуждать.

- Потом?

- Потом перестрелка, убитый Черданцев, а тебя нет. Те, кто был недалеко, слышали, как ты стрелял.

- Что ж они!.. - вырвалось у него.

- Они! Они! - ротный скоротился, было ясно, как день, что ротный не может простить ему, что он попал в плен. Как будто кому-то можно простить, как будто он был сам виноват в этом.

- Ночь! Темень! Дождь! И фрицы, - ротный с силой ударил кулаком по воздуху, - и фрицы сразу же, через, наверное, полминуты, ну через минуту, накрыли нас, знаешь, как плотно? Только этот кусочек, но минуты три, чтобы те с тобой...

- И с убитым, и с Гюнтером, - вставил он.

Ротный кивнул согласно:

- И с убитым, и с Гюнтером, и с тобой успели отойти! Какие-то три, - ротный растопырил три коротких пальца и смотрел на них как бы даже удивленно, мол, такое малое число, а как много значит! - минуты, но так, что мы головы не могли поднять, а утром поразились, сколько они высадили мин.

- Готовились! - сказал он. - Все пристреляли. Рассчитали. Это они умеют. - В нем опять вспыхнула ненависть, он как бы снова увидел штангиста и всех остальных в блиндаже.

Но перед тем, как затащить его в блиндаж, они, волоча его, пробежали те три или четыре сотни метров через ничью землю к своей первой траншее под прикрытием минартналета, и наши ничего не могли сделать, чтобы его отбить.

«Ладно, - подумал он. - Это все в прошлом. Пусть только останется у меня рука!»

- И какой был приказ?

Ротный слегка откинулся, уперся ладонями в колени.

- Считать пропавшим без вести, - ротный развел локти, чтобы наклониться к нему. - Но ты пришел в свою часть, раненый, с оружием... Явился в свою часть, и приказ будет о зачислении тебя на все виды довольствия. Рад?

- Ну еще бы! - Как он мог быть не рад! Приказ означал, что он - среди своих, что он не хуже, чем все они, что он такой же!

- Спасибо, - он поймал взгляд ротного. - Но это не все?

- Нет, конечно, - ротный сказал, как бы небрежно: - Будет назначен дознаватель. Словом, дознание будет. Так что все продумай.

- Мне нечего продумывать, - отрезал он. - Нечего. Я буду говорить, что было. Только это. И ничего другого. - Он лег поудобней, вздохнув.

Ротный слегка шлепнул его по плечу.

- Ну и отлично. Отлично, Андрей. Я тут переговорил с Милочкой и вообще... Все будет в норме. Но не теряй со мной связь! Это - приказ!

Он усмехнулся:

- Сейчас я тебе не подчиняюсь. Сейчас...

Ротный, сдвинув к переносице брови, не дал ему закончить.

- Подчиняешься! И будешь подчиняться дальше. Пока... Пока мы не вышвырнем всех этих фрицев с нашей земли. Всех этих гюнтеров и так далее. Ты - в армии. Пока на излечении, но в армии! Это тебе понятно? То-то! Лечись - и в роту! Взвод тебя ждет. Да-да! - не дал ему ротный ничего возразить. - Ты мне нужен, я буду знать: там, где ты, там мой фланг надежен. Понял? Нам еще гнать этих фрицев и гнать! Тысячу километров, - ротный, пожав ему руку, откинул полу шинели, достал из кармана пачку тридцаток и сунул их ему в карман. - Но-но! Что мне их, солить? А тебе на молочишко, - ротный пошел к двери, но тут в нее просунулась голова Степанчика.

- Та-а-а-ш старший лейтенант, ну куда это годится: Андрей лежит на голых носилках, а на штакетнике висят матрац и подушка. Проявить воинскую смекалку? - выпалил Степанчик.

- Пушай проветрится денек-ночку. Утром на этом матраце помер солдат, - сказал один из раненых.

Степанчик открыл рот, ротный толкнул его из двери и махнул Андрею:

- Пока. Пока, Андрюха. Связь не терять!

- Пока. Пока, Георгий. Есть связь не терять.

Под самую ночь явилась Милочка.

- Где тут Терebeneв? - властно потребовала она. - Сестра! - Кто-то крикнул палатную сестру, и она тут же прибежала. - Температура?

- Тридцать восемь, - доложила сестра.

- Отменно! - заявила Милочка. Она присела к нему прямо на край носилок, отчего носилки могли вот-вот перевернуться, но Милочка на это не обращала внимания. - Ну-ка! - Она раздела его до пояса, слушала ухом сердце, приказав: «Свет ближе! Хороший свет!» - при свете лампы осмотрела его руку выше лангеты, щупала под мышкой железы, трогала лоб.

- Отменно! - повторила она. - На этом этапе. Ел?

- Пил чай. Есть не хочется.

- Надо есть! - приказала Милочка. - И спать.

- Я спал.

- Есть и спать. Там у тебя сейчас, - она погладила лангету и пальцы, - миллион на миллион. Кто кого - или микробы, или лейкоциты. Они там - в рукопашной. Есть, спать - значит, помогать своим. Ясно?

- Ясно.

Милочка, погладив ему лоб и щеку, встала.

- Ну спи, Терebeneв. Спи. Я тоже пойду, - она зевнула. - Я ведь после тебя еще двоих прооперировала. Так-то, Терebeneв.

- Спокойной ночи, - сказал он ей. - Спасибо вам.

- Вено! - напонила она. - Шесть!

- Обещаю, - подтвердил он.

- Все мои погибли. В Киеве. Все до одного. Я на земле одна. Как перст божий! - пояснила Милочка. - А ты говоришь «спасибо». Так-то, брат!

Она обошла других раненых, слушая, что ей говорила сестра, отдала нужные указания и прикрыла за собой дверь, сказав еще раз:

- Спать! Спокойной ночи! За тобой - шесть!

Но спокойной ночи не получилось. Часа в три по коридору забегали, застучали сапоги, замелькал свет ламп «летучая мышь», послышались команды:

«Приготовиться к эвакуации! Тяжелых первыми. Больные, одеться, собрать личные вещи!» - и все, конечно, проснулись.

Чуть погодя, через минуты они услышали, как подошли машины, и санитары начали выносить раненых.

Тут, как всегда, начались стоны, перебранка, уговоры потерпеть - словом, все то, что бывает в таких случаях.

Машины отходили, в его палате осталось всего трое, считая с ним, - один в полубреду, другой закованный в гипс по грудь, их, видимо, считали пока не транспортабельными, - когда санитар, заглянув в палату, увидел, что он сидит.

- Ты чо? Слышал, кричали: «Два сидячих места есть!» Чо ж ты! Чо ж ты! - санитар подскочил к нему. - Живенько!

Он был одет и обут, так как на голых носилках было холодно, и он спал одетым, лишь накрываясь шинелью поверх одеяла.

- Твой? - показал санитар на мешок, который ему подсунул Степанчик.

- Да.

- Шинель внакидку! - скомандовал санитар, накидывая ему шинель, развязывая и опуская наушники шапки, натягивая ему шапку поглубже. - Бегом! А то опоздаешь!

Место ему досталось в полуторке, у заднего борта, там уже сидело несколько раненых, подлежащих эвакуации сидя, а тяжелые лежали головами к кабине. Пол в кузове был застелен камышом, поверх которого лежал брезент, но так как водители торопились, то, пока они час добирались до станции, всех растрясло, всем было больно, и все ужасно матерились и проклинали и шофера, и врачей, и вообще весь божий свет!

Эшелон, к которому они наконец подъехали, заканчивал разгрузку.

Было совсем темно, лишь через распахнутые двери теплушек темно-малиновым отсвечивали топки железных печечек с непогасшими еще углями.

Он слышан, как разгрузившиеся строились у вагонов, видел их смутные тени.

- Проверить людей! - командовал кто-то.

- Бушуев, Омельченко, Хаснутдинов, Табачников, Лось, Мамедов. - выкрикивали младшие командиры, проверяя, и потом докладывали: - Товарищ лейтенант... Люди все налицо... Отставших - один... Оружие проверено!

- Приготовиться к движению! - раздалась команда. Суета, разговоры, простуженный кашель как-то затихли. - Направление движения к голове эшелона!.. Марш! - донеслась передаваемая от паровоза команда, офицеры повторили ее, и вдоль состава тяжело зашуршал гравий под сотнями, сотнями ног, смутной, неперемежающейся некоторое время тенью задвигались уходящие, звякало оружие и снаряжение, но шорох гравия скоро стал смолкать, отдаляться, а тени уходивших размылись в темноте, исчезли... «Пошли ребята», - подумал он, стоя у колеса грузовика, ожидая, когда погрузят тяжелых, слушая распоряжения: «Тех, кто полечче, на верхние нары! На нижние - самых тяжелых!»

Сидячим полагалось грузиться в последнюю очередь, и он стоял, поддерживая здоровой рукой раненую, ожидая, когда в ней начнет затихать начавшаяся от тряски боль.



На нарах места ему не досталось, и он сел на скамейку, прижимаясь здоровым плечом к стенке. Вагон еще не потерял всего тепла, в нем было сносно, а когда кто-то снаружи задвинул дверь так, что остался проем лишь в ширину человеческой головы, и когда все в вагоне угнездились, стали затихать, даже стонать тише, он, привстав со своего места, открыл дверцу печки и в ее свете нашел железный совок, ведро с углем и осторожно, чтобы не загасить огонь, подбросил угля в печку.

Присев на колени, сонно жмурясь на выбившиеся из-под угля огоньки, он думал, что ему остался один лишь бросок, всего лишь один бросок! Путь через Харьков и десяток километров по Белгородскому шоссе можно было не принимать во внимание.

«Интересно, что она сейчас делает? - спросил он себя. - Лена!..» - Он улыбнулся ей, улыбка, наверное, еще не успела и погаснуть на его лице, как вдруг его обожгла иная мысль: «А вдруг ее там нет! Вдруг нет! - он внутренне похолодел, сердце его сжалось, а мысли заметались - прошло столько времени с того дня, когда он ей писал, и с того дня, когда пришло последнее письмо. - Месяцы же минули! Месяцы!»

На насыпи все затихло - разговор санитаров, команды. Уже отъехало несколько машин, но какие-то еще стояли, урча на малых оборотах моторами.

Когда паровоз, дернув слегка вагоны, попробовал тормоза, вдоль эшелона побежали сестры, санитары, наверное, и врачи - они просовывали головы в вагоны, кричали:

- Счастливо, товарищи! Лечитесь!
- Счастливо, братцы! Привет глубокому тылу!
- Выздоровливайте, ребята! Счастливо!

Им отвечали вразнобой, нестройно, кто что мог сказать: «Спасибо вам! Счастливо вам оставаться! Пакедова!» - но потом кто-то снаружи плотно задвинул дверь, паровоз дернул, в вагоне все замерли, прислушиваясь, как застучали колеса, кто-то хрипло и облегченно обронил: «Ну, господи, благослови. Кажись, выбираемся!» - паровоз прибавил ходу, и колеса застучали все чаще и чаще.

Андрей посидел еще немного у печки, все переживая предположение, а вдруг Лены в госпитале 3792 нет! Но покачивающийся вагон, тепло, которое он ощущал от разгоревшейся печки, затихнувшая почти боль в руке - все это как-то стало отдалять тревогу, он сонно сказал себе: «Чего заранее мучиться? Чего? И потом, если нет ее там, то ведь где-то она есть? Ведь есть же?» - и, усевшись вновь на скамейку, привалился к стене, стараясь, чтобы голова не очень билась о доски.

За ночь он проснулся только раз. Его разбудили громкие голоса. Кто-то спорил, плохо выговаривая слова, кто-то на кого-то кричал и кто-то ужасно матерился.

Ему не хотелось просыпаться, и он, не раскрывая глаз, ждал, что, может, эти люди утомонятся, но они не утомонялись, и ему пришлось все-таки проснуться.

У двери, скорчившись, упираясь ногами в пол, лежал молоденький - лет девятнадцати - солдат. Он был слепой, без глаз, и из-под красноватых, запавших глубоко век, прикрывавших глазницы, у него текли слезы. Они текли по черно-синим от набившихся в них мельчайших сгоревших частиц тола щекам.

- Уйди! Уйди все! - кричал солдат. - Это мое дело! Мое! Я не хочу! Не хочу жить! Уйди!.. Не трожь! Больно! Не трожь!

Над ним, наклонившись к нему, стояло несколько солдат, удерживая его, но он лягался, бил их ногами по сапогам и выставлял обе перебинтованные руки, вернее, то, что от них осталось: одна рука у него была отнята почти по локоть, а другая выше локтя.

- Чего там? Кончайте! И тут не дадут поспать по-человечески, - спрашивали, требовали, ворчали с нар. - Дайте ему по шее! Что он, один тут!? Чего ему надо?

- Открыть дверь да под колеса. Вот что ему надо, - объяснил здоровый, тяжелый, пожилой солдат, у которого руки и ноги были целы, но зато голова была замотана так, что бинт закрывал и один глаз. - Да вот сил не хватило, а этот, узбек, перехватил его.

Узбек с загипсованной рукой, морщась от боли, то закрывал, то открывал свои черные, запавшие глаза, и на его лицо было страдание, а кровь сочилась даже через гипс, но он коленом отталкивал сапера от щели, в которую тот старался просунуть носок сапога, чтобы ногой сдвинуть дверь.

- Совесть у тебя есть? Есть совесть? - спрашивал сапера пожилой солдат, встряхивая за воротник. - Дай людям поспать. Всех сколобродил! Ничо у тебя тут не выйдет. Ничо...

- Не тут, так еще где, - хныкал сапер. - Не буду жить! Не буду!

- Это дело твое... - подумав, решил солдат и оттащил сапера к печке. - Родиться человек не волен, а помереть... Руки на себя наложить в его власти. В его...

- Лучше б меня убило...

- Да... - протянул солдат. - Горе...

Он присел рядом с сапером, достал кисет, бумагу, свернул папироску, прикурил ее, вынув из печки уголек и перебрасывая его из ладони в ладонь, затянулся несколько раз и сунул папиросу саперу в рот.

- Кури. Тебе тож? Свернуть? - спросил он узбека. Узбек сел на пол, поджав по-восточному ноги, и, положив на колени загипсованную руку, стал греть ее. Освещенный из печки гипс казался розовым, а то небольшое мокрое пятнышко внизу него казалось черным, и черными же казались капельки, которые нет-нет да падали с этого пятна узбеку на сапог.

- Сверните.

- Ташкент? - показал глазами на огонь солдат, отрывая две полоски.

Узбек мучительно улыбнулся.

- Ташкент...

Сапер курил, поправляя папироску забинтованной рукой, бинт от этого начинал тлеть, и он тер затлевшее место другой культей.

- Вам хорошо... А мне... А мне... - плакал он.

Солдат, свернув обе папироски, отдав одну узбеку, как бы думая сам над тем, что он говорил, начал утешать его:

- Говорят, есть теперь дома, где держат таких вот... Бедолаг... И кормят там... И обиходят... Что, ты один такой?.. Таких, брат, тыщи... Девать же их куда-то надо... Чтoб ни в тягость ни им, ни семье...

- А что я там буду делать? Что? - не унимался сапер.

- Ну... ну, жить... Жить просто... Что ты теперь можешь?..

- Ни делать ничего... Ни видеть ничего...

- Радио будешь слушать!.. - нашелся солдат. - Оно ведь как? Оно тебе про весь мир расскажет. А что? - солдату понравилась эта мысль. - Сытый, обихоженный, слушай себе да думай. Все знать будешь. Как какой профессор.

Сапер затих. Кто-то с нар спросил:

- Ты, солдат, уж не поспи, пригляди за ним. За ради всех.

- Пригляжу. Спи! - согласился солдат. - Чего не приглядеть! - В голосе у него звучали готовность послужить другим, доброта к ним: наверное, он думал, что вот долечится, вот будет отпущен домой, чего ж ему не послужить всем этим болящим да скорбящим, когда для него война кончилась, когда для него вот-вот начнется человеческая жизнь в родной деревне.

- А если что, под нарами провод. Тут, сразу с краю. Давеча видел. Увяжи его, и вся недолга. Чтoб людям не мешал. Да и сам потише бубни.

Задремывая, Андрей слышал приглушенные голоса возле печки: «И чего же ты так неловко... И надо же так...» - «Я их тыщи разрядил, а эта сволочь... Ночь... Темень... На животе лежишь... Перед их проволокaй проход делали... Как шваркнет... И нету ни рук, ни глаз...» - «Да... Радио... Цельный свет-мир... Ты не грей, не грей особо руку - кровить пуще будет... - Это он, видимо, говорил узбеку. - Терпи уж до утра... Тут не долго... Ишь, как набрал ход! Теперь нас... Однако чего же это мы так толкуем? Как безвестные какие, как без роду, без племени. Познакомиться надо. Меня вот зовут Дмитриевым. Степан Николаевич Дмитриев. Тебя-то как? Ага, Суходолов Терентий... А по батюшке? Николаевич тоже? Ну что ж, значит, наши отцы были тезками. А тебя? Рыспеков? Сейтфулла? Мудрено, но имя есть имя... Так вот, ребята...»

Вагон дернулся очень резко, так что не проснуться было нельзя, и Андрей открыл глаза. Через щели верхних люков и в щель у двери шел свет, его было достаточно, чтобы различать все в вагоне: нары, тела на них, погасшую печечку посередине.

Рывок вагона разбудил почти всех, и многие сели и стали тревожно оглядываться, а Андрей пошел к двери. Тут паровоз дал гудок - длинный, тревожный, ему ответили еще несколько отдаленных гудков.

Андрей попробовал дверь, упершись в нее ладонью и плечом, ее надо было подвинуть по рельсочке. Дверь поддалась, и он сдвинул ее, выглянул и в первую очередь посмотрел на небо.

Небо было плохим: его закрывала низкая, с разрывами облачность, которая очень подходила для бомбардировщиков, в нес можно было прятаться, а пролетая разрыв, сверять курс.

Эшелон, изгибаясь, подходил то ли к небольшой станции, то ли к крупному разъезду, на котором сейчас стояло несколько составов и к которому издали и высоко шла девятка «юнкеров». Он сразу определил, что это «юнкеры», и по их строю, и по звуку моторов, который, когда дверь была закрыта, еще не был слышен из-за стука колес, а теперь хорошо различался.

«Этого еще не хватало, - подумал он. - Для полного счастья!.. И куда он прет? - подумал он о машинисте, тут надо «Стоп! И - задний ход!»

Действительно, на разъезде стояли цистерны - штук тридцать цистерн, был состав из товарных вагонов, а между ними, как бы втиснувшись, стояли платформы с танками и самоходками. На этих же платформах, задрав стволы вверх, целились в «юнкеров» зенитки.

- Что там! Что? Эй, парень! - крикнуло ему сразу несколько, а четверо «сидячих» быстро подошли к нему и старались через плечо и под рукой у него увидеть хоть что-нибудь.

- Все то же! - крикнул он всем. - Фрицы! Воздух!

- А, мать их!.. - выругался кто-то на верхних нарах.

Он толкнул дверь дальше, чтобы можно было спрыгнуть.

- Воздух! - крикнул один из тех, кто стоял у него за спиной, и быстро полез под нары. Что ж, крыша, люди на верхних нарах, сами нары, затем люди на нижних нарах, эти нары складывались в довольно-таки надежную защиту для того, кто был под нижними нарами, если бы по вагону сверху били из обычного пулемета. Но от крупнокалиберного, или авиапушки, или от бомбы это не спасало. Но еще несколько человек, крихтя, матерясь от боли, полезли под нары.

Машинист, дав снова тревожный гудок, резко тормознул, так что звякнула все тарелки буферов, заскрипели, заскрежетали пружины, а вагоны захрустели, стараясь налезть друг на друга.

«Юнкеры», перестраиваясь, подходили к станции, но и с танкового эшелона, и с земли как-то сразу дружно и плотно ударили зенитки, и можно было подумать, что «юнкеры» сейчас же отвернут. Но они не отвернули, а ринулись через цветные - оранжевые, белые, темные - хлопки разрывов перед

ними, стали один за другим входить в пике и кидать па станцию бомбы.

Самолетам требовались лишь секунды, чтобы прицелиться, кинуть бомбы и, ревя моторами, выходить из пике в горизонтальный полет, они выходили из него над тем путем, по которому шел состав с ранеными, и летчики, конечно же, били по составу, как по дополнительной цели, целясь сначала в паровоз, а потом и по вагонам.

Сжавшись в комок, держась за косяк открытой двери, все не решаясь прыгнуть - откос был высок, а скорость еще большая, Андрей сквозь рев моторов слышал, как немцы попадают по крыше, слышал, как закричали в вагоне раненые: «Добивают, гады!», «Ох!», «А-а-а-а!», оглянувшись, увидел, что крыша в нескольких местах светится, как проколотая, тут скорость эшелона наконец пала, он, оттолкнувшись от края пола, подхватил правой рукой раненую, прижал ее к животу, свел плотно ноги вместе, как это делают парашютисты при посадке, слегка откинул корпус назад, пролетел над краем насыпи, ударился в гравий каблуками, откинулся еще назад, чтобы его не перевернуло, и на спине, так что полы шипели задралась ему к голове, съехал вниз и остановился. И он тотчас же вскочил, снова прижал руку к животу - ее от толчка заломило невыносимо, - стиснув зубы, побежал, как и другие выскочившие из вагона, от насыпи под прямым к ней углом. Через рыхлый снег, по оттаявшей уже под ним земле бежать было трудно, но ему следовало отбежать всего каких-то полста метров, чтобы оказаться в безопасности, и он отбежал их, не переводя дыхания, потом упал на бок и посмотрел на небо, на станцию и на свой эшелон.

В небе, дымя, уходил вбок и вниз «юнкерс», и он злорадно подумал: «Что, вмазали тебе? Чтобы ты грохнулся», но в небе, разворачиваясь на второй заход, шли, как привязанные друг к другу за хвосты, остальные восемь «юнкерсов», и он подумал, что сейчас эти сволочи еще вмажут по станции.

На станции горели цистерны, с нескольких платформ были сброшены танки, но зенитчики отчаянно били и били, хотя можно было заметить, что разрывов в небе меньше.

Он, приподнявшись, попытался увидеть свой эшелон, но увидел лишь уходящую последнюю теплушку - машинист уводил состав подальше, чтобы выйти из зоны обстрела.

«Юнкерсы» успели еще раз отбомбиться, стали ложиться на обратный курс, передние самолеты уже растаяли в облаках, когда справа, идя сначала низко, а потом забираясь все выше, вылетели наши истребители. Звенья моторами, они ввинчивались все выше, доставая уходящих немцев, но прежде чем они догнали их, все «юнкерсы» ушли в облака. Но истребители пошли за ними, наверное, чтобы, поднявшись над «юнкерсами», лететь и ждать, когда встретится новый разрыв в облаках и покажутся цели, и тогда можно будет с ними разделаться.

На станции горели и домики, люди сутились, таскали из колодцев воду, заливали пожары, спасали добро, а железнодорожники, паровозом толкая состав, сначала назад, а потом вперед, отцепляли от горевших цистерн другие. Танкисты, сгрудившись около сброшенных танков, налаживали тросы, проверяли моторы, словом, копошились на танках, внутри них, возле них, делая все нужное, чтобы привести их в порядок и снова затащить на платформы.

«Н-да! - сказал он себе. - Вот тебе и последний рывок. Не говори «гоп», пока не перескочишь. - Но он тут же добавил: - И все-таки надо проскочить!»

В действительности ему и надо было «проскочить» эту разбитую, выведенную на какое-то время из строя станцию. И он пошел через нее, обходя поваленные стрелки, лужи вылившейся, но не вспыхнувшей нефти, вывороченные шпалы, изогнутые, сорванные в нескольких местах рельсы.

- Сколько отсюда до Харькова? - спросил он, остановившись возле железнодорожников, они громадными ключами отвинчивали гайки, с помощью которых рельсы крепятся к шпалам. - Наделали делов эти фрицы!

Усатый, пожилой железнодорожник в брезентовом, насквозь промасленном картузе, в такой же куртке, разогнулся, перевел дыхание и сплюнул.

- Наделали... А тут... До Харькова сто пятьдесят три километра.

«Нда! - сказал он опять себе. - Пешком не получится. Если бы я еще взял мешок...»

Идти полторы сотни километров по шпалам, не имея еды, было, конечно, почти бессмысленно: даже деньги ротного не спасали - через сколько километров попадались бы станции, где он мог бы купить поесть? Быть может, ему пришлось бы уходить от железной дороги в деревни за продуктами, но ни эти поиски в деревнях, ни длинный путь - в дней пять - по шпалам, ему не улыбались.

- И насколько мы теперь тут застряли? - спросил он, как бы между прочим, доставая Зинин кисет и газетку, и протягивая их усатому. - Сверните и мне.

Рабочие бросили инструмент и, передавая газету и кисет, свернули себе сигарки, но сначала усатый свернул ему и, чиркнув зажигалкой, дал прикурить.

- Сутки! Сутки, брат, не меньше, - ответил он, помогая ему затолкать кисет и бумагу в карман шинели. - Разве ремлетучки придут быстро.

- Быстро придут, - сказал худой, не бритый с неделю, с серым лицом и запавшими глазами рабочий. - Эти, - он показал на танки, - ждать не могут. Сейчас селектор наладят, по селектору и вызовут.

Шагая дальше, он, обдумывая этот разговор, пришел к выводу, что худой железнодорожник прав: ремлетучки должны все-таки прийти быстро, во-первых, этот танковый эшелон где-то же ждали и ждали с нетерпением, потому что танковые эшелоны без строгой надобности не катаются по железным дорогам, во-вторых, следовало этот танковый эшелон угнать со станции скорее хотя бы и потому, что

вдруг бы фрицы снова прорвались сюда? Конечно, это был не сорок первый, даже не сорок второй, и они уже не были хозяевами в небе, но к такой цели, о которой вернувшиеся экипажи доложили, они могли попытаться прорваться и еще раз. Так что был резон уводить эшелон с танками как можно быстрее, а это значило как можно быстрее починить путь, а это значило прислать ремлетучки тоже как можно быстрее.

И он зашагал к выходному семафору, минуя убитых, отнесенных в пристанционный палисадник на клумбы засохших георгинов, раненых, сгрудившихся у домика, гражданских, торопливо перебегающих от домов к простреленной во многих местах маленькой цистерне, из которой через дырки выливалось подсолнечное масло. Женщины и детвора суетились вокруг нее, подставляя под желтые, густые, пахнущие семечками струи ведра, тазики, бидоны, крынки для молока, пока несколько рабочих забивали эти дырки колышками, обернутыми тряпками. Гравий вокруг цистерны пропитался маслом, чавкал под сапогами, масло затекало женщинам и детям в обувь, но они не обращали на это внимание, торопясь запасти побольше этого дармового продукта, а железнодорожники, забивавшие дырки, так вообще были блестящими от масла.

- Берить олию! - предложила ему молоденькая женщина, сияя коричневыми глазами и улыбкой - алыми губами и белоснежными зубами, очень яркими по сравнению с ее смуглым лицом. - Котелок маете?

Он отрицательно покачал головой - на кой ему было это подсолнечное масло!

Но женщина желала сделать ему добро.

- Хотить я вам глэчик позичу? - она протянула ему полный до краев масла глиняный молочный горшок.

Ну, что бы он делал с ним? Ташил до Харькова под насмешки солдат? Он снова покачал головой.

- Спасибо, не надо. Но вот не могли бы вы мне продать чего-нибудь поесть? - От запаха олии у него засосало в животе. - Я хорошо заплачу. - Он показал деньги.

Тут прибежал мальчишка лет семи.

Мальчишка приволок еще два пустых горшка, и общими усилиями они их наполнили, женщина сказала: «Будэ», что означало «довольно», «хватит», повела Андрея к себе, недалеко в домик с синими ставнями, палисадником, в котором ходили куры, росли вишни, кусты смородины и крыжовника и в котором сейчас стояла всякая посуда, наполненная олией.

- Як це скажуть виддаты, мы виддадим, а як що не скажуть... - пояснила ему женщина.

- Может, не скажут? - предположил он, идя за ней в дом.

Он поел, он хорошо поел - холодной, оставшейся от вчерашнего, видимо, ужина яичницы с салом, подбирая жир со сковороды пресной лепешкой. Вместо чая, пояснив, что они «его не пьют и не варят», хозяйка выставила простоквашу, он добил и ее и, прислонившись к стене, не выходя из-за стола, задремал.

Через час раздался со стороны Харькова далекий гудок ремлетучки - он встал, положил на стол красную тридцатку, попрощался с хозяйкой, вышел к ремлетучке, дождался, когда с нее сгрузили рельсы, шпалы, костыли, взобрался на платформу, и летучка, возвращаясь в Харьков, увезла его и несколько других солдат, добирающихся туда же.

«Так! - сказал он себе на Южном вокзале Харькова. - Прикинем обстановку!»

Вокзал был почти разрушен, возле многих времянок толпились солдаты и офицеры, а несколько путей занимали санитарные поезда - то есть составы теплушек, набитых ранеными. Он мог легко сойти за раненого из любой из них.

Дождавшись, когда команда раненых, способных двигаться самостоятельно, то есть раненых не в ноги, подалась с вокзала в город, видимо, на какой-то сортировочный пункт, он присоединился к ней, прошел по привокзальным улицам и по Сумской до университета.

Университет был набит ранеными, а на площади стояло множество всяких машин. Одни из них отъезжали, другие приезжали. Здесь можно было протолкаться несколько часов, и никто бы, пожалуй, не поинтересовался, кто ты и откуда. Но задерживаться в университете не было никакого резона, и он пошел к машинам, поболтался там, вроде перекуривая, и прицелился к одному «виллису».

Его шофер, не в шапке, а в довоенном - кожаном, а не брезентовом, танкошлеме, в «венгерке», парень лет двадцати двух, судя по всему, собирался скоро уезжать: он подкачал баллон, откинув капот, поковырялся в моторе и долил в бак из канистры бензину.

Андрей подошел к нему.

- Не по Белгородскому шоссе?

- Нет, - отрезал парень, усаживаясь за руль. У парня были рыжеватые усики и серые, чуть навывкате глаза. Рядом, на правом сиденье лежали краги - летные перчатки с длинным, до локтя, раструбом, а на заднем сиденье в узле были завязаны буханки белого, с базара видимо, хлеба. Словом, шофер этот был не из числа тухтей-матюхтей, и с ним можно было говорить.

- Подбрось. До двенадцатого километра.

Он достал две тридцатки.

Шофер покосился на них.

- Там на шестом километре КПП.

- Подбрось до шестого! - он прибавил еще одну тридцатку, и парень, прищурившись, внимательно

посмотрел на него.

- Сам печатал? - Тридцатки ротного были новенькие, видимо, из последнего жалования, они лишь слегка помялись на сгибе,

- Ага.

- И много напечатал?

Он вынул остальные.

- Да вот все.

- Что ж так мало?

Он улыбнулся.

- Бумага кончилась.

Шофер откинулся к спинке.

- Хорошо ответил, - он взял краги и положил их на колени, - Ты что, белгородский?

- Нет, - Андрей сел рядом.

- А откуда?

- Москвич.

Шофер всплеснул руками и тряхнул головой так, что танкошлем съехал ему на затылок.

- Что ж ты раньше не сказал! Коренной? С какой улицы?

- Я там родился. И отец и дед родились там. Ленинградское шоссе, дом двенадцать.

Андрей прислонился к капоту машины, заложил ногу за ногу, чтобы все казалось естественным, непринужденным - два парня толкуют о чем-то, и все тебе.

Москвичей воевало много, тем не менее всегда было приятно встретить на фронте москвича, от этого как бы приближалась сама Москва.

Это почувствовал и шофер.

- Как звать?

- Андрей. Андрей Новгородцев.

- Меня - Денисом. Денис Рябов. Улица 8-го марта, дом 32, квартира 18. Недалеко от стадиона «Динамо». - Денис показал на лангету. - Первое?

- Третье.

- Работают?

Он пошевелил пальцами.

- Но еще больно. Подбрось. Что тебе стоит?

- Не по пути мне, Андрюха. Никак не по пути.

Андрей провел ребром ладони по горлу.

- Мне вот так надо. Вот так! Понимаешь, друг? «Я рядом, - подумал он. - Если шофер согласится... если подбросит...» - Он достал остальные тридцатки, - Возьми все. Только подбрось!

Денис сморщился, плюнул за подножку.

- Убери! Не позорься! Не в деньгах дело! Рванул из госпиталя?

- Рванул, - он рассказал только о налете на эшелон и как он добирался до Харькова.

- Знаю, - подтвердил об эшелоне Денис. - Слышали. Это из нашей армии. Тут, - он кивнул на университет, - наших четверо. Из батальона. Я им подбрасывал харч и все такое, от ребят. А на кой тебе это шоссе? - вдруг спросил он. - На кой, если ты москвич?

- Я там лежал до этого ранения. Ну и, сам понимаешь... - Больше говорить он не хотел - не хотел он говорить вслух то, что было для него сейчас свято, не поворачивался дальше язык. «Какие-то полгорода! Какие-то двенадцать километров!» - Он не сдержался и застонал.

- Что, больно? И там у тебя кто-то? - Денис подмигнул.

- Жена. Подбрось, друг. А?

- Жена? - Денис посмотрел на него, прищурился, пошевелил краги на коленях, пожевал губами. - Жена... Да... это, брат, тебе, не... Это, брат... - он надел краги. - Черт с ним! Едем. Сто километров - не крюк. - Он включил зажигание, и у Андрея радостно забилося сердце.

- Ну... - сказал он, но Денис его перебил. Денис вдруг осмотрел его с ног до головы и, судя по полусочувственной, полупрезрительной улыбке, остался недоволен этим осмотром.

- Так это точно, что к жене?

- Точно. Зачем мне тебе врать. Мы поженимся. Ну...

- Ты с фронта? С фронта. Ранен? Ранен. Возвращаешься к жене? К жене. К семье! - спрашивал и сам же отвечал Денис. Он говорил это сердито, снова рассматривая его. - И как возвращаешься! Обшарпанная шинелишка, обгоревшая шапка...

Поворот разговора был неожиданный и неприятный. Андрей нахмурился - ну, согласился подбросить, ну, спасибо за это, но какого хрена он выговаривает? Он вспомнил вещмешок Степанчика.

- Так все сложилось. Ребята кое-что дали мне на дорогу, но пропало под бомбежкой. Да и потом... да и потом... Это все чепуха!

- Ничего не потом, - возразил Денис. - Ничего не чепуха! Даже захудалого сидорка нет. «Сидором», странно человеческим, деревенским именем презрительно называли объемистые, под завязку набитые домашние мешки, с которыми приходили в армию слишком хозяйственно-запасливые мужички, развязывающие их украдкой, дабы никто ничего не попросил. Но иногда тощий солдатский вещмешок ласково называли «сидорок».

- Надо подарок. Хоть какой. Не по-людски приезжать к невесте без подарка, - решительно заявил

Денис.

- Где я его возьму? Не из дома от мамы... - Андрей пожал здоровым плечом, хотя мысль Дениса затронула его.

Денис постучал по рулю.

- Ясно, что и не от папы. Завернем тут недалеко. Толчок есть. Купишь что-нибудь. Добро?

Толчок оказался базаром, и не маленьким, и они ходили по нему так: Денис впереди, Андрей за ним. Они прошли и раз, и два, но ничего путного не попадалось, отчего Денис крутил головой:

- Фуфло. Фуфло чистой воды.

Ему не нравились ни колечки, сделанные из серебряных царских монет, ни чиненые туфли, ни поношенные кофточки. Но они все-таки наткнулись на дельную вещь: запитой на вид, багрово-синий тип («ханыга» - так потом назвал его Денис) держал в тряпице, чтобы не замусолить, отрез броского шелка - алые маки на синем поле.

- То! - шепнул Денис. - Молчи! Твое дело сопеть. Ясно?

Денис взял отрез и пощупал ткань.

- На кофточку?

- На платье, - буркнул ханыга.

- Почем?

- Шестьсот.

- А как отдать?

- Шестьсот.

- Побойся бога!

- А я неверующий.

- Четыреста, и разошлись, как в море пароходы.

- Шестьсот, - ханыга потянул отрез к себе. - Отваливайте.

- Пятьсот. Или патруль, - не выпускай отрез, Денис встал на цыпочки, как бы выглядывая патруль. - Таких дяденек с перцем - Отсчитывай! - приказал он Андрею.

Андрей пересчитал тридцатки. Их было восемнадцать - пятьсот сорок рублей. Как одна копеечка.

- Ты патрулями не пугай! - заявил ханыга. - Я контуженый. Бумажку показать?

- А шелк? - Денис не выпускал отрез: - Раненый?

Ханыга дернул, отрез чуть не лопнул.

- Шестьсот. Дали по ордеру. Показать? Или для вас кликнуть патруль?

Андрей развернул тридцатки в веер.

- Возьми. Больше нет. Честное слово нет. Пятьсот сорок.

Но даже алая радуга ханыгу не впечатлила.

- Шестьсот! И вообще - отваливай!

- Ну тип! И рожают же женщины таких! - Денис сгреб у Андрея деньги, добавил своих и ткнул пачкой ханыге в живот. - На! Живоглот!

- Спасибо, - сказал Андрей, когда они помчались. - Если бы не ты...

Денис отмахнулся:

- Пустое. Пустое. Теперь... Молись своему пехотному святому, чтобы проскочить КПП. А то нам обоим всыпят. Кто у вас святой? Георгий Победоносец?

- Это, пожалуй, кавалерия. - Они мчались хорошо, Денис решительно жал то на педаль газа, то на тормоз, так что Андрея бросало то к спинке, то к стеклу, и приходилось крепко держаться за скобу, приделанную напротив. - Наш, пожалуй, Александр Невский.

Они благополучно проскочили город, но на окраине Денис притормозил, и они постояли, пока на шоссе не втянулась какая-то колонна грузовиков. Улучив мгновение, Денис воткнулся между тяжелым «маком» - здоровенной машиной, за которой «виллис» просто спрятался, и походной мастерской. Держась буквально в метре от этого «мака», Денис иногда принимал влево и выглядывал из-за него.

Колонна подошла к КПП, остановилась, там офицеры показывали нужные документы.

Денис, бормоча: «Ну, так где там твой Александр Невский? Пусть пошевеливается, напускает чары на КПП, иначе...» - держал скорость включенной, лишь выжав сцепление, и, чуть добавляя оборотов, не глушил мотора, тут «мак» дал газ, отчего их «виллис» просто заволокло дымом, Денис рывком отпустил сцепление, «виллис» прыгнул вперед, Денис подогнал его под самый зад «мака», и они минули КПП, сделав вид, что КПП их совершенно не интересует.

- Человек едет к жене! С фронта к жене, - пояснил ему Денис, улыбаясь. - Тут, брат, сам бог помочь должен.

На десятом километре их «виллис» обошел колонну, на одиннадцатом начались знакомые места - он гулял тут и один, и со Стасом. «Эх, Стас! - подумал он. - Что я скажу Тане? Что я ей скажу?» - на двенадцатом он скомандовал Денису:

- Стоп! Стоп тут!

«Виллис» скрипнул тормозами, съехал на обочину, и Денис заглушил мотор.

- Ну, паря! С приездом тебя!

- Спасибо, - он пожал Денису руку, - Просто не знаю, как ты меня выручил.

Денис тоже вылез из «виллиса».

- Благодать тут какая! Глянь, даже подснежники.

И правда, за обочиной на тех бугорках, которые лучше прогребались и где снег сошел, робко стояли

нежные и хрупкие, как огонечки, подснежники: желтый цветочек на коротком почти полупрозрачном стебельке. Еще дальше от обочины в подлеске перепархивали синицы, еще какие-то пичуги, солнце освещало высокие кроны сосен, а между их стволами виднелся госпиталь 3792.

Денис прыгнул на сиденье, включил стартер.

- Тороплюсь. Извини. На свадьбе выпей за экипаж ИС башенный номер восьмой.

- Обещаю. Вы там аккуратней. Зря на рожон не лезьте.

- Э-э-э! - улыбнулся Денис. Он отодвинул борта «венгерки» и показал две нашивки за легкие ранения и одну за тяжелое.

- Я - башнер! Это, - он стукнул по рулю, - это так, чтобы подскочить к нашим. Я - башнер в ИС! Мне ведь что - только попади. Р-р-аз - и квас!

Что ж, башнер, башенный стрелок Денис Рябов, говорил правду: на ИС - самом тяжелом нашем танке стояла пушка калибром сто миллиметров, и стоило из такой пушки попасть в любой танк немцев, и он или горел, или, во всяком случае, выходил из строя. Но ведь, если немецкий башнер с «тигра» или с «Фердинанда» попадал в ИС, то ИС тоже или горел, или выходил из строя.

- За мной их уже семь! Ну, счастливо тебе, брат! Лечись! Люби жену. И приходи потом добывать этих поганых фрицев. Или нет - люби и будь счастлив. Надо же, чтобы хоть кто-то на этой земле был счастлив! А мы уж как-нибудь и без тебя управимся. Ну!..

- Стоп! - остановил он его. - Стоп, друг. - Прижимая лангетой к животу пламенеющий шелк, а на фоне его шинели шелк и правда, как горел, он достал Зинин кисет. - Возьми. Возьми-возьми. Знаешь, где он был со мной? - Денис смотрел нерешительно. - Знаешь? Там! - Он показал кисетом на запад. - Два месяца у них в тылу.

Он сунул кисет Денису на колени, хлопнул его по плечу, сказал:

- Бей их, гадов!

Денис ответил: «Обещаю. У меня тоже с ними счеты: из четверых нас - отец убит, старший брат Никита убит, самый младший - Серега - пришел без глаза. Так что у меня с ними не цирлих-манирлих! Счастливо, брат!» - рванул «виллис», заложил на шоссе вираж, так что «виллис» даже накренился, и помчался к городу.

Он пошел к госпиталю, прижимая шелк сначала к животу, но потом, спохватившись, сунул его за борт шинели, и шелк как бы приглушил удары его сердца.

В госпитале отужинали, и, как всегда, на крыльце несколько раненых перекуривали, и, как часто бывало, какая-то сестра или санитарка - издали виднелся только халат, а лица было не разобрать - тоже вышла на крыльцо, то ли передохнуть, то ли поболтать, и он, пройдя между сосен до главной аллеи, свернул на нее и пошел, держась ее края, чтобы не очень-то быть заметным.

Но, конечно же, его заметили: все с крыльца стали смотреть на него, а сестра вышла вперед, и он узнал ее, и она - это была Таня - узнала его и побежала навстречу.

Он остановился, а Таня, еще на бегу, кричала ему:

- Андрей! Андрюша! Здравствуй! А Стас? А Стасик? А Стас? Да чего же ты молчишь!

Таня с бегу обняла его, поцеловала, зашептала: - Она ждет! Какое счастье! Сейчас... - Таня повернулась к крыльцу и крикнула: - Позовите Лену! Лену крикните! - еще раз поцеловала его от радости за Лену и снова стала спрашивать: - А Стас? А Стасик? Три месяца ни строчки... Какой, все-таки он гадкий! Ну чего ты молчишь?!

- Здравствуй, - сказал он. - Здравствуй. Здравствуй...

Все обнимая его, она откинулась, чтобы заглянуть ему в глаза, поняла и, застонав: «А-а-а-а!..», отпустила его, спрятала лицо в руки, сторбилась и так, сторбившись, убежала в боковую аллею и упала там на скамью.

- Отъезжающие, приготовиться к построению! С вещами! - скомандовал старший команды - младший лейтенант, который должен был сдать ее на пересыльный пункт, а сам потом следовать в офицерский резерв.

Отъезжало восемнадцать человек, каждому из них накануне на комиссии было вынесено определение - «sapius», что означало по-латыни - здоров.

- Ну, ладно, ладно, - говорил Андрей Лене. - Ну, перестань же. - Но Лена плакала, прикинув к нему, уцепившись одной рукой за гимнастерку, а другую руку не снимая с его шеи. Он искал какие-то слова, чтобы успокоить ее, подбодрить, но такие слова не находились, все, что он мог ей сказать на этот счет, было: - Ну чего ты? Как маленькая. Что я, первый раз туда?

Кончился июнь, стояла теплынь, начинался четвертый год войны и четвертый его круг в ней.

Его руку вылечили, на ней осталось лишь два больших и широких шрама. В лангете, потом без нее, в бездействии она сначала усохла и ослабла, он прошел еще через одну операцию, но не под общим, а под местным наркозом. Это был тяжкий час: обезболив уколами мышцы на руке, хирурги не могли обезболить кость, а чистить следовало именно ее - надкостница начала гнить, и хирурги скребли ее какими-то ужасными скребками вроде вилок с загнутыми концами. Больно было ужасно, он стонал, от него требовали терпеть, сестры и санитары, навалившись на него, прижимали к столу, и он должен был лишь мысленно ругаться самыми последними словами.

А за дверями операционной, прислонившись лицом к стене, плакала Лена.

Но после операции рука стала заживать быстро, из все уменьшающихся ран вышло несколько

мелких костных осколочков, после лангеты он стал этой рукой брать стакан, сперва едва удерживая его какие-то секунды, потом что-то потяжелее, потом сестра-физкультурница заставляла его делать всякие упражнения, потом он стал ходить в наряд на кухню, колот там и таскал дрова, и рука развилась.

Она была, конечно, куда слабее правой, но винтовку, обхватив ее за ложе, или автомат, подставив под магазин ладонь, удерживать она могла.

И все стало на свои места.

Что ж, все стало на свои места, он написал ротному, ротный ответил ему, потом началось дознание, но кончилось и оно, и теперь он был, как все, на равных.

Еще на одно письмо, отправленное две недели назад, в котором он сообщал, что дело идет к выписке, ротный, правда, пока не ответил, но он полагал, что это тоже вполне объяснимо: по сводкам он знал, что его корпус вновь в боях, а это могло значить, что ротному не до него. Да и, если ротный все-таки черкнул, его ответ мог застрять где-то на полевой почте.

- Проклятая война! - сказала Лена, пряча лицо у него на груди.

Он погладил ее по голове, по плечам, обнял и прижал к себе, ощущая какие теплые, нежные и хрупкие у нее плечи. За эти месяцы любви и нежности она стала для него родной, единственной.

Она не надела платья из того шелка, который достали они с башнером. Она сказала, что проводит его так, тогда он вернется, и на ней была солдатская гимнастерка и юбка солдатки. Но и в этой одежде она казалась незащищенной.

- Что сделаешь!

- Я ненавижу их! - Та ее рука, которая держала его за карман гимнастерки, сжалась в кулак. - Как я их ненавижу! Почему они мешают нам жить?

- Не только ты. Мы все их ненавидим. Они всем нам мешают жить.

- Какие они жалкие! И мерзкие. Фройлены, брод! Кляйн кусошк брод! - протянула она, показывая, как пленные немцы, работавшие в Харькове - они разбирали разрушенные здания, - просят у прохожих хлеба.

- Ну, нет, - не согласился он. - Ты не видела их там... - Она почувствовала, что он их там видит, и подняла к нему лицо - заплаканное и несчастное.

- Нет. Не видела.

Он и в эти месяцы почти ничего не рассказывал ей. «Зачем?»

Но, сказав: «Ты не видела их там», он должен был и как-то пояснить эту мысль. И он добавил: - Там, с оружием, в боевом порядке - они другие...

На некоторое время она затихла, снова спрятав лицо у него на груди. Они стояли в боковой аллейке, недалеко от главного крыльца. Скатка и вещмешок лежали рядом, под кустом.

- Таня, наверное, видит. Видела, - сказала наконец она. - Бедная Таня...

- Возможно, - согласился он. Таня, погоревав неделю, подала рапорт о переводе в действующую армию, добилась назначения сестрой в какую-то часть и была на фронте.

- А если я подам рапорт? - робко спросила она.

Он резко отстранил ее от себя.

- Не вздумай! Не вздумай! Выбрось из головы! «Хватит и меня там одного из нас двоих!» - мрачно подумал он.

Она смотрела на его рассерженное лицо, тянулась к нему, но он удерживал ее так, чтобы видеть ее глаза.

- Я... я не буду... если сделаешь это, я не буду тебе писать. Так и знай, - другим ничем он напугать ее не мог. - Не женское это дело - война! - «Убивать или видеть, как убивают, не женское это дело», - хотел он сказать ей, но не сказал.

Она все-таки возражала.

- А другие? А Таня?

- Что ж, - вздохнул он и добавил мысленно: «И Мария тоже». - Это только от нужды. Понимаешь, только от нужды. Нас, - он подразумевал мужчин, - не хватает. - «Не хватает. Не хватает на эту страшную войну», - это он сказал про себя.

Сворачивая с шоссе, двигаясь медленно к госпиталю, полуторка с санитарными крестами на бортах дала несколько коротких гудков.

- Машина! - прошептала Лена. - Андрюша, милый, родной мой. - Она приникла к нему и затихла.

- Да, родная... Но... но я обещаю писать тебе часто, так что ты...

- Что письма! Что письма! - совершенно отчаянно сказала она.

- Проверять людей! Старшина Киселевский, проверить людей! - скомандовал младший лейтенант. На этой санитарной машине они должны были ехать на пересыльный пункт.

- Отъезжающие, выходи строиться! - крикнул весело, так, что слышно было далеко, старшина Киселевский и побежал вокруг госпиталя, собирая отъезжающих. - Андрюха! Кончай любовь! В строй!

Они пошли к крыльцу.

Полуторка подъехала, развернулась, стала, шофер помог откинуть задний борт, санитары подставили ряд табуреток, по ним сошли те, кто мог, у кого эвакуация была «сидя», на крайнюю табуретку тотчас же вскочил дежурный врач, на другие взобрались санитары, и врач приказал им:

- Этого, второго справа. С кровотечением. Санитары полезли в машину и начали перекладывать того, с кровотечением, на носилки.

- Тихо! Тихо, ребята! - крикнул он. - Больно...



- Держи! - Андрей сунул Лене скатку и вещмешок и вспрыгнул на колесо.

На него, запрокинув голову, сжав синие губы, смотрел Степанчик.

- Ты!.. Ты...

Он больше ничего сейчас не мог сказать, у него в горле стал комок: санитары, убрав со Степанчика шинель, перекладывали его на носилки. У Степанчика не было обеих ног, правой выше колена, а левой выше стопы, и низ бинта на правой промок от крови. Степанчик был плох - без кровинки в лице, у него и сил даже стонать не хватало, а глаза все время закрывались.

- В операционную! - приказал врач, и Андрей пошел рядом с носилками, а Степанчик, поймав его руку, не отпускал и плакал.

- Видишь, видишь, Андрюша... Они меня устосали... Эти вонючие фрицы...

Операционная была на втором этаже, и он помогал на лестничных маршах разворачивать носилки, а Степанчик все ловил его руку.

- Бей их, Андрюша. Бей сволочей...

Обе половины двери операционной были распахнуты, стол готов, инструменты приоткрыты, и хирург, и две сестры ждали в масках и перчатках.

- Она меня резала! Эта тетка-осьминог! Зачем? Может, так бы зажило... - плакал Степанчик. - Теперь на кой я годен? Кому нужен? Усыпила и резала. Откусила ножки... Выздоровлю, приеду и застрелю... - от слез Степанчик гундосил больше обычного.

- А ротный? А ротный, ротный? -- спросил Андрей, отнимая руку. - Ротный?..

- Нет! Нет ротного! - Степанчика перекладывали на стол. - О! Больно! Больно, черти! - Андрей все придерживал одну половинку двери, а санитар его отталкивал.

- Жгут! - скомандовал хирург. - Снять повязку! Зажимы!

Одна из сестер, не сматывая, а разрезая ножницами, снимала куски кровавого бинта, а другая прямо поверх отрезанной штанины у самого паха затянула на ноге Степанчика жгут.

- А! - крикнул Степанчик и, приподнявшись, увидев, что Андрей еще удерживает дверь, тоже крикнул ему:

- Нет! Нет ротного! Две пули в живот... А мы в окружении... Деревенька четырнадцать домов... Сгоревших... Мы отбили ее, держали, а они нас отсекали... Кричал он, корчился... Приказывал пристрелить... А я... А я...

Что ж, деревеньку и в четырнадцать домов, даже сожженных, следовало отбивать и удерживать. И в четыре дома. И хутор в один дом!

Сильным движением локтей хирург повалил Степанчика на стол.

- Маску! Эфир! Пульс! Дверь!!

- Да что ты за человек! - сильно рванул Андрея санитар и захлопнул дверь.

Он сбежал со второго этажа.

Отъезжающие, построенные в две шеренги у машины, откликались «Я!», когда Киселевский называл их фамилии.

Лена подала ему скатку и вещмешок, уцепилась за локоть, он, перехватив мешок и скатку в одну руку, обнял ее другой, она, откинувшись на его руке, смотрела на него с отчаянием и ужасом, он наклонился к ее губам, но Киселевский скомандовал:

- В строй! Сержант Новгородцев, в строй!

1974-1977 гг.

Олег Борисович Меркулов

НА ДВУХ БЕРЕГАХ

роман

Редактор А. Загородний

Художник А. Тастаев

Худ. редактор Б. Машрапов

Техн. редактор Б. Карибаева

Корректоры Г. Сыздыкова и Е. Шкловская

ИБ 893

Подписано к печати с матриц 30.11.79. УГ 12867. Формат

84х108 1/32 Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная

новая». Высокая печать. Печ. л. 11,5. Усл. п. л. 19,32

Уч. -изд. л. 24,5. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1317.  
Цена 1 руб. 70 коп.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета  
Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и  
книжной торговли, 480091, г. Алма-Ата, проспект Коммунистический, 105.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап»  
Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,  
480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93

Третий роман известного казахстанского писателя Олега Меркулова посвящен, как и прежде, теме Великой Отечественной войны. Писатель верен своим героям - молодым и мужественным патриотам, участникам войны с фашизмом.

В новом произведении автор показывает война-комсомольца, прошедшего через жестокие испытания, которые закалили его, сделали настоящим солдатом.